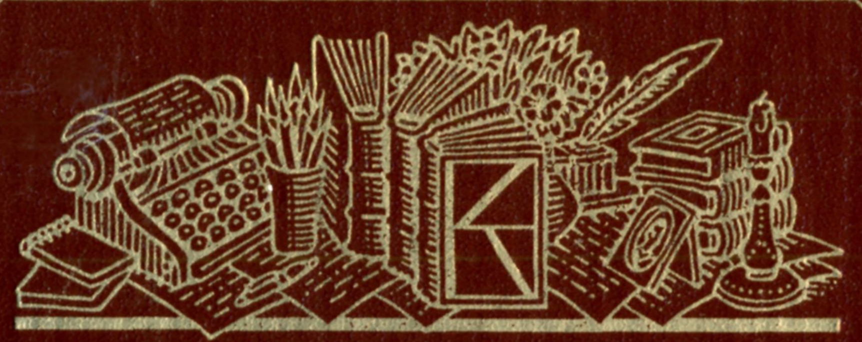


ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Дж. Д. КАРР, Х. ПИРСОН

АРТУР КОНАН ДОЙЛ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

Дж. Д. КАРР

ЖИЗНЬ СЭРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА

Х. ПИРСОН

КОНАН ДОЙЛ. ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

(главы из романа)

МОСКВА «КНИГА» 1989

ББК 84.4 Англ.
К 26

J. D. Carr.
The Life of Sir Arthur Conan Doyle.
London, 1953

H. Pearson.
Conan Doyle. His Life and Art.
London, 1943

Дж. Д. Карр.
"Жизнь сэра Артура Конан Дойла"
Сокращенный перевод с английского
М. Д. Тименчика

Х. Пирсон.
"Конан Дойл. Его жизнь и творчество"
(главы из романа)
Перевод с английского
А. Гаврилова

Вступительная статья
М. Д. Тименчика

Разработка серии
Б. В. Трофимова, А. Т. Троянкера, Н. А. Ящука

Художник
А. Бегак

К $\frac{4703010100-048}{002(01)-89}$ 26-89

ISBN 5-212-00116-1

ОПЫТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЖИЗНЕОПИСАНИЙ

В предлагаемой читателям книге — созвучие трех известных имен: Артура Конан Дойла, Джона Диксона Карра и Хескета Пирсона. Не задаваясь вопросом, кто из них даровитей, кто изобретательней, можно с уверенностью сказать: лавры популярности принадлежат Конан Дойлу.

Правда, творчество Конан Дойла оценивают далеко не однозначно. Джордж Орвелл, например, относит его к разряду "хорошей плохой литературы", создающей свой собственный замкнутый мир, в противоположность "Улиссу" Джойса. (Любопытно, что и сам "высоколобый" Джойс ввел в сознание своего героя наряду с другими легендарными историческими лицами Шерлока Холмса.) А такой тонкий и язвительный критик, как Г. К. Честертон, ставит славу Конан Дойла в сравнение с диккенсовской: "В нашей современной популярной литературе есть герой, который несомненно пользуется всенародным признанием". Но характерно, что и Честертон, говоря о популярности Конан Дойла, подразумевает его героя: "Если вы заговорите о Шерлоке Холмсе, то вас поймет любой человек из народа. Сэр Артур Конан Дойл имеет право с гордостью подымать голову при мысли, что Шерлок Холмс единственный близкий всем герой современного романа, хотя тут же следует признаться, что Шерлок Холмс, кроме того, единственный персонаж, который нас занимает во всех разыгрывающихся при его участии историях" *. Замечание Честертона тем более существенно, что он сам был прекрасным мастером и продолжателем детективного жанра, хорошо разбиравшимся в том, что увлекает читателя.

Существует достаточно литературоведческих, психологических, наконец, нравственных объяснений феномена чрезвычайной популярности Шерлока Холмса, которому Конан Дойл был обязан огромной долей своей славы. Но нам бы хотелось заострить внимание на другом. "Конан Дойл создал героев, превратившихся для каждого в тип или символ", — говорит Честертон. Шерлок Холмс стал "живой легендой, унаследовав немеркнущую славу легендарного героя" **. Можно сказать даже больше — он стал героем мифологическим, но из разряда низшей, "земной" мифологии, вроде Фантомаса с обратным знаком. Но, конечно, несравненно притягательней, и не потому, что он добрый и благородный, а тот злой и коварный — мифологическое сознание не

---

* Честертон Г. К. Диккенс. Л., 1929. С. 102.

** Честертон Г. К. Шерлок Холмс // Честертон Г.К. Писатель в газете. М., 1984. С. 262.

делает тут различия, свободно обращая одно в другое, — а потому, что его, на первый взгляд, скупые, схематичные черты крайне противоречивы и разнообразны: эта бесчувственная "счетная машина" вдруг оказывается страстной и даже пристрастной — поборник закона, он первым с легкостью его нарушает и т. д. Его образ представляет собой более пластичный, более податливый материал для мифотворчества, он, если угодно, человечней, правдоподобней, живее и во всех смыслах жизнеспособнее.

Конечно, эти черты были заложены в нем изначально, по канонам, к тому времени уже выкристаллизовавшимся из Люпена (Эдгар По) и Лекока (Габорио), но важно то, что не только черты такой личности, но и весь ареал, все детали и подробности фона (куда, как мы увидим, можно отнести и д-ра Уотсона и других персонажей из ближайшего окружения Холмса) получили не меньшее значение, открыв два направления для развития мифологической игры: вширь, путем бесконечного стереотипного воспроизводства, и вглубь — творчески наполняя готовый образ новым смыслом. То есть "эта неброская, насквозь вымышленная фигура, не без иронии написанная", превратилась не только в знакомую всем маску, но и в ярмарочный фототрюк с отверстием для лица. Однажды (если не считать любимой забавы Конан Дойла переодеваться в своих героев и подражать им) "сунул голову" в это отверстие и сам создатель великого сыщика в единственной автопародии, написанной с благотворительными целями.

В великого сыщика стали играть и в шутку и всерьез, вернее, и в шутку и всерьез одновременно. Причем условия игры, как мы видели, безграничны. О нем сочинялись анекдоты, основывались многочисленные клубы его почитателей и подражателей, составлялись его (Шерлока Холмса!) биографии и энциклопедии, ему даже был установлен памятник на месте его несостоявшейся гибели — на утесах Раушенбахского водопада. Диапазон литературных упражнений на тему Холмса тоже широчайший: от детективной продукции, вроде повести "Сын Холмса" Джона Лескроута, до совсем уже нешуточной игры, какую предпринял Умберто Эко в своем романе "Имя Розы", где, по мнению специалистов, дедуктивный метод Шерлока Холмса приобретает силу универсального инструмента реконструкции прошлого. Впрочем, это не удивительно, если вспомнить, что новаторство Холмса именно в применении этого метода в сыскном деле — "великий ум, который растрачивается по пустякам, вместо того, чтобы заняться великим делом, его достойным" (Честертон), — а корифей этого метода в чистом, неприкладном виде вовсе не Шерлок, а Майкрофт Холмс. (Который, кстати сказать, исполняет функцию, необходимую для жизнедеятельности, бытования, земного хождения мифа: занимая "прародительское" место на Олимпе, он низводит героя на землю и приближает его к нам, чем искупаются и оправдываются его огрехи и недостатки.) Уместно заметить, что эту игру в Шерлока Холмса поддержал и Диксон Карр, создав совместно с сыном Конан Дойла Адрианом сборник "Подвиги Шерлока Холмса", где как бы вписал в известный корпус те истории, которые великий сыщик упоминает лишь вскользь.

И то, что Шерлоку Холмсу в читательском сознании потребовалась настоящая биография и даже родословная, говорит о приобретенной героем самостоятельности и независимости от автора: ведь у мифа нет автора, а у мифологического героя могут быть только родители. Сюда же можно отнести и неудачную попытку Конан Дойла избавиться от своего персонажа и то, что о солярном мифе в применении к Шерлоку Холмсу, как увидит читатель, говорили еще при жизни автора, то есть когда, здраво рассуждая, судьба героя могла быть если не переписана, то во всяком случае дописана. Герой Конан Дойла ожил и, словно Франкенштейн, вырвавшись из повиновения, зажил своей жизнью. Впрочем, и история об ожившей кукле — еще один из мифологических мотивов, охотно лепившихся к центральному холмс-дойловскому мифу. И любопытно, что, когда самому Конан Дойлу понадобилось вернуть к жизни своего героя, он воспользовался тем же приемом — оживил куклу.

Итак, фигура великого сыщика — вернее силуэт, но так верно найденный, что, как в загадочной картинке с охотником-вверх-ногами, раз увиденный и обведенный, уже не стирается из сознания и незыблем, словно незаполненное пространство в ландшафте культуры само жаждало этой счастливой минуты — словом, его фигура столь мифогенна и, если можно так выразиться, "мифогенична", что, порождая бесчисленные стереотипные сюжеты и обрастая подробностями, она ширится, достигает гигантских размеров и накрывает мощной тенью, "орлиным профилем" своего создателя.

Отсюда сложность, которая возникает, когда, по емкому выражению Ю. М. Лотмана, "право на биографию получает летописец". Здесь мы обойдем стороной сложный вопрос о месте и назначении литературного летописца — доктора Уотсона. Скажем лишь, что он, по-видимому, вовсе не биограф, а скорее партнер для диалогов, катализатор или даже провокатор литературного действия: в уже упоминавшейся автопародии Конан Дойла Шерлок Холмс говорит Уотсону: "Вы, конечно, не обидитесь, если я скажу, что своей репутацией человека, обладающего некоторой проницательностью и остротой ума, я обязан тому контрастному фону, который вы для меня создаете". И без этого фона, как в тех редких случаях, когда Холмс "сам" предпринимает попытки написать рассказы, он теряет, по мнению Кристофера Морли, свое очарование.

Понятно, что, приступая к жизнеописанию истинного биографа Шерлока Холмса, придется иметь дело с механизмом холмс-дойловского мифа, но важно еще понять, как будет вести себя мифологическое сознание. Ведь сознание такого рода живуче и, вбирая, погружая в себя реальность, поток его только полнится и крепнет. А исследователь, рискнувший вступить в его воды, может быть поглощен и унесен потоком. Попытки незадачливых биографов, так сказать, покоятся на дне мифологической реки, создавая дополнительные трудности для "навигации".

Конечно, исследователь жизни героя априори намеревается пробиться сквозь толщу всех наслоений, переплыть — продолжая метафору — коварные воды мифа к берегу подлинной, реальной жизни

героя. Но если Диксон Карр, опираясь на факты и одни только факты, как он декларирует в предисловии, стремится к реконструкции, сопротивляясь течению, то Хескет Пирсон свободно отдается во власть потока широкой мифологической реки. Однако прежде чем давать характеристику различным подходам авторов к биографии Конан Дойла, необходимо для полноты картины достроить еще одну ступеньку нашей пирамиды: дать хотя бы краткую справку о биографиях биографов.

С английским писателем Хескетом Пирсоном русский читатель знаком по переведенным на русский язык книгам о Бернарде Шоу, Диккенсе, Вальтере Скотте. Хескет Пирсон родился в 1887 году, обучался в театральной школе и впервые вышел на сцену в 1911 году, выступал с крупнейшими английскими труппами. Участвовал в первой мировой войне в Месопотамии и Персии, дослужился до звания капитана и вновь вернулся на сцену, в 1931 году ушел из театра и целиком посвятил себя литературному труду, писал главным образом биографии. Особую известность получил его труд о жизни Оскара Уайльда, опровергавший устоявшиеся оценки и мнения. Написал книгу воспоминаний "Хескет Пирсон о себе". Умер в Лондоне в 1964 году.

Джон Диксон Карр — американский писатель, родился в 1905 году в Пенсильвании. Был журналистом, жил в Англии и на континенте. Как автор детективных романов выступил в 1930 году с произведением "Оно ходит по ночам". Его излюбленным приемом была загадка "запертой комнаты". Публиковался под собственным именем и под псевдонимами Карр Диксон и Картер Диксон, что давало ему возможность разрабатывать две самостоятельные серии детективных романов, объединенных сквозными главными героями. В 1936 году по рекомендации Дороти Сайерс принят в члены Детективного клуба (председательствовал на заседании Г. К. Честертон). В 1948 году возвратился в Соединенные Штаты, где был избран президентом ассоциации писателей детективного жанра, а также был членом нью-йоркского клуба Добровольцев с Бейкер-стрит. Умер в феврале 1977 года. Диксон Карр считался специалистом по Артуру Конан Дойлу, книгу о нем выпустил в 1949 году. Русскому читателю известен романом "Табакерка императора" и несколькими рассказами из сборника "Подвиги Шерлока Холмса".

Читатель, знакомясь с книгой Диксона Карра "Жизнь сэра Артура Конан Дойла", отмечает непонятные полемические интонации автора, какой-то "бой с тенью". Но тень эта имеет вполне реальное имя. Дело в том, что в 1943 году вышла в свет книга Хескета Пирсона "Конан Дойл. Его жизнь и творчество", вызвавшая отповедь сына Конан Дойла. Генерал Адриан Конан Дойл с солдатской прямотой пишет: «За последний год мне не дают покоя многочисленные письма от людей знакомых и незнакомых, высказывающих свое недовольство "биографией" моего отца, принадлежащей перу мистера Хескета Пирсона. Так как большинство моих корреспондентов естественно полагает, что рукопись была представлена мне перед публикацией, я должен уверить их, что это вовсе не так. Портрет моего отца и его суж-

дения, обрисованные в этой книге, есть пародия, а личные качества, ему в ней приписанные, в действительности являют собой прямую противоположность тому, что он из себя представлял, во что верил и что считал для себя дорогим. Поэтому я ограничусь тем, что заявлю: прежде всего, мистер Пирсон не был даже знаком с моим отцом; во-вторых, он не показал своей рукописи никому из членов моей семьи, и, в-третьих, его книга не более чем выражение чуждых и некомпетентных взглядов и представляет собой еще один пример того, что м-р Айзек Фут верно определил как "принижение великих людей и поношение отцов, нас породивших"» *.

Далее Адриан Конан Дойл с генеральской непреложностью дает схему, вернее руководящие указания, для написания "правильной" биографии, каковую и пишет через некоторое время Диксон Карр, личный друг Адриана.

Читатель вправе спросить, зачем наряду с "правильной" биографией нужна еще и "неправильная". Мы должны пояснить, что сделано это намеренно; несмотря на сыновнюю горячность заявлений Адриана Конан Дойла, мы считаем, что книга Хескета Пирсона имеет такое же право на существование, как и книга Диксона Карра. Мы хотели не столько дополнить один текст другим, сколько столкнуть оба текста, или, во всяком случае, предоставить им равноправное, параллельное существование, именно в силу различия методологии, позиций и стиля авторов. И именно в этом (а не в исконном, то есть античном) смысле мы пытались создать опыт параллельных жизнеописаний.

Вообще спор о правомочности и ценности беллетризованной биографии великих людей, тем более писателей, — спор достаточно старый и острый (особенно в Англии, где существует образец "классической" биографии доктора Джонсона, написанной Босуэллом). Художественные биографии подчас относят к литературе невысокого ранга. Даже вполне реалистические жизнеописания, по мнению Честертона, плохи тем, "что обнародуют самое неважное, <...> утверждают и вбивают в голову именно те факты человеческой жизни, о которых самому человеку почти ничего не известно: его место в обществе, обстоятельства его рождения, имена его предков, почтовый адрес" **. Впрочем, если это и верно по отношению к сестрам Бронте, о ком писались эти строки, то в отношении Конан Дойла все обстоит наоборот. И каждая мелочь, любая подробность, но тщательно проверенная и документально подтвержденная, крайне важна для построения его жизнеописания. Так понимает свою задачу Диксон Карр, который считал Конан Дойла своим учителем. В написанной им биографии он как бы декларативно отказывается от своих литературных пристрастий и манеры — вкуса к мистификации, стилизации, к литературной игре, загадке. Во главу угла ставится документ, и все же литературная манера автора берет свое, проявляясь в стиле, хоть и утяжеленном фактическими подробностями, но воздействующем на ассоциативный ряд восприятия; в

* Дойл Адриан Конан. Истинный Конан Дойл. Лондон, 1945. С. 5.
** Честертон Г. К. Шарлотта Бронте // Писатель в газете. С. 52.

аллюзиях, в попытке открыть в произведениях Конан Дойла многообъясняющие оговорки, в объединяющем его с Конан Дойлом преклонении перед их общим учителем Эдгаром По. И в жизни Конан Дойла, "прямого как клинок", Диксон Карр нашел излюбленную тему — загадку прототипа Шерлока Холмса; он как бы сам становится сыщиком и ведет расследование. Для Карра вообще характерен интерес к реконструкции прошлого, к разгадке конкретных исторических тайн. В романе "Убийство сэра Эдмунда Годфри" он даже выдвинул свою версию знаменитого преступления XVII века.

Подход Хескета Пирсона, при всей живости стиля и легкости повествования, проще и тривиальней, это, впрочем, не означает, что Пирсон не знает материала или не проводит серьезных исследований. Дело в том, что Пирсон, как мы видели, профессиональный автор биографий. Его перу принадлежит около трех десятков жизнеописаний великих людей, что, конечно, несколько притупляет и нивелирует его приемы. Не исключено, что Пирсон, тяготевший к биографиям ярким, артистическим, обратился к жизни Конан Дойла, чтобы обнажить ординарность его судьбы в сравнении с бурными романтическими приключениями, в которые он ввергает своих героев. Если Карр стремится стать на место своего героя, "влезть в его шкуру", прочувствовать, объяснить читателям его поступки, оправдать их, то Пирсон остается скорее на стороне читателя, дает как бы чуть отстраненное, беспристрастное бытописание.

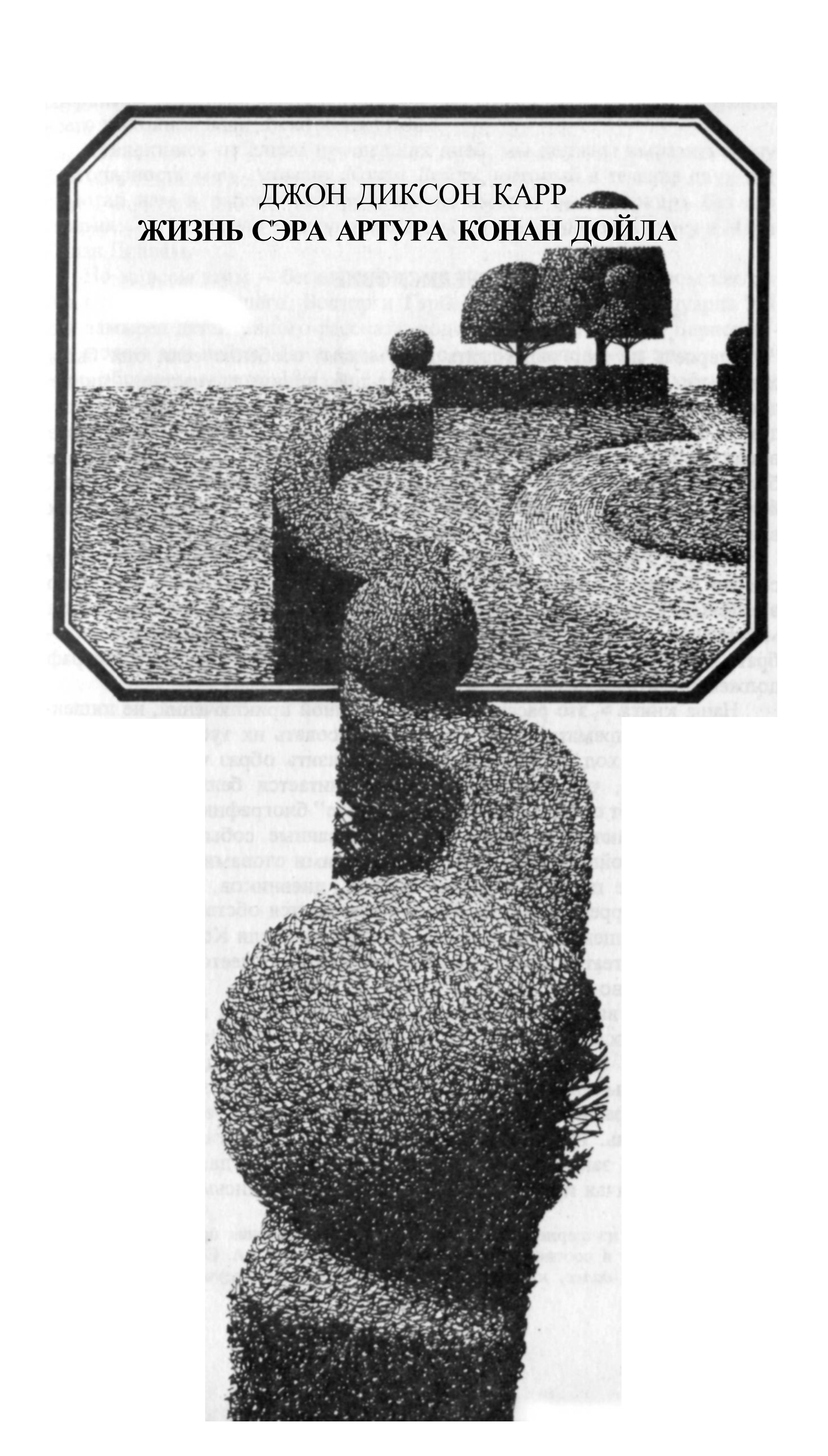
Итак, под одной обложкой — произведения авторов, столь непохожих по литературной судьбе, литературным вкусам, литературным принципам, которых объединяет один интерес — биография Конан Дойла. Но для Карра это интерес и даже любовь, пронесенные через всю жизнь, а для Пирсона — только биография одного из многих великих людей. И тем не менее, при всем их различии нам показалось целесообразным дать образцы творчества обоих авторов. Мы говорим об образцах, потому что, дабы не злоупотреблять вниманием читателя и не надоедать повторами в погоне за реализацией идеи параллельных жизнеописаний, а также из-за некоторой перегруженности книги Карра подробностями, ничего не говорящими русскому читателю, мы даем ее в сокращенном переводе. Но так как именно из нее читатель может получить наиболее полное представление о жизни Конан Дойла — что есть все-таки главная наша цель, — мы кладем ее в основу, дополняя отдельными характерными главами из книги Пирсона.

Как мы видим, над биографией Конан Дойла потрудились писатели достаточно опытные и исследователи достаточно упорные, они уже провели сложное литературоведческое расследование, вполне сравнимое с работой детектива, и дали каждый свою версию. Теперь дело за читателем, теперь его очередь напрячь свои дедуктивные способности и из всех представленных фактов и их интерпретации выработать свой, — быть может, единственный — взгляд на жизнь и творчество сэра Артура Конан Дойла. Этому и служит опыт параллельных жизнеописаний.

М. Тименчик

ДЖОН ДИКСОН КАРР

ЖИЗНЬ СЭРА АРТУРА КОНАН ДОЙЛА



ПРЕДИСЛОВИЕ

"Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами, в которых он когда-либо принимал участие, — пишет доктор Уотсон, — но вот разобрать свои бумаги и привести их в порядок — на это у него хватало мужества не чаще одного или двух раз в год... Таким образом из месяца в месяц бумаг накапливалось все больше и больше, и все углы были загромождены пачками рукописей. Жечь эти рукописи ни в коем случае не разрешалось, и никто, кроме их владельца, не имел права распоряжаться ими" *.

Доктор Уотсон мог сказать все это и о своем создателе. К моменту смерти Конан Дойла в 1930 году скопились в Уиндлшеме — не только в кабинете с красными шторами, но и по всему дому — огромные массы материалов. Лишь в 1946 году удалось их систематизировать и подобрать. Большинство материалов публикуется впервые, поэтому биограф должен сказать несколько слов.

Наша книга — это рассказ о жизни, полной приключений, не лишенной даже мелодраматических эпизодов. Рисовать их тусклыми красками, тормозить ход событий — значит исказить образ человека. Но не следует думать, что раз наша хроника считается беллетристикой, то она представляет собой "романтизированную" биографию.

Факты остаются фактами. И все описанные события подлинные. Когда Конан Дойл говорит, он говорит своими словами, почерпнутыми нами из его же писем, записных книжек, дневников, газетных вырезок или его корреспонденции. Когда описывается обстановка комнаты, или сцена, освещенная вспышками молний, или если Конан Дойл помечает что-то на театральной программке — тому имеется документальное свидетельство.

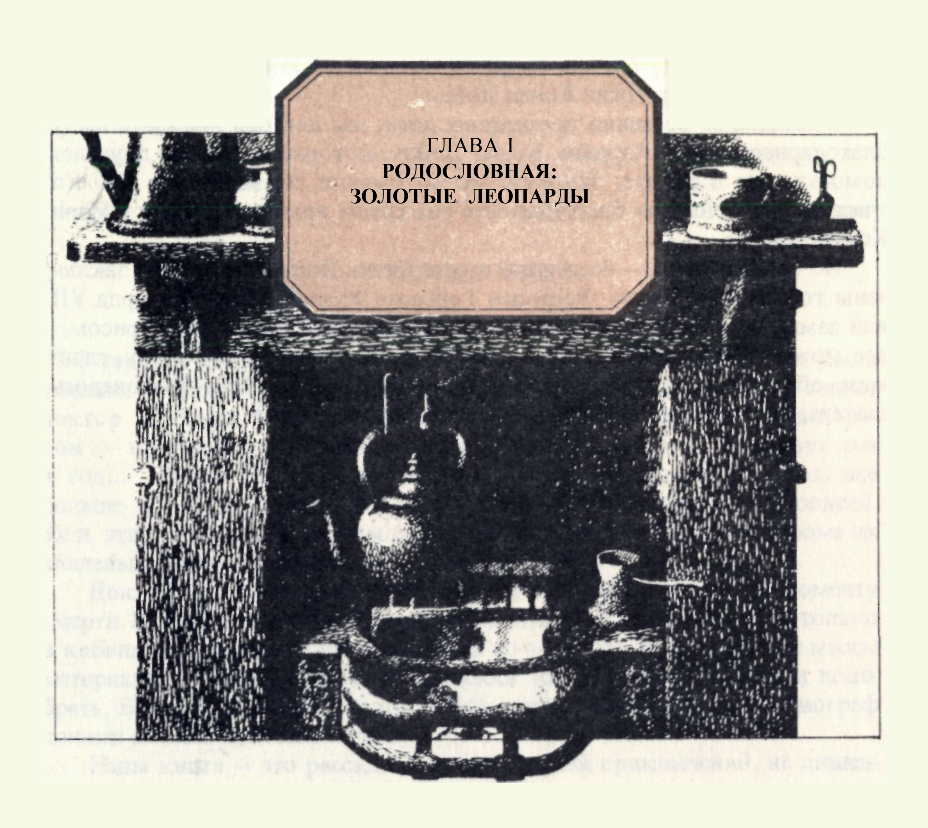
Даты всех важнейших писем и документов даны прямо в тексте. Для тех далеких дней письма (а переписка с матерью насчитывает пятьсот единиц) — единственный верный источник, передающий дыхание жизни. Мемуары цветисты и пристрастны. Даже рука человека, пишущего автобиографию, теряет уверенность, когда он оглядывается на прожитую жизнь. Но там, в письмах и старых бумагах, — заключены живые чувства, заключено то, что он чувствовал тогда, когда в жилах его бежала горячая кровь — заключена правда. Все письма были бережно

* Все цитаты из шерлокхолмсовской саги и все названия произведений Конан Дойла приведены в соответствие с изданием: Конан-Дойл А. Собр. соч. В 8 т. М., 1966. (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, примеч. переводчика.*)

сохранены матерью, братом Иннесом, сестрой Лотти, детьми и прежде всего покойной леди Джин Конан Дойл.

Отвлекшись от давно прошедших дней, мы должны выразить нашу благодарность м-ру Адриану Конан Дойлу, который в течение двух лет помогал нам в работе, которую мы не смогли бы завершить без его участия; не меньшую благодарность мы хотим принести Денису и Мэри Конан Дойлам.

Но за всем этим — бесценный архив Конан Дойла, в котором заключены голоса минувшего. Восторги Герберта Уэллса, планы Эдуарда VII или замысел детективного рассказа, подсказанный Уильямом Бернсом, — все можно там найти. Мы имеем дело с жизнью человека в эпоху, главным образом, между 1869 и 1919 годами. Все, что нам требовалось сделать, — это упорядочить архивные материалы и издать их.



ГЛАВА I
РОДОСЛОВНАЯ: ЗОЛОТЫЕ ЛЕОПАРДЫ

Летним полднем 1869 года, сидя в крошечной тесной столовой рядом с кухней дома № 3 по Сайенс-хилл-плейс в Эдинбурге, трудился над акварелью джентльмен средних лет. Но мысли его были сейчас обращены к событиям двадцатилетней давности.

Джентльмен был высок, обладал шелковистой, ниспадающей на жилет бородой и густыми волосами, но при столь представительной наружности держался он как-то слишком робко и виновато. Одет он был стараниями жены, что называется, бедно, но прилично. Лишь в глазах, когда он бросал взгляд в сторону кухни, загорались задорный огонек и острая проницательность.

Для работы свет уже был не тот. Эдинбург, "Старый дымокур", с его вечной мглой и восточным ветром, заволокло монотонной пеленой дождя. Но не это заставило джентльмена в длиннополом сюртуке осторожно, чтобы не испачкать краской их лучший дубовый гарнитур,

отложить в сторону свою кисть. Его отвлекли доносившиеся из-за приотворенной двери ритмичные звуки — Мэри отскребала щеткой решетку очага. И этот скрежет служил как бы знаками препинания в преподаваемом ею тут же, на месте уроке их десятилетнему сыну Артуру.

— Я рада видеть, мой милый мальчик, что Ходдер заметно улучшил твой французский, — слышался голос Мэри. И он живо представил себе, как она со значением воздела вверх свою щетку.

— А теперь, с твоего позволения, мы обратимся к предметам не менее достойным.

Итак, Чарльз Элтимонт Дойл оглядывал свою жизнь.

Он увидел себя на расположенной прямо среди зеленеющих полей станции, где он оказался двадцать лет тому назад, сойдя с лондонского поезда. Младший сын в прославленной семье — перед ним открывались блестящие перспективы. Он был назначен заместителем главы Ее Величества Управления общественных работ в Эдинбурге мистера Роберта Матесона, с окладом в 220 фунтов в год. И это только для начала! Чарльз Дойл, архитектор по профессии, надеялся, что его обязанности будут в основном архитектурного характера. Это даст ему возможность упражнять свой талант живописца, как это делали его братья, оставшиеся в отчем доме.

В его воображении теснились самые разнообразные сюжеты: священные, политические, гротескные. Он с жадностью бросился осваивать Эдинбург, посылая отцу длинные письма, испещренные чернильными зарисовками. Его потряс серый Замок, высящийся на своей скале, очаровали покосившиеся домики Кэнонгейта, "настоящей сокровищницы для любителей живописного, правда, лишенных обоняния", зато во внешнем облике Холируд-пэлэса * он усмотрел лишь сходство с тюрьмой или домом умалишенных.

Людям, с которыми ему приходилось встречаться (в большинстве добропорядочным католикам), пришелся по душе этот почтительный юноша, да и они ему понравились. Но некоторые черты шотландского характера озадачили его.

Никогда не позабыть ему своего первого Нового года, встреченного здесь: после тягучего торжественного чаепития и душеспасительных бесед до самой полуночи весь Эдинбург вдруг как-то сразу встрепенулся и ударился в такое отчаянное пьянство, что к двум часам ночи на улицах творилось что-то вроде ведьмовского шабаша, а в прихожей Макдональдов кружились в хороводе ватаги как из-под земли появившихся горцев. Чарльз, опасаясь, как бы чего не вышло, вызвался проводить домой двух девушек.

— Дружище, — обратился к нему его приятель мистер Маккарти, извлекая наполненную свинцом дубинку с таким невозмутимым видом, словно подобный предмет такая же непременная деталь туалета, как, скажем, касторовая шляпа или узкие панталоны. — Дружище, возьми это, у меня есть еще одна.

* Достопримечательности старого Эдинбурга. Улица Кэнонгейт соединяет дворец Холируд со скалой, на которой стоит Замок.

— Ты предлагаешь мне воспользоваться этим?

— Ну разумеется, дружище! Приласкаешь по черепушке всякого, кто к вам сунется, и, я уверен, девушки будут в безопасности.

А в конце августа 1850 года выпал поистине счастливый случай, всколыхнувший его патриотические чувства. Правда, на его плечи легли все заботы и тревоги многомесячной подготовительной работы. Но в восемнадцать лет все это меркло перед ожидаемым событием: Эдинбург намеревалась посетить сама Королева с принцем Альбертом и детьми.

С крыши Холируд-пэлэса, куда он поспешил, чтобы проследить за подъемом флага, уже издали виден был дым приближающегося поезда. Впереди, расчищая путь, мчались галопом верховые в алых камзолах. Огромная, вся трепещущая белыми платочками толпа на холме разразилась приветственными возгласами, когда поезд вошел в город. Вскоре, когда лоснящиеся лошади с грохотом прокатили королевский экипаж по дворцовой площади, Чарльзу подумалось, что сейчас, "раскрасневшись", юная королева Виктория "выглядит не слишком привлекательно". Но вот она легко, не дожидаясь ничьей помощи, спрыгнула со ступенек экипажа, и эхо артиллерийского залпа еще долго отдавалось в Замковой скале.

И все же в те далекие дни на Чарльза часто накатывали приступы неодолимой тоски по дому. Он мечтал повидать отца, и трех своих братьев, и сестру Аннет. Каждое письмо от Ричарда (Дика) Дойла, ведущего художника "Панча", доносило в его одиночество напевный говорок брата.

"И как же ты уживаешься с этими Сони?" — Дик, безупречный горожанин, делал вид, будто и вправду верит, что шотландцы — потомки Сони Бина * и по сей день жрут человечину в своих пещерах.

"Ты, верно, слышал от мистера Уильямса о Смите и Элдерсе, которые пригласили меня на обед познакомиться с автором "Джейн Эйр". Это с виду немного болезненная, но весьма умная женщина, зовут ее мисс Бронте и она дочь священника из Йоркшира. Теккерей тоже приглашен".

Или еще из того же письма:

"Кажется, это было уже после твоего отъезда в Шотландию. Эванз пригласил меня на обед Добровольного общества газетчиков, на председательском месте — Чарльз Диккенс, он произнес замечательный спич, были еще Лак, Фиц, Лемон, Ли и К°, каковая компания, да еще мистер Питер Каннингем, отправилась потом с Диккенсом в таверну "Радуга" на Флит-стрит, где допоздна общалась с подогретым Шерри и Анчоусами".

Типографские краски и чернила и огни большого света! Но всего живее эти письма пробуждали в памяти Чарльза статную фигуру отца, Джона Дойла.

Вот Джон Дойл, король политической карикатуры, величественно восседает среди полированного дуба и серебряных кубков в доме

* Сони, или Сони Бин — традиционное прозвище шотландцев.

№ 17 по Кембридж-террас, Гайд-парк. Он так походил на старого герцога Веллингтона, что, стоило ему появиться верхом в парке, с ним непременно почтительно раскланивались; Лорд Джон — звали его сыновья, или даже Его Превосходительство, правда, за глаза.

Джон Дойл, выходец из ирландской мелкопоместной католической знати, разоряемой из поколения в поколение карательными законами против католиков, перебрался в Англию.

Род его вел свое происхождение от древних норманнов и был пожалован вотчиной в Ирландии в первой половине XIV века. Он был художником. Когда он приехал в Англию, у него было всего три земных ценности: картина Ван Дейка, которую он не желал продавать, осколки фамильного блюда XVII века и ступка с пестиком для приготовления лекарств. Многое изменилось в мире с тех пор, как эти разнородные предметы служили единственным украшением его жалкого обиталища. Под псевдонимом НВ он завоевывал Лондон разящим остроумием своих карикатур, исполненных в изысканной манере, во времена, когда другие карикатуристы довольствовались изображением видных общественных деятелей в виде пузатых клоунов, летящих кувырком со всевозможных лестниц. Для Джона Дойла рисовать в таком обличье своих политических противников было так же нелепо, как, не сойдясь во мнениях за обедом, спустить с лестницы одного из своих гостей, ну, скажем, покойного Вальтера Скотта.

Его жена Марианна Конан скончалась, оставив ему четверых сыновей — все, как один, высокого роста: Джеймс, Ричард, Генри и Чарльз, и он сумел не только передать всем им умение владеть кистью и карандашом, но и воспитать преданными католиками. О, блюститель благочестия, о, начальственное око! На сторонний взгляд могло казаться удивительным, что такое артистическое мироощущение, эта сатирическая жилка скрывалась за столь внушительным видом. В творчестве его были заложены зачатки той чудаковатости, что такими кошмарными видениями расцвела в акварелях его сына Чарльза.

Впрочем, прошло немного времени, и Чарльз здесь, в Эдинбурге, нашел утешение своей тоске по дому. В 1855 году он женился на мисс Мэри Фоли.

Невесте только-только исполнилось семнадцать. Младшая дочь вдовой ирландской католички, в чьем доме Чарльз почти с первых же дней поселился на правах квартиранта, в возрасте двенадцати лет была определена во французский коллеж. Вернулась она уже совсем взрослой девушкой и сразу же вскружила ему голову. "Ветреница" — звал он ее; она и вправду была очень резва — маленькая, сероглазая, волосы расчесаны на пробор и убраны за уши, каждый жест исполнен особого ирландского очарования.

Шотландских матрон не могло не удивлять, что эта девушка — знаток французского и любитель геральдики. Чудные вкусы для хорошенькой девушки, но эти пристрастия шли из самых глубин ее натуры: родовая гордость, презирающая нищету, гордость, утверждаемая с исступлением, чуть ли не со слезами на глазах.

— Пусть Дойлы, я согласна, — говорила она, выпрямляясь во весь

свой небольшой рост, — дворяне с древней родословной. Но и мы тоже происходим из старинного дворянства. Моя мать, заметь себе, урожденная Катарина Пак. Ее дядя — генерал-майор сэр Денис, водивший в бой бригаду при Ватерлоо. А Паки с семнадцатого века, как знает —или должен был бы знать — каждый, состояли в свойстве с Мэри Перси из Баллинтемпла, наследницей ирландской ветви Перси Нортумберлендских.

В этом старинном сундуке — не перебивай меня! — документы о нашей родословной, из поколения в поколение, за шесть столетий, начиная с бракосочетания Генри Перси, шестого барона, с Элеонорой, племянницей Генриха III.

Родовитость, однако, была слабой помощницей молодоженам, которым приходилось жить на 220 фунтов в год, зарабатываемых Чарльзом. Нищета уже разевала свою пасть на все растущую семью. Вслед за рождением первенца — девочки ("Мэри просто в ярости оттого, что Вы сказали, будто ее малышка такая же, как все малыши") — вскоре появились еще две девочки и мальчик.

И при том, что на службе он работал очень много, берясь за обязанности и клерка, и архитектора, и даже строителя, заработать дополнительно хоть сколько-нибудь существенную сумму своей живописью молодой супруг, похоже, не мог. Ведь Чарльзу Дойлу легче было выбросить свои рисунки, чем нанести своим друзьям немыслимое оскорбление, предложив сбывать их. А когда какой-нибудь лондонский издатель месяцами увиливал от выплаты гонорара за уже увидевшие свет рисунки, Чарльз, чем докучать ему лишний раз, предпочитал предать все это забвению.

Чарльз Дойл стремился сохранить независимость и относиться ко всему иронически. Но когда встал вопрос о переводе его на более высокий пост в Лондон, в письме к сестре Аннет излил он свои истинные чувства.

"Меня более всего ужасает, — писал он, — перспектива пастись в Лондоне со стадом снобов, которые явно не поймут и поднимут на смех всю теорию конструирования да и технические термины, что в ходу здесь, ведь для них кирпичи — неопределенное множество. Пост главного бухгалтера — просто не по мне. Но если открывшаяся вакансия предполагает какое-нибудь творчество, писание или архитектурные занятия, где бы я был предоставлен самому себе и мог бы по мере сил делать свою работу, я согласился бы не задумываясь".

Чтобы достать необходимые деньги, — вырвалось у него вдруг, можно отправиться в Австралию добывать золото. Это был порыв, стремление уйти из мира — до конца дней своих не покидал он Эдинбурга.

Всего хуже приходилось тогда, когда их навещали лондонские друзья, брат Дик, всегда в добротном костюме и крахмальной сорочке, или добродушный убеленный сединами Теккерей. Тогда изо всех сил нужно было делать вид, что никто — и прежде всего они сами — не замечает ни обшарпанных стен, ни продавленного дивана. Он испытывал жгучую боль, молча снося унижение жены, когда ей приходилось накрывать стол к обеду. Впрочем, сама она, возможно, принимала это не столь близко к сердцу. Ведь она была не только дочерью Катарины Пак,

она была еще Фоли из Лисмора, она была воинственная — сам черт не брат — ирландка, ни в грош не ставившая чужого мнения.

Чарльза тревожило ее здоровье. Временами, жаловался он, она выглядит так, словно достаточно сильного порыва ветра, чтобы подхватить и унести ее прочь. И все же она сумела содержать целую вереницу квартир — Нельсон-стрит, Пикарди-плейс, Сайенс-хилл-плейс, Либертон-банк и вновь Сайенс-хилл-плейс — и родить еще двух детей. И казалось, ничто уже не беспокоило ее после рождения любимого сына — божества ее души — Артура, 22 мая 1859 года в доме по Пикарди-плейс.

И вот, по прошествии десяти лет с появления на свет Артура и двадцати лет со дня приезда в Эдинбург, Чарльз Элтимонт Дойл, сидя в маленькой комнатке рядом с кухней на Сайенс-хилл-плейс, отложил в сторону свою кисть. Голоса жены и сына теперь, под перестук дождя, слышны были еще отчетливее.

И хотя дверь в кухню была лишь слегка приоткрыта, он без труда мог представить себе всю картину: Мэри, со щеткой в одной руке и рукавицей, полной золы, в другой, и сына, который сидит на краю стола, болтая ногами в бриджах. Торопливо бросив щетку и рукавицу, Мэри извлекает из буфета большие листы картона, искусно расписанные братом Джеймсом в Лондоне. Слышен ее голос:

— Дай мне геральдическое описание этого щита!

Мальчуган отвечает тотчас, на одном дыхании, как хорошо зазубренную таблицу умножения.

— Серебро, — говорит он, — зубчатая лазурная перевязь меж двух оленьих голов.

— И это герб...

— Нидхема, мамочка.

— Ну, прекрасно! А теперь этот.

— Червлень, — говорит мальчик, — шеврон между десятью пятилистниками, — он замялся, а затем уверенно затараторил, — десять пятилистников, четыре и два в верхней части серебряные.

— Да. И это герб...

— Барклаи, мамочка.

— А теперь этот, и, пожалуйста, подумай, прежде чем ответить.

— Золото, — твердо сказал мальчик, — на перевязи червленью звезда между... между...

Наступила зловещая тишина.

— Артур, опять! Что ты говоришь?

— Нет, это не просто звезда! У нее шесть концов; это лучистая звезда! — Мальчик от усердия даже запрыгал на каменном полу. — Мамочка, пожалуйста, можно еще раз: золото, на червленой перевязи, лучистая звезда меж двух серебряных полумесяцев.

— То-то же! И это герб...

— Томаса Скотта из Нурли, мамочка.

— Томаса Скотта из Нурли. Твоего двоюродного дедушки, мой мальчик. Не забывай об этом.

Да, этот герб, эта звезда и полумесяцы могли поведать и о смелых рейдах на шотландской границе, и еще о многом-многом другом. Скотты

из Нурли в графстве Уиклоу были младшей ветвью Скоттов из Хардена, которые перебрались в Ирландию в XVII веке и приходились родственниками сэру Вальтеру Скотту. Чарльз Дойл ясно представил себе, как от этой мысли гордо вздымается грудь мальчугана. В это время наверху захныкала в своей колыбели самая младшая дочь Каролина, или по-семейному Лотти, и Аннет, которой уже четырнадцать, поспешила ее утешать, а вслед за ней затопотала крошка Констанс.

Так что же Артур? "Боюсь, — писал Чарльз Дику, — Мэри заморочила ему голову". Да, она души не чаяла в мальчике, и он отвечал ей обожанием. И всегда, в любое время, когда она не скребла полов, или не торговалась с лавочником, или не варила кашу, помешивая ее ложкой и при этом не выпуская из рук "Ревю де Де монд", эта маленькая женщина, слишком молодая, да и слишком моложавая, чтобы напялить на себя чепец матроны, без устали толковала ему о его великих предках, добираясь аж до самых Плантагенетов. В детском воображении все это сплеталось в причудливый клубок из Эдуарда Третьего в Креси с сэром Денисом Пеком, поведшим в бой бригаду Пиктона при Ватерлоо, и адмиралом Фоли в битве на Ниле.

Был у Мэри и свой кодекс поведения, внушаемый мальчику при всяком удобном случае: "Быть бесстрашным с сильными; смиренным со слабыми. Рыцарем для любой женщины, невзирая на происхождение". Великие имена золотыми письменами украшали тесную комнатушку, и тяжелой поступью шествовали по ней воображаемые рыцари.

Было время, Чарльз Дойл мечтал видеть сына человеком деловым и расчетливым, то есть таким, каким он сам никогда не был. Мечты эти давно рассеялись — мальчик терпеть не мог математики. Его первое увлечение — капитан Майн Рид с его индейцами и буйволами — уступило теперь место сэру Вальтеру Скотту, из которого, правда, он читал — и готов был перечитывать вновь и вновь, — по-видимому, только "Айвенго". Жила в нем еще и неутолимая жажда битвы: он беспрестанно ввязывался в драки и, к недоумению отца и тайной гордости матери, возвращался домой весь перепачканный и с видом победителя.

Такие наклонности мальчика не могли не прийтись по вкусу и дядюшке Мишелю Конану, в честь которого — известного критика и издателя "Художественного журнала", проживающего сейчас в Париже на авеню Ваграм, — был он назван.

— Ибо мы не должны забывать, Чарльз, — говорила Мэри, — о той благородной струе, которую вливает твоя семья, — и сердито топнув ножкой: — Почему ты смеешься, Чарльз? Тебе это безразлично?

— Конечно, нет, дорогая, просто ты слишком уж суровый ревнитель родословной.

— Боже мой, вовсе нет. У меня есть свой моральный долг. И у тебя тоже. Конаны, в конце концов, из герцогского дома Бретани.

Двоюродного дедушку Мишеля Конана, который подарил мальчику его первую книжку с картинками о французских королях и королевах, умилил первый литературный опыт пятилетнего мэтра Артура. Это произведение было посвящено саблям, ружьям и пистолетам, посредством

которых загоняют в логово бенгальского тигра. Дядюшка задумался об образовании мальчика.

"Принуди его, — решительно расправлялся он с наболевшим вопросом об арифметике, — принуда его к умножению, делению и троичному правилу и ознакомь с географией. Я вскорости позабочусь о картах".

Дальнейшее обучение, по замыслу дядюшки Конана, предполагало иезуитский колледж. Дело не в том, — пояснял он Чарльзу и Мэри, — что он разделяет фанатизм иезуитов или их учение "все ради души", но в обычных светских науках они, благодаря большому опыту и пристальному вниманию к этим вопросам, достигли наивысшего уровня понимания и не знают себе равных.

И вот, уже в 1869 году, юный Артур, вида совсем не ангелического, возвращается на летние каникулы домой из Ходдер-хауза, подготовительной школы при крупном иезуитском колледже Стонихерст. Еще год-другой — и он поступит в этот самый Стонихерст. Отцу оставалось только горячо благодарить Бога за столь спасительное участие! Ведь Мэри, нет-нет да и закрадывалось у него подозрение, с ее мимолетными симпатиями и неподатливым умом, вовсе не такая уж ревностная католичка.

Сам же он теперь, после недавнего обращения к Дику, который ничего не смог для него сделать, понимал, что никакого повышения по службе ждать ему не приходится. Ему вечно суждено быть тем, кто потрафляет чьим угодно интересам, только не своим.

За двадцать лет его заработок возрос с 220 до "царской" суммы в 250 фунтов. Правда, незначительный и нетвердый доход, что-то около сотни фунтов в год, приносила живопись. По его эскизам создавался фонтан в Холируде и окна собора в Глазго. Но разве об этом он мечтал?

Отец его, Джон Дойл, скончался в январе прошлого года, и Чарльза терзало ужасное подозрение, что именно поездка в Эдинбург по дурной погоде в его преклонном возрасте приблизила конец Лорда Джона. Джеймс убеждал его, что это мысль нелепая, но, раз поселившись, она уже не оставляла его. Старый родительский дом на Кембридж-террас представлялся ему незыблемым хранилищем памяти об уроках танцев и фехтования в залах с резными потолками. Дик, несмотря на размолвку с "Панчем", продолжал преуспевать как свободный художник-иллюстратор. Генри как раз в этом году назначен директором Ирландской национальной галереи. Джеймс издал "Хронику Англии" со своими рисунками.

Замечательные, милые ребята! Его Превосходительство мог бы ими гордиться!

Чарльз Дойл все глубже и глубже уходил в себя. Он полюбил рыбную ловлю, потому что за этим занятием не докучал ему суетный мир.

Домашним он казался теперь чужим, витающим в облаках господином с длинной бородой, изысканными манерами и нечищеным цилиндром. Ежедневно отправлялся он на службу к Холируд-пэлэсу, а возвращаясь, поглаживал детские головки с таким отрешенным видом, словно это были котята. В его живописи комическое и волшебное

уступило теперь место фантастическим кошмарам. И вот с мольберта в призрачном свете дождливого вечера смотрела на него именно такая почти законченная акварель. На леденящем кровь мертвенно-голубом фоне проступает скелетообразная нечисть; вскидывая под ломаными углами руки и ноги, носится она за церковной оградой в погоне за перепуганным до смерти малышом, едва-едва дотягивающимся до кельтского креста.

Размах и сила, сорванные в вихре листья. Он назовет ее "Спасительный крест". Множество подобных образов — мертвенный колорит, изломанные линии — витало в его мозгу. Конечно, было бы обидно возиться с этой никому не нужной работой, когда на долю несчастной Мэри приходится столько забот и хлопот, если бы всякая деятельность вообще не казалась ему теперь никчемной и бессмысленной.

Куда приятнее пойти порыбачить.



ГЛАВА II
ШКОЛА: СОКРОВЕННЫЕ НАСТАВНИКИ

Стонихерст, графство Ланкашир. Артур Конан Дойл с важным видом, сознавая собственную значительность, приготовился писать письмо матушке.

Теперь ему уже 15, он во втором высшем классе и так раздался вширь и ввысь, что заставил не на шутку встревожиться мистера Келлета, не лопнет ли на нем одежда по всем швам.

Самого же Артура портновские треволнения не занимали, правда, он был не прочь покрасоваться в новом галстуке, о чем с завидным постоянством просил матушку, неизменно повторяя, что, пока его крикетный костюм ему еще впору, все остальное — пустяки.

И вот он — на округлившемся лице по-прежнему четко выделяются скулы, волосы приглажены с помощью крема, который поставляет ему матушка, — и вот он, повторяем, уселся с твердым намерением написать нечто, достойное внимания.

"Надеюсь, — писал он, — у вас все в порядке и погода такая же чудесная, как у нас. В понедельник на масленицу состоялся матч, и мы одержали блестящую победу. Они набрали 111 очков, мы — 276, из коих моих было 51. Когда я обоснуюсь в Эдинбурге, я бы охотно вступил в какой-нибудь крикетный клуб. Эта веселая и подвижная игра приносит человеку больше здоровья, чем все доктора в мире. Смею надеяться, я мог бы занять достойное место среди 11-ти в любом Эдинбургском клубе.

Я, по милости папы и дядюшки, стал настоящим богачом. Передайте им мою признательность. Может быть, при таком моем достатке, Вы вышлете мне к 18 июня 2 шиллинга?"

Тут он запнулся и призадумался: в последней фразе явно что-то не так, явно не хватает смысла, то есть как раз то, что отцы-иезуиты называют non-sequitur.

"Потому что в этот день, — поспешил он объясниться, — мы поедем в Престон смотреть крупный крикетный матч и, боюсь, обедать придется за собственный счет. Не помню, писал ли я Вам в предыдущем письме о моих успехах в учебе, но в этом семестре я вышел на второе место и во всех отношениях улучшил успеваемость в сравнении с прошлым семестром".

Годы, проведенные в Ходдер-хаусе и Стонихерсте, были для Артура, вообще говоря, счастливыми. Он скоро свыкся с побудками в шесть утра по разносившемуся на весь дортуар сигналу полицейской трещотки. Привык к отсутствию парового отопления или камина в классной комнате, где беспрепятственно гулял декабрьский ветер, врываясь через трещины, которые (как смутно намекали) были пробиты намеренно, для пущей суровости.

Под сдвоенными башенками Стонихерста, возвышающимися на местности, удаленной от городов и железнодорожных станций, отцы-иезуиты поддерживали строжайшую дисциплину. Академические успехи вознаграждались "добрым" завтраком или ужином в зале с мраморными полами и галереей для музыкантов. За провинности наказывали при помощи увесистой плоской резинки, прозванной Толлей, от которой руки синели и вспухали чуть ли не вдвое. Но в письмах домой Артур ни разу и словом не обмолвился о наказаниях — это, сжав зубы, таил он в себе.

Когда же он писал о спорте — плавании, крикете, футболе, хоккее, коньках, — а о спорте писал он почти всегда, и всегда возбужденно, приходилось ему в ответ на материнские попреки извиняться за свой почерк. Один из его однокашников, будущий маркиз Виллавьеха, оставил свидетельства о его неряшливости и наблюдательности. Почерк был плохой, объяснял он, потому что либо кто-то ненароком наступил ему острым каблуком на руку, либо во время хоккея бог знает каким образом сорвали ему ноготь, либо вдруг он оказался в лазарете из-за "легкого растяжения" после падения с крыши.

Случались в Стонихерсте и такие, достойные упоминания, события, как день отца-ректора.

В этот день, когда ученики уже в сумерках вышли на пруд кататься

на коньках, их взорам предстал сияющий в лучах китайских фонариков лед, факелы — красные и синие — блистали в снегу, а оркестр играл "Правь, Британия". Но прежде чем мальчики вышли на лед, им раздали сигары и спички, а затем наставники забрасывали с берега петардами и хлопушками этот визжащий от восторга людской водоворот. Завершилось празднество не менее великолепно : каждый выпил по стакану горячего пунша во здравие отца-ректора.

Всего замечательней были рождественские каникулы, хотя далеко не все могли уехать домой. В эти дни Артур и трое его друзей поглотили:

"Двух индюшек, одного огромного гуся, двух цыплят, большой окорок и еще два куска ветчины, два круга колбасы, семь банок сардин, одну омаров, целую тарелку тартинок и семь банок джема. Из напитков у нас было пять бутылок шерри, пять портвейна, одна кларета и две малинового уксуса, было еще две бутылки рассола".

Вообще все это, не говоря уже о сигарах, свидетельствует о значительной широте взглядов отцов-иезуитов. В те же праздничные дни устраивались концерты и любительские спектакли. Несколько вечеров кряду зрители могли наслаждаться комедией в пяти актах "Путь к погибели, или Нападение на почту — мелодраматическое забавное представление (5 убийств)".

Конечно, такое веселое времяпрепровождение допускалось только на каникулах. Расплачиваться за это приходилось вереницей безотрадных серых будней, затянутых ланкаширской туманной мглой, монотонной чередой нудных уроков. Но тягостнее всего — помимо хронической нехватки средств, на фоне которой тот случай, когда Артур получил только 3,5 из посланных дядюшкой Диком 5 шиллингов, казался просто катастрофой, — так вот, повторяем, мучительнее всего для нашего непоседливого юноши была нестерпимая сухость занятий, приводившая его просто в бешенство.

Даже история, которая, казалось, должна была увлечь его, оборачивалась тупой зубрежкой. Это была вовсе не та история, в которую посвящала его мать, и не та, что представала в романах сэра Вальтера Скотта ("Айвенго", увы, он обронил в ручей, но и другие романы были восхитительны). Школьная история была столь же сухой и безвкусной, как песок на зубах: сплошные места и даты и ни одного человеческого лица; это пробуждало воображение не больше пресловутого уравнения квадрата суммы.

И вот, в том же 1873 году, наступил памятный для него день, когда его парижский дядюшка Мишель Конан прислал небольшого формата книжицу с золотым обрезом. Называлась она "Баллады Древнего Рима" некоего лорда Маколея. Он открыл книгу — и словно солнце во всем своем блеске взошло для него:

Ларс Порсена Клузиумский
Девятью богами клялся,
Что великий дом Тарквиния
Не претерпит больше бедствий,
Девятью богами клялся
И назначил день для встречи...

Он был захвачен потоком звонких строчек, напором ясных, как солнеч-

ный день, картин, возникшим в нем самом желанием во весь голос приветствовать неустрашимую троицу, что удерживала мост. Одна строфа приковала его внимание :

Что лучше для мужчины,
Чем смерть от рук врагов
За отчие могилы,
Святилища богов?

В этих простых словах нашел он то, что искал давно. Они как нельзя лучше отвечали тому духу, который прививала ему матушка в Эдинбурге задолго до того, как он достиг школьного возраста.

И вот теперь знакомство с Маколеем потрясло его. Он жаждал еще его книг и открыл для себя "Опыты" — миниатюрные исторические сцены и незаконченную "Историю Англии". Это явилось для Артура новым откровением — сама история оживала. Безусловно, это был рыцарский роман, но в то же время и подлинные исторические факты. "Опыты", от строки к строке, вызывали у него какое-то смутное, непонятное самому, но приятное волнение. Короткие, острые фразы, ясное повествование; а потом — пространные периоды, разливающиеся в богатой риторике, чтобы оборваться вдруг, словно под щелчком кнута. Был ли когда-нибудь писатель, равный ему?

В таком настроении встречал он Рождество 1874 года, а с ним и крупнейшее событие в его школьной жизни. Тетушка Аннет, сестра отца, пригласила его на три недели в Лондон, а показать ему город взялся дядюшка.

Рука его дрожала от волнения, когда он писал тетушке с дядюшкой о последних приготовлениях к отъезду. Стоял 14-градусный мороз; но никакой гололед, никакие снежные заносы не могли помешать ему со всем своим скарбом добраться до ближайшей железнодорожной станции. Боялся он лишь одного — что они его при встрече не узнают.

"Трудно описывать самого себя, — сообщал пятнадцатилетний юноша, — но знаю, что во мне 5 футов 9 дюймов роста, я в меру упитан, одежда темная и, главное, на шее ослепительно красный шарф".

Наконец, все дорожные треволнения позади, он прибыл на вокзал Юстон. Тетушка Аннет, величественная дама средних лет, без труда опознала красный шарф. Поселили его в студии дядюшки Дика на Финборо-роуд, которую тетушка Аннет сняла на время, пока их собственный дом на Кембридж-террас отделывался наново. Он уже отогревался чаем вдвоем с тетушкой в уютной светлой студии с бордюром из эльфов по стенам, когда туда влетел дядюшка Дик: совсем полысевший, но все такой же приветливый и неизменно щедрый на карманные деньги.

Эти три лондонские недели глубоко запали в душу Артура. Два раза он ходил в театр с дядюшкой Джеймсом — человеком с впечатляющей внешностью, с бородой почти до самых глаз, — и оба раза они занимали отдельную ложу. Сначала это был Лицеум, куда они пошли смотреть Генри Ирвинга в роли Гамлета.

"Спектакль, — писал Артур матушке, — идет уже три месяца, и все равно каждый вечер зал набит битком желающими увидеть игру Ир-

винга. Ирвинг очень юн и строен, с черными пронзительными глазами, и играет великолепно".

Величавые колонны Лицеума, проступающие сквозь пелену тумана в свете газовых фонарей, беспорядочно разбросанные по площади черные кебы и кареты, увязшие колесами на шесть дюймов в подмерзшей грязи, толпы зрителей — вот привычная картина театрального разъезда. В Хеймаркете все уже показалось Артуру не так замечательно, возможно, отчасти потому, что он уже видел эту постановку в Эдинбурге. Но, впрочем, комедия ему понравилась, и в общем он остался очень доволен. Речь шла о пьесе Тома Тейлора "Наш американский кузен". Артур тогда даже представить себе не мог, при каких трагических обстоятельствах игралась она менее десяти лет назад в театре Форда в Вашингтоне, когда в правительственной ложе был застрелен президент Линкольн.

Но вернемся к Артуру: перед ним простирался могучий город. Первым делом, никому не сказавшись, отправился он в Вестминстер. Он осмотрел все достопримечательности, от собора Св. Павла до Тауэра, где его поразило собрание "67 тыс. ружей и огромного числа сабель и штыков" — о мощь и сила Британской империи! — "а также дыбы, "пальцедавки" и другие орудия пыток".

Тетушка Джейн, жена дяди Генри, понравилась ему еще больше, чем тетушка Аннет. Дядя Генри повел его в Кристал-пэлэс * дядя Дик — в цирк Хенглера, с приятелем из Стонихерста он ходил в зоопарк, где тюлень целовался со служителем. Восхитительным, рассказывал он матушке, был поход в Музей восковых фигур мадам Тюссо. "Я был очарован комнатой ужасов и муляжами убийц".

Любопытно отметить, что Музей мадам Тюссо в то время, да и в последующие десять лет, находился на Бейкер-стрит.

В Стонихерсте уже маячил устрашающий призрак выпускных экзаменов, но Артура согревала мысль об исполненной им таинственной миссии. Его вожделенная мечта и цель поездки в Лондон достигнута. И об этом никто, ни единая душа не догадывается. И хотя, конечно, он был преисполнен благодарности тете и дяде за царский прием, — но и под страхом смерти он не согласился бы рассказать им об этом. Это могло показаться глупостью или ребячеством, даже матушка не поняла бы его. Но он свершил, что замыслил. Он побывал-таки в Вестминстере и почтил прах Маколея.

Но на душе у него скребли кошки: пока он развлекался в Лондоне, дома его матери приходилось экономить каждый пенс и обходиться без самого насущного. На нее легли заботы о новорожденном братике Иннесе, появившемся на свет в 1873 году. Артур поздравил тогда матушку из деликатности по-французски.

Единственное, что он мог сделать для нее сейчас, в этот последний год в Стонихерсте, — это учиться и учиться, пока голова не распухнет, чтобы выдержать выпускные экзамены. Тот, кто выдерживал выпускные испытания, автоматически допускался к вступительным экзаменам

---

* Кристал-пэлэс — выставочный павильон из стекла и чугуна. Построен в 1851 г. для "Великой выставки"; сгорел в 1936 г.

в Лондонский университет. Но стоило провалить хоть один из предметов — и ты лишался всего.

Чем ближе было лето, тем непреодолимей казались испытания. Артур, что называется, "сдрейфил". "Мне кажется, попади я на лондонский экзамен, я бы выдержал его, — писал он, — но здешнее жуткое судилище приводит меня в настоящий ужас". Он опасался, по всей видимости, какой-нибудь макиавеллиевской хитрости преподавателей. В последний год, когда он проявил свои поэтические способности и стал издавать школьный журнал, ему показалось, что отцы-иезуиты были немало удивлены, обнаружив в нем признаки дарования. Он-то был убежден, что его не любят и не уважают.

Однако, сколько можно судить из переписки его матушки с преподавателями, он заблуждался на их счет. Да, они прекрасно видели его свирепое упрямство: стоило ему только помыслить, что его собираются запугать, как он нарочно совершал какой-нибудь проступок, чтобы, претерпев самое суровое наказание, дерзко взглянуть им в глаза. Но учителя все же любили его и отличали его способности. Его даже с особым умыслом поместили в немецкий класс герра Баумгартена со специальной программой обучения.

В ту ненастную весну перед экзаменами, когда редко удавалось выйти на улицу, Артур утешался Маколеем. Раскаты его голоса не услаждали слуха папы, размышлял Артур. И правда, становилось все очевидней, что Маколей (при безупречной почтительности) не очень-то жаловал папу. Артура — доброго католика — это не могло не смущать.

Веру и обязанности верующего он всегда принимал беспрекословно. Это была вера его предков, и задумываться или тем более сомневаться в ней было так же нелепо, как ставить под сомнение некую сакральную таблицу умножения. Надо всем возвышались красота и величие веры, составлявшие частицу его жизни. Лишь однажды был он обескуражен громогласным заявлением ирландского священника, что всякому некатолику предстоит гореть в аду.

Пророчество потрясло его. Никогда прежде не задумывавшийся над этим, он решил, что тут явная ошибка. Но никакой ошибки, по крайней мере для отцов-иезуитов, не было. И его одолевали видения корчащихся в аду ученых, солдат, государственных деятелей — всех тех, о ком доводилось ему читать. И каким утешением для него и вместе с тем новой причиной для сомнений было узнать, что его непреклонная, романтически настроенная мать на удивление легко относилась к подобному витийству.

"Носи фланелевое исподнее, мой мальчик, — говорила она, — и не думай о вечных муках".

Между тем вселявшая ужас экзаменационная сессия началась и прошла для него успешно. И тогда вместе с тринадцатью своими соучениками явился он, дрожа от усердия, на лондонский экзамен. Конверт с результатами прибыл из Лондона ярким июльским днем и был препровожден в кабинет ректора. Четверть часа мальчишки в ожидании сообщений, грызя ногти, соблюдали тишину. Но больше терпеть они не могли. Вот как описывал происходящее Артур:

"Распахнув двери рекреационной залы, глухие к окрикам старших, мы устремились на галерею, вверх по лестнице и оттуда по коридору к кабинету ректора. Нас было человек 40—50, не только сами испытуемые, но и многие из тех, у кого отличились братья или родственники. Мы столпились у дверей, толкаясь и галдя. Дверь отворилась, и мы увидели ректора, размахивающего над головой конвертом".

Всеми овладело ощущение эпичности происходящего; в подобные минуты жизни всякий испытывает нечто сходное, но, как видно, в те времена, в 1875 году, даже классные наставники были много эмоциональней.

"Тотчас же дикие крики восторга огласили галерею, десятки платков взвились в воздух, потому что мы уже понимали, что известия нас ожидают добрые. Когда шум понемногу утих, старый, убеленный сединой наставник, отвечавший за учебный процесс, взобрался на стул и объявил, что из 14 кандидатов экзамен выдержали 13 — наилучший результат с тех пор, как Стонихерст стал Стонихерстом".

Единственным провалившимся был не Артур Конан Дойл. Он, наоборот, не только прошел испытания, но и получил почетный диплом, чем сам был поражен не меньше других. А еще через несколько дней его навестил отец Пабрик.

— Как ты относишься к тому, — начал отец Пабрик, — чтобы остаться еще на год?

— Сэр?..

— Нет, не у нас. Не хочешь ли ты поехать за границу? В Фелдкирхе, в западной Австрии, недалеко от Швейцарии, есть большая школа.

— За границу, сэр? Да, сэр! Зачем, сэр?

— Дело в том, что для философии ты еще слишком юн. Год в Фелдкирхе послужит тебе для завершения образования, не говоря уже о совершенствовании в немецком, а тем временем ты решишь, что собираешься делать в будущем. Я напишу об этом твоим родителям, если ты считаешь, что они не будут возражать.

И вот осенью, одетый в новый твидовый костюм, как всегда, гладко зачесав волосы под кепку с небольшим козырьком, забросив за спину свой сундучок, вступил он в мир. Дома при прощании прослезились, сам он держался сдержанно и твердо, как скала, дав волю переполнявшим его чувствам только в дороге.

Городок Фелдкирх лежал в зеленой долине, омываемой рекой Илл, среди сумрачных, поросших елями склонов тающих в облаках гор. Там, в вышине, на высоте шести тысяч футов нависал Арльбергский проход, пограничный ключевой пункт Тироля с запада. Средневековая крепость главенствовала над городом и над массивным зданием иезуитской школы. Здесь Артура ждала гораздо менее строгая дисциплина, чем в Стонихерсте: в дортуарах — "искусственное" отопление, еда отличная, пиво отменное. Обучались здесь в основном юноши из немецких католических семей и несколько, человек 20, англичан и ирландцев. Артур сразу всем пришелся по нраву.

По-немецки он уже говорил бегло, хотя и немного беспорядочно. На обязательных прогулках, когда ученики шли по трое в ряд — англичанин

между двумя немцами, — он с упоением погружался в немецкую речь. По три часа кряду рассказывал он немцам о непобедимости Британского флота. Не забывал прославить Стонихерст, а в качестве "развлекательной программы" расписывал, как капитан Уэбб (ein Englander) переплыл Ла-Манш.

Но самое замечательное, что он принял участие в школьном оркестре, избрав самую большую валторну, какую только можно себе представить. Инструмент этот напоминал орудие современной осадной артиллерии: дважды обвивая Артура вокруг тела, он при умелом обращении издавал "трубный глас" Судного дня.

"На мне фуражка военного оркестранта, — объяснял он, посылая домой фотографию, — и я повязал тот самый галстук (его давнишнее пристрастие), что вы купили мне на Кокберн-стрит". Что же касается "Бомбардона" — того самого инструмента, — то "дуть в него, — уверял он, — прекрасное упражнение для легких". У нас нет свидетельств тех, кому приходилось слышать эти его "упражнения".

Не имея ни средств, ни возможности повидаться со своим парижским дядюшкой Мишелем Конаном, он послал ему по почте целую связку своих стихотворений, написанных в Стонихерсте. Старый критик, шевеля губами, проштудировал каждое слово. Под Рождество, когда в Австрийских Альпах горы при вспышках молний становятся похожими на облака, Чарльз и Мэри Дойлы получили письмо от дядюшки Конана.

"Не может быть сомнений в его способностях на этом поприще, — гласило послание. — Во всех тех случаях, когда он во власти подлинного вдохновения, я находил пассажи, отличающиеся первозданной свежестью и изысканностью образов. Мне кажется, он в прекрасном состоянии духа. Его "Фелдкирхская газета" сулит много, и мне сдается, она принадлежит ему одному от начала и до конца".

Догадка была абсолютно верной. Но сочинение "Фелдкирхской газеты" или таких стихотворений, как "Взбешенный извозчик" или "Прощание Фигаро", осталось лишь школьной забавой. Дома уже было решено, что после Фелдкирха ему следует поступить в Эдинбургский университет изучать медицину.

Идея принадлежала матери; Эдинбург славился на весь мир своим медицинским факультетом и, кроме того, Артур сможет жить дома. На эту мысль мать натолкнул старинный друг дома доктор Брайан Чарльз Уоллер; человек образованный и добросердечный, агностик по убеждениям, он глубоко заинтересовался юношей и в течение нескольких лет имел на него сильное влияние.

Самого Артура, похоже, мало заботило, какой путь в жизни избрать. Пусть на этом пути его ждало больше науки, чем хотелось бы (почему нельзя процесс познания сделать таким же увлекательным, как у Жюля Верна?), хотя та "наука", с которой он сталкивался на лекциях мистера Лиркома в Стонихерсте, была для него настоящим бедствием. Но таково было желание матушки — и точка. К тому же в профессии врача может оказаться много привлекательного. Заманчиво было бы в один прекрасный день важно прошествовать в, цилиндре к постели больного и, скло-

нив голову, выслушивать жалобы, а затем — кратко, без лишних слов — объявить свой диагноз, который потрясет всех собравшихся и исторгнет слезы благодарности.

И вот, улучая часы между коньками и санками, он действительно серьезно взялся за науки. Доктор Уоллер снабжал его учебниками по химии и вселяющей ужас геометрии с параболами и эллипсами. И никакой беллетристики, если только в ней нельзя почерпнуть практических знаний.

Но ведь тут, совсем рядом, на Арльбергском перевале были повержены юные наполеоновские орлы, когда австрийцы отбросили Массена и Удино. Артур стал изучать историю наполеоновских походов, делясь своими размышлениями в письмах к домашним.

Была одна книга, случайно подвернувшаяся вне программы самосовершенствования, которая могла бы сбить с пути всякого менее упорного. Мало сказать, что эта книга произвела на него большое впечатление — она влила в него мощный заряд энергии. Позднее он признавал, что ни один писатель, кроме Маколея и Скотта, так не отвечал его вкусам и литературным пристрастиям, как Эдгар Аллан По — о нем-то и идет речь. А первым прочитанным им рассказом По был "Золотой жук".

Между тем в непритязательной атмосфере Фелдкирха, среди аборигенов, как их называл Артур, все шло своим чередом: наступала весна 1876 года и вместе с оттепелью пришел конец конькам. Но весна здесь сопровождалась такими непрерывными дождями, что Артур имел все основания превозносить перед своими немецкими друзьями английский климат. И вдруг в одну ночь все переменилось: наступило знойное лето и долина огласилась лягушачьим кваканьем. Теперь в качестве упражнения они проделывали с альпенштоками на плечах, распевая немецкие песни, пешком по 42 мили за 14 часов.

Покинуть Фелдкирх ему предстояло в конце июня. По приезде же в Эдинбург он надеялся заслужить стипендию, назначаемую в шотландских университетах; ведь, считал он без ложной скромности, сумеет же он отличиться, хотя бы по химии. А теперь, по его расчетам, благодаря экономичной организации конторы Кука, ему удастся по дороге домой проделать целое европейское турне и посетить в Париже дядюшку Мишеля Конана, — и все это за весьма скромную сумму в пять фунтов стерлингов.

Так, с учебником о конических сечениях в руках, Эдгаром По в голове и двухпенсовой монетой в кармане, добрался он жарким летним днем до Парижа. Проделав долгий и пыльный путь по городу, он застал дядю Конана в садике на задах дома № 65 по Авеню-Ваграм. Он знал, что здесь, в этом широколицем человеке с закатанными рукавами, седой курчавой бородой, с дерзким взглядом прищуренных глаз и воинственными вихрами волос на висках, человеке, смахивающем на своего собственного предка — ирландского вождя из герцогского рода Бретани, — он найдет себе друга.

Так же, как Мэри Фоли, он разжигал в юноше родовую спесь.

Знатного происхождения сам, он умел уважать это в других. Он, для кого слова были фейерверком, мог понять и преклонение племян-

ника перед столь несхожими авторитетами, как Маколей и По. Пристукивая кулаком по столу, разбирал он их достоинства: все же этот правоверный виг, говаривал он, гнусно перевирал факты, а американца, при всем его мастерстве, нельзя было ближе, чем на милю, подпускать к бутылке бренди.

С дядюшкой Конаном и его миниатюрной женой, тетушкой Сюзан, Артур провел несколько славных недель в Париже. Воспитание, происхождение, инстинкты — все влекло его к Франции; Франция его зачаровывала. Они проводили много времени в саду; дядюшка, при его могучем телосложении, был слаб ногами, не мог обходиться без помощи жены. Там, в саду, в сумерках, за несколько дней до отъезда Артура домой, дядюшка Конан завел с ним разговор напрямик.

— Твоя медицинская карьера... — Косматые брови сдвинуты. — Это пять, ну, пусть четыре года. Не будет ли это слишком тяжело для отца с матерью?

— Да, сэр. Но если я заслужу стипендию, мне говорили, это значительно перекроет расходы. А тогда, понимаете (во всяком случае, так объяснял доктор Уоллер), можно поступить ассистентом к врачу и немного подзаработать, не прерывая учебы.

— Ты хочешь быть врачом?

— Сэр?..

— Я спрашиваю, ты хочешь быть врачом?

Конечно, в каком-то смысле можно было сказать, что он хотел быть врачом. Во всяком случае, не было ничего другого, чем бы он хотел заниматься или к чему бы испытывал склонность. Он умеет упорно трудиться, что ж, Бог в помощь! Из волшебного Парижа, от цветущих в каштановых кронах уличных фонарей уносится он душой в город посуровее: к своей сероглазой и подслеповатой матушке, к сестрам, трехлетнему брату, отцу, высокой, но согбенной тенью маячащему где-то на заднем плане. И хотя он этого не осознавал, пришел конец его детству.

Да, решил он, изучать медицину — дело хорошее.



ГЛАВА III
ПРИКЛЮЧЕНИЯ: МЯТЕЖНЫЙ ДУХ

Молодой доктор Конан Дойл, проживающий по адресу: Буш-виллас, 1, Илм-гроув, Саутси, крадется под покровом темноты к ограде своего дома, чтобы протереть медную табличку у входа.

Соседи ни в коем случае не должны догадаться, что он не в состоянии содержать прислугу, тем более в столь фешенебельном пригороде Портсмута. Дом, которым он так гордился, выстроенный в три узких этажа из красного кирпича, стоял на оживленной улице, недалеко от пересечения с Лардж-роуд, Кингс-роуд и Парк-стрит. Но сейчас, после полуночи, едва ли кто-нибудь мог застать его за указанным занятием. Вообще профессиональная репутация доктора Конан Дойла была безупречной, если не считать того случая, когда он в первый же портсмутский день ввязался в драку с моряком, который не слишком галантно лупил свою жену, а потом стал его пациентом.

Если бы случайный прохожий оказался там в ту сентябрьскую

ночь 1882 года, он мог бы увидеть высокую, шести футов двух дюймов роста, фигуру во фраке, казавшуюся еще внушительней оттого, что в плотном, тренированном теле на 95 с лишним килограммов веса не было ни единого грамма жирка. Поверх крахмального воротничка и галстука на вас глядело широкое, моложавое, серьезное лицо; волосы расчесаны посредине на пробор, длинные бакенбарды и пока еще едва наметившаяся полосочка усов.

Много воды утекло с той осени 1876 года, когда неловким юношей поступил Артур в Эдинбургский университет и свободные вечера посвящал чтению вслух рассказов Эдгара По, заставляя домашних цепенеть от ужаса. Он заслужил стипендию, но по чисто чиновничьей оплошности денег не получил. Пройдя уже двухлетний курс медицины, он решил уплотнить годичную программу до полугода, и тогда в освободившееся время мог бы пойти ассистентом к какому-нибудь врачу, чтобы немного приработать для поддержки семейного бюджета.

В Эдинбургском университете практически не было того, что зовется студенческой жизнью в Оксфорде или Кембридже. Студенты снимали квартиры или, как Артур, жили в своей семье. Внеся плату за курс, они посещали лекции того или иного преподавателя по своему выбору, и на этом общение между преподавателями и студентами кончалось. И когда во время каникул 1877 года Артур встретил на острове Арран самого доктора Белла, он был немало удивлен, ибо не мог вообразить, что такой строгий ученый может предаваться отдыху.

Но не с одним доктором Беллом — в унылых аудиториях ждала его встреча с целой вереницей профессоров, каждый, как водится, со своими причудами, что так скрашивает студенческую жизнь. Среди них был сэр Чарльз Уайвилл Томсон, зоолог, избороздивший на деревянном корвете "Челленджер" все моря и океаны в поисках неизвестных форм животной жизни. И коротышка профессор Резерфорд с черной бородой ассирийца и зычным голосом; раскаты его голоса прокатывались по коридорам впереди профессора, который начинал свою лекцию, еще даже не войдя в аудиторию. Но всех более, возможно благодаря его доброте и мягкости, запомнился Артуру тот самый Джозеф Белл, о котором вскоре заговорил мир.

Этот добродушный человек, ничуть не похожий на легендарную личность, в ту пору разменял уже четвертый десяток. Приправляя свои дедуктические опыты свойственным ему бесстрастным юмором, он втолковывал студентам, что при установлении диагноза нужно пустить в ход и голову, и руки, и глаза, и уши.

Худой, с очень ловкими руками, с копной черных волос, щеточкой торчащих на голове, сидел он за столом в просторном помещении в окружении студентов и фельдшеров. В обязанности Артура входило приглашать пациентов.

"Этот человек, — объявлял доктор Белл с густым шотландским акцентом, — сапожник —левша". Здесь он умолкал, тщательно стараясь не выдать своего веселья при виде озадаченных зрителей.

"Вы, господа, несомненно, заметили потертости на его вельветовых штанах в тех самых местах, где сапожники зажимают колодку.

Правая сторона гора-аздо более потертая, чем левая. Левой рукой он забивает гвоздики в подошву".

Или так, соединив кончики пальцев:

"Этот человек занимается полировкой мебели, — и широко раскрывая и выкатывая глаза: — Ну же. Да приню-ю-хайтесь к нему".

И тон, и взгляд вызывали у студентов глупую ухмылку. Доктор Белл, которого все называли Джо, жил на Мелвилл-кресчент, в сохранившемся по сей день доме с красивой резной террасой.

В то время он и не помышлял о применении своего дедуктивного метода в криминальном деле, хотя мы знаем, что пятнадцать лет спустя он пытался раскрыть Ардламонтскую тайну. Он был врачом, расследующим недуг.

"Тренированный глаз! — говаривал он. — Только и всего".

Однако у Артура, целиком отдавшегося занятиям, не было в голове такой ясности и простоты. Помимо занятий он все время читал: книги, которые ему давал доктор Уоллер, книги из библиотеки, книги дешевой двухпенсовой серии. Между книгой и пищей он отдавал предпочтение книге.

Среди буйных студентов, кичащихся взрослым цинизмом и боготворивших профессора Хаксли, витал дух насмешки над традиционной геологией. Да и воздух всей Британии был пропитан этим. Артур вдыхал его в проспиртованных анатомичках, где человеческое тело едва ли наводило на мысль об обители Святого Духа. Попыхивая трубкой с янтарным мундштуком, купленной в Стонихерсте, он оглядывался на прошлое, и многое из того, что тогда, в Стонихерсте, смущало его, представлялось теперь просто-таки смехотворным. И не только в католичестве — во всякой религии.

Доктор Уоллер, друг семьи и пламенный агностик, поощрял искания Артура под углом зрения, очень тому понятным. Доктор подытожил их в одном письме, процитировав для начала из Эмерсона о вере в свои силы.

"Здесь, — писал он, — мы указываем на несостоятельность слепой, несамостоятельной веры в гипотетическое Провидение, которое призвано помочь тем, кто не может или не хочет помочь себе сам. Верней и благородней учит старинное изречение: "Небеса помогают тем, кто помогает себе сам". Такую мужественную внутреннюю жизнь теология не сможет погубить, убеждая нас в нашей порочности, греховности и падении, — что есть смертоносная ложь, под корень подсекающая все лучшее в нашей природе, ибо лиши человека самоуважения, и ты толкнешь его на путь превращения в труса и подлеца".

И под конец отчеканил мысль, столь притягательную для его юного друга: "Делать" — слово гораздо красивее, чем "Верить", а "Деяния" — девиз много надежней, чем "Вера".

Деяния! Именно деяния! В начале лета 1878 года Артур пытался помочь своей семье, нанявшись учеником и фармацевтом к доктору из беднейшего квартала Шеффилда. Даже если поначалу он ничего не заработает, то, по крайней мере, сможет избавить мать от забот по его содержанию.

Однако результат оказался плачевным. У него было так мало навыков и опыта — пожалуй, в аптеке от него было не больше пользы, чем от дрессированного медведя, — что через три недели они с доктором Ричардсоном посчитали за лучшее расстаться. И хотя позднее это происшествие его только веселило, тогда ему было не до смеха.

"Шеффилдцы, — писал он раздраженно, — предпочтут принять отраву из рук человека с бородой, чем спасение из рук безбородого".

Прошло всего три недели, а до осеннего семестра оставались месяцы! Спешно отправившись в Лондон, он помещает в медицинские газеты еще одно объявление с предложением своих услуг. Тетушка Джейн, дядюшка Генри и дядюшка Джеймс пригласили его к себе на Клифтон-гарденс, хотя теперь он казался им каким-то чужим. В ожидании отклика на свое объявление он утрами занимался, а затем бродил по городу. В свете газовых фонарей ему открывались картины, далекие от академизма.

"Они выдумали, — писал он, — дикость, прозванную "Дамским пугачом". Это свинцовая бутылочка вроде тюбика для краски, наполненная водой. Если ее сжать, вылетает струя воды, и развлечение состоит в том, чтобы бродить вечерами по улицам и прыскать встречным, мужчинам и женщинам, в лицо. Все вооружены такими штуками, и всем достается. Я видел дам, выходивших из экипажей насквозь промокшими и, похоже, не слишком раздосадованными".

Такая популярность простой "брызгалки" — любопытная подробность, проливающая свет на викторианские забавы, — говорит о завидной выдержке дам.

Артур не имел вкуса к подобным забавам. Неделя проходила за неделей, ответа на объявление не было, от стал впадать в отчаяние и решился поступить врачом во флот. Он уже растолковал своим дядюшкам и тетушкам все выгоды такого шага, как вдруг некий доктор Эллиот из деревни Рейтон в Шропшире пожелал воспользоваться его услугами.

В Рейтоне работа пошла успешнее, он даже сам справился с одним опасным случаем и приобрел навыки в повседневных обязанностях. Одно лишь беспокоило его, как он несколько наивно признавался: повышенная вспыльчивость самого доктора Эллиота. Доктор Эллиот, "с виду джентльмен как джентльмен", не мог принять ни одной оригинальной мысли и мгновенно выходил из себя, если при нем, пусть даже вскользь, роняли что-либо эдакое.

— Мне кажется, доктор Эллиот, было бы славно, если бы отменили высшую меру наказания.

— Сэр, — багровел доктор Эллиот. — Я не позволю говорить подобные вещи в моем доме! Вы поняли меня, сэр?

— Но сэр, — тотчас же взвивается его помощник, не потрудившись поинтересоваться, в чем же состоит неуместность его высказывания, — я выражаю свое мнение, где хочу и когда хочу.

В конце октября Артуру нужно было возвращаться к своим занятиям. Ему не приходилось ожидать какого-либо вознаграждения от доктора Эллиота, ибо это не было оговорено. И все же, проработав четыре месяца, он в глубине души надеялся на некоторый благородный

жест с его стороны. Тщетно. Тогда, собравшись духом, он спросил, не могут ли ему быть выплачены дорожные расходы.

— Дорогой друг, — ответил доктор Эллиот, человек деловой, — таковы правила: если ассистент состоит на жалованьи, он правомочен требовать оплаты расходов. Но если жалованье не положено, то он всего лишь джентльмен, путешествующий в своих собственных интересах; он не получает ничего.

Итак, Артур возвратился к зимним занятиям готовый поклясться, что труд ассистента — самое изнурительное, неблагодарное и недоходное дело на свете. В Эдинбурге был хотя бы спорт. При столь массивным сложении он был легок в движениях, как кошка. Ему было достаточно беглых наставлений, чтобы стать стремительным форвардом в регби и первоклассным боксером. Бокс ему был больше по душе; бокс и регби сблизили его со студентом по имени Бадд — полугением, полупсихом, чьи дикие шутки веселили его, как мог бы развлечь, скажем, цирк. Между тем дома складывалась ситуация поистине отчаянная. Здоровье отца было подорвано. Чарльз Дойл, уже к середине жизни состарившийся и немощный, не менее двух раз в неделю не мог подняться с постели. В Министерстве общественных работ только неодобрительно вздымали брови по поводу его нетрудоспособности — и это после тридцатилетней службы.

Артур забеспокоился о матушке. (С тех пор как он стал жить на свои деньги, он обращался к ней уже не "мама" и не "мать", а именно "матушка" — звание, которое эта дородная леди носила с достоинством, словно почетный знак.) Впервые в жизни матушка была в панике. И когда на следующее лето Артуру подвернулась настоящая ассистентская работа — два фунта в месяц, — он жадно за нее ухватился.

И тогда, к своему удовольствию, он встретился с доктором Реджинальдом Ретклиффом Хором, Клифтон-Хаус, Эстон-роуд, Бирмингем. Доктор Хор был тучный, добродушный, краснолицый человек, суетливый и суматошный. Хотя он занимал лишь скромный кирпичный дом на улице, где стоял несмолкаемый грохот конок, у него была огромная практика среди бедняков, и размер его гонорара поразил юного ассистента. Доктор Хор требовал неустанной работы с девяти утра до девяти вечера, но требовал так доброжелательно, что это даже нравилось. Миссис Хор была маленькой и тоже очень приветливой женщиной, любившей выкурить сигару вечером, когда Артур с доктором посасывали свои трубки. Но два фунта в месяц было не бог весть что.

Его грызли и другие сомнения. Что его ожидает в будущем, когда он получит диплом медика? Он так и не добрался до сути им исповедуемой религии. А суть эта, как он сейчас видит, устрашающая.

Веками его семья была не просто католической, но католической самого крайнего толка. Дядюшка Дик, казалось, вполне беспечный и легкомысленный, не колеблясь ни минуты, бросил работу, приносившую ему 800 фунтов в год, когда "Панч" позволил себе выставить папу в смешном виде. Артуру было легко вообразить тетушку Аннет на Кембридж-террас, величественно запахнувшуюся в шаль, и дядюшку Джеймса, и дядюшку Генри. Они более чем прозрачно намекали, что,

стоит ему заняться собственной практикой (в Лондоне, разумеется), и, благодаря католическим связям, недостатка в пациентах не будет.

В Боге — в смысле некоторой Руководящей Силы — он ни разу не усомнился. Но эта вечная свара, и скудоумие, и резня вокруг "церкви"! Будто церковь не стоит выше всего этого. Вообще, если его убеждения искренни, ему следует обо всем поведать родственникам.

Однажды вечером в Бирмингеме, когда он, поглощенный подобными думами, приготавливал 60 с лишним пузырьков с лекарствами, к нему вдруг влетел герр Глайвиц и отозвал его в сторону. Герр Глайвиц, с европейским именем специалист по арабскому и санскриту, был вынужден, чтобы прокормить детей, давать уроки немецкого; миссис Хор была его единственной ученицей. Сейчас по щекам его текли слезы. Он дошел до точки, так он сказал; семья голодает; не может ли мистер Конан Дойл выручить его деньгами?

У мистера Конан Дойла в кармане было ровно полтора шиллинга. Но Глайвиц рыдал, он действительно нуждался в помощи — и тогда...

— Вот, смотрите, — выпалил ассистент, протягивая часы и цепочку, — это все, что я могу сделать. Возьмите часы с цепочкой и толкните их.

— Толкнуть?

— Загоните! Это хорошие часы. И не спорьте! — смущенный возражениями немца, он углубился в приготовление лекарств, уже отчасти сожалея о своем внезапном движении, но убеждая себя, что только так и мог поступить всякий мало-мальски порядочный человек.

Но вскоре подавленность сменилась ликованием. Весной просто так, чтобы проверить свои силы, он написал короткий рассказ "Тайна Сасасской долины". В основе его лежало кафирское верование в демона с огненными глазами, которые, когда герой увидел их вблизи, оказались шлифованной каменной солью. Сейчас ему сообщалось, что журнал "Чемберс" принял его к печати и предлагает гонорар в три гинеи. Позднее, прочитав в октябрьском номере за 1879 год свой рассказ, он был страшно разочарован. Вся его "чертовщина" была вырезана.

А пока, изумленный и вдохновленный, он быстро состряпал еще несколько рассказов. В одном из них, названном "Призрак Мызы Горесторп", видно, как он упивался комическим и ужасным в одно и то же время. Все эти произведения, за исключением "Американского рассказа", были "с сожалением" возвращены редакцией, в них сильно ощущалось влияние Брет Гарта. Ему казалось, что в том, что он считал литературой, он нашел свою, пусть скромную, но очень верную тропу. В то же время он писал матушке:

"Я все более и более подумываю о карьере корабельного врача. Я всегда говорил, что должен наперед твердо знать, что мне предстоит делать, прежде чем ступить на тот или иной путь".

Но позвольте тут заметить, что именно этого о нем не скажешь. В следующих строках письма он с жаром говорит о желании наняться корабельным врачом на один из южноамериканских лайнеров. Его охватило неодолимое смятение, жажда сей же час разбить ту медицинскую реторту, в которую он себя запаял. И поэтому ему показалось просто чудом, что в самом начале нового года его друг Клод Аугустус Куррье

как раз и предложил ему место на корабле, которое сам занять не мог. Не хочет ли он в должности врача отправиться на семь месяцев к берегам Арктики охотиться на тюленей и китов? Доход, включая жалованье и другие деньги, составит 50 фунтов.

50 фунтов! 50 фунтов для матушки! И за что!

Когда в конце февраля 1880 года шестисоттонное паровое китобойное судно "Надежда" отчаливало в Петерхеде, Артур был на его борту. В первый же вечер он повздорил со стюардом и, засветив ему фонарь под глазом, снискал всеобщее уважение. В четырех днях ходу от Шетландов уже слышался скрежет льда о борт "Надежды"; в сотне миль от Гренландии стали видны ледяные торосы. К этому времени относится его юношески грубоватое самоописание — быть может, чтобы подразнить матушку — в виде эдакого насмешливого верзилы, весь день проохотившегося во льдах на тюленей, перепачканного снегом и кровью, с мотком веревки через плечо и окровавленным ножом и кайлом в руках. Видно, даже дышал он с наслаждением.

"До сей поры я просто не представлял себе, что значит быть абсолютно здоровым, — писал он. — Я чувствую, что могу отправиться куда угодно и делать что угодно".

Миновав Шпицберген и уходя далее на север в неестественном освещении нескончаемого дня, суденышко рыскало в поисках китов. Сидя на веслах шлюпа, Артур слышал гудение гарпуна и свист разматывавшегося линя, грозящего в любой момент смести его за борт; он ощутил вкус опасности и наслаждался этим, как спортсмен. Путешествие даже показалось ему недостаточно долгим. В начале сентября, получив свои деньги, которыми можно было теперь осыпать матушку, он вернулся в Эдинбург окончательно возмужавшим.

В 1881 году он закончил свое медицинское образование, правда, не без трепета перед экзаменами, долгой зубрежки и еще одного сезона ассистентом у доктора Хора. Все это осложнялось его склонностью, правда, до сих пор не выходившей за рамки приличий: влюбляться в каждую встреченную девушку.

Говоря точнее, он был влюблен в пятерых одновременно. У него не было дурных намерений, оправдывался он ("Еще не хватало!" — возмущалась матушка); однако и жениться на всех пятерых представлялось маловероятным, что приводило его "в жалчайшее состояние и совершенно лишало духа". Среди его пассий была, например, некая мисс Джефферс. "Милашка с глазками-буравчиками, — воспевал он ее, быть может, не слишком поэтично, — которая взбаламутила мою душу до самого дна". Вообще матушка относилась к этим славословиям с невозмутимостью, как и заслуживали того восторги впечатлительного юноши, гостящего золотым летом у своих лисморских родственников. Но по поводу одной девушки матушкино шестое чувство навевало ей самые мрачные мысли.

"Боже милостивый! — восклицал он. — Что за прелесть мисс Элмо Уэлден. Мы уже целую неделю флиртуем, так что все на мази".

Не всякий трубадур Замка Любви рискнул бы назвать мисс Уэлден сильфидой: весила она семьдесят килограммов. Но ее ирландские смуг-

лые черты, млеющий взор, томная немощность, подчас оборачивающаяся нервическими бурями, — все это пленяло ее рослого воздыхателя, носящего за ней зонтик от солнца. Их роман продолжался и на расстоянии (у него хранилась ее фотография, вделанная в бархатную рамку), когда он получал диплом бакалавра медицины и магистра хирургии.

Однако перспективы перед ним открывались весьма туманные. Его необузданный друг Бадд — теперь уже доктор Бадд, — скоропалительно женившийся еще в студенческие годы, основал практику в Бристоле и обанкротился. Артур поспешил туда, получив срочную телеграмму; его коренастый приятель — обладатель желтых волос и тяжелой челюсти — сперва намекал ему, что друг мог бы выручить его деньгами, а затем, когда Артур описал свое собственное незавидное положение, сердито заворчал и, вполне в своем духе, разразился оглушительным хохотом. Итак, перспективы были туманные. Артур, выдержав последние экзамены, мечтал о новом путешествии, теперь уже в качестве полноценного врача. И когда ему вдруг предложили место на борту парохода "Маюмба", грузопассажирского лайнера, направляющегося к западному побережью Африки, казалось, это был подарок судьбы. Мисс Уэлден, или отныне "Элмо", не жалела слез. Матушка ободряла его: за год или два в этом африканском странствовании он накопит достаточно средств, чтобы открыть собственную практику.

В конце октября 1881 года, когда "Маюмба" боролся с сильными встречными ветрами в водах за Тускарским маяком, корабельный врач простоял полночи на палубе, прильнув к поручням, очарованный светящимся круговоротом волн за бортом. Это был один из немногих восхитительных эпизодов в этом кошмарном плавании к Золотому берегу. В середине января 1882 года "Маюмба" бросил якорь в ливерпульской гавани. Кают-компания, где доктор Конан Дойл расположился писать письмо, еще носила следы пожара и была завалена обугленными досками и кусками металла.

"Лишь несколько слов, — писал он, — чтобы сказать, что я вернулся невредимый, перенес африканскую лихорадку, чуть не съеден был акулой, и в довершение на "Маюмба" между Мадейрой и Англией вспыхнул пожар".

Еще не избавившись от последствий лихорадки, от духа нефтяных и болотных испарений, он спешил объясниться. Ему хотелось работы, а не той расслабляющей лени в похмелье с пассажирами среди дневной жары, а в ночи — неизбежных костров бушменов вдоль всего побережья. Были, конечно, и острые ощущения: когда на борту судна, загруженного нефтью, вспыхнул пожар, и все же:

"Я не намерен вновь идти к Африке. Доход ниже того, что я могу заработать пером за такое же время, а климат адский. Надеюсь, вы не будете разочарованы моим увольнением с судна, я постараюсь сделать все, чтобы не расстраивать вас и не причинять вам боли, — но нам нужно все это вместе обсудить".

Они все обсудили, и матушка согласилась. Артур решил, несколько утешив этим матушку, что может наняться на южноамериканский рейс. И тут пришло письмо, которого, по-видимому, оба они опасались. Оно

было от лондонской тетушки Аннет, взволнованно вопрошавшей, не приедет ли он к ней, чтобы подумать вместе с ней и дядюшками о своем будущем.

Так перед ним впервые серьезно встала проблема выбора. Влиятельные связи в католических кругах могли обеспечить будущность юного врача. Артур ответил, что он — агностик и что было бы неблагородно по отношению к тетушке Аннет даже просто обсуждать это впредь. Матушка, которая отдала бы все на свете, лишь бы видеть своего сына преуспевающим, снесла это молча.

Ответ пришел не сразу. Они все, писала тетушка, глубоко встревожены его заявлениями. Но, быть может, он, если ей позволено это сказать, несколько импульсивен и своенравен? Подобные решения не принимаются так легко. Не сделает ли он одолжения тем, кто так его любит, и не навестит ли их, чтобы еще раз все обсудить? И он отправился в Лондон.

Не может быть ссоры трагичней или драматичней, чем когда каждая сторона сознает свою правоту. Он не хотел никакого раскола. Но он был слишком Дойл. Там, в столовой на Кембридж-террас, стоял большой стол, за которым сиживали Скотт, и Дизраэли, и Теккерей, и Кольридж, и Вордсворт, и Россетти, и Левер, и дюжина других — все друзья его деда Джона, все представители того литературного мира, куда его тянуло с такой неотвратимой силой. Этот стол превратился в некий символ. А в глубине души он не допускал и мысли, что его родственники поднимут такой шум всего-навсего из-за религиозного вопроса.

Но именно в этом — что свойственно молодости — он и заблуждался. В замкнутом кругу стареющих и бездетных Дойлов единственную ценность представляла католическая церковь. Их предки жертвовали ради нее всем. И вот перед ними юноша, к которому они отнеслись с таким теплом, и он губит свою душу из какого-то извращенного каприза!

В гостиной на Кембридж-террас, где у стены стоял бюст Джона Дойла, он встретился с дядюшкой Диком, приметно осунувшимся и поражавшим тем мертвенным оттенком лица, который понятен всякому медику. И дядюшка Джеймс, с густой шевелюрой и густой бородой, был там. И тетушка Аннет — в просторном кресле у камина, по обыкновению, запахнувшись шалью.

Тетушки Аннет он не слишком опасался. Она была женщина, а женщинам свойственны причуды. Но в этих холодных, учтивых, с поджатыми губами мужчинах трудно было узнать дядюшку Дика и дядюшку Джеймса его детских лет. И это его взбесило.

— Если я стану практиковать как католический врач, — сказал он, — то получится, что я беру деньги за то, во что не верю. Вы сочли бы меня последним негодяем. И сами никогда бы так не поступили.

Дядюшка Дик резко заметил ему:

— Но, мой милый, мы говорим о Католической церкви.

— Да. Я знаю.

— А это совершенно иное дело.

— Дядя Дик, почему же иное?

— Потому, что наша вера истинна.

Холодная убежденность этого утверждения воздвигла между ними непроницаемую стену. Если б только ты имел веру...

— Да, — взорвался он, — об этом твердят все без умолку. Они говорят о принятии веры так, будто это достигается простым усилием воли. Но с тем же успехом можно требовать, чтобы я вдруг превратился из шатена в брюнета. Разум — наш величайший дар, и мы обязаны к нему обращаться.

— И что же подсказывает тебе твой разум? — раздался другой голос.

— Что пороки религии, дюжины религиозных сект, истребляющих друг друга, — все это происходит от слепого приятия недоказуемого. Ваше христианство содержит много прекрасного и благородного вперемешку с сущим вздором.

Когда-то, когда он еще служил помощником доктора Эллиота, он говорил матушке, что свободно изъясняться может только в состоянии возбуждения. Теперь он был возбужден и наговорил еще много подобного, слишком много. Затем, перехватив их взгляды, напустил на себя вид такой же чопорной благовоспитанности и не проронил более ни слова.

Все это время он испытывал по отношению к ним, кроме тетушки Аннет, невыразимое раздражение. Да провались они пропадом со своими благодеяниями! Ему ничего от них не надо. Если они отказываются понимать такую простую истину, что человек вправе поступать по совести, то при всех их великих артистических дарованиях они не более чем титулованные дураки. Единственно, чему мог он позавидовать, — это тому самому обеденному столу, некоему символу жизни, в которой ему нет места. Он очнулся от голоса дяди Джеймса:

— Что же ты намерен делать?

— Я не знаю. Я подумывал снова пойти в море. А может, все же лучше стать домашним врачом.

— Да. По-видимому, это будет лучше.

Кто-то распорядился о чае. Обоюдная гордость не допускала больше никаких объяснений. Каждый понимал, что они зашли непоправимо далеко. Выйдя из дома, он знал, что дверь затворилась за ним навеки. К тетушке он еще мог обратиться, но к дядьям — ни под каким видом, пусть даже небеса обрушатся на землю.

Теперь он им уже не племянник, с которым они так много возились, а посторонний. В унынии возвратился он в Эдинбург, сознавая, что любой мог бы назвать его недотепой, упустившим свой единственный шанс; он все более утверждался в своих взглядах на религию и дал себе великий обет, что никогда, никогда — только бы хватило сил! — не примет он на веру ничего недоказуемого.

А что впереди? Мест на пароходах не нашлось. На объявление домашнего врача никто не отзывался. Вместо этого пришла телеграмма от его друга, доктора Бадда, теперь похваляющегосся баснословным успехом в Плимуте — куда, как видно, он перебрался из Бристоля — и требующего, чтобы Артур приезжал к нему с первым же поездом: "У тебя будет куча всяких приемов, хирургия, акушерство. Могу гарантировать на первый год триста фунтов".

Если только Бадд не свихнулся, это слишком подходящий случай, чтобы за него не ухватиться. Артур спешно собрался. Матушка, всегда недолюбливавшая Бадда и ему не доверявшая, негодовала. И все же, когда Бадд встретил его в Плимуте на вокзале, демонстрируя крупные зубы в победной улыбке, его новый "партнер" уже не сомневался, что многое из утверждений его друга — правда.

Сочетанием позерства, шарлатанства и истинно лекарского мастерства Бадд создал себе настоящую барнумскую практику *. Он владычествовал над толпящимися в комнатах, на лестнице, во дворе и в каретном сарае пациентами. Он орал на них, хлопал ставнями, прописывал такие лекарства, что у любого нормального врача волосы встали бы дыбом. К концу дня он обыкновенно неспешно прогуливался по главным улицам, неся перед собой в вытянутой руке сумку с дневной выручкой; его жена и ассистент шли чуть позади по обе стороны от него, как свита епископа.

Мы не станем во всех подробностях описывать причудливую жизнь нашего героя в следующие несколько месяцев. Конан Дойл это сделал сам в "Письмах Старка Манро" — книге, где все, за исключением некоторых подробностей, автобиографично; и, пытаясь изобразить этот период, нам придется просто дословно, страница за страницей привести одно из лучших комических повествований на английском языке. Но финал этой истории, известный не только из "Старка Манро", но и из переписки, не назовешь комичным.

Бадд, при всем своем хлебосольстве, имел какое-то темное пятно в сознании, почти осязаемое, вроде бельма на глазу. Артур, никогда слишком критически не относившийся к своим друзьям, все же не мог время от времени этому не удивляться. Так называемый партнер, сидя в своем закутке и с благодарностью зарабатывая свой фунт, а то и два в неделю на тех нередких случаях, когда Бадд не желал беспокоиться, оживленно переписывался с матушкой.

Доктор и миссис Бадд, сейчас весьма преуспевают. Расплатились ли они, вопрошала матушка, со своими кредиторами в Бристоле? Артур, признав, что они этого не сделали, все же горячо защищал Бадда, приводя в оправдание множество его прекрасных качеств. Матушка же, содрогаясь в негодовании до кружев на своем воротнике и белом капоре, говорила, что они неподходящая компания для ее сына, выражая раз и навсегда усвоенные взгляды на характер доктора Бадда. За нападками следовала защита, защита влекла новые нападки, пока мать и сын не оказались на грани ссоры. Ссориться, однако, не пришлось. Бадд с женой наткнулись в комнате Артура на письма матушки и прочли их.

Бадд сначала ничего не сказал. До самого июня он выжидал, вынашивая свой план. И наконец самым дружелюбным тоном заявил, что его новый помощник с первых дней подрывал дело. Эти деревенские туго-

---

* Барнум, Финеас Тейлор (1810—1891) — известный американский антрепренер, имя которого стало нарицательным для ловкого устроителя увеселительных заведений.

думы, объяснял Бадд, видят на двери две таблички: они хотят к доктору Бадду, но боятся, что им подсунут доктора Дойла, вот и бегут прочь.

Пораженный доктор Дойл, не подозревая, что за всем этим кроется, взял молоток и пошел к входной двери. Он поддел раздвоенным концом молотка свою табличку и сорвал ее: "Это тебе больше не помешает".

Уговаривая его не спешить и не решать сгоряча, Бадд стал предлагать различные способы и средства. Почему бы ему не открыть собственную практику? Нет капитала? Ладно, великодушный Бадд будет ссужать ему каждую неделю фунт, пока он сам не встанет на ноги и не сможет расплатиться. Откроем атлас и выберем любой город в Англии! И каждую неделю ангел-хранитель — почтальон — будет вручать ему 20 шиллингов. Проглотив обиду, Артур принял предложение и выбрал Портсмут.

Это был шаг довольно-таки рискованный. Ему предстояло снять помещение одними лишь уверениями в платежеспособности, не имея ни счета, ни ренты, и так же, в кредит, собрать запас медикаментов. А вопрос обстановки дома можно решить потом. В последнем письме домой, еще от Бадда, в июне 1882 года уныние чередуется с каким-то отчаянным оптимизмом.

"Напиши, будь умницей, что-нибудь веселое, — просил он матушку, — и не надо все время пребывать в скорби, а то я засажу тебя за изучение древнееврейского погребального обряда". И далее: "Если только мне повезет занять подходящий дом, я в три года стану зарабатывать по тысяче, или я ничего уже не понимаю!" И в конце: "Я помирился с Элмо Уэлден. Я думаю, она и впрямь меня любит. Я женюсь на ней, как только добьюсь успеха в Портсмуте".

Портсмут и чувство полной свободы, обретенное там, вознесли его на седьмое небо. Там, в пригороде Саутси, нашелся приличный дом за 40 фунтов в год. Указав в качестве одного из своих поручителей Генри Дойла, кавалера ордена Бани, директора Национальной художественной галереи Ирландии, он получил ключи без лишних проволочек. Кое-что из мебели он купил на аукционе. На первых порах необходимо было оборудовать хотя бы врачебный кабинет и, конечно, поставить какую-нибудь кровать в спальне наверху, а также стойку для зонтиков, чтобы украсить прихожую.

С каким гордым чувством захлопнул он двери своего собственного дома, пусть и прокатилось по пустым комнатам гулкое эхо. Как хороший хозяин, он сообразил купить кушетку, забыв при этом про матрацы и белье. Однако кабинет во фронтальной части первого этажа, с красными дорожками, дубовым столом со стетоскопом и лекарским саквояжем на нем, тремя стульями и тремя картинами, скоро погрузился в таинственный полумрак, создаваемый плотно задернутыми коричневыми портьерами, отчего по углам во мраке чудилась еще какая-то несуществующая мебель — а снаружи сияла на солнце медная табличка.

"Пока пациентов нет, — сообщал он с воодушевлением, — но число останавливающихся и читающих мою табличку огромно. В среду вечером перед ней за 25 минут остановилось 28 человек, а вчера — еще лучше — я в 15 минут насчитал 24".

Редактор "Лондон сосаити", которому он уже отослал два рассказа

в духе Брет Гарта, заплатил 7 фунтов 15 шиллингов авансом за будущие работы. Это составило почти четверть годовой платы за квартиру. За неимением прислуги, он мог бы упросить матушку прислать к нему его десятилетнего брата Иннеса; и Иннес в элегантной ливрее с золотыми пуговицами встречал бы посетителей. Питаясь хлебом, мясными консервами и беконом, подогреваемым на газе в задней комнате, они смогут славно существовать на шиллинг в день. И фунт доктора Бадда, поступая еженедельно, обеспечил бы их жизнь до появления пациентов.

Но у милейшего доктора Бадда были другие идеи. Выждав, когда его друг окончательно и бесповоротно вовлекся в дело, подписал арендный договор и заполнил буфет запасом медикаментов, он сделал то, что намеревался сделать с самого начала. Он прислал возмущенное письмо, в котором говорилось, что после отъезда его друга из Плимута в его комнате были найдены обрывки письма. Когда они с женой его склеили, оно оказалось письмом матери Конан Дойла, в котором она в самых нелестных выражениях отзывалась о Бадде, как об "обанкротившемся жулике".

(Письмо, о котором шла речь, было в Портсмуте, у Конан Дойла в кармане.)

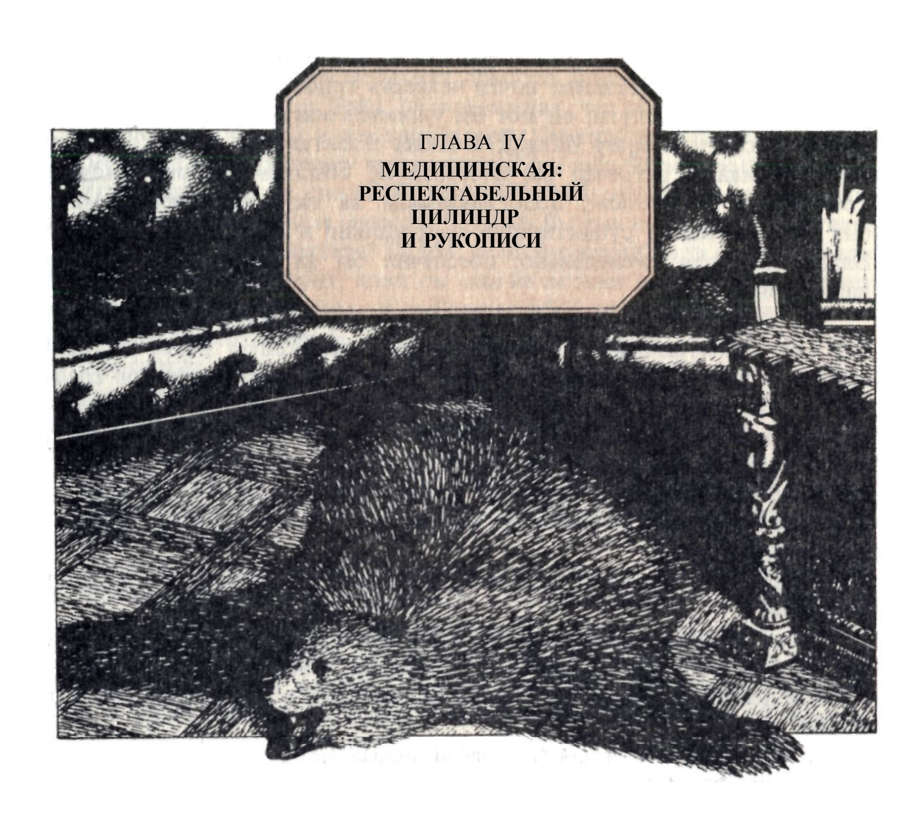
"Мне остается только сказать, — заключал Бадд, — что мы удивлены, как ты мог состоять в подобной переписке, и мы отказываемся иметь с тобой дело под каким бы то ни было видом и в какой бы то ни было форме"

И вот прекрасной сентябрьской ночью 1882 года доктор Конан Дойл — из № 1 по Буш-виллас, Илм-гроув, Саутси — крадется под покровом темноты, чтобы начистить медную табличку у входа. Справа от него, через два дома, еще мерцали огни у рельефного фасада Буш-Отеля. За исключением этого Илм-гроув был совершенно пустынен в тусклом свете уличных фонарей. Слева от его великолепного кирпичного дома, где во втором этаже уже мирно почивал Иннес, угадывался зияющий портал церкви.

Эти два месяца, после получения письма от Бадда, все было не так уж плохо. Он и сейчас готов был в этом поклясться. Часто, стоило ему представить Бадда с женой, торжественно склеивающих обрывки письма, которого у них нет, он разражался неудержимым хохотом. В конце концов, как он писал в то время матушке, это не катастрофа: в доме еще есть запас провизии на несколько дней и в кармане полкроны. Он любил Бадда и ничего не мог с этим поделать.

Постепенно стали приходить пациенты. Он оценил преимущества респектабельности: все окна, выходящие на улицу, были задернуты занавесками, так что жители особняков по другую сторону не могли увидеть голые, необставленные комнаты верхнего этажа. Приметы уюта, конечно, появятся со временем. Да, он мог пока продержаться. О, если бы только как-нибудь завлечь побольше пациентов! Или если бы — захватывающая дух мечта — написать рассказ, который принял бы "Корнхилл мэгэзин"!

ГЛАВА IV
МЕДИЦИНСКАЯ: РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР И РУКОПИСИ



"Господа Смит, Элдери К°, — гласили тисненые письмена, точно на бланке официального приглашения, — приносят свои поздравления А. К. Дойлу, эсквайру, и имеют честь присовокупить чек в 29 гиней в качестве гонорара от "Корнхилл мэгэзин" за рассказ мистера Дойла "Сообщение Хебекука Джефсона", пока не опубликованный". Дата: июль 15, 1883.

Для автора "Хебекука", попыхивающего своей трубочкой за столом во врачебном кабинете, это было вроде посвящения в рыцари. Журнал "Корнхилл мэгэзин", некогда возглавляемый Теккереем, ныне прославленный Льюисом Стивенсоном, заслуженно считавшийся высшим арбитром, публиковал лишь произведения, отличающиеся несомненными литературными достоинствами. Его нынешний издатель, известный Джеймс Пейн, совмещал в себе тончайшего судию и обладателя самого неудобочитаемого почерка, когда-либо запечатленного на бумаге.

Этот успех не означал, конечно, что юный врач должен перестать

писать для более дешевых журналов, таких, как "Лондон сосаити", "Круглый год" или "Газета для мальчиков". Для этого он был в слишком стесненных денежных обстоятельствах, временами приводивших его в отчаяние. Но когда "Хебекук" (без подписи) на следующий год появился в печати и один критик приписал его Стивенсону, сравнивая при этом с По, автору потребовалось собрать всю свою скромность, чтобы не похвалиться перед первым встречным, что это его рассказ.

В эти первые два года врачебной практики, 1892—1894, в его жизни не произошло никаких видимых перемен. Из десятилетнего Иннеса, умытого и подстриженного старшим братом, получился прелестный ливрейный лакей. Но когда Иннес замечал, что еще один пациент готов попасть в их "паутину", как говаривал брат, ему было не легко сдержать возбуждение. Однажды, распахнув дверь перед входящей женщиной и бросив на нее критический взгляд, он завопил так, чтобы брат наверху мог слышать:

"Артур! Ура! Еще один ребеночек!" И доктор, сломя голову, устремившись вниз и на ходу одергивая рукава сюртука, успел кинуть на мальчишку лишь один уничтожающий взгляд, прежде чем натянуть на себя маску учтивости:

— Прошу вас, мэм.

Собственную версию Иннеса о типичном дне их жизни можно найти в "Судовом журнале", который он вел по совету брата. "Сегодня утром после завтрака, — говорится там, — Артур сошел вниз и стал писать рассказ о человеке с тремя глазами, а я был наверху и изобретал водяной двигатель, который мог бы запускать ракеты выше Луны всего в две минуты, чтобы оттуда они могли посылать небольшие снаряды. Когда пробило четверть второго, мне пора было идти ставить картошку — последние шесть штук из нашего запаса".

Однако все было не так уж трагично. В первые же дни их друг Ллойд из Суссекса снабдил их запасом картофеля на зиму. Сосед-бакалейщик, страдающий припадками, расплачивался за медицинскую помощь чаем и маслом, и д-р Дойл, проходя мимо его лавки, напряженно вглядывался в фигуру у прилавка в надежде обнаружить симптомы приближающегося припадка. Конечно, поначалу нечего было и думать о домашней прислуге, но тут ему пришло в голову предложить стол и кров в просторном цокольном этаже тому, кто станет вести домашнее хозяйство.

Это объявление привело к ним в дом двух пожилых женщин, обозначенных в корреспонденции как миссис С. и миссис Дж. Но спокойствие и порядок установились в доме ненадолго: вскоре из нижнего этажа стали доноситься звуки перебранки — стоны и жалобы, как в маленьком домашнем чистилище, и взаимные упреки в краже свинины. Миссис С. удалилась, прижимая к глазам платочек. Миссис Дж. последовала за ней, уличенная в слишком пристальном внимании к бочонку пива в подвале. Доктор, справедливо полагая, что оскорбленная сторона именно миссис С. (Смит), догнал ее и вернул назад. Теперь Иннес стал ходить в школу; миссис Смит утвердилась как платная экономка. С той поры пища была отменно приготовлена, безделушки протерты от пыли, мебель начищена до блеска.

На недостаток мебели жаловаться ему не приходилось. Матушка и тетушка Аннет, соревнуясь в щедрости, присылали все, что только можно вообразить: от вагона книг до музыкальных часов. В холле, устланном новыми коврами, прижатыми к ступенькам блестящими бронзовыми прутками, стоял на столе бюст дедушки Джона Дойла. По стенам, оклеенным коричневыми под мрамор обоями, были развешаны гравюры, а пол устилали африканские циновки. "Я вынул стеклянные панели из двери в холле, — писал он, — и заменил их красными: это придало всему холлу несколько зловещий и артистический вид".

По вечерам абажур в виде красного шара над газовым светильником создавал такое же зловещее и артистическое (чтобы не сказать жуткое) впечатление. Врачебный кабинет — предмет его неизменной гордости — помещал в себе двадцать одно полотно и одиннадцать ваз. В соседней с ним комнате, приспособленной для ожидания посетителей, нагромождение мебели представляло серьезное неудобство. Когда матушка предложила прислать для этой комнаты еще один книжный шкаф, ему пришлось убеждать ее, что тогда не останется места для посетителей. Но одного дара от лондонских Дойлов он никак не мог принять.

После памятного разговора на Кембридж-террас, посеявшего взаимную обиду и озлобление, он так и не пошел на мировую со своими дядьями. Раз или два он виделся с дядюшкой Диком — и даже фактически спас ему жизнь, когда у того случился апоплексический удар, — но трещина в их отношениях не затянулась. Дядя Дик то ли из тонкого коварства, то ли по простоте душевной прислал ему рекомендательное письмо к католическому епископу Портсмута и отметил, что в городе нет католического врача.

Нет "католического" врача! У него было свое собственное гневное толкование этих слов. Приди, заблудшая овечка, как будто говорилось там, обрети Веру — и ты не будешь голодать. Он предал рекомендательное письмо огню.

В эти дни в его жизнь впорхнула Элмо Уэлден, на которой он дал слово жениться, как только начнет зарабатывать два фунта в неделю. Кареокая Элмо, оправляясь от болезни, поселилась в Венторе на острове Уайт, в удобной близости от него.

"Она очень бойкая девушка, — писал он, — я люблю ее сейчас больше, чем когда-либо!" Он повез ее в Лондон, где они смотрели постановку Гилберта и Салливана "Терпение"; он представил ее тетушке Аннет, которая была ею очарована. Однажды, в приступе хандры, у него возникла шальная мысль отправиться врачом в малярийные болота североиндийских джунглей. К счастью, он не получил назначения. "Но Элмо, — заявлял он, — была бы очень огорчена, не возьми я ее с собой; она настоящий тропический цветок".

Сходство с тропическим цветком или диким виноградом — вот что более всего привлекало его в женщинах. Быть может, он и не был по-настоящему влюблен в нее, или же — она в него, но они оба были настроены романтически и находили восхитительным быть в кого-нибудь влюбленным. Отчего же они беспрестанно ссорились? Непонятно, да и

кто может такое упомнить. Элмо была убеждена, что права она. Он, всегда и неизменно уверенный в своей правоте, складывал руки в той высокомерной позе, которую еще могли себе позволить мужчины в 1882 году. Обиженная Элмо уехала в Швейцарию.

Между тем медицинская практика ширилась. Это он заметил, когда стал появляться в обществе, где оказалось много знакомых. Некоторую известность д-ру Дойлу принесли крикет и футбол, где он мог сбросить фрак и дать волю своей скованной энергии. Он вступил в Литературно-научное общество. Он выиграл сигарницу в шары. Гремели фортепиано в прокуренных концертных зальцах. И время от времени оживлял их с Иннесом жизнь приезд одной из сестер.

Из десяти детей, родившихся у Мэри и Чарльза Дойлов, в живых осталось семеро. Пять девочек: Аннет, Констанция, Каролина, Ида и Додо. Аннет, старшая, давным-давно устроилась домоправительницей в Португалии. Ида и Додо — младше Иннеса — были еще совсем дети. Чаще всего он виделся со своими средними сестрами Конни и Лотти.

С его представлениями о семейных узах он не мог не обожать их всех, хотя подчас не удерживался от улыбки, наблюдая за ними.

Любимицей его была Лотти — воплощение всех дойловских черт и обладательница великолепных волос, невольно наводивших на мысль о том, что ее фотография была бы лучшей рекламой для какого-нибудь лосьона. Но вскоре Лотти перестала бывать в доме на Саутси: вместе с Аннет она уехала в Португалию и тоже устроилась экономкой в доме, расположенном в весьма романтической местности у дороги, ведущей на динамитную фабрику. Лотти поверял брат свои сердечные тайны.

"На днях я был на балу, — писал он, — и, леший его знает как, назюзюкался. Смутно припоминаю, что половине женщин, и замужних и незамужних, я делал предложения. На следующий день получил я письмо, подписанное "Руби", что, мол, она сказала "да", тогда как думала сказать "нет"; но кто она такая на самом деле и про что она сказала "да", я никак в толк не возьму".

Несмотря на игривый тон, он, конечно, раскаивался в этом поступке. Врач не может позволить себе прикасаться к вину в обществе: это не должно повториться, в особенности теперь, когда колокольчик на его двери в доме № 1 по Буш-виллас стал позвякивать все чаще.

Врачебная комиссия страховой компании Грэшем пополнила его доходы. Д-р Пайк, его сосед и приятель, тоже подкидывал ему немало вызовов к больным. В домах бедняков или еще силящихся скрыть нищету, куда заходил он со своим стетоскопом под неизменным цилиндром *, видел он смерть и страдания глазами человека умудренного — ставшего на ноги. Чем более ширилась его медицинская практика, тем более искал он отдохновения в литературном труде.

После появления в печати "Сообщения Хебекука Джефсона" в январе 1884 года ему еще долго не удавалось достичь высот "Корнхилла". Между тем фантастичнейший рассказ Хебекука, основанный на таинст-

---

* Во времена Конан Дойла врачи носили стетоскоп под цилиндром. Ср. рассказ "Скандал в Богемии".

венной истории покинутого судна "Мария Целеста", получил отголосок за пределами обычной литературной критики. На далеком Гибралтаре некто мистер Солли Флуд прочел сообщение и потерял покой и сон. Через посредство центрального агентства новостей по всей Англии распространился текст телеграммы: "Мистер Солли Флуд, генеральный адвокат Ее Величества в Гибралтаре, объявляет сообщение Хебекука Джефсона фальшивкой с первого до последнего слова".

Мистер Флуд сверх того подал пространный доклад правительству и в газеты, указывая на ту угрозу международным отношениям, какую представляют собой люди, подобные д-ру Джефсону, сообщающие в качестве достоверных факты, легко опровергаемые по многим пунктам. Прежде чем мистера Флуда посвятили в существо дела, газеты успели насладиться недоразумением. Д-ру Конан Дойлу вся эта газетная шумиха не просто услаждала слух — он услышал за ней глас своего призвания.

Он умел сочинять небылицы, которые многие принимали за чистую монету. Именно это Эдгар Аллан По проделывал в "Нью-Йорк Сан", и каждый читатель свято верил, что Гаррисон Эйнсворт с семью спутниками пересек Атлантический океан на управляемом воздушном шаре. По сознательно надувал читателей, зло над ними насмехаясь. Д-р из Саутси старался их только развлечь. Видимо, сочинитель небылиц может разбить в пух реалиста на его же поле и его же оружием, если только — если только! — умудрится ухватить верные реалии.

Так, в творческой горячке начался для него 1884 год. Увы, "я все посылал и посылал свои вещи в "Корнхилл", а они все возвращали их мне". Но с журналом он не препирался, как однажды с Джеймсом Пейном, посетовавшим, что его короткие, рубленые фразы звучат грубовато. И был несказанно обрадован, получив приглашение на рыбный обед для авторов "Корнхилла" в ресторане "Корабль" в Гринвиче. Там он повстречал Пейна, выглядевшего проницательным и расчетливым, и художника Дю Морье, и "изможденного юношу в очках" по имени Ансти, сорвавшего лавры славы своими "Vice Versa". Зазвенели бокалы под древними закопченными сводами, и последние участники застолья доставили Ансти в сильном подпитии под своды Адельфи.

Вот она жизнь! Вот оно литературное братство!

Он начал работать над повестью под названием "Торговый дом Гердлстон". Был ли он доволен? Нет. Теперь уже только в редкие минуты работал он с воодушевлением. В глубине души он понимал, что пытается соткать полотно из чужих стилей, главным образом Диккенса и Мередита. Он работал урывками, от раза к разу, и писал как будто не он, не его "я". Между тем, получив в свое время степень бакалавра, он намеревался там же, в Эдинбурге, сдать экзамен на звание доктора медицины. Углубившись в занятия медициной в редкие свободные от врачебной практики и писательства часы, он убедился, что способен выдержать экзамен, даже не приезжая предварительно для этого в Эдинбург.

К тому факту, что на следующий год он получил-таки степень доктора медицины, прибавить нечего. И все же ему не хватало уверенности в себе. Вот сидит он на заседании Литературно-научного общества; его

так и подмывает вступить в дебаты, но опасение, что он не сможет выдавить из себя ни слова на публике, приковывает его к скамье — и вся скамья, грозя опрокинуть сидящих, трясется вместе с ним, пока наконец, из глубины гортани не исторгается хриплый возглас: "Г-господин председатель!"

В это время повстречал он мисс Луизу Хокинз.

Их знакомство состоялось на фоне одной из тех бессмысленных трагедий, которые так трудно примирить с идеей божественного милосердия. В марте 1885 года его приятель д-р Пайк как-то вызвал его к одному из своих пациентов. Это был юный Джек Хокинз, сын вдовы, недавно приехавшей в Саутси. Симптомы его болезни были тревожными; д-р Пайк спрашивал, не соблаговолит ли д-р Конан Дойл дать консультацию.

В тихой меблирашке вблизи побережья за низкими кружевными шторами увидели они юношу, очень болезненного на вид, с выражением какого-то изумления на лице; по одну руку от него стояла мать, по другую — сестра. Молодой врач понял, что консультация — просто формальность. Джек Хокинз болел менингитом. Было ясно, что пациент безнадежен. Чуть раньше, чуть позже — конец предрешен.

Миссис Эмили Хокинз, высокая дама средних лет, не столь решительная, как его собственная матушка, пыталась объяснить положение, в котором они оказались. Им некуда было деться. И дело не в деньгах, а в том, что ни один домовладелец не желал держать их у себя, когда... когда... (тут она запнулась), ну, словом, когда у Джека случаются эти ужасные приступы. Луиза, сестра Джека, очень скромная и очень женственная, была тут же, но не проронила ни слова, в глазах ее стояли слезы.

После консультации, с одобрения д-ра Пайка, д-р Конан Дойл предложил наблюдать Джека как своего постоянного пациента, отведя ему одну из своих свободных комнат. Конечно, о "частном заведении" и речи быть не могло, подумал он. Когда они привезли Джека в приготовленную для него спальню на Буш-виллас, состояние больного сильно ухудшилось. Он весь пылал и бормотал что-то в бреду на грани полного беспамятства. Доктор, расположившись в соседней комнате так, чтобы уловить малейший шум, долго еще прислушивался к спящему Джеку.

Перед рассветом мальчик, встав с постели, добрался до умывальника, где стояли таз и кувшин. Доктор, примчавшийся на шум, застал беднягу стоящим в длинной, до пят, ночной рубашке среди битых черепков и расплесканной воды с несчастным, безумным взглядом. С трудом удалось его успокоить и уложить в постель. Конан Дойл устроился в кресле рядом с ним и так и сидел, поеживаясь от холода мартовского утра, пока наконец с наступлением дня не появилась миссис Смит с блюдом аррорута для больного.

Несколько дней спустя Джек Хокинз скончался.

Слава Богу, д-р Пайк видел несчастного накануне вечером. Было сделано все, что только можно. В противном случае злая молва камня на камне не оставила бы от растущей практики д-ра Конан Дойла. Но и теперь положение его было не слишком завидное. Конан Дойл, увидев выносимый из парадных дверей его дома черный гроб, закрыл лицо

руками. Он понимал, что его первейший долг сейчас утешать мать и сестру, а вместо того — он сам нуждался в утешении.

В эти дни ему довелось наблюдать двадцатисемилетнюю Луизу, или Туи, как ее прозвали. Не будучи красавицей, она принадлежала к столь привлекавшему его типу женщин: круглое лицо, большой рот, каштановые волосы, широко расставленные голубые глаза, отливающие морской волной, которые были лучшим украшением лица. Ее доброта, безграничная жертвенность пробудили в нем покровительственные чувства. Луиза, или Туи, была, что называется, девушкой домашней: любила вышивать в кресле у камина. Он повстречал ее в скорбные дни; вскоре он был от нее без ума. В конце апреля они обручились.

Приличия не позволяли устраивать свадьбу так скоро после кончины Джека. Но он просил и умолял приблизить этот миг. Усиленно занимаясь весь май и июнь (ему нужно было написать диссертацию), он в июле получил степень доктора медицины. А 6 августа 1885 года, горячо одобряемые матушкой, Луиза Хокинз и Артур Конан Дойл поженились.

Иннеса определили в школу в Йоркшире. Мамаша Хокинз (теща), в очках с золотой оправой и замысловатом чепце со свисающими на грудь кружевными лентами, перебралась жить к новобрачным на Бушвиллас, где в уютной гостиной, обставленной мебелью с красной бархатной обивкой, стояло купленное в рассрочку пианино и Туи улыбалась мужу из-под абажура. Он был полон замыслов.

Врачебная его практика, увеличившись со 154 фунтов (в первый год) до 300, за эту сумму не переваливала. Но все же она обеспечивала их не только самым необходимым и при собственном доходе Туи в размере 100 фунтов в год позволяла некоторую роскошь. Но главное в этой новой женатой жизни — накал умственных сил, мозг, распаленный литературными замыслами. Теперь, став человеком семейным, он мог разделить — или, во всяком случае, понять — матушкин ужас перед пылью на полке или неприбранной комнатой.

Молодожены завели огромный кожаный альбом, на котором значилось: "Л. и А. Конан Дойл, августа 6-го, 1885" — для вырезок и заметок в многообещающем будущем. Сегодня, полистав страницы этого потертого тома, можно ощутить реалии и даже уловить чувства, наполнявшие их жизнь во времена хоть суровые, но и наиболее счастливые. Можно посмотреть его записные книжки, черновые тетрадки, переплетенные в толстые тома, в которых из года в год вел он записи своим мелким, четким почерком. По этим записям легко проследить круг его чтения — не только книги по тому или иному периоду истории, которые он поглощал с атласом и карандашом в руках, но и научные труды, и беллетристика. Цитаты и меткие выражения мешались с его собственными замыслами и идеями.

Время от времени встречаются записи на тему, не перестававшую его волновать: "Религии, чтобы быть истинной, должно вмещать в себя все — от амебы до Млечного Пути". Или афоризм в духе Мередита: "Сильный ум столь же неуместен в семейном кругу, как мощный голос в маленькой комнате". Или где-то вычитанный понравившийся ему анекдот: «Умирающий Талейран жалуется, что страдает, словно грешник в аду. Луи Филипп у его одра учтиво поинтересовался: „Уже?"».

До и после свадьбы он создал несколько удачных вещей: трагикомедию "Жена психолога", «Капитана „Полярной звезды"», с ужасами ледяных пустынь, "Необычайный эксперимент в Кайнплатце", с персонажами-перевертышами, где герр Баумгартен из Стонихерста превратился в профессора фон Баумгартена из Кайнплатца. В конце ноября он мог собрать 18 рассказов, которые надеялся опубликовать в одном сборнике под названием "Свет и тень". Но за что ему следовало взяться непременно — если только он вообще помышлял добиться чего-нибудь в литературе, — так это за роман. Роман, конечно же, роман!

"Гердлстон" затянулся тяжело и надолго. Начатый зимой 1884 года, он лишь в конце января 1886-го был закончен и переписан набело. Конан Дойл не слишком верил в него. Если ему суждено воплотить роящиеся в его голове фантазии, то в чем-то более остром, потрясающем и новом.

"Я читал "Детектива Лекока" Габорио, — писал он (впервые упоминая Габорио в своих бумагах), — "Золотую шайку" и рассказ об убийстве старой женщины, название которого я забыл. Все замечательно. Уилки Коллинз, но лучше".

А с внутренней стороны обложки записной книжки:

"Обшлаг рукава, колени, мозоли большого и указательного пальцев, башмаки — любое из перечисленного может подсказать нам что-то, но что все вместе они не прояснят картину опытному наблюдателю — невероятно".

А почему бы, собственно, не попробовать себя в детективном рассказе?

Из верхних комнат доносятся звуки пианино: играет Туи; музыкальные часы отбивают кусочек ирландской жиги. А он сидит в своем врачебном кабинете и в задумчивости курит, стена за его спиной увешана акварелями отца: "Спасительный крест", "Призрачный берег", "Дом с привидениями", с которых глядят мертвенно-бледные, наводящие ужас лица. Чарльз Дойл с окончательно подорванным здоровьем уже давно жил в доме для престарелых. Но не это занимало сейчас мысли Артура. Да и матушка, живущая в Йоркшире и по сей день пренебрегающая очками, даже правя небольшой двуколкой, — не слишком его заботила.

За моделью для своего сыщика не нужно было ходить слишком далеко: стоило вспомнить Эдинбург и тощую фигуру с длинными, ловкими, очень чистыми руками и насмешливым взглядом, фигуру человека, чья проницательность должна была так же поразить читателей, как в свое время она изумляла его пациентов. Да, но и сам Джо Белл подчас заблуждался, а сможет ли он, его ученик, так настроить свой мозг, чтобы воспроизвести ход его мыслей?

Но это еще не все. Что толку в том, чтобы объявить кого-либо сапожником или пробочником, страдающим астмой, если это не есть результат сыскного дела? Его сыщик должен быть человеком, превратившим розыск преступника в точную науку.

Точная наука! Исследуя мелочи, следы ног, грязь, пыль, используя знания из химии, анатомии, геологии, он должен уметь восстанавливать

сцену убийства так, будто сам там присутствовал, изредка при этом сообщая обрывочную информацию остолбеневшим слушателям. Увы, никакой научной системы в криминалистике не было. В 1864 году Ломброзо опубликовал работу о типах преступников; М. Альфонс Бертийон, из парижской полиции, фотографировал преступников и пытался опознавать их довольно неуклюжим методом, называемым антропометрией. Однако никакой настоящей научной системы, которой он мог бы воспользоваться, сформулировано — во всяком случае, в печати — не было. Ну что ж! Видно, врачу из Саутси следует самому поставить себя на место сыщика и просто изобрести нужную систему.

(Следует помнить, что единственный основательный учебник криминалистики Ганса Гросса "Уголовное расследование", который лег в основу современной полицейской системы, появился лишь в 1891 году. Две повести о Холмсе к тому времени уже вышли, и, как это ни удивительно, в некоторых конкретных случаях Холмс предвосхищает Гросса. Вот один из примеров. Читатели второй повести, конечно, помнят упоминание "монографии об отпечатках следов с некоторыми замечаниями касательно использования гипса для сохранения отпечатков". Гросс же, перечислив и отвергнув шесть наиболее распространенных в настоящее время способов сохранения отпечатков, заявляет, что открыл лишь один пригодный: гипс. В наше уже время д-р Эдмон Локар, глава следственных лабораторий Лиона, настаивает: "Я убежден, что полицейский эксперт или следователь не напрасно потратит время, читая рассказы Дойла... Если в полицейских лабораториях мы сейчас интересуемся какими-то необычными подходами к проблеме пыли, то это потому, что мы восприняли идеи, которые нашли у Гросса и Конан Дойла".)

В первые два месяца 1886 года, когда он так и эдак прикидывал свою новую идею, удерживая в памяти бледный облик Джо Белла, его неотступно преследовало видение Лондона, причем не того Лондона, который он знал сейчас, а огромного зловещего города его детства с пробивающимся сквозь бурый туман светом фонарей и подернутыми пеленой таинственности улицами, города, где он опасливо вглядывался в глаза убийц в музее Мадам Тюссо. Все это могло бы составить фон для его героя, колдующего над увеличительными стеклами и микроскопами. Записная книжка запечатлела один из его фальстартов:

"Перепуганная женщина бросается к извозчику. Вдвоем они отыскивают полисмена. Джон Ривс служит в полиции 7 лет; Джон Ривс следует за ними".

Это он отверг. Но мысль об извозчике не так уж плоха: если самого кебмена сделать убийцей, он сможет бывать всюду, где ему заблагорассудится, не вызывая ни малейших подозрений. В глубине души, когда Конан Дойл задумывался о чисто приключенческом жанре, он все еще мечтал, как в детстве, о вольных просторах Западных штатов Америки. Его любовь к Америке и американцам — вроде Чикаго Билла из его же рассказа "Овраг Блуменсдайк" — зародилась в нем прежде, чем он повстречал хотя бы одного из них. И если в качестве мотива убийства выдвинуть месть, то он мог бы перенести одного из этих симпатичных сорвиголов на прозаическую Брикстон-роуд.

А название рассказа? Мог бы подойти, скажем, "Запутанный клубок" — и он записывает его рядом с заметками об испуганной женщине и кебмене. Но он не слишком доволен этим названием и в конце концов меняет его. На другом листке он пытается подобрать имена и биографии своих главных героев.

"Ормонд Секкер" — как рассказчик? Нет! Это слишком отдает Бонд-стрит и дендизмом. Но ведь есть настоящие имена, которыми можно воспользоваться. Его другом по Саутси, тоже активным членом Литературно-научного общества, был юный врач по фамилии Уотсон: доктор Джеймс Уотсон. Наверное, Уотсон не будет иметь ничего против использования его фамилии, если имя изменить на Джон? Итак, Джон Уотсон. (Но стоит ли удивляться, что впоследствии перо писателя подвело его, и жена Уотсона называет его Джеймсом. Подпись реального Джеймса Уотсона и по сей день можно найти в библиотеке Портсмута в журнале заседаний Научного общества.)

"Шернфорд Холмс" в качестве имени для детектива было не совсем удачно. Близко, но не точно. Нет щелчка, слишком невнятно и не звонко. Он стал, нащупывая, поигрывать, проговаривая про себя, и вдруг — словно вслепую — ухватил ирландское имя Шерлок.

Шерлок Холмс! Будто щелкнул открываемый замок. Другие имена могли бы слишком резать слух рядом с пресноватым именем доктора. Пустой дом, к которому ведет глинистая дорожка в сыром саду. Труп в трепетном свете свечи, слово "месть", выведенное кровью на стене. И вся история, мгновенно вспенившись, хлынула через край.

"Запутанный клубок" был уже давно отвергнут. И в заглавии рукописи он поставил — "Этюд в багровых тонах". Работая между завтраком и обедом, между призывами докторского колокольчика и просьбами Туи подняться наверх, он и не подозревал, что создает знаменитейшего персонажа англоязычной литературы.



ГЛАВА V
РАЗОЧАРОВАНИЕ: НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

"Артур, — сообщала Туи своей золовке Лотти в Португалию, — написал еще одну книгу: небольшую повесть страниц на 200 под названием "Этюд в багровых тонах". Она отправлена вчера. До сих пор нет никаких известий о "Гердлстоне", правда, мы надеемся, что отсутствие новостей — хорошая новость. Впрочем, нам кажется, что "Этюд" может пробиться в печать даже раньше своего старшего брата".

Это было одно из тех беззаботно счастливых писем, которые супруги пишут попеременно, то нетерпеливо отталкивая друг друга, чтобы вписать что-то свое, то весело уступая перо другому. А писалось оно в одно из тех воскресений конца апреля, когда дым от каминов поднимался в переменчивое небо, и были они, как выразилась Туи, "наедине со своим счастьем", потому что все отправились в церковь.

Бедная Лотти нуждалась в поддержке. Конечно, замечательно жить в Португалии, в замке бок о бок с динамитной фабрикой, но сама фаб-

рика взорвалась и чуть не разнесла весь замок. Лотти перебралась в другое место. Брат описывал ей случаи из своей врачебной практики, где фигурировали некий генерал Дрейзон, которого он посетил на днях, и некая дама, в юности не следившая за собой и теперь, в возрасте 102 лет, горько об этом сожалевшая.

"Этюд" он начал писать в марте, а закончил в апреле 1886 года. Он послал его прямо Джеймсу Пейну, надеясь, что его можно будет напечатать серией в журнале. Хотя "Гердлстон", уже дважды отвергнутый, был отправлен пытать свое счастье в третий раз, его автор не слишком отчаивался. Все свои надежды он возлагал на "Этюд", ибо знал, что это его лучшая вещь. Попутно он открыл в себе одно любопытное свойство (о существовании которого, впрочем, подозревал еще со студенческих лет) — способность воздвигнуть невидимую стену между собой и окружающим миром, а настраиваясь на определенный лад, он научился ставить себя на место описываемого персонажа. Джеймс Пейн ответил в начале мая, заставив Конан Дойла покорпеть над своим более чем неразборчивым почерком.

"Я продержал Вашу повесть бессовестно долго, — писал Пейн, — но она так меня заинтересовала, что мне захотелось ее дочитать. Это здорово". Далее следовал пассаж, совершенно уже не поддающийся расшифровке, за исключением зловещих слов "шиллинг" и "ужасно". «Я бы не хотел, чтобы книги выпускались по такой цене. Она слишком длинна — и слишком коротка — для „Корнхилла"».

И хотя это означало всего-навсего, что его "Этюд" слишком обширен для одного выпуска и слишком мал для серии, он огорчился. Впрочем, Джеймс Пейн высоко оценил "Этюд". И найти издателя для него не составит труда. Конан Дойл снова воспрянул духом, послав свою рукопись Эрроусмиту в Бристоль. В день своего рождения, к которому матушка Хокинз приготовила ему пару крикетных перчаток, а Туи вышила роскошные шлепанцы, он, пока суд да дело, работал над новым рассказом "Врач из Гастер-Фелла".

Тем временем во внешнем мире разворачивались крупные политические события. Мистер Гладстон, избранный на третий срок премьер-министром, стал проводить билль о гомруле в Ирландии. М-р Гладстон терпел поражение. Дважды за последние семь месяцев происходившие всеобщие выборы накалили страсти в стране. И подвиги отчаянных фениев, во всяком случае в 80-е годы, не могли подействовать умиротворяюще. Если в Португалии Лотти довелось узнать, что такое взрыв динамита, то лондонцев фении обучили этой науке гораздо основательней.

Они заложили динамит в уборную Скотленд-Ярда и разнесли взрывом стену здания. Никто не пострадал, впрочем, только потому, что никого в здании не было. Кроме одного случая, когда полиции посчастливилось вовремя обнаружить 16 зарядов динамита под памятником Нельсону, взрывчатка, хоть и меньшей силы, "благополучно" сработала в конторе "Таймса", в лондонском Тауэре, на вокзале Виктория и даже в палате общин.

В политике Конан Дойл придерживался взглядов либерал-юнионистов, то есть был одним из тех, кого м-р Гладстон считал "инакомысля-

щими либералами", противниками гомруля. Не странно ли, что ирландец и по материнской и по отцовской линии стал символом всего традиционно английского? Но в этом не было парадокса — он просто воспринимал Ирландию частью Англии (или Великобритании, если угодно), точно такой же частью, какой к тому времени была Шотландия. Ирландцы, с копьями в руках отстаивающие свою независимость, казались ему такой же нелепостью, как шотландские мятежники, которые стали бы вдруг вострить свои древние палаши на эдинбургском Грассмаркете.

"Ирландия, — записал он в своем дневнике, — это большой нарыв, который будет гноиться, пока не лопнет". В Портсмуте в лихорадочном возбуждении накануне выборов он был неожиданно для себя втянут в самое пекло. Лидер партии сэр Уильям Кроссмен должен был приветствовать большой митинг либерал-юнионистов в Амфитеатре, но сэр Уильям задерживался. В мгновение ока его заменили д-ром Конан Дойлом.

Сказать, что он был ошеломлен, — значит не сказать ничего. Волнение, охватывавшее его перед аудиторией Литературно-научного общества, в конце концов рассеивалось, когда он начинал говорить. Здесь же все было иначе. Уверенно пройти к трибуне, оказаться одному как перст на гигантском, чуть ли не стометровом, как ему показалось, пространстве сцены, перед тремя тысячами человек, не имея ни готового текста, ни даже шпаргалки, — и без того разгоряченное лицо его вспыхнуло как огонь в свете рампы. И все же, не имея ни малейшего представления, о чем он станет говорить, он собрался духом и разразился двадцатипятиминутным потоком речи, заставившим ликующую аудиторию вскочить на ноги.

"Англия и Ирландия, — оказывается, говорил он, о чем с удивлением узнал потом из газет, — повенчаны сапфирным кольцом морей, и, что Господь соединил, — людям не дано разъять". Впрочем, насчет общественных деятелей он не слишком обольщался. Когда много лет спустя ему случилось завтракать с тем же сэром Уильямом Кроссменом, он признался, что у него в уме сложилась обидная эпиграмма:

Ты старик, дядя Уильям, заметил юнец,
Пьешь сверх чая немало иного...
Но представь на мгновенье, что ты наш глава —
Что же ждать от всего остального? *

Либералы м-ра Гладстона вновь потерпели поражение на всеобщих выборах; ропот несколько утих. А в июле Эрроусмит вернул "Этюд в багровых тонах" непрочтенным.

На сей раз Конан Дойл совсем было потерял присутствие духа. Он послал рукопись Фреду Уорну и К° и тоже получил отказ. "Мой несчастный "Этюд" никто, кроме Пейна, даже не удосужился прочесть. Поистине литература — это устрица, которую не так легко открыть. Но со временем все будет хорошо". И он послал рукопись господам Уорду, Локку и К°.

* Здесь пародируется нравоучительное стихотворение Роберта Саути (1774-1843) "Радости Старика и Как Он Их Приобрел". Русскому читателю хорошо известна другая пародия на это стихотворение из "Алисы в Стране чудес" Л. Кэрролла в переводе С. Я. Маршака.

Главный редактор издательства проф. Дж. Т. Беттани передал его на суд своей жены. Миссис Беттани, сама писательница, прочла "Этюд" и загорелась: "Этот человек прирожденный романист! У книги будет большой успех!" Разделяли или нет деловые руководители издательства восторги миссис Беттани, но в переговорах с автором они сохраняли хладнокровие.

Они не могут печатать "Этюд в багровых тонах" в этом году, говорили они, потому что рынок наводнен дешевой литературой. Если автор не возражает против отсрочки до следующего года, они готовы выплатить 25 фунтов стерлингов за копирайт, то есть за окончательную передачу им всех прав на книгу.

Даже доктору из Саутси это показалось слишком сурово, и он обратился к издательству с просьбой о потиражных отчислениях. В ответ последовал решительный отказ.

Автор принял условия издательства. Да, похоже, ничего другого не оставалось. Книга, по крайней мере, будет опубликована, хотя слово "ежегодник", которое промелькнуло в письме издательства, внушает некоторые опасения. Его повесть, каков бы ни был ее успех, представит его читателям, пусть даже ему с этого не перепадет и пенни. В новом, 1887 году его увлекали совершенно иные проблемы: изучение того, что относится к жизни души.

Годы, проведенные в Саутси, стали годами умственного совершенствования, годами сосредоточения мощного интеллекта на проблемах гораздо более глубоких, чем литературный стиль. Поверхностно это можно проследить по его книгам, но глубже, личностней — по его дневниковым записям, не предназначенным для чужих глаз. Что человек интеллектуальный нуждается в путеводителе, будь то религия или просто жизненная философия, — не вызывает сомнения. Но не столь очевидно, что редко кто, положа руку на сердце, находит для себя таковой.

Он отверг католицизм. Вслед за историком Гиббоном, перед которым он преклонялся, он оставался материалистом. Верно, писал он, что, представляя Вселенную как некий пульсирующий в пустоте часовой механизм, за ним следует видеть Создателя: даже часовой механизм нуждается в конструкторе. Но тогда это только игрушка — колоссальная, но все же игрушка, если только не подразумевать в ней некоторую цель, некоторое различение добра и зла, некое предназначение. Но он никак не мог найти подтверждения существованию души.

В начале 1887 года его пациент генерал Дрейзон завел с ним разговор о спиритизме. Генерал Дрейзон, известный астроном и математик, которому он впоследствии посвятил рассказ «Капитан „Полярной звезды"», поведал ему о том, как сам он обратился к спиритизму после беседы с покойным братом. Существование жизни после смерти, говорил генерал Дрейзон, есть не только факт, но факт доказуемый.

Сами по себе эти слова не убедили Конан Дойла, но один лишь намек на возможное доказательство будоражил каждую извилину мозга. В записной книжке под рубрикой "Прочесть за ближайший год" появился список в 74 наименования. И видно, что он не просто прочел все книги, но проштудировал, ибо, чтобы прийти к столь нетривиальным выводам, простого прочтения мало.

Выписывая цитаты из столь разных книг, как "Чудеса и современный спиритизм" Уолласа и "Животный магнетизм" Бине и Фере, он делал собственные пометки. "Бывает скепсис, скудоумием превосходящий непробиваемость деревенского дурня" (Голленбах). Не таков ли и его скепсис? И он решает вместе со своим другом, архитектором из Портсмута м-ром Боллом, устроить спиритические сеансы.

Сеансы начались 24 января 1887 года и с некоторыми перерывами продолжались до начала июля. Он вел подробные протоколы. По этим протоколам можно судить и о его интересе к спиритизму, и о его симпатиях. Шесть раз сеансы проходили при участии опытного медиума Хорстеда, "маленького седого с пролысинами человечка с приветливым выражением лица". Перед началом сеанса "м-р Хорстед сказал, что видел дух старика, седовласого, с высоким лбом, тонкими губами, с волевым лицом, неотрывно на него смотрящего".

А во время сеанса каждый участник получил послание.

"Мое было: "Этот джентльмен врачеватель. Скажи ему, чтобы не читал книгу Ли Ханта". Я в то время раздумывал, браться ли за "Комедийных драматургов Реставрации", в которых меня отталкивало их распутство. Но я никому не говорил о своих сомнениях и тогда ни о чем таком не думал. Что же это было, как не чтение мыслей?"

Чтение мыслей? Но когда миновало первое потрясение вечера, он пришел к противоположному выводу, хотя твердого убеждения так и не обрел. Вспышки сомнений, нерешительности, беспокойства встречаются повсюду в его журнале, где он честно пытался достичь какого-нибудь прогресса в вопросах духа. После всех исследований и чтений он не пришел ни к какому окончательному выводу. Он будет продолжать изучение, ибо весьма вероятно, что его исследования могли быть недостаточно глубокими.

Тем временем, ожидая выхода в свет "Этюда в багровых тонах", Конан Дойл решил проявить себя не только как автор дешевых ужасов. Он уже давно хотел испытать себя в исторической прозе. Конечно, нет ничего удивительного в том, что, постоянно занятые историей, философией и религией, его мысли приняли такой оборот.

Его любимыми писателями были в то время Мередит и Стивенсон. Стивенсоном он восхищался с тех пор как прочел в старом номере "Корнхилла" повесть, напечатанную без подписи, — "Павильон в дюнах". Гений Стивенсона рождал, будто в агонии, сжатые до полудюжины слов образы, не менее живые, чем созданные целыми описательными пассажами. И Стивенсон, конечно, тоже испытывал влияние Джорджа Мередита, у которого при всей его логической невнятице попадались такие выпукло-зримые фразы, как: "Фермер ухохоталея жирными боками в кресло".

И, конечно, сэр Вальтер Скотт, чьи старые зеленые томики по-прежнему занимали свое почетное место рядом с "Монастырем и очагом" Чарльза Рида; да, сэр Вальтер Скотт обладал теми же достоинствами. И это проявлялось всегда, лишь только его томительная велеречивость стихала при появлении героя или заглушалась звоном скрещенных клинков. Невозможно забыть острые стычки в "Пуританах".

Но Скотт рисовал "круглоголовых" как безумцев, потерявших

человеческий облик, не стремясь объяснить читателю духовное горение пуритан. Другое дело Маколей. И к начинающему писателю вернулись его прежние, навеянные Маколеем, видения о "круглоголовых", сбрасывающих свои доспехи ради мирных ремесел. Так пусть эти люди или их сыновья будут героями романа, развивающегося в конце XVII века при католическом короле Иакове, и пусть они при мечах и под пение псалмов соберутся под знамена "короля" Монмута. Так зарождался "Мика Кларк".

Он стал подумывать о "Мике Кларке" в 1887 году. И вновь с той всевозрастающей силой памяти, способной (как у Маколея) обратиться назад и воспроизвести все ранее впитанное, он извлек на свет все свои знания о XVII веке, углубив их многомесячным изучением деталей и примет эпохи. А затем, урывая время от изнурительной врачебной практики и изучения оптики в портсмутской глазной клинике, он в три месяца написал книгу.

Когда он еще был с головой погружен во все перипетии своей новой повести, "Этюд в багровых тонах" увидел свет в ежегодном рождественском выпуске Битона за 1887 год.

И ничего не произошло, ровным счетом ничего. Нелепо было ожидать, что какой-нибудь критик на Рождество возьмется за обзор этого издания; так и вышло. Впрочем, тираж благополучно расходился. В начале 1888 года Уорд и Локк предполагали выпустить "Этюд" отдельным изданием. Пусть автору это издание не сулило ни гроша, зато иллюстрации к нему было предложено сделать его отцу Чарльзу Дойлу. Уже серьезно больной и заметно состарившийся, Чарльз Дойл изготовил шесть черно-белых рисунков и, должно быть, пролил не одну слезу, когда узнал, что его искусство все еще может пригодиться в Лондоне.

Его сын переписал набело "Мику Кларка" к концу февраля 1888 года. И, несмотря на апологию пуританских добродетелей, становится очевидно, кому симпатизирует автор. Коренастый Мика — добродушен и мил. Но другой персонаж чуть ли не перетягивает весь рассказ на себя — это сэр Джервас Джером: разорившийся аристократ, скучающий придворный щеголь, который примкнул к мятежу Монмута, потому что ему наплевать, на чьей стороне драться. Но, когда зыбкие надежды Монмута стали таять в ночном сражении при Седжмуре и все здравомыслящие люди убедились в необходимости отступления, сэр Джервас с презрением отказался двинуться с места, как поступили бы и его деды-рыцари, и умер столь же беспечно, как и жил.

Конан Дойл, понимая, что написал совсем недурную вещь, мимоходом, в письме матушке, определил статус начинающего автора:

"Мы должны попытаться удержать копирайт на "Мику"! Я уверен, это принесет прибыль". Он писал еще, что очень измотан и нуждается в отвлечении, хотя и весьма своеобразном: "Мне нужно несколько дней отдыха, — писал он в другом письме, — чтобы сбросить с себя это бремя: рассказ "Знак шестнадцати устричных раковин", который маячит сейчас у меня где-то на задворках мозга".

Что же это за рассказ, о котором он упоминает среди прочих под рубрикой "Замысел"? Его название так же мучительно разжигает любо-

пытство и распаляет воображение, как те неописанные случаи из практики Шерлока Холмса, которыми он так щедро разбрасывался позднее. И даже еще мучительнее, потому что, хотя в его бумагах отыскать рассказ не удалось, не исключено все же, что он был написан и, по всей видимости, в то время, когда Конан Дойл работал над короткой повестью "Загадка Клумбера".

Впрочем, сейчас его не слишком волновали "тайны" и "загадки". Все вертелось вокруг "Мики Кларка". К тому же он решил, что его врачебный талант найдет применение в глазной хирургии. Свои новые планы он поверял Лотти.

"Если его (Мику) удастся сбыть, — писал он, — это можно считать доказательством, что я могу прокормиться пером. Для начала у нас будет несколько сотен. Я поеду в Лондон изучать глаз. Затем поеду изучать глаз в Берлин, — полусерьезные мечтания становятся все дерзновеннее: — Потом поеду изучать глаз в Париж. Научившись всему, что нужно знать о глазе, я вернусь в Лондон, чтобы стать окулистом, не оставляя, конечно, литературы, как дойной коровы".

Весьма знаменательно, что в то же время он занялся изучением средних веков, и занятия эти затянулись более чем на два года. Беда в том, что никто не печатал "Мику Кларка".

Джеймс Пейн отказывался понимать, как может он — он! — убивать столько времени на исторический роман? У "Блэквуда" недоуменно качали головами. Газетный синдикат "Глоуб" заметил, что повести не хватает любовной интриги; Бентли компетентно заявил, что в ней нет вообще никакой интриги. На сей раз доктор изведал всю глубину отчаяния. Более года рукопись мытарилась по издательствам, пока наконец в ноябре 1888 года не попала к Лонгмену, где ее увидел Эндрю Лэнг.

И рукопись была принята, правда, по соображениям довольно странным: она-де на 170 страниц длиннее романа "Она" Райдера Хаггарда. И вновь именинником едет Конан Дойл в Лондон на завтрак с Эндрю Лэнгом.

Вернувшись домой в Саутси, он закружил в вальсе Туи, впрочем, с большой осторожностью: Туи ждала ребенка — их первенца — в начале будущего года. И у него вдруг (по крайней мере, в ту минуту) пропала охота покидать Саутси. Поскольку Лонгмен явно торопился с выпуском "Мики", ему оставалось только гадать, кто раньше появится на свет: "Мика" или младенец.

Гадать долго не пришлось: первый крик Мэри Луизы Дойл, названной в честь матушки и Туи, раздался в конце января 1889 года. Ее отец, для которого Туи была далеко не первой пациенткой, сознавался, что цепенел от ужаса и терялся, когда на свет должен был появиться его собственный ребенок. Матушке (он не сообщал ей в последнее время о состоянии Туи, вызвав в Йоркшире ярость) он послал описание двух носов, Мэри Луизы и Туи, видневшихся из-за горизонта одеяла, да красной головки малышки в красном же чепчике.

"Она кругленькая и пухлая, голубые глаза, кривые ножки, толстенькое тельце. Остальные подробности представлю, если понадобится. У меня нет опыта в описании детей. Но манеры ее (на наше горе) очень

вольные. Когда ей что-то не нравится, об этом становится известно всей улице".

А "Мика Кларк", с посвящением матушке, вышел в свет в конце февраля. Автор напрасно опасался и робел перед "уважаемой критикой". Критика встретила "Мику" с таким энтузиазмом, что всякому другому, менее уверенному в своих способностях, это, конечно, вскружило бы голову. Блестящие отзывы, не забыв и единственный враждебный голос из "Атенеума", он подшивал в кожаную папку. И уже твердо знал, что ему хочется писать теперь.

Смотрите, как набирает уверенности его тон.

"Я подумываю, — писал он перед публикацией "Мики", — взяться за книгу в духе Райдера Хаггарда под названием "Око инков", посвященную всем "хулиганам" Империи и написанную человеком, им симпатизирующим. Мне кажется, я написал бы такую книгу "con amore" *. Удивительные приключения Джона X. Колдера, Ивана Босковича, Джима Хорскрофта и генерал-майора Пенгелли Джонса в поисках "ока инков". Годится ли это для разжигания аппетита?"

Но это все суесловие. Один из дерзких планов. Правда, вполне в его духе было засесть в кабинете и гнать текст с завидным упорством. Но это была лишь одна сторона его характера — иное "я", хоть и родственное известному врачу, ставшему уже капитаном портсмутского крикетного клуба, вице-президентом либерал-юнионистов, секретарем Литературно-научного общества, а в футболе — по определению местных газет — "одним из надежнейших защитников футбольной ассоциации в Гемпшире".

Но другой человек, затаившийся в глубинах его существа, работал в своем небольшом кабинете, который Туи и матушка Хокинз оборудовали для него в верхнем этаже. То был человек, который в виде легких умственных упражнений за несколько дней прорабатывал целые тома научных трудов, скажем, Тьера о Французской революции или Прескотта из истории Перу. А теперь, вот уже более года, он был погружен в изучение средних веков. И с неожиданной ясностью ему открылась великая истина.

Если он не сподобился веры в Бога, он может иметь некоторое кредо, некоторый кодекс поведения. Он нашел его здесь, в средних веках, среди сломанных копий и брошенных мечей. Его можно выразить в двух словах: рыцарская честь.

Все инстинкты, все нити, связывающие его с детством и — глубже — с далеким прошлым, влекли его туда. "Бесстрашие перед сильными, смирение перед слабыми. Быть рыцарем со всеми женщинами, невзирая на происхождение. Подавать помощь нуждающемуся, кем бы он ни был. И тому порукою — слово рыцаря".

Конечно, он не слишком обольщался насчет рыцарства времен Эдуарда III. Видел его грубость и неряшество. Но если все это отбросить, останется тот самый кодекс поведения, который покоился на чести, и каждый пункт его становился символом веры, придававшим не меньше сил духу, чем религия. И кодекс этот не утратил своего значения и в

---

* С любовью (*ит.*).

нынешний век, век бирмингемских фабрик и высоких цилиндров. "И этому порукой, — мог бы добавить Конан Дойл, — слово рыцаря".

Вот что важно понять, пытаясь разобраться в глубинах души Артура Конан Дойла. Об этом он говорил и писал редко, разве что вскользь. Предмет был для него слишком священный. Но именно это поражало в нем всех, кто с ним встречался. Ощущение было достаточно острым, хотя и не всегда могло быть сформулировано. Но многие, как мы увидим, об этом говорили, и говорили в одних и тех же выражениях. Когда он выходил в широкий мир, восставая против бессмыслицы или несправедливости, миллионам, никогда его в глаза не видевшим, ясно чувствовалось горение того самого рыцарского духа, что находили они в его книгах.

Вот почему излюбленной его книгой станет та, которую он собирался сейчас писать, — "Белый отряд".

Объясняет это и обширные изыскания, предпринятые ради нового замысла. На Пасху 1889 года он уехал на несколько дней в соседний Нью-Форест. Его спутниками были генерал Дрейзон, м-р Булнуа и д-р Вернон Форд из портсмутской глазной клиники. Это был лишь краткий отдых, заполненный дневными прогулками и вечерним вистом. Но вскоре он вернулся туда вновь с целым багажом трудов по истории средних веков и заперся с ними до осени. В этих занятиях постепенно складывался план будущей книги.

Конан Дойл, запершись в коттедже, был еще с головой погружен в свои изыскания, а его герои уже облекались в плоть и кровь и бродили по залитым солнцем лужайкам Нью-Фореста точь-в-точь такими, какими он их себе представлял. Каждый персонаж, решил он, должен верно отражать какую-либо сторону жизни Англии 1366 года. Осенью он вернулся в Саутси, нагруженный толстенными тетрадями с заметками, и его грезам пришлось временно отступить на второй план.

Американский редактор "Липпинкоттс мэгэзин", издававшегося одновременно Липпинкоттом в Филадельфии и Уордом и Локком в Лондоне, прочел "Этюд в багровых тонах" и пожелал заполучить еще один рассказ о Шерлоке Холмсе для публикации его целиком в одном выпуске журнала. Не пожелает ли д-р Конан Дойл отобедать с ним в Лондоне и обсудить это предложение? Такой случай нельзя было упускать. На обеде, где ему довелось встретиться с гениальным Оскаром Уайльдом, еще не избалованным сценическим успехом, он пообещал написать нужный рассказ. И в 1890 году в американском и английском выпусках журнала появился "Знак четырех".

Но он был так поглощен "Белым отрядом", что, как это ни удивительно, нигде — ни в записных книжках, ни в дневниках, ни в письмах — не упоминает о "Знаке четырех". И лишь в интервью, данном репортеру лондонского "Эхо" в сентябре 1889 года, мимоходом, как о чем-то второстепенном, проскальзывает намек на него.

В "Знаке четырех" мы замечаем, что Уотсону начинает изменять память. Однако, что бы этот рассказ нам ни поведал об Уотсоне и Холмсе, он проливает яркий свет на мысли, которые владели их создателем.

"Позвольте мне рекомендовать вам эту книгу, — вдруг заявляет

Шерлок Холмс, — одну из замечательнейших книг. Это "Мученичество человека" Уинвуда Рида".

Устами Шерлока Холмса проговорился сам Конан Дойл. Он не в силах был удержаться. "Мученичество человека" он читал прошлой весной, и книга произвела такое сильное впечатление, что замечания заняли целых две убористо исписанные страницы в его записных книжках. "Уинвуд Рид, — писал он, — считает, что прямой путь уводит нас все далее и далее от личности Бога — божества, отражающего человеческие идеи, — к непредставимой, обезличенной силе. Сосредоточимся на служении несчастным ближним и на совершенствовании наших сердец!"

Подобные мысли были бы уместны, конечно, и в устах самого Шерлока Холмса. Но не слышатся ли в них, и очень отчетливо, призывные звуки "Белого отряда"?

Можно заметить попутно, что "Знак четырех" (в Англии, по крайней мере) не имел успеха. Выйдя весной 1890 года в виде отдельной книжки у Спенсера Блакетта, он снискал себе едва ли большее внимание критики, чем "Этюд в багровых тонах". И потребовалось целых два года, прежде чем было предпринято второе издание. Более того, автор уже написал лучшую часть своей трехактной пьесы, в которой д-р Уотсон... но об этом пока рано.

В своем небольшом кабинете на втором этаже, с голубыми обоями на стенах и медвежьим черепом на столе, трудился он над "Белым отрядом". Прежде всего он превознес идеал. А затем попал во власть движущих сил самого повествования. Казалось, он вновь очутился в Нью-Форесте, где оживали все персонажи, созданные его воображением.

Вот по дороге в Крайстчерч важно шествует Сэмкин Эйлвард, настоящий лучник, умевший с расстояния в полтораста ярдов расщепить стрелой сучок, на котором крепилась мишень. Перепуганные монахи изгоняют из монастыря Болье верзилу Джона из Хордла, насмешника и драчуна. Из Болье же в мирской водоворот, никогда им доселе не виданный, пускается юный Аллейн Эдриксон, потомок древней саксонской аристократии. И эти трое, встретившись на тропе приключений, клянутся в вечной дружбе, прежде чем отправиться на войну под знаменами с пятью алыми розами сэра Найджела Лоринга.

Конечно, это общая схема для всякого романтического повествования, от Тиля Уленшпигеля до "Монастыря и семейного очага". Нет нужды говорить о волнующих эпизодах "Белого отряда", о широте охвата — от Гемпшира до Франции и Испании, о поединках и битвах. Но возвышается Конан Дойл над всеми, кроме, может быть, самого Скотта, тем, что готов сам ответить за каждое слово. Как поступали его герои — так поступил бы, да и поступал всегда, до последнего дыхания, он сам.

«Мы свободные англичане!» — восклицает Эйлвард. И в этом правда Сэма Эйлварда. Это правда двух вечных типов англичан: Сэма Джонсона и Сэма Уэллера. Это была правда и Конан Дойла — воплощения патриотизма и всего того, что делает Англию великой. Вот вторая сила, двигавшая и воодушевлявшая повествование и его творца.

Для автора начало 1890 года было омрачено смертью его сестры Аннет, названной в честь тетушки. Но, с другой стороны, их дом согревало

теперь присутствие малышки Мэри Луизы, которую крестили по англиканским обычаям. Матушка, обратившаяся к англиканству, поспешила из Йоркшира, чтобы самой устроить крестины. Туи оставалось лишь поражаться ее распорядительностью.

Ее муж работал всю весну до самого лета. Какой-то особый восторг, ощущение исполнения чего-то, предначертанного самой судьбой, овладело им, когда в начале июня он дописывал последние страницы. "Я закончил!" — воскликнул он и швырнул ручку об стену так, что та оставила чернильное пятно на обоях. Несколько дней спустя он писал Лотти:

"Ты будешь рада, я знаю, услышать, что я закончил мой великий труд и что "Белый отряд" подошел к концу. Первая половина очень хороша, следующая четверть — удивительно как хороша, а последняя четверть — опять очень хороша. Итак, возрадуйся вместе со мной, а я так полюбил и Хордла Джона, и Сэмкина Эйлварда, и сэра Найджела Лоринга, как будто узнал их наяву, и чувствую, что все, говорящие по-английски, в свое время тоже полюбят их".

Он послал рукопись Джеймсу Пейну. Пейн, скупой на похвалы и тем более не привыкший расточать их исторической прозе, немедленно принял "Белый отряд" для серии в "Корнхилле" и объявил его лучшим историческим романом со времен "Айвенго". Меж тем автора стали терзать беспокойство и черная меланхолия.

В расхожем представлении д-р Конан Дойл из Саутси, с его широкоскулым лицом и густыми усами, — эдакий невозмутимый здоровяк. На самом же деле он был, что говорится, сплошным комком нервов, хотя скорее согласился бы умереть, чем проявить это на людях или произнести вслух хоть одно похвальное слово о своих произведениях. Что же впереди?

Что делать? Куда податься? Восемь лет отдано Саутси! Помимо "Гердлстона", "Клумбера" и двух сборников рассказов, он написал "Этюд в багровых тонах", "Мику Кларка", "Знак четырех" и "Белый отряд". И что это ему принесло? Сбережения в несколько сотен фунтов — не больше.

В конце октября, когда в прессе замелькали сообщения о том, что д-р Кох в Берлине нашел средство от туберкулеза, он спешно собрался в Берлин, чтобы самому на месте во всем разобраться. Профессионального интереса к туберкулезу у него не было, хотя туберкулез и унес в свое время жизнь Элмо Уэлден. Но сейчас он этим занялся, просто чтобы чем-нибудь заняться, найти выход своему беспокойству.

И здесь, в шумном мире, среди медиков, галдящих и толпящихся в коридорах "Гигиенэ-Музеума" на Клостер-штрассе, возродились с новой силой его прежние амбиции. Почему бы не покинуть Саутси? Почему бы не поехать в Вену изучать глаз, чтобы вернуться в Лондон уже глазным врачом, приберегая писательство про запас как возможный источник дохода? И вот, как-то в ноябре, он выложил Туи, по обыкновению устроившейся с шитьем у камина, все свои соображения.

— Когда же нам ехать, Артур?

— Немедленно! — заявил ее супруг, способный в пять минут собраться хоть в. Тимбукту. — Сейчас!

— Но зима на носу!

— Ну и что, дорогая? Что такого? Положись на меня!

Мэри Луиза, уже делавшая первые шажочки, когда ее придерживали за шарфик, могла вполне остаться с матушкой Хокинз. Обстановку можно будет продать или оставить у кого-нибудь. Вопрос о его врачебной практике, несколько поредевшей из-за литературных его занятий, оставался открытым. Все же корни, прораставшие восемь лет, выдираются не без боли.

Бюст деда, картины и вазы — все было тщательно упаковано от греха подальше. С грустью смотрел он на некогда роскошную красную дорожку, теперь далеко уже не новую, скатанную к основанию лестницы в холле, оклеенном обоями под мрамор. Как много старых связей разрывалось. Ушли из жизни сестра — юная Аннет, и тетушка Джейн, и дядюшка Мишель Конан. Дядюшка Дик, артистический и светский лев, "мой милый Дойл" принца Уэльского, пораженный еще одним апоплексическим ударом на ступенях "Атенеума", покинул этот мир в конце 1883 года.

Туи бодро встретила новый поворот в их жизни. "Артур, — писала она в одном письме, — хочет, чтобы я собралась и поехала с ним, так что мне надо поторопиться". Портсмутское Литературно-научное общество (как мы узнаем из "Портсмут Таймс" за 13 декабря) дало в его честь прощальный банкет. Во главе стола сидел д-р Джеймс Уотсон. Возникает какое-то странное чувство, будто все идет шиворот-навыворот, когда читаешь об этом теперь, через столько лет. Д-р Уотсон приветствовал д-ра Конан Дойла, и все собравшиеся пропели "Доброе старое время".

В последние дни накануне отъезда он был тронут тем, что столько людей — друзей и пациентов — пожелало прийти попрощаться с ним. Одна старушка, которую он лечил, помнившая, как часто доктор "забывал" выставить ей счет, принесла ему свою самую ценную вещь. Это было синее с белым блюдо, которое ее сын-моряк подобрал во дворце Хедива после обстрела Александрии. Это все, что у нее есть, но она хочет, чтобы он это принял, — объяснила она доктору, у которого на глаза навернулись слезы.

И вот, в конце декабря, настал день, когда у порога дома ждал их четырехколесный экипаж, на крыше которого был уложен весь их багаж. В опустелом доме на Илм-гроув было видно, как за оголенными окнами тихо падает снег. Уже усаживаясь в экипаж и оглядываясь на дом, с горечью подумал он о том, как много было замыслов и надежд и как мало он преуспел в жизни. Но он прогнал эти мысли прочь, покрепче обнял Туи, и экипаж унес их в снежную даль.

ГЛАВА VI

ВОСХОД: ТРИУМФ ДЕДУКЦИИ



Шерлок Холмс!

Уже к концу 1891 года имя доктора Артура Конан Дойла стало знаменитым. Шестой из его новых рассказов — "Человек с рассеченной губой" — появился в декабрьском номере "Стрэнда". Было мнение (бытующее и в наше время), что это лучший из рассказов о Шерлоке Холмсе, несмотря на странные метаморфозы имени доктора Уотсона. Кто станет это оспаривать?

Тощая фигура, начертанная Сиднеем Пейджетом *, примелькалась уже не меньше, чем конки на Стрэнде; белые, или зеленые, или шоколадные, в зависимости от места назначения, грохотали они по грязи днем и ночью, освещая себе путь во тьме шипящим синим светом дуговых ламп.

* Сидней Пейджет - иллюстратор рассказов о Шерлоке Холмсе.

скабрезных замечаний кучеров, последние теперь отпускали шуточки в адрес Шерлока Холмса. Впрочем, в этом они не были одиноки: на ту же тему шутили и Дж. М. Барри в "Спикере", и журналист, выступавший (увы!) под именем Лука Шарп *. Но что же сам автор?

Друзьям было известно, что в конце марта доктор и миссис Конан Дойл вернулись из Вены, где он прослушал лекции по глазным болезням, и по дороге посетили в Париже Ландольта. В Лондоне они поселились вместе с миссис Хокинз и малышкой на Монтагю-плейс, 23, Рассел-сквер. А на Девоншир-плейс, районе модных врачей, он собирался предстать как офтальмолог. Но к его услугам ни один страждущий так и не прибегнул.

Оправившись после тяжелейшего гриппа, который едва не стоил ему жизни, Конан Дойл принял решение — давно назревавшее и вынашиваемое — бросить медицину и существовать одной лишь литературой. В июне он подыскал большой дом из красного кирпича в Южном Норвуде, где мог разместиться не только со всей своей семьей, но и с сестрами.

Ведь основания надеяться на успех у него были — и немалые.

Теперь это уже достояние истории, как молодой врач через своего весьма энергичного литературного агента А. П. Уатта отдал в "Стрэнд" свой рассказ "Скандал в Богемии". И теперь мы можем изучать жизнь Шерлока Холмса — с новыми данными — по письмам его создателя.

Принято считать, что он намеревался написать 12 рассказов — ту самую дюжину, которая и составила "Приключения Шерлока Холмса". Но такого далеко идущего плана у него и в мыслях не было. С начала апреля по начало августа 1891 года создано шесть рассказов. Эти шесть рассказов — все, что он собирался написать.

Исполняющим обязанности редактора "Стрэнда" под неусыпным оком м-ра Джорджа Ньюнеса был усатый, очкастый Гринхоф Смит, слывший человеком весьма проницательным. Гринхоф Смит заплатил молодому автору в среднем по 35 фунтов стерлингов за каждый рассказ. Эти деньги да еще его сбережения и романы могли составить приличный вклад в банке. А когда в июльском номере "Стрэнда" появился "Скандал в Богемии" и Холмс еще до наступления осени прославился, редактор поспешил запросить еще рассказов, — но Конан Дойл отказал.

Ибо у него было кое-что поинтереснее.

Прежде всего, он был увлечен своим новым домом на Теннисон-роуд, 12, в Южном Норвуде. С белыми оконными переплетами, выделявшимися на фоне красного кирпича стен, балконом над входом, садом за высоким забором, дом этот располагался почти уже в сельской местности, где дышалось воздухом встающих в отдалении холмов Суррея. Чуть ближе виднелся Кристал-пэлэс. Заросший сад был прекрасным местом для игр Мэри Луизы. В следующем году, решил он, можно будет разбить теннисный корт. Всегда с восторгом встречающий технические новшества, он купил тандем о трех колесах, и ему виделось в мечтах, как они с Туи мчатся по окрестным дорогам, покрывая до тридцати миль в день.

---

* Лука Шарп — псевдоним Роберта Барра.

Теперь, сбросив свой сюртук и профессиональные манеры, он мог вздохнуть полной грудью. Он был свободным человеком.

Важнее всего был вопрос о серьезном литературном творчестве. "Белый отряд", все еще выходящий с продолжениями в "Корнхилле", завершится к концу года. Он знал, чувствовал: "Белый отряд" будет иметь успех. И вот уже год, как он вынашивал новый исторический роман. Новый роман будет основан отчасти на мемуарах придворных Людовика XIV, а отчасти — на работе американского историка Паркмана. Со двора великого монарха действие перенесется через Атлантику в сумрачные леса Канады, оглашаемые боевыми кличами ирокезов. Героями романа должны стать гугеноты, французские пуритане. В эту эпоху, скажем, в год 1685-й, он мог бы перенести и Мику Кларка, и Децимуса Саксона. Он мог бы...

Между тем редактор "Стрэнд Мэгэзин" был вне себя.

Уже почти все шесть холмсовских рассказов были им использованы. Надо было что-то предпринять; прямо сейчас, в октябре, если помышлять о продолжении серии в 1892 году. Не говоря уже о престарелых завсегдатаях клубов, даже читательницы пели восхищенные гимны Шерлоку Холмсу.

«„Стрэнд", — писал —Конан Дойл матушке 14 октября 1891 года, — просто умоляет меня продолжить Холмса. Вкладываю в конверт их последнее письмо».

И тут он заколебался. В конце концов, ему неплохо платили за эти рассказы. С другой стороны, он почти уже готов начать работу над своей франко-канадской книгой с манящим заглавием "Изгнанники". А написать полдюжины холмсовских рассказов — значило отложить в сторону все то, что ему действительно хотелось делать, и его бесила такая отсрочка. Может ли он запросить в "Стрэнде" такой высокий гонорар, поставить им такие жесткие условия, чтобы вопрос решился разом?

"Итак, — продолжал он в письме матушке, — с этой же почтой я напишу им, что, если они дадут мне 50 фунтов стерлингов за каждый, н е з а в и с и м о от длины [разрядка К. Д.], я готов пересмотреть свой ответ. Ну как, кажется, достаточно круто?"

Показалось ли это им круто или нет, но уже с обратной почтой спешил ответ, что его условия приняты. И когда же, простите, смогут они получить рукопись, ведь дело не терпит отлагательств?

"На третий день Рождества зашел я к Шерлоку Холмсу, чтобы поздравить его с праздником. Он лежал на кушетке в красном халате..."

Так начинается седьмое приключение Шерлока Холмса, пока Конан Дойл, прикрыв глаза, пытается представить себе, о чем думает его герой. В Южном Норвуде осенние порывы ветра несут вдоль пустынной дороги сорванные листья. "Наш дом прямо сотрясается, я думал, что вот-вот вылетят стекла". Он усвоил себе привычку работать по утрам, с восьми до полудня, и вечером, с пяти до восьми, при свете лампы в своем кабинете, что располагался по левую руку от входа. "За эту неделю, — писал он в конце октября, — я написал два новых шерлок-холмсовских рассказа — "Голубой карбункул" и "Пестрая лента". Последний — триллер. Сейчас я на девятом рассказе, так что с остальными будет немного хлопот".

При всей шумихе вокруг Холмса у него не было более преданного поклонника, чем матушка. Ей он посылал все корректуры романов и рассказов с момента, как стал писать; ее критику он ценил высоко и искренне. Матушка же — верный союзник — теперь подала ему идею холмсовского рассказа. Там должна была фигурировать некая девушка с великолепными золотыми волосами; ее похищают, стригут наголо с тем, чтобы в преступных целях представить ее вместо некоторой другой персоны.

"Я не знаю, как справиться с этим златоволосым эпизодом, — сознавался он. — Но если у Вас возникнут какие-нибудь новые соображения, обязательно расскажите мне".

Стояла прескверная погода, заточившая в доме всю семью, а Конан Дойл продолжал свой труд. 11 ноября он уже мог сообщить матушке, что завершил "Знатного холостяка", "Палец инженера" и "Берилловую диадему" — то есть все обещанные рассказы без одного. Он надеется, что они написаны на должном уровне и что все двенадцать смогут составить своеобразную книжку.

"Подумываю, — заметил он между прочим, — убить Холмса наконец и завязать с этим. Он отвлекает мои мысли от лучших вещей".

Намерение расправиться с Холмсом, впервые появившееся еще в 1891 году, ужаснуло матушку. "Ты не сделаешь этого! — негодовала она. — Ты не должен! Не смеешь!" В нерешительности и волнении он спрашивал, что же ему делать. И она отвечала — строго, как десятилетнему мальчишке, что он должен использовать сюжет с золотоволосой девушкой.

Так золотистые волосы матушкиного изобретения превратились в менее впечатляющие каштановые мисс Вайолет Хантер; зловеще улыбается на пороге своего уродливого, побеленного известкой дома Джефро Рукасл, а Конан Дойл "Медными буками" завершает серию. Жизнь Шерлоку Холмсу спасла матушка.

Самого же автора меньше всех волновала судьба героя. Еще работая над "Холмсом", он получил экземпляр "Белого отряда" и первое отзывы прессы. И замечания прессы были, увы, достаточно разочаровывающими, чтобы внушить любому на его месте отвращение к Холмсу.

Не то чтобы, как он объяснял, критики были враждебно настроены к "Белому отряду". Но они видели в нем только его приключенческие достоинства, этакое бурное повествование, "тогда как я жаждал написать точные типы характеров людей того времени". Они не увидели в нем первой в мире книги, описывающей важнейшую фигуру английской военной истории — ратника-лучника. Это он переживал мучительно.

В декабре он приступил к "Изгнанникам" и до начала рождественских каникул написал полтораста страниц. Он оставил идею ввести в повествование Мику Кларка и Децимуса Саксона, — чтобы не было перебора. И тут вдохновение стало покидать его. Книга выходила, как ему казалось, не очень хорошая и не очень плохая. Что-то ему подсказывало, что он не сможет передать великолепия двора великого монарха. Отзывы о "Белом отряде" не шли из головы. "Понимаете, — объяснял он матушке, — я читал и размышлял целый год, пора заканчивать, и я не думаю,

что есть смысл тянуть. Мне сдается, что большинство критиков не отличают хорошего от плохого". Но в иные минуты он воспламенялся, лицо его просветлялось и ему не терпелось прочесть Туи и Конни последние написанные страницы.

Услада для глаз, сестрица Конни, такая же, как прежде, большеглазая и не менее, а даже более очаровательная, жила теперь с ними. Воздыхатели преследовали ее по всей Европе; уже не раз подумывала она о замужестве, но всякий раз уклонялась. "Ни за что на свете, — не однажды заявлял ее братец почти одними и теми же словами, — не стану я вмешиваться. Если ты любишь его, то и говорить не о чем. Но, дорогая, у него в голове пусто".

Конни могла бы управляться с пишущей машинкой — еще одним техническим новшеством, которое он завел в Саутси, но пока им не пользовался. В будущем году, он надеялся, и Лотти будет жить с ними; сейчас он был в состоянии содержать их всех. Иннес, уже девятнадцатилетний, был неподалеку, в Вулвиче, готовясь к военной службе. В конце концов, верный викторианскому пристрастию к большому семейному окружению, он надеялся собрать всех под своим кровом, всех, кроме матушки, упрямо отстаивающей свое желание жить особняком, получая от него средства к существованию.

Итак, со свежеиспеченными страницами "Изгнанников" в руках спешит он в свою новую, устланную ковром в больших красных цветах, великолепную гостиную с беломраморным камином, на котором стояли вазы с пампасной травой. На все это падал мягкий свет от масляной лампы с шелковым гофрированным абажуром поверх стеклянного шара, предохранявшего его от открытого огня.

"Честное слово, — писал он Лотти, — честное слово, я отпускаю читателям страстей на все шесть шиллингов! Конни и Туи сидели просто открыв рот, когда я читал им это. А что говорить о любовных сценах! Страсти вулканические!.."

Еще испытал он радостное волнение от приобщения к миру литераторов. Он был приглашен на ужин "Лентяев" (сотрудников журнала "Айдлер" — "Лентяй"), где познакомился с симпатичным Джеромом К. Джеромом, автором "Троих в лодке...", а ныне редактором "Лентяя"; вспыльчивым Робертом Барром, помощником Джерома и Дж. М. Барри, чьим "Окном в Трамзе" он уже был очарован. Это были великие мастера застолья, отнюдь не поборники трезвости, и над столом в клубах дешевого дыма разносилась песня: "Он славный, веселый парень...", потому что в этом докторе с внешностью гвардейца, с завитыми усами на крупном лице, столь теперь округлившемся, что вся голова казалась шарообразной, — они нашли себе идеального товарища. В его юморе не было ничего сверхрафинированного, и, когда он смеялся, это было так заразительно, что люди на другом конце стола невольно присоединялись к нему.

С Барри — "в котором, — как он писал, — нет ничего мелкого, кроме его фигуры" — он свел дружбу в тот же час. То же было и с Джеромом, и с Робертом Барром. Вскоре после этого Барри посетил его в Норвуде и пригласил весной приехать в Керримьюир — "маленький красный городок в Шотландии", тот самый Трамз из его книг.

Конан Дойл закончил "Изгнанников" в начале 1892 года. Что бы он ни говорил по поводу первой части, приключенческие эпизоды по своей живости и захватывающему действию были непревзойденными. Создавалось удивительно реальное ощущение, как будто раскрашенные лица индейцев заглядывают в ваши окна.

Между тем Барри, увлеченный своей первой пьесой "Уокер, Лондон" в постановке Тула, пробудил в Конан Дойле тягу к театру. Из своего рассказа "Боец 15-го года" Конан Дойл, перекроив и сгустив его, создал одноактную пьесу, известную под названием "Ватерлоо".

В "Ватерлоо" над всеми возвышается один персонаж: капрал, которому сейчас уже все —девяносто, но который когда-то провез тележку с порохом сквозь пылающие заграждения к позиции гвардейцев. Почти совсем глухой, немощный, сварливый Грегори Брустер, все больше оживляясь, вспоминает, как принц-регент наградил его медалью.

"Да, так принц говорил, — рассказывает, сияя от радости, старик: — "Полк гордится вами", — говорит. А я говорю: "А я горжусь, говорю, полком". А он говорит: "Чертовски хорошо сказано", и они с лордом Хиллом прямо загоготали".

Всякий, хоть немного разбирающийся в театре, сразу сказал бы, что это идеальная роль для актера от первого выхода на подмостки до последнего крика души умирающего: "Гвардейцам нужен порох, и, видит Бог, он у них будет!" Набравшись храбрости, Конан Дойл послал пьесу театральному идолу своей юности Генри Ирвингу.

И немедленно пришел ответ от Брема Стокера, секретаря великого актера — тоже ирландца и тоже атлетического сложения, к тому же весьма сходных с ним вкусов. (Если бы не театральный фон, то, читая замечательную биографию Ирвинга, написанную Бремом Стокером, трудно было бы отделаться от мысли, что Брем Стокер — это д-р Уотсон, пишущий о Шерлоке Холмсе.) Король английской сцены покупал права на "Ватерлоо", и автор пьесы преисполнился законной гордости.

Все эти месяцы, что он работал, ничто не могло отвлечь его. Он никого не замечал вокруг. Малышка Мэри Луиза, ползая по его письменному столу, мяла рукопись "Изгнанников". Когда съехавшиеся на воскресенье гости пожелали сфотографировать его за рабочим столом, ему не нужно было позировать. Магний вспыхивал и гремел, как пушка, от новых и новых вспышек по комнате плыл густой белый дым, а его перо невозмутимо бежало по бумаге.

Тут надо, однако, сделать оговорку. Кое-что все же его волновало. Взволновала его новая серия рецензий под шапкой "Стрэнда" — негодующий крик разнесся по всему дому.

"Они пристают ко мне, требуя новых рассказов о Шерлоке Холмсе, — писал он матушке в феврале 1892 года. — Под таким нажимом я предложил сделать дюжину за 1000 фунтов стерлингов, но я искренне надеюсь, что на сей раз они откажутся".

Но условия приняли немедленно. И автору пришлось призадуматься.

Какой бы скромной ни казалась сейчас такая плата за серию, содержащую "Серебряного" и "Морской договор", тогда, в 1892 году, это были деньги немалые. Они как-то заворожили его; он не мог привыкнуть

быть знаменитым, потому что сам не ощущал в себе никакой перемены.

По тщательном размышлении, он решил, что сможет наработать рассказов на новую серию. Он, однако, предупредил "Стрэнд", что они не должны надеяться получить их немедленно. Он пообещал Эрроусмиту повесть из наполеоновских времен, которая должна быть сдана к августу, а затем он намеревался отдохнуть вместе с женой в Норвегии. Пару рассказов можно написать по ходу дела, но большинства придется ждать не раньше конца года.

Одним хмурым утром в поисках выхода из создавшегося положения просматривал он в своем кабинете старые бумаги, которые он редко когда уничтожал, и на глаза ему попались три сшитые и переплетенные в толстый картон тетрадки.

Можно сказать, что "Ватерлоо" — не первый его драматургический опыт. То, что он держал сейчас в руках, было трехактной пьесой под названием "Ангелы тьмы". Он написал первые два акта в Саутси в 1889 году, а третий — в 1890-м, когда Шерлок Холмс еще не представлял ни для кого никакого интереса. "Ангелы тьмы" — в основном реконструкция американских сцен "Этюда в багровых тонах"; все действие происходит в Соединенных Штатах. Холмс там даже не появляется. Но вот д-р Уотсон... д-р Уотсон действует — и даже очень.

"Ангелы тьмы", с точки зрения любого комментатора, конечно, полны шероховатостей. Биограф, по крайней мере теоретически, должен быть столь же строг, как диккенсовский Грэдграйнд *; его не должны увлекать те пресловутые уотсон-холмсовские умственные упражнения, что вызывали споры по обе стороны Атлантики. Но искушение бывает сильнее нас — листая страницы "Ангелов тьмы", мы будем немало поражены, узнав, что Уотсон скрывал от нас многие важные эпизоды своей жизни.

Уотсон, оказывается, некоторое время работал врачом в Сан-Франциско. И то, что он умалчивал об этом, вполне объяснимо: вел он себя не слишком безупречно. Те, кто подозревал в его отношениях с женщинами черное коварство, увидят, что их самые мрачные опасения справедливы. Либо он уже был женат, когда женился на Мэри Морстен, либо бессердечно предал бедную девушку, которую держал в объятиях под занавес в "Ангелах тьмы".

Как звали девушку? Это вопрос щепетильный: широко объявить ее имя — хорошо известное — значит предать и автора, и персонаж. В лучшем случае это бросит тень на Уотсона, и не только в матримониальных вопросах, а в худшем — разрушит всю сагу и создаст проблему, которую не смогли бы разрешить лучшие детективные умы с Бейкер-стрит.

Перелистывая "Ангелов тьмы" в 1892 году в своем кабинете в Норвуде, Конан Дойл понял, что должен позабыть об этой пьесе раз и навсегда. Были, правда, в ней хорошие места, скажем, комические сцены, которые не вошли в "Этюд в багровых тонах", но в целом пьеса с Уотсоном

---

* Томас Грэдграйнд — персонаж романа Ч. Диккенса "Тяжелые времена", "человек трезвого ума, человек очевидных фактов и точных расчетов".

без Шерлока Холмса не воодушевит публику (она не опубликована и по сей день).

В марте в компании с Барри и неким "атлетического сложения рыжеволосым молодым человеком", Артуром Куиллер-Кучем, он ездил в Бокс-холл навестить Джорджа Мередита. Старый маэстро, страдающий каким-то нервным расстройством, нетвердой поступью семенил по тропинке и истинно мередитовским слогом приветствовал гостей. Обходительный, восторженный человечек с седой бородкой клинышком, он говорил все больше о войне, пересыпая речь анекдотами из воспоминаний генерала Марбо, недавно вышедших по-английски. Конан Дойл, увлеченно слушая разговоры на излюбленную тему, пытался разобраться в своих впечатлениях от этого человека: нравится он ему или нет.

Теперь, решив отдохнуть вдали от Норвуда, он отправился в Шотландию, по пути остановившись в Эдинбурге, заехав с визитом в Кирримьюир и порыбачив с неделю в Олфорде в Абердине. После Эдинбурга он писал:

"Я выходил в город и обедал с грозным одноногим Хенли, прототипом Джона Силвера из "Острова сокровищ". Он редактор "Нэшнл Обзервер", самый необузданный из критиков и, как мне кажется, один из первых наших живых поэтов. Затем я приехал сюда, в Кирримьюир, и нашел, что у Барри все заведено еще причудливей, чем у Хенли; но мне было здесь, правда, очень весело".

Маленький, весь из красного кирпича, городок Кирримьюир бился над одной загадкой: его обитатели никак не могли понять, как это Барри завоевал такую репутацию в Лондоне, да еще, о Боже, зарабатывал деньги книгами. Это не просто удивляло, это бесило их.

"Некоторые здесь, — подметил Конан Дойл, — думают, что славу Барри принес его отличный почерк. Другие считают, что он сам печатает книги и продает их в Лондоне в разнос. Когда он выходит на прогулку, они крадутся за ним и подглядывают из-за деревьев, чтобы выведать, как он все это делает".

Представьте себе такую потешную картину: крошечный шотландец и весьма внушительный ирландец, каждый с большой трубкой в зубах *, торжественно шествуют, увлеченные беседой миль в пятнадцать длиной, а из-за деревьев выглядывают лица с бакенбардами и в шотландских шапочках.

В апреле он вернулся в Норвуд и ушел с головой в работу для Эрроусмита, которую он намеревался назвать "Великая тень". Великая тень — это тень Бонапарта; уже слышится первая барабанная дробь Наполеоновской романтики. Поездка на шотландское побережье дала ему фон для начальных глав, а кульминация наступала в битве при Ватерлоо. Но само Ватерлоо, как и в "одноактке", было для него не просто фактом из учебника истории. Оно было эпизодом из его семейной хроники, эпизодом вполне реальным и осязаемым до мелочей, вплоть до цветов мундиров и вида киверов. И не однажды упоминал он о своих предках на этом поле брани.

---

* Барри, как известно, не курил. Но на людях обычно появлялся с трубкой. А играя в крикет, рассказывали друзья, поручал свою пустую трубку их заботам. (*Примеч. авт.*).

"Пятеро наших билось там, — говорил он, — и трое наших там полегло".

К середине лета, закончив "Великую тень", он уже мог позволить себе праздно посидеть в саду на краю нового теннисного корта, облачившись в вельветовую куртку и соломенную шляпу, и сделать некоторые выводы.

"Белый отряд" расходился издание за изданием, окончательно убеждая его в благосклонной оценке публики. То же и с "Микой". Но то же самое происходит (он готов был сказать "к сожалению") и с книгой "Приключения Шерлока Холмса", которую выпустил м-р Ньюнес. А это напоминало ему, что пора вновь заводить эту бездушную счетную машину, если новая серия, как предполагалось, должна появиться в декабре этого года. Пока у него готово только три рассказа: "Серебряный", "Картонная коробка" и "Желтое лицо" *. Однако существует по крайней мере еще один полный холмсовский набор, никогда не появлявшийся в "Стрэнде". И никогда Холмс не потрясал так Уотсона глубиной своей дедукции, как в этом утраченном приключении "Полевой базар". Из всех бейкер-стритских пародий это единственная, написанная самим Конан Дойлом. Написал он ее лишь спустя четыре года для журнала Эдинбургского университета "Студент" в помощь благотворительному базару для сборов средств на расширение крикетного поля; но об этом стоит упомянуть здесь в связи с легендами и "холмсоведением".

В интервью журналистам, которые повадились этим летом в Южный Норвуд, он вручил доктору Беллу, чья фотография сейчас красовалась на камине в его кабинете, честь быть прототипом Холмса. Доктор Белл сразу же и великодушно это отверг:

"Доктор Конан Дойл силой своего воображения создал очень многое из очень малого, и его теплые воспоминания об одном из бывших учителей придали картине живописности".

"Не совсем так, — отозвался его бывший студент. — Не совсем!"

Скрывая свои истинные чувства к Холмсу, Конан Дойл с серьезным видом убеждал одного журналиста, будто больше не пишет, опасаясь навредить герою, которого так любит, и, продолжая шутку в том же духе, решил в следующих рассказах подпустить кое-какие намеки на истинное происхождение этого надоедливого джентльмена. (Несомненно, Уотсон, вы уловили эти намеки в нашем повествовании?)

Домашняя жизнь в Норвуде протекала безоблачно. Конни наконец-то влюбилась по-настоящему. Она повстречала 26-летнего журналиста Эрнеста Уильяма Хорнунга, или попросту Вилли, обладавшего изысканными манерами и изящной речью. И брат Конни, и Туи не могли не любоваться этой парой, наблюдая их игру в теннис: Конни в длинной юбке, грациозно изгибавшаяся при ударе, и Вилли в соломенной шляпе и белом фланелевом костюме.

А что же Туи? Конан Дойл уже не мог брать Туи в свои велосипедные пробеги. Осенью она ждала ребенка, и на сей раз, конечно, это будет

---

* Последний, как видно из дневника за 1892 год, первоначально назывался "Багровое лицо", а "Картонная коробка" была исключена из "Записок о Шерлоке Холмсе" при издании их Ньюнесом в виде отдельной книжки. (*Примеч. авт.*).

мальчик. Теперь Туи предвкушала путешествие в Норвегию. Они поехали в Норвегию в августе, а в сентябре, когда он уже вновь засел за работу в Норвуде, пришла телеграмма от Барри. Телеграмма была столь тревожной, что он тотчас поспешил в Олдебург в Суффолке, где находился Барри, и нашел автора "Идиллий Старых Огней" в совершенном отчаянии.

"Не сможешь ли ты мне помочь, — попросил Барри, — с либретто для легкой оперетты?"

Барри, как выяснилось, опрометчиво пообещал написать оперетту, которую должны были поставить в театре "Савой" в славной манере Гилберта и Салливана. Она должна состоять из двух актов: Барри написал первый и набросал второй. Не напишет ли его друг стихи для второго акта и, может быть, какие-то диалоги?

Конан Дойл засучил рукава. Правда, он ничего не смыслил в опереттах. Но Барри нуждался в помощи. К тому же, говорил он себе, писатель, если он чего-нибудь стоит, должен уметь состряпать все — от научного трактата до шуточной песенки.

В том же месяце, что был занят Шерлоком Холмсом и "Джейн Анни, или Призом за хорошее поведение", Конан Дойл имел случай написать стихи совсем не опереточного свойства. В прессе появилось сообщение, что старый флагманский корабль лорда Нельсона "Разящий" (Foudroyant), прежняя гордость британского флота, был продан Германии на утиль. Подобные вещи приводили Конан Дойла в настоящее бешенство.

Люди спокойные и рассудительные сочтут это чистой сентиментальностью. Кусок дерева есть кусок дерева (и ничего больше), старая ржавая пушка стоит не больше, чем кусок металла. Что нам в лорде Нельсоне, когда смерть закрыла оба его глаза и он уже не спасет нашей шкуры? Конан Дойл ответил стихотворным "смиренным посланием" заправилам Королевского флота:

Вам не понять, корыстолюбцы,
Не все на свете продается...

И это было его философией. Повод, возможно, покажется незначительным, но он отбрасывает тень вперед, на те грядущие дела, когда речь шла о правосудии; и проявилась тут та его черта, о которой много лет спустя Кулсон Кернахан сказал, что готов скорее встать в пяти шагах перед дулом пистолета, чем увидеть в глазах Конан Дойла кипение гнева или холодное презрение.

Но впрочем, когда год 1892-й близился к завершению, Конан Дойл был совсем в другом расположении духа. В октябре к ним приехала из Португалии его любимая сестра Лотти. Ее стали повсюду водить и все ей показывать. А в ноябре Туи родила. Как и мечтал отец, это был мальчик.

После долгих споров мальчика решили назвать Аллейн Кингсли; Аллейн — по Аллейну Эдриксону из "Белого отряда". На Рождество созывались соседские детишки — д-р Конан Дойл обожал переодеваться Санта Клаусом. Но в этом году, решил отец Мэри Луизы и Аллейна Кингсли, у детей должно быть что-то необычное.

И вот он много дней мастерит костюм Бармаглота * — такой ужасающий, что, раз увидев, не забудешь вовек. Это — как он искренне думал, натягивая на себя костюм, — развлечет и повеселит малышей. Однако у всех детей, кроме грудного младенца, вид его вызвал такой страх, что Конан Дойлу, уже пожалевшему о своей затее, пришлось полночи утешать все еще всхлипывающую четырехлетнюю Мэри, убеждая ее, что проклятая гадина ушла и больше не вернется никогда.

В начале 1893 года, когда в "Стрэнде" стали появляться новые шерлок-холмсовские рассказы, а другие еще дописывались, он вывез Туи в Швейцарию. В уши ворвался грохот Раушенбахского водопада. Он нуждался в такой краткой передышке. Он был истощен непрерывным плетением сюжета, загнан необходимостью постоянно порождать идеи — чувство, хорошо понятное каждому писателю, от которого радостно ожидают, что он будет до гробовой доски выдумывать все новые и новые трюки. Теперь перед ним была уже не кукла — это был "человек с мозгами", стиснувший его мертвой хваткой.

Дома он получил приглашение читать выездные лекции; в этом было для него много привлекательного. Но и драматургия его привлекала: Ирвинг скоро выступит в "Ватерлоо" и оперетта "Джейн Анни" начнет репетироваться весной. И он выбрал и то и другое: и театральную сцену и кафедру лектора.

Но перед ним стала еще и другая задача. В Норвуде 6 апреля 1893 года — простуженный, согреваясь у огня в своем кабинете и лениво почитывая "Гордость и предубеждение" под шум, который производили снаружи легионы маляров, — он вдруг отложил книгу и написал письмо матушке.

"У нас здесь все в порядке, — писал он, — я на середине последнего рассказа о Холмсе, после чего этот джентльмен исчезнет, чтобы больше никогда не вернуться! Я устал от него". Профессор Мориарти притаился в тени черных скал; Раушенбахский водопад разверзся; и со вздохом облегчения он убил Шерлока Холмса.

---

* Бармаглот — традиционное русское соответствие для Jabberwocky — чудища из "Алисы в Зазеркалье" Л. Кэрролла. Восходит к переводу Д. Г. Орловской.



ГЛАВА VII
ТРАГЕДИЯ: "МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬ ТО, ЧТО УГОТОВИЛА НАМ СУДЬБА"

Пока читатели "Стрэнда" еще и не догадывались, что над Шерлоком Холмсом нависла смерть, оперетта "Джейн Анни" была в мае 1893 года поставлена в театре Савой. Она провалилась.

"Оперетта, — писал один критик, вначале убедительно доказывающий, что музыку композитор позаимствовал, — оперетта эта есть длительное испытание для глаз. Есть тут и хорошенькие девицы в дезабилье не менее очаровательном, чем они сами; есть тут хорошенькие девицы в костюмах для гольфа; есть галантные военные в блистательных уланских униформах; школьники на лодочках — словом, все, что может создать разнообразие цветов и живописность групп. Что ни говори о вкладе других в "Джейн Анни, или Приз за хорошее поведение", но работа менеджера заслуживает только похвалы".

Барри и Конан Дойл впали в уныние, но нашли в себе силы поддерживать друг друга.

"Что мне больше всего претит в таком провале, — писал последний, у которого в памяти еще была жива картина, как во время оно ходили они с Элмо Уэлден в Савой смотреть "Терпение", — это то, что всю дорогу ты опирался на руку друга, а сам вдруг даешь ему упасть. Но так оно и есть".

Он нигде и никогда не обмолвился, разве что в письме матушке, что не может нести полной ответственности за поражение, ибо его доля участия в пьесе была весьма скромна, но ведь имей постановка успех — он бы его разделил. Способен ли он вообще писать для театра? Сейчас было мало надежд увидеть "Ватерлоо" на сцене. Труппа Ирвинга, завершив блестящий сезон в Лицеуме постановками "Генриха VIII", "Лира" и "Бекета" Теннисона, отправилась в американское турне, которое должно было продлиться до следующей весны. Однако, помимо разъездов с лекциями по Англии, ему было чем заняться.

При его все ширящейся славе невероятно разрастался и круг его друзей. Благородное общество, проведав, что он отпрыск рода Дойлов, пожелало втянуть его в свой водоворот. Он поспешил уклониться от этого. Никогда и ничто так не смешило его, как шумные дебаты о том, кто где должен сидеть на званом обеде, и торжественная, просто-таки японская процедура, это рассаживание сопровождавшая. Он принимал приглашения, когда того требовали правила приличия, и отклонял, если только это не выходило за рамки благопристойности. А о жизни и литературе он предпочитал беседовать с умницей Робертом Барром, соредактором "Лентяя". Барр, бывало, сидя в плетеном кресле на лужайке дома в Норвуде, наблюдал, как его хозяин отрабатывает удары гольфа, метя шаром в кадку, стоящую, пожалуй, чересчур близко к дому.

"Он просто пьянеет от гольфа, — говорил Барр. — Он кладет шар в кадку при верном ударе и, как правило, разбивает окно, когда мажет".

Или так :

"Взять у вас интервью проще простого, — кричал Барр, потрясая бородой. — Достаточно припомнить все, что я думаю по данному вопросу, и написать прямо противоположное — это и будете вы. Ваше мнение о Редьярде Киплинге?

— Величайший мастер рассказа".

Джордж Мередит был другого мнения. Когда Конан Дойл вновь посетил его в Бокс-Хилле, маленький старичок, нетвердо держащийся на ногах, опять занимал своего поклонника беседой за завтраком. У Киплинга, сказал брезгливо Мередит, нет утонченности. Отпустив еще несколько едких замечаний по адресу знаменитостей, включая покойного Теннисона и принца Уэльского, Мередит спросил у гостя, какого он мнения о начальных главах его давнего незавершенного романа "Удивительный брак". Не желает ли гость, чтобы он прочел ему эти главы?

Они стали взбираться по крутой тропинке к глядящему на Суррей-Даунз летнему домику, где Мередит любил работать. Конан Дойл шел впереди, хозяин — сзади. Мередит поскользнулся и упал. Его гость знал, сколь болезненно горд старик. Знал, что Мередит, с негодованием отвергавший всякий намек на свою недееспособность, будет глубоко унижен, если предложить ему помощь. Итак, Конан Дойл сделал вид, что ничего

не заметил, и продолжал путь как ни в чем не бывало, пока Мередит его не нагнал. В этом поступке было тем больше благородства, что сам Конан Дойл не видел в нем ничего особенного.

Летом был заключен брак между мисс Констанцией Дойл и мистером Эрнестом Уильямом Хорнунгом. Артур с некоторым сомнением смотрел на будущее благополучие молодоженов, ведь доходы Вилли были не слишком существенными. Но когда забеспокоилась матушка, он уверил ее, что "Конни будет получать постоянное жалованье". В августе вместе с Туи он поехал в Швейцарию читать в Люцерне лекцию на тему "Беллетристика как часть литературы". И все казалось безоблачным в жизни д-ра и миссис Конан Дойл, в жизни всей семьи, когда осенью он отправился с лекционным турне по Англии.

И тут разразилась трагедия.

Какие бы силы ни управляли миром, они редко наносят роковой удар без предупреждения. Поражению предшествует поражение, удар предваряет удар. Первым предостережением была смерть Чарльза Дойла в начале октября 1893 года.

Мальчиком Артур не слишком нежно относился к отцу. Но в зрелые годы он научился понимать то, что прежде считал леностью и слабоволием, и почувствовал прелесть в живописи, что висела теперь на стенах его кабинета. Делом чести стало для него (как часто говорил он об этом в последнее время!) составить когда-нибудь собрание всех работ отца и устроить выставку в Лондоне. Надо признать, в его смерти не было ничего неожиданного. Но когда она наступила, окончательная, грубая и необратимая... Чарльз Дойл жил и умер католиком, и его похоронили по католическому обряду.

А вскоре, когда Артур вернулся в Норвуд, Туи стала жаловаться на боль в боку и кашель. Он счел, что ничего серьезного в этом нет, но послал за д-ром Дальтоном, жившим по соседству. Конан Дойлу никогда не забыть было той минуты, когда, сойдя наконец в холл, помрачневший коллега изложил ему свое медицинское заключение.

У Туи диагностировали туберкулез. При ее физических данных и нынешней стадии болезни на радикальное излечение надеяться не приходилось. Это было то, что тогда называли скоротечной чахоткой, молниеносной и мучительной; доктор давал ей всего несколько месяцев жизни.

— Вы, конечно, пожелаете провести еще один осмотр? — поинтересовался д-р Дальтон.

— Если вы ничего не имеете против. Сэр Дуглас Пауэлл?

— Как раз его я и думал вам предложить.

Туберкулез. Сперва Элмо Уэлден — туманный образ. Теперь Туи, которая стала столь неотъемлемой частью его жизни, что ее отсутствие невозможно себе представить. О его состоянии можно судить по письму матушке, которое он написал после посещения специалистов.

"Боюсь, — писал он, — нам придется смириться с диагнозом. Я вызвал в субботу Дугласа Пауэлла, и он подтвердил его. С другой стороны, ему кажется, что есть признаки роста фиброида вокруг очага болезни и что второе легкое компенсационно несколько увеличилось. Он полагает, что недуг развивался незамеченным уже несколько лет, но тогда он, должно быть, был крайне слабым".

Инстинкт толкал его на битву за жизнь Туи. Он не покорится этому невыносимому вердикту. Они с Туи, писал он в том же письме, должны как можно скорее уехать в Сент-Мориц или Давос, климат этих мест может дать какой-то шанс. Если она будет чувствовать себя хорошо зимой в Швейцарии, весной можно будет попробовать Египет. Норвудский же дом следует либо оставить как есть, либо пустить на продажу; сам он будет рядом с Туи, а работу возьмет с собой.

"Нам нужно принимать то, что уготовила нам Судьба, но я надеюсь, что все еще обойдется. В хорошие дни Туи выезжает и не очень теряет в весе". А затем в совершенном смятении и растерянности: "До свидания, матушка; спасибо за теплое участие. Замужество Конни, смерть отца, болезнь Туи — немного чересчур!"

Хотя поначалу Пауэлл и Дальтон высказывались в пользу Сент-Морица, выбор пал все же на Давос. В альпийской долине, защищенной от всех ветров и залитой солнцем, жизнь Туи можно было продлить на несколько месяцев. В конце ноября вместе с Лотти и двумя детьми они жили в Курхаус-отеле в Давосе. И сама Туи была так весела и беспечна, что временами ее супруг стыдился своего подавленного состояния.

Вдали от Англии он не слышал ропота возмущения, которым был встречен конец Шерлока Холмса в декабрьском номере "Стрэнда". Но не приходится удивляться, что теперь его главный герой казался ему еще более отталкивающим. Он переживает настоящую, невыдуманную трагедию, а его засыпают сердитыми, протестующими или даже оскорбительными письмами, и бойкие юноши в Лондонском Сити ходят в свои конторы, повязав шляпы черными лентами в знак траура по Шерлоку Холмсу.

Здесь, у подножия высоких снежных гор, он снова засел за работу, но его мысли принимали лишь один оборот. Тогда-то он и написал "Письма Старка Манро", где не было вымысла, но было много глубоко личного. Это был анализ раздумий, надежд, чувств и прежде всего религиозных сомнений молодого доктора, каким он сам был в Саутси.

Ничего нет удивительного в том, что эта книга содержит лучшие комедийные, в самом широком смысле, сцены из всего им написанного. Смех часто служит избавлением от горестей, а теперь более, чем когда-либо, он нуждался в этом. Его бывший партнер д-р Бадд, под именем Каллингворта, буйствует на страницах книги. Юный доктор Старк Манро очень желает увидеть — и видит наконец — некую благую силу, действующую во Вселенной. И все же повествование пронизано унынием; и в финале, который в одних изданиях присутствует, а в других — нет, Старк Манро и его жена погибают в железнодорожной катастрофе.

"Я не могу оценить ее, — писал Конан Дойл о книге. — Она явится если не литературной, то религиозной сенсацией". Он послал рукопись Дж. К. Джерому, который опубликовал ее серией в "Лентяе" так же, как он поступил с его врачебными рассказами, которые должны были скоро появиться в сборнике "Вокруг красной лампы".

В унынии и мраке находил он силы повторять: "Надеюсь, все еще обойдется" и в начале 1894 года его жизнелюбие было вознаграждено —

Туи стало много лучше. Это признавали все врачи. "Я думаю, еще одна зима, — восклицал он, — может вылечить ее окончательно".

В глубине души он не слишком верил в это и говорил так, скорее чтобы успокоить миссис Хокинз. Но здоровье Туи явно улучшилось и, соблюдая некоторые предосторожности, можно было долгие годы поддерживать такое существование. Ничего большего ожидать не приходилось. А пока этот пьянящий альпийский воздух исцелял Туи, веселил Артура и помогал ему укреплять дух. "Когда "Старк Манро" будет завершен, — писал он в конце января, — я стану вести жизнь дикарскую — целыми днями на воздухе на норвежских лыжах".

Кстати говоря, именно Конан Дойл привил в Швейцарии лыжный спорт. В отеле под скептические ухмылки собравшихся он убеждал, что придет время, когда сотни англичан будут приезжать в Швейцарию на лыжный сезон. С этой же идеей он выступил позднее в "Стрэнде". А тем временем, прочтя записки Нансена, он выписал несколько пар лыж из Норвегии.

Лыжи, жаловался он, самые дорогие и капризные деревяшки в мире. "На всякого, кто страдает излишним самомнением, они произведут прекрасное моральное действие". Только двое из местных жителей, попробовавших овладеть этим спортом, братья Брангеры, помогали и аплодировали ему.

В конце марта он решил продемонстрировать, что возможно пересечь горы и дойти от одной отрезанной снегами деревни до другой. Никто, кроме братьев Брангеров, никогда не пытался этого сделать. Все трое должны были пройти от Давоса к Аросе, более 12 миль через Фуркаский проход на высоте около 9 тысяч футов. Все трое были новичками, которые легко могли погибнуть — и чуть было не погибли.

...Путешествие грозило обернуться падением или свернутыми шеями. Последний, спуск на долгом переходе к Аросе показался отвесной стеной. Братья Брангеры, связав свои лыжи вместе наподобие саней, со свистом слетели вниз по склону и перевернулись под приветственные крики жителей деревни, вооружившихся театральными биноклями. Сани Конан Дойла выскользнули у него из-под носа, оставив его ни с чем. Но увидев, что за ним наблюдают, он бросился вперед ногами и совершил долгий, великолепный спуск на заднем месте.

"Портной уверял, — говорил он, — что этому твиду сносу нет. Это голая теория, не выдержавшая строгой научной проверки. Весь остаток дня я был счастлив, только когда мне удавалось стать спиной к стене". Но когда им понадобилось зарегистрироваться в Аросском отеле, за всех троих расписался сияющий Тобиас Брангер; в графе "имя" он написал: "Д-р Конан Дойл", а в графе "профессия" — "спортсмен" — более лестный комплимент ему редко кто делал.

В эти первые месяцы 1894 года он много писал. Сначала это была повесть "Паразит". А затем, вдохновившись, он создал столь привлекательный образ — кто, кроме профессора Челленджера, впоследствии мог сравниться с бригадиром Жераром? — что мы должны отложить знакомство с ним до того времени, когда Конан Дойл закончит первую серию рассказов о нем.

В апреле Туи почувствовала себя так хорошо, что стала умолять отпустить ее ненадолго в Англию. Норвудский дом был все еще в их распоряжении, и за ним присматривала миссис Хокинз. Д-р Хаггард, европейская знаменитость, считал, что поездка допустима, если она будет продолжаться всего несколько дней. Раз состояние Туи настолько улучшилось, ее муж стал подумывать об одном давно сделанном ему предложении. Американский импрессарио, майор Понд, приглашал его в турне по Америке с чтением отрывков из своих книг. Турне должно было продолжаться с октября по Рождество. Перспектива побывать в Америке очень его привлекала. Если бы только можно было оставить Туи...

— Конечно, можно, — настаивала его преданная сестра Лотти, а Туи тотчас же согласилась, прося лишь, чтобы он вернулся на Рождество. — Во всяком случае, — добавляла Лотти, — ты не можешь взять ее с собой.

— Нет, не могу. Боюсь, половину времени, — припоминал он с ужасом условия английского турне, — придется провести на промозглых станциях в самую суровую пору года.

— Но кого же ты возьмешь с собой? Тебе непременно нужно кого-нибудь взять. Может быть, Иннеса?

Это была неплохая мысль. Иннес — статный офицер королевской артиллерии с пышными усами и прекрасной выправкой — будет отличным попутчиком. Для Конан Дойла это лето прошло в метаниях между Норвудом и континентом, где его ожидало несколько приятных известий. Генри Ирвинг после американского турне заканчивал летний сезон в Лицеуме "Фаустом", а осенью намеревался появиться в конан-дойловском "Ватерлоо" в роли капрала Грегори Брустера.

"Видите ли, — признавался Брем Стокер, — сложность заключается в том, чтобы вписаться в пьесу, длящуюся ровно один час. Главный (подразумевался Ирвинг) хочет играть Вашего ветерана в пару к "Колоколам". Я предвижу, что из него получится великолепный старый Брустер. Мы намерены попробовать это, возможно, в Бристоле в середине сентября".

Стало быть, автор (раз сроки американского путешествия были уже установлены) не сможет присутствовать на премьере. И все же его театральные амбиции разгорелись с новой силой. В Норвуде он немедленно приступил к полноценной четырехактной пьесе для Ирвинга и Эллен Терри, взяв в соавторы Вилли Хорнунга.

Но американское турне не могло ждать. Был написан всего лишь один акт пьесы, когда лайнер "Эльба" компании Норддойчер-Ллойд отплыл в конце сентября из Саутгемптона. А на палубе в маленькой шапочке, с развевающимися усами, стоял у поручня рядом с Иннесом Артур Конан Дойл.

И он и Иннес сразу ощутили царившую на борту немецкую враждебность. И когда в салоне-столовой, пестром от германских и американских флажков, они не увидели ни одного английского, в них вскипело негодование. Изобразив "Юнион-Джек" * из листочка бумаги, они водру-

* Государственный флаг Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

зили его поверх всех остальных флажков. Тем не менее Конан Дойл сошелся вскоре со всеми пассажирами и писал Хорнунгу с "тресковой банки в Гольфстриме", что отчаялся что-либо сделать в пути.

Наконец с возгласа: "Д-р Конан Дойл, я полагаю?" — в гомоне Нью-Йоркского дока началась лихорадочная американская карусель.

Нью-Йорк еще не был городом небоскребов, но для английского глаза был уже велик; город суровый и вместе с тем сибаритствующий среди своих водопроводов, телефонов и электрических огней. Краски неба, облаков, линия городского горизонта были яркими и четкими, как в стереоскопе. Из Джерси-сити Пенсильванский экспресс — как утверждалось, самый роскошный поезд в мире — мог домчать вас до Чикаго за 24 часа; находясь в поезде, вы могли даже побриться или насладиться недавним изобретением — наблюдательным салоном. Майор Дж. Б. Понд, импрессарио Конан Дойла, человек с большой головой, большими очками и бородой лопатой, излил на гостей свой энтузиазм.

"Доктор, — торжественно провозгласил майор Понд, — дело предстоит нешуточное. Мы испытаем вас перед поездкой на Запад сначала в баптистской молельне на 57-й стрит в Вестсайде".

Церковь вечером накануне десятого была битком набита поклонниками Конан Дойла. Они пришли послушать и посмотреть на него. Как всегда, не заботясь о внешнем виде, он, потеряв булавку от воротничка, чуть было не вышел на сцену с болтающимся галстуком и висящим под ухом воротничком. Майор Понд успел навести порядок. Гамильтон Райт Маби, представив его публике, описал печальнейшую картину: Шерлок Холмс на дне Раушенбахского водопада. Затем поднялся взволнованный автор. Причину бешеных оваций по окончании "Чтений и воспоминаний" можно уловить из кратких отзывов прессы.

"Он так говорил, — писала нью-йоркская "Уорлд", — что сам Шерлок Холмс признал бы его славным малым; благородным, ибо он говорил мелодично, сердечно, радушно; скромным, ибо рассказывал о себе без хвастовства, скромным еще и потому, что из драгоценностей у него были только крошечная булавка и брелок на часовой цепочке".

Здесь необходимо дать пояснение. Если кто-нибудь удивится: неужели критик предполагал, что Конан Дойл будет носить изумрудную подковку или часовую цепочку, усеянную бриллиантами, — следует ему припомнить, что то была эпоха увлечения драгоценными украшениями и что другие английские ораторы выступали в каких-то невиданных нарядах.

"Он не использует никаких лекторских трюков, — продолжала "Уорлд", — очень и очень немного жестикуляции, нет и театральных жестов, лишь время от времени, бессознательно, делал он то или иное движение, передающее настроение лица, о котором он говорил или читал".

"Гадали, например, — писала несколько простодушно нью-йоркская "Трибьюн", — будет ли он говорить на британском или каком-нибудь ином диалекте английского языка. Д-р Дойл разрешил все эти сомнения с первого же слова. Его приятный голос и четкая речь сочетали в себе манеры шотландские, британские и американские".

Тут требуется пояснение.

В 90-е годы в Соединенных Штатах не было людей, более презираемых и подвергаемых насмешкам, чем те, кого прозывали "дудами". "Дуд", или, проще, пижон, доморощенный или английского производства, носил высокий воротничок и монокль в глазу, говорил жеманно на каком-то своем жаргоне и держался высокомерно и чванливо. Считалось, и вполне справедливо, что тип этот берет происхождение в Англии. И теперь, не понимая, что "дуд", хоть и под другим именем, фигура столь же презренная и в самой Англии, американцы открыли в Конан Дойле оратора искреннего, без притворства, наделенного ирландским темпераментом и ирландской общительностью, которого и при самой богатой фантазии самонадеянным не назовешь. Вот почему Америка признала его своим.

Он же мог своими глазами убедиться в преувеличенности всего того, что писалось об Америке. Как у американцев было свое расхожее представление об англичанах, так и у англичан было свое представление об американцах как о громогласных бахвалах, которые только и знают что похваляться своими доходами да плеваться табачной жвачкой. "Плевака" был для англичан таким же навязчивым образом, как монокль для американцев. Увы, и "плевака", и английский "дуд" — далеко не вымысел. Но нелепо было бы делать вывод, что образованных и хорошо воспитанных американцев мало.

Конан Дойлу — в галопе пронесшемуся по Среднему Западу до Чикаго, Индианополиса, Цинциннати, а оттуда в Толедо, Детройт и назад в Милуоки и Чикаго — открывалась совсем иная картина.

"Я нашел здесь все то, что ожидал найти, — писал он матушке в письме, озаглавленном "На колесах", — а то дурное, о котором рассказывают путешественники, есть клевета и чушь. Женщины не столь привлекательны, как говорят. Детишки светлые и симпатичные, хотя их и стремятся испортить. Народ в целом не только самый преуспевающий, но и самый благоразумный, терпимый и неунывающий из всех, мне известных. Им самостоятельно и по-своему приходится решать свои проблемы, и боюсь, они видят слишком мало участия со стороны англичан".

Еще сильнее он выразился в письме сэру Джону Робинсону:

"Мой Боже! Когда я увидел всех этих людей с их английскими именами и английским языком и когда понял, как далеко мы дали им отойти от нас, мне подумалось, что нам следует на каждом фонарном столбе на Пэлл-Мэлл вздернуть по одному из наших государственных мужей. Нам — или идти с ними вместе, или быть биту ими же. Центр тяжести расы находится здесь, и нам следует приспособиться".

На банкете в Детройте, когда вино разожгло страсти и один из присутствующих обрушился на Британскую империю, Конан Дойлу не потребовалось долго размышлять:

"Вы, американцы, до сего дня жили внутри своей ограды и ничего не знали о реальном мире извне. Но вот ваша земля заполнилась до краев, и вам придется теснее соприкоснуться с другими народами. И тогда вы поймете, что есть только один народ, который может вполне понять ваши надежды и стремления или выказать глубокое сочувствие. Это — материнская страна, которую сейчас вы так любите поносить...

Она — Империя, и вы скоро станете Империей; и только тогда поймете друг друга, и поймете, что у вас лишь один настоящий друг в мире".

Звучат ли эти слова теперь так же пророчески, как тогда, в 1894 году, в зале с цветными окнами и змеевидными электрическими светильниками? Как бы то ни было, в этой самой прозаической Англии произошло событие, имевшее некоторое значение для путешественника. Ирвинг представил в Бристоле, в Принсез-театре, "Ватерлоо" — пьеса имела огромный успех.

Так много газет пожелало послать своих представителей в Бристоль, что пришлось снарядить специальный состав для критиков. Сегодня, наверное, рассказ о поезде, переполненном театральными критиками, вызывает злорадные мысли о детонаторах и взрывчатке. Но факт этот демонстрирует уровень интереса к игре Ирвинга и пьесе Конан Дойла. Брем Стокер, дрожа от волнения, следил из-за кулис за реакцией зрителей и за тем, сколько раз поднимали занавес в финале.

Телеграф доносил эхо рукоплесканий через Атлантику. В Чикаго автор пьесы имел удовольствие узнать о приеме ее зрителями в описании владельца "Таймс Геральд", который побывал в Бристоле, чтобы увидеть ее. В. Чикаго же повстречал Конан Дойл поэта Юджина Филда, с которым на долгие годы сдружился.

Оказавшись опять в Нью-Йорке, где его утренние чтения собирали все большие толпы слушателей в театре Дали, он был за обедом, данным в его честь клубом "Лотос", приглашен в турне по Восточному побережью Америки. У него уже слегка кружилась голова от этого калейдоскопа. Громыхание поездов, душные отели, бесконечные утренние, дневные и вечерние торжественные речи в собраниях, организованных по частной инициативе сверх того, что шло по расписанию, — все это было столь же утомительно, сколь утомительно было и чрезмерное гостеприимство. "Нам кажется, доктор, что мы не все сделали, как следует, если гость не напился так, что не может отличить доллара от циркулярной пилы". Или: "Я уверен, вы не откажетесь приветствовать наше маленькое общество? Всего пятнадцать минут".

Новая Англия ему понравилась. Дым осенних костров, багряные и бурые цвета увядающих листьев, шалашики скирд придавали полям, домам, улицам родную прелесть, какой наслаждаешься дома. Ощущалось и родство чувств.

"Вчера, — писал он, — я посетил могилу Оливера Уэнделла Холмса и возложил на нее большой венок — не от себя лично, а как бы от имени "Сообщества авторов". На одном великолепном кладбище покоятся Холмс, Лоуэлл, Лонгфелло, Ченнинг, Брукс, Агассиз, Паркмен и многие другие". Это были люди Новой Англии, которые по духу вполне могли бы быть людьми Старой Англии. Он долго простоял на кладбище Маунт-Обурн, как некогда стоял над могилой Маколея.

А в Вермонте жил сейчас со своей женой-американкой Редьярд Киплинг, Киплинг, шесть лет назад непревзойденно сочной бранью выразивший свое отвращение к Чикаго (были там и "плеваки"), не так легко, как Конан Дойл, переносил, когда американцы дергали за хвост британского льва. Он платил им тем же, ощипывая их орла, — это немного успокаивало. Конан Дойл считал весь спор бессмысленным и написал

об этом. Киплинг воспринял это благосклонно И пригласил его к себе в Вермонт.

Киплинг — невысокий, крепкий, косматый, усы торчат вперед, глаза сверкают из-за маленьких очочков — блюл свою личную неприкосновенность со страстностью, недоступной пониманию местных жителей. Он и его жена умели быть радушными. Они принимали гостя в своем знаменитом доме, построенном в форме Ноева ковчега, который Конан Дойл запечатлел на фотографии. Затем, увидев возможность потренироваться, Конан Дойл притащил целую сумку снаряжения для гольфа — к совершенному изумлению местных жителей, недоумевавших, как применять эти докторские инструменты.

Смело можно предположить, что Киплинг не питал симпатий к гольфу. Ни один истинный любитель не станет отзываться о гольфе в рассказе от первого лица так, как это сделал Киплинг в "Домашнем враче". Его гость, пусть и не великий игрок, дал ему несколько уроков на подернутой изморозью лужайке на виду у местных жителей. Киплинг читал недавно написанный "Гимн Макэндрю", где, как и во многих творениях этого мастера-ремесленника, романтика подается в образах, да и литературным стилем, хорошо отлаженной механики. Они расстались добрыми друзьями; и Конан Дойл сделал одно замечание, впоследствии повторенное и Хорнунгу:

"Бога ради, — попросил он, — оставим разговор о плеваках".

Он намеревался отплыть в Англию 8 декабря. И майор Понд, с глазами влажными от слез коммерческого восторга за стеклами очков, уговаривал его задержаться. "Не пообещай он своей больной жене провести Рождество дома, — печалился впоследствии майор Понд в печати, — он мог бы остаться еще на сезон и вернуться домой с приличным состоянием в долларах". И хотя майор не считал красноречие Конан Дойла таким уж цветистым, но "было что-то в нем такое, что очаровывало всякого, кто с ним встречался. Если бы он возвратился на сотню вечеров, я бы обеспечил ему больший заработок, чем любому англичанину".

Честный импрессарио, он не мог бы сказать ничего лучше.

В Нью-Йорке, как раз накануне отъезда, Конан Дойл узнал о смерти Льюиса Стивенсона на Самоа. Хотя он никогда не встречался со Стивенсоном, известие это воспринял как личную утрату. Ведь Стивенсон, чьими книгами он восхищался, был в свою очередь его поклонником, и они долгое время переписывались. Теперь этот немощный рыцарь ушел из жизни; Туситала * не расскажет больше ни одной своей истории. Немощный, да, — немощный инвалид. Как Туи.

И вновь прозвучал свисток парохода. Кьюнардская ** "Этрурия" проплыла мимо статуи Свободы. После напряжения последнего времени он чувствовал себя теперь усталым и подавленным. Но вскоре, сначала еще в Лондоне, а там — и в Давосе, узнал он, что Туи становится все лучше. И в Альпах, на исходе года, он с новым рвением вернулся к подвигам героя — неиссякаемому источнику остроумия.

Словом, к подвигам бригадира Жерара.

---

* Туситала — так самоанцы называли Стивенсона.

** Кьюнард — крупная судоходная компания, обслуживающая линии между Великобританией и Сев. Америкой.



ГЛАВА VIII
ИЗГНАНИЕ: СОЛДАТЫ БОНИ* – И ДЕРВИШИ

Наш герой стоит рядом с императором Наполеоном и маршалом Ланном в кромешной тьме на балконе, глядящем на Дунай. На том берегу за разлившейся на добрую милю и вздувшейся грохочущими бурунами рекой горят огни австрийских бивуаков. Кто-то, невзирая на бурю и дождь, должен проникнуть туда и привести языка, чтобы понять, где находится корпус генерала Хиллера.

Даже нашего героя (музыканты, темп!) прошибает холодный пот. И даже Наполеон не может приказать — он лишь высказывает пожелание. Но наш герой преисполняется гордости и жажды славы. Он понимает, что из стопятидесятитысячной армии с двадцатью пятью тысячами императорской гвардии он один избран для дела, требующего столько же находчивости, сколько отваги.

---

* Бони — прозвище Наполеона, распространенное в английской армии.

«"Я пойду, сир, — выкрикнул я без колебания. — Я пойду, и, если я погибну, Ваше высочество не оставит заботами мою матушку". Император потянул меня за ухо в знак расположения».

Читателям простительно ошибиться, приписывая этот пассаж нашему галантному приятелю Этьену Жерару, полковнику конфланских гусар, кумиру женщин, лучшему клинку шести бригад легкой кавалерии — потешному и героическому в одно и то же время.

Но это не Жерар. И вообще не художественная проза. Эпизод почерпнут из подлинных мемуаров барона Марбо, который в описываемое им время был капитаном наполеоновской армии. Стоит еще упомянуть, что Марбо перебрался-таки на вражеский берег и привел не одного, а сразу трех пленных и что Наполеон снова потянул его за ухо и произвел в майоры. Это одно из самых невинных приключений в книге, которую, не подтверди современники их достоверности, впору было принять за романтические бредни. И если мы все-таки не можем поверить во все подвиги, которые Марбо, по его словам, совершил, одно знакомство с такой личностью все искупает.

По другую сторону Ла-Манша никогда не могли и не могут понять по сей день бравады и позерства в поступках, мыслях и речах многих из самых серьезных — после Наполеона — противников. Этим во многом объясняется впечатление от книги. Когда Конан Дойл избрал Марбо прообразом бригадира, особый комический эффект достигался тем, что ветреность француза контрастировала с тяжеловесным, неповоротливым английским языком.

Читая французские военные мемуары, Конан Дойл был поражен тем, что именно бахвальство их авторов "возрождало самый дух рыцарства. Лучшего рыцаря, чем Марбо, не сыскать".

В этом-то вся суть. Если рассматривать поступки бригадира Жерара, не принимая в расчет тона повествования, он представляется средневековым паладином не хуже какого-нибудь Дюгесклена. Но его наивное хвастовство, бесхитростность, твердая убежденность в том, что каждая женщина от него без ума, — вот что заставляет читателя покатываться со смеха. И все же он неизменно верен благородным влечениям сердца. Распушив бакенбарды и подкручивая усы на манер Маренго, он как живой сходит со страниц книги.

"Наполеон говорил, — как вы, разумеется, помните, — что у меня самое отважное сердце в его армии. Правда, он все испортил, добавив, что у меня и самая тупая голова. Но Бог с ним. Непорядочно поминать дурные минуты жизни великого человека".

Этих слов бригадира нет в опубликованных рассказах Конан Дойла, они сохранились лишь в записной книжке, одной из многих, заполненной приметами быта наполеоновского окружения: о Мюрате с саблей в ножнах и тростью в руках, о старых усачах, которые умудрялись носить в своих медвежьих шапках по две бутылки вина и опирались на свои мушкеты, как на костыли, когда уставали, о "бледном лице и холодной улыбке" Бонапарта. Встречаются в них и упоминания об одном ненаписанном (или, по крайней мере, неопубликованном) рассказе о Жозефине и шантаже.

"Целых три года, — пишет автор, — жил я среди книг наполеоновского времени, надеясь, что, впитывая и пропитываясь им, я смогу, в конце концов, написать стоящую книгу, дышащую очарованием той удивительной и восхитительной эпохи. Но мои амбиции оказались выше моих сил... И вот, венцом всех моих долгих и серьезных приготовлений стала одна маленькая книжица солдатских рассказов".

"Маленькая книжица" — в этой характеристике упрек себе, и упрек несправедливый. "Подвиги бригадира Жерара", а затем и "Приключения Жерара" — лучшее из написанного им о наполеоновской кампании. И фокус в том, что он смотрит на все глазами француза.

Бригадир — истинный француз, такой же, как, скажем, Марбо, или Куанье, или Журдо. Ни одного фальшивого жеста или слова. Все его ужимки, выводящие из себя его врагов и так веселящие читателей, — достоверны. Он выразитель жизненного духа великой армии, и из груди его неудержимо рвется боевой клич: "Vive l'Empéreur!" * А его соображения о характере английском не меньше говорят о его собственном характере. Этьен Жерар если кого и выставляет в смешном свете, то себя, и только себя, а вовсе не Францию или французов. Этим объясняется успех бригадира и Конан Дойла.

Первый рассказ — "Медаль бригадира Жерара" — был написан в 1894 году и прочитан автором перед благодарной американской публикой. А к весне 1895 года, когда он с семьей вновь поселился в Давосе, на сей раз в гранд-отеле "Бельведер", было уже почти готово семь рассказов.

Эта весна в Давосе выдалась ненастной. Под угрюмыми дождями опал снег на лыжнях, и всем нездоровилось. В мае, как можно понять по письмам матушке, он побывал в Англии, и это вновь изменило весь ход событий.

Он уже примирился с тем, что, по всей видимости, им придется до конца дней (или, смотря правде в глаза, до конца Туиных дней) мотаться по отелям Швейцарии или Египта. Он и принимал это как неизбежность, без лишних слов. Но вот, в Англии, повстречал он Гранта Аллена, тоже страдающего чахоткой, который поведал ему нечто весьма удивительное.

Грант Аллен, чье имя сейчас уже почти совершенно забыто, был в то время известным писателем, впервые привлекшим к себе внимание сенсационным романом "Игральная кость", а как раз в 1895 году много шума наделал своим откровенным подходом к проблемам пола его последний роман "Женщина, которая решилась". Конан Дойлу он был более известен своими научными работами с сильным агностическим оттенком. Совсем не обязательно, страстно доказывал Грант Аллен, больному туберкулезом жить за пределами Англии — сам он сумел приручить недуг, поселившись в Хайндхеде в Суррее.

Туи, которая не меньше мужа мечтала о возвращении, умоляла его разузнать все на месте. Он поспешил в Суррей и остался более чем доволен.

"Не только пример Гранта Аллена вселяет надежду, что эта мест-

* Да здравствует император! (*фр.*).

ность подойдет для Туи, — писал он, — но и ее расположение на возвышенности, сухость, песчаная почва, еловые заросли и защищенность от всех холодных ветров создают условия, которые считаются наилучшими". Он продал дом в Норвуде. Стоит ли снова покупать готовый дом? Было решено строить свой собственный дом в Хайндхеде, и строить на широкую ногу.

Он начертил план будущего дома, любовно предусмотрев в нем обширную бильярдную, и передал все в руки своего старого приятеля Болла, архитектора из Саутси; тот утверждал, что строительство займет около года. Возвратившись в Давос, он, к радости "Стрэнда", закончил семь новых рассказов о бригадире и переделал "Письма Старка Манро".

Так много личного было вложено в "Письма", что теперь, вновь обратясь к ним, он подумал, что, возможно, это самое долговечное из его творений. Тут было все: его мечты и устремления, и страхи, и агностические (или, строго придерживаясь характеристики д-ра Манро, — деистические) взгляды. Была там и Туи под именем Винни Лафорс. Разбираясь в глубинах своего сердца, он должен был признать, что никогда не испытывал к Туи чувств, которые предполагает великая любовь. В Саутси он был слишком поглощен собственной влюбленностью. Но, конечно, он питал к Туи глубокую привязанность и нежность, что — так он тогда думал — лучше всякой любви.

Да и вообще эти мысли казались ему предательством, и он гнал их прочь.

Самое долговечное творение? Быть может. И все же он давно уже пришел к выводу, что если что и имеет значение, то только сюжет. Однажды в запале он заявил Роберту Барру, что всем профессиональным критикам он предпочел бы суд собратьев-писателей или школьников. Пусть, соглашался он, это несколько преувеличено: школьнику не предложишь "Роберта Элзмира", как какой-нибудь "Остров сокровищ". Еще памятен был прием, оказанный "Белому отряду". Но высказывание это весьма показательно для его образа мыслей.

"Первейшая задача романиста, — говорил он Дж. У. Доусону, — плести интригу. Если интриги нет, чего ради писать? Возможно, ему есть что сказать важного, но для этого существуют и иные формы". Ведь роман без интриги подобен спектаклю, где в разгар действия на авансцену выбегает автор и просит актеров подождать, пока он выскажется по ирландскому вопросу.

Затронув тему театральную, уместно поинтересоваться, что сталось с той четырехактной пьесой из времен регентства, которую он, предназначая ее Ирвингу и Эллен Терри, начал писать еще перед американским турне. В последнее время о ней ничего не слышно, ничего не слышно и о соавторстве Хорнунга. Но нам не придется прибегать к помощи Шерлока Холмса для разрешения этой загадки. Даже намек на возможность появления боксерских страстей на сцене привел бы в ужас Ирвинга, который как раз в тот год был удостоен рыцарского титула: впервые во все времена рыцарское звание было пожаловано актеру. И вот Конан Дойл, уже не в силах отказаться от боксерской темы, перелицевал пьесу в повесть с другим сюжетом. Летом и в начале осени он был занят "Родни Стоуном".

Если взглянуть на то, что сулили различные издательства — хотя и удивляясь выбору темы — за рукопись книги, можно получить представление о популярности автора. Но высшая похвала "Родни Стоуну" прозвучала из уст австралийского ветерана бокса, которому книгу читали вслух, когда он уже не вставал со своего смертного ложа.

Тем, кто прочел книгу, никогда не забыть сцену в трактире "Карета и кони", когда юный Джим вызвал на бой Джо Беркса. Берксу приходится туго, крики болельщиков все громче, но его юному противнику не хватает боксерского опыта, чтобы покончить с ним.

"Бей левой по поясу, парень! Потом правой в голову!"

На этой фразе старый австралийский профессионал из последних сил приподнялся на своем ложе с возгласом: "Теперь-то он его уделает! Видит Бог, он его уделает!" Это были его последние слова. Он покинул этот мир счастливым, воображая себя вновь на ринге.

Если рассказы о бригадире Жераре описывают французов при Наполеоне, то в "Родни Стоуне" Конан Дойл обратился к Англии того же исторического периода и, так же как и в "Мике Кларке", с убедительными подробностями описал ничем не примечательную деревушку.

Он закончил книгу как раз перед отъездом на зиму в Египет, куда отправился вместе с Туи и Лотти, оставив летнюю квартиру в Малохе.

Прежде чем тронуться в неспешный путь из Люцерна через Италию в Бриндизи, они добрый месяц провели в Ко и к концу года обосновались в отеле среди пустынь, в семи милях от Каира.

Жизнь тут могла бы стать совершенно идиллической — в пустынном ландшафте белело длинное здание отеля, за которым вплотную маячили силуэты пирамид, — а бильярда, тенниса и гольфа — сколько душе угодно, — если бы не ощущение непрочности, тленности бытия, раздражавшее его и не дававшее работать, разве что над переделкой для театра повести Джеймса Пейна. Да еще в довершение всего его сбросила норовистая лошадь, и он, упрямо не выпуская из рук уздечки, заработал удар копытом, который обошелся ему в пять швов над правым глазом. Но были и иные причины для беспокойства.

В Британской империи на исходе 1895 года было далеко не все благополучно. Отдаленные раскаты доносились с египетской границы и из Южной Африки, а в Английской Гвиане возник пограничный инцидент с Венесуэлой, грозивший еще до Рождества перерасти в открытое столкновение с Соединенными Штатами.

В Америке приобрел столь широкую популярность антианглийский ультиматум президента Кливленда (его одобрило 30 губернаторов штатов), что это вызвало гнев и недоумение англичан даже здесь, в отдаленном уголке Империи: за что они так ненавидят нас?

"Чтобы понять взгляды американцев на Великобританию, — писал Конан Дойл, — нужно почитать американские школьные учебники истории и отнестись к изложенному с той же абсолютной верой и патриотической предвзятостью, которых мы ждем от наших школьников в понимании наших отношений с Францией...

Американская история в том, что касается внешней политики,

почти вся расчленяется на отдельные столкновения с Великобританией, в большинстве из которых, следует ныне сознаться, мы были совершенно не правы... Война 1812 года займет, возможно, не больше двух страниц из пятисот в английской истории, но для американской — это важнейший эпизод".

В наши дни справедливость этих слов мог бы подтвердить всякий американец, еще не забывший школьного курса истории. Да и не только в учебниках, но и в патриотических представлениях и декламациях выделялась фигура наглого офицера в красном мундире, а его всегда побеждал герой в голубом да кожаном. И редко кто из англичан, воспринимавших события 1776 и 1812 годов как давно забытые комариные укусы, понимал это. Конан Дойл понял.

"Можно ли после этого удивляться, что в отношении американцев к нам преобладают предвзятость и подозрительность — чувства, которые и мы не вполне изжили в себе в отношениях с французами?"

Венесуэльский инцидент, так его взволновавший, вскоре кое-как уладился, но он написал приведенные выше строки еще накануне того дня, 30 декабря 1895 года, когда он с Туи и Лотти взошел на борт маленького пароходика компании Кука, который должен был повезти их вверх по Нилу.

Колесный пароходик взбивал мутную, цвета кофе с молоком, воду реки; многие женщины вместе с Туи и Лотти — все в белых платьях и соломенных шляпах — сходили на берег, чтобы сфотографироваться на фоне развалин Мемфиса. Конан Дойл заявил, что Египет современный интересует его больше, чем древний; правда, Нил по мере продвижения очаровывал его все сильнее. "Заходящее солнце, — записал он в своем дневнике, — малиновым светом залило Ливийскую пустыню. Гладкое, словно ртутное, течение реки, и между малиновым небом и нами растянулись вереницей дикие утки. На арабской стороне царила синеватая мгла, пока над приземистыми холмами не высветился край луны".

Конечным пунктом их путешествия был отдаленный уголок цивилизации Вади-Хальфа, отстоящий на 800 миль от Каира. Конечно, увлекательно было лазать среди гробниц царей и гигантских камней в развалинах Фив. Дворцы, дворцы и снова дворцы! Но когда они миновали Асуан, он понял, что эти места были не просто таинственными и зловещими. Они представляли реальную опасность.

Дело в том, что путешественники вступили в регион постоянных набегов дервишей-махдистов. Жара навалилась тяжким покровом, и они то и дело высаживались на берег под такой немногочисленной охраной, что, казалось, она рассеется от одного дуновения ветра. В середине января 1896 года где-то между Короско и Вади-Хальфа они пристали к топкому берегу у маленькой деревушки, только что подвергшейся налету. Девяносто дервишей в красных тюрбанах на быстроногих верблюдах бесшумно перемахнули через высокие холмы на востоке, не потревожив тишины до той минуты, пока не заговорили их ружья. Они истребили половину жителей и растаяли вдали.

"Я видел одного несчастного старика, раненного в шею пулей ремингтона, — записал Конан Дойл в своем дневнике. — У них был дозор-

ный на холмах, но я не вижу способа предотвратить нападение в этих прибрежных поселениях. Будь я генералом дервишей, я не задумываясь предпринял бы столь нетрудоемкое похищение туристской группы".

О том же думали и в "жуткой знойной западне" — гарнизоне Вади-Хальфа, состоящем из двух с половиной тысяч египетских и нубийских солдат, среди которых затерялось десятка два английских офицеров. А за этой пограничной крепостью простирался Египетский Судан.

Уже более десяти лет, как британские солдаты в Судане сменили свои традиционные красные камзолы на хаки. А в 1885 году правительство Гладстона отозвало все войска из этой части Судана. Над зловещим пространством желтого песка и темных скал реял черный флаг Халифа. Дервиши, воодушевленные последним рейдом, похвалялись тем, что им потребовалось всего лишь пять часов, чтобы обратить в бегство египетские верблюжьи войска. Британским офицерам в Вади-Хальфа это, конечно, не предвещало ничего хорошего.

"Мы, как собаки на цепи, — жаловался капитан Лейн под дикие крики и стук, которыми нубийский духовой оркестр сопровождал исполнение "Викария из Брея". — Мы не можем охранять от набегов всю границу. Поэтому мы расставили небольшие посты, как приманку для дервишей".

"Да, — сухо отозвался наш заезжий писатель, — мне говорили. Скажите: вы были бы не против, если бы похитили одну из этих бессмысленных экскурсий? Это послужило бы оправданием для начала решительных действий?"

Капитан Лейн был шокирован. "О, я не то хотел сказать. А впрочем, — усмехнулся он, — мы нисколько не боимся вступить с ними в перепалку, о, нет!"

Два месяца спустя, когда экскурсанты уже вернулись в Каир, капитан Лейн получил полную возможность осуществить свои намерения. Генерал-майор Китченер получил приказ перейти границу и вновь захватить Египетский Судан.

Конан Дойл узнал об этом не сразу, потому что с полковником Льюисом отправился в Ливийскую пустыню осматривать коптский монастырь. Но известие это не застало его врасплох. По всему верхнему Нилу уже давно поговаривали о возможных действиях египетского правительства, а на самом деле — правительства британского, ибо Египет был "завуалированным протекторатом" Англии. Еще с тех самых пор, когда Артур гостил у тетушки Джейн и сержант-вербовщик чуть было не убедил его вступить в армию, мечтал он увидеть воочию настоящее сражение. И вот возможность представляется.

Надолго отлучиться он не мог. Туи должна была покинуть Египет до наступления в конце апреля сильной жары. Он телеграфировал в "Вестминстер газетт", прося позволения представлять их временно в качестве внештатного корреспондента. Он купил большой револьвер итальянского производства. Затем то поездом, то пароходом, то на верблюдах проделал он 800 миль к верховьям Нила. Сказать по чести, он не очень-то доверял этим животным с головой и глазами рептилии, и не без основания. Однако стоило приноровиться к их движениям — и можно было вполне сносно путешествовать. В Асуане ему было приказано вместе с

другими военными корреспондентами присоединиться к идущим на фронт частям египетской кавалерии. Это ему показалось слишком банальным; да и кому понравится чихать в клубах кавалерийской пыли. Ночью при луне на своих верблюдах они улизнули, чтобы добраться до Вади-Хальфа самостоятельно.

Остается только удивляться, как эти безумцы не были схвачены каким-нибудь отрядом дервишей. Лишь однажды пощекотал им нервы какой-то одинокий всадник. А добравшись до линии фронта, Конан Дойл увидел, что люди в хаки и красных фесках заняты лишь возней с верблюдами. И — ни единого выстрела. Генерал-майор Китченер, которому он был представлен, сказал ему за обедом, что эдак может продлиться еще месяц, а то и два (как оно и вышло). И Конан Дойл вернулся пароходом по реке.

В мае 1896 года он со всей семьей был уже в Англии. Здесь его опять ждало разочарование: строительство нового дома в Хайндхеде, уединенного прибежища в горах, поросших соснами, было едва начато. Такое здание, уверяли строители, отнимет много времени, нужно набраться терпения. Он временно снял другой дом. В "Грейвуд-Бичес", на радость семилетней Мэри и трехлетнему Кингсли, были лошади, свиньи, кролики, всякая домашняя птица, собаки и кошки.

Новые публикации "Подвигов бригадира Жерара" увеличивали его популярность. "Приятно сознавать, что стольким людям по сердцу бригадир, ведь и мне самому он тоже нравится". Но следующий замысел давался ему с трудом.

"Я мучительно тружусь над этой несчастной наполеоновской книженцией, — писал он в июле. (Речь идет о "Дядюшке Бернаке", которого он начал писать еще в Египте и едва смог продвинуться до второй главы.) — Она далась мне труднее, чем любая из больших книг. Я, видимо, не нашел правильного ключа, но мне необходимо как-то с ней развязаться".

"Дядюшка Бернак" с самого начала не пришелся ко двору и так и ходил у него в пасынках. Хотя, на наш взгляд, он слишком сурово судил эту книгу, мы можем понять его чувства. По-видимому, тогда он чересчур надолго погрузился в эпоху Наполеона и, регентства; он устал от нее, хотя и не признавался себе в этом. И "Дядюшка Бернак" получился фрагментарным, как будто писатель хотел развернуть широкую панораму, но вместо того заполнил ее лишь на треть фигурами Наполеона и его приближенных. О Бонапарте он в специальном предисловии сделал такое признание : "Я до сих пор не в силах решить, имел ли я дело с величайшим героем или с величайшим негодяем. Лишь за эпитет я могу поручиться".

Под его присмотром работы в новом доме и в саду вокруг него пошли проворнее. "Нас заботят самые разнообразные вопросы в связи с домом, в особенности вопрос об электрическом освещении". Это должна была быть самостоятельная силовая установка, невиданная в сельской местности. "У меня будет замечательное окно в холле, и я бы хотел вывесить несколько семейных гербов". В конце 1896 года он купил коня, которым гордился и которого назвал Бригадиром. И тогда же, в конце года, на основе своих египетских впечатлений он начал повесть "Трагедия в Короско".

Атмосфера верхнего Нила, с его зноем, жужжанием мух, черными как смоль скалами в пустыне, еще живо отзывалась в нем, когда он взялся писать повесть о маленькой туристской группе, разношерстной по национальному и религиозному составу, захваченной в плен дервишами на берегу при осмотре горы Абусир. Целью рассказа было выявить характер этих людей (семьи ирландских католиков, полковника-англичанина, пресвитерианки из Америки и агностика-француза) во дни мук, смертельной опасности и отчаяния.

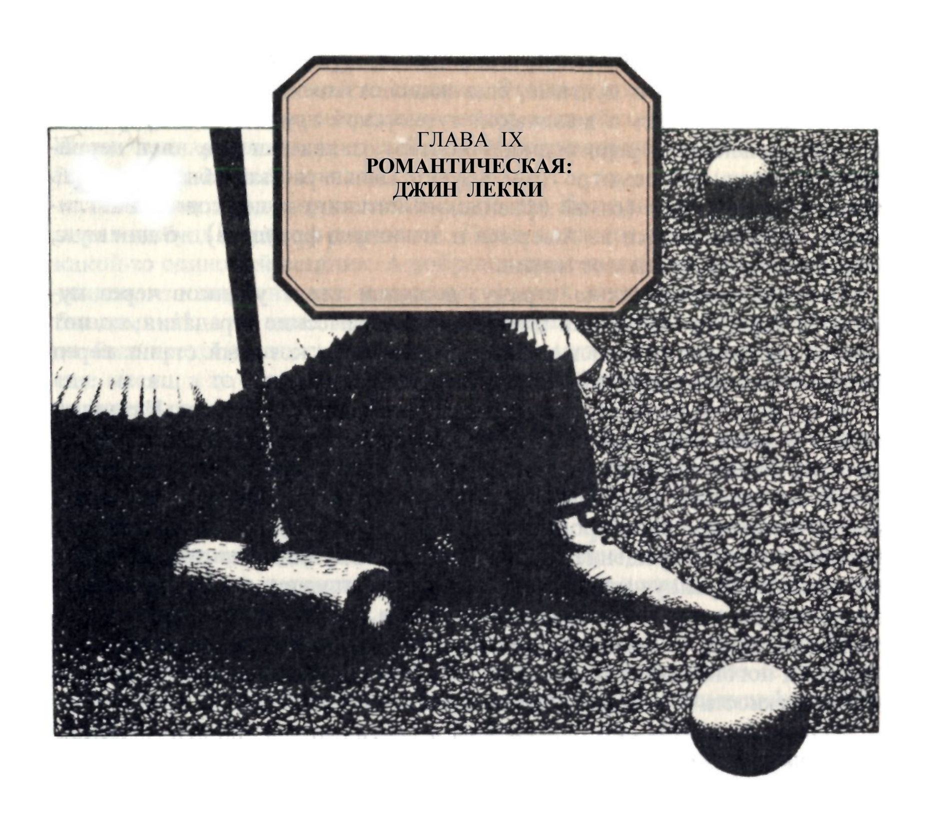
Перебив негритянскую стражу, дервиши ведут узников через пустыню к Хартуму. Пока они терпят лишь физические страдания, но вот караван оказывается во власти фанатика эмира, который ставит перед пленниками выбор: принять магометанство или смерть.

И тут во всей полноте раскрывается человеческая природа. Католики готовы и рады пойти на смерть во имя веры. Американская девушка вовсе не желает умирать, но покорна воле своей решительной тетушки. Тощий английский полковник бурчит, что лучше покончить все счеты с жизнью здесь, чем быть проданным в рабство в Хартуме; на самом деле его волнует, что обращение в магометанство выглядит не слишком респектабельно. Француз-агностик кричит в исступлении, что готов исповедовать любую веру, но не под воздействием грубой силы. Страсти накаляются до предела во время скачки по пустыне, когда их похитители уходят от погони египетских верблюжьих частей. Наконец тянуть больше нет возможности — каждый должен сделать свой выбор.

"Трагедия в Короско" выполнена в напряженном приключенческом темпе, за которым почти невозможно разглядеть авторскую мысль. Как и в "Старке Манро", но еще сильнее, ощущается в повести присутствие некоего высшего предназначения, действующего во имя добра. Увы, это не для француза. И между строк мы читаем, что, бросая вызов дервишам, почти все пленники, за исключением католиков, руководствуются не столько верой, сколько людской гордыней.

Вот такими размышлениями был занят Конан Дойл, когда в январе следующего года они снова сменили место жительства, перебравшись в Мурленд, поближе к строящемуся дому, чтобы сподручней было наблюдать за ходом работы. Средоточием жизни и осью будущего дома, надеялся он, будет тот самый обеденный стол, что принадлежал его дедушке Джону Дойлу и за которым сиживали великие писатели, художники и государственные мужи отошедшей эпохи. Джон Дойл завещал стол дядюшке Дику. От Ричарда Дойла он перешел к тетушке Аннет, а по ее смерти — к любимому племяннику. С юных лет в этом столе — будто его полированная поверхность до сих пор хранит отражения Скотта, Кольриджа и Теккерея — видел он символ величия. И любопытно, что именно в это время мысли его постоянно возвращались к этому столу.

В жизни Артура Конан Дойла было три поворотных момента. И ни женитьба на Туи, ни ее болезнь таковыми не являются: это были события, безусловно, значительные, но не более. Первой поворотной точкой был разлад с Дойлами из-за неприятия католичества, когда 22-летним юношей затворил он за собой дверь на Кембридж-террас и вышел на собственный путь. Сейчас он приблизился ко второй поворотной точке своей жизни — он повстречался с мисс Джин Лекки.



ГЛАВА IX
РОМАНТИЧЕСКАЯ:
ДЖИН ЛЕККИ

Шел 1897 год, год бриллиантового юбилея королевы Виктории. М-р Джозеф Чемберлен, министр колоний, убедил своих коллег праздновать его всеимперским фестивалем, который прогремит на весь мир.

Мисс Джин Лекки было тогда ровно двадцать четыре года. Даже не слишком профессионально выполненные фотографии того времени раскрывают ее необычайную привлекательность. Однако фотография не может передать всей цветовой гаммы ее красоты: темного золота волос, зеленовато-карих глаз, белизны нежной кожи и игры улыбчивого лица.

Она была богато одарена музыкальными талантами: у нее было красивое меццо-сопрано, которое она совершенствовала в Дрездене и собиралась продолжить обучение во Флоренции. Джин Лекки происходила из очень древнего шотландского рода, восходящего к XIII веку, к Мали де Легги, и одним из ее предков (невозможно не впасть в ро-

мантический тон, говоря о ней или о Конан Дойле) был Роб Рой Мак-Грегор. При всей своей хрупкости (она была тонкая и стройная, с маленькими руками и ногами), она отлично держалась в седле, обучаясь верховой езде сызмальства. Джин жила с матерью и отцом, состоятельным шотландцем строгих религиозных правил, в Блэкхите. И неизменно в ее облике мы видим отзывчивость, порывистость, романтичность; кружевной воротник охватывает стройную шею, а глаза (выражение их можно прочесть даже на фотоснимке) вполне отражают ее нрав.

При каких обстоятельствах они познакомились, нам неизвестно, но день, который никогда не забыть ни Джин, ни Конан Дойлу, — 15 марта 1897 года. Это было всего за несколько месяцев до его тридцативосьмилетия. Они полюбили друг друга сразу же, отчаянно и навеки. Его письма к ней, написанные, когда ему шел семьдесят первый год, звучат так, словно их писал человек, всего лишь месяц назад женившийся.

Между тем их взаимная страсть была беспомощной и безнадежной.

Конан Дойл, конечно, не был святым. Мы достаточно изучили его жизнь, чтобы это понять. Он бывал необуздан, упрям, часто не желал видеть своей неправоты, подчас бывал злопамятен. И все же, зная его происхождение, воспитание и убеждения, нам нетрудно предсказать, как он должен был себя повести. Он не мог заставить себя не любить Джин, да и она тоже. Но их взаимная склонность не должна была зайти ни на шаг далее.

Он был женат на женщине, к которой испытывал глубочайшую привязанность и уважение и которая тем более имела на него все права, что была немощна. Он поклялся себе, что никогда не причинит ей боли, и сдержал свое слово.

И тут не было самообмана. Другой легко успокоил бы собственную совесть, найдя тысячу оправданий для развода с Туи, или низвел бы все к простой интрижке. Другая женщина (надо заметить, что Джин во многих отношениях была как бы женским воплощением его самого) прекратила бы с ним всякие отношения или тоже втянулась бы в интригу. Но только не эти двое. "Я вступил в единоборство с дьяволом, — восклицает Конан Дойл, — и я победил". Так продолжалось долгих десять лет.

Его бесило, что он поступает с ней неблагородно, но она спокойно качала головой и говорила, чтобы он об этом не думал. Долгое время в их отношения был посвящен лишь один человек — матушка. Он поведал ей все. И старая леди сразу приняла его сторону, а познакомившись с Джин Лекки, стала поддерживать его с еще большим пылом. Более того, она пригласила Джин к себе ненадолго погостить, и Джин с братом Стюартом приехали к ней в деревню.

Эта стройная девушка с темно-золотистыми волосами совершенно очаровала Лотти и малышку Мэри Луизу. "Я надеюсь, — писала ей Лотти под Рождество 1898 года, — Вы не забудете при нашей следующей встрече, что все мои друзья зовут меня Лотти и что я ненавижу быть "мисс Дойл" для тех, кого люблю. Я хотела сказать это еще тогда, но постеснялась".

Но был один случай, который поразил Конан Дойла в самое сердце.

Пусть нам придется опередить события, но, чтобы разобраться в его душевном состоянии, рассказать об этом необходимо сейчас.

Случилось это поздним летом 1900 года, когда он пребывал в сильнейшем нервном напряжении, объяснявшемся, впрочем, иными обстоятельствами. Он играл в крикет на известном стадионе "Лордз", а Джин наблюдала за его игрой. Вилли Хорнунг увидел их вместе и весьма многозначительно приподнял брови.

В тот же вечер, на случай если бы Вилли или Конни (строгих католических взглядов) неверно истолковали виденное, Конан Дойл отправился к ним в Кенсингтон, где те жили с сыном Артуром Оскаром. Уединившись с Конни наверху, он без утайки выложил ей все обстоятельства, подчеркнув, что их отношения с мисс Лекки были и всегда будут чисто платоническими. Конни, казалось, все поняла и пообещала на следующий день пригласить Джин на ланч. Хорнунг, которого он за подробностями направил к Конни, казалось, тоже все понял.

"Артур, — сказал он, — я готов поддерживать твои отношения со всякой женщиной в твоей жизни и без всяких объяснений".

Однако за ночь все переменилось. То ли Вилли повлиял на Конни, то ли Конни на Вилли — неясно, но на следующее утро Конан Дойл получил телеграмму от Конни, в которой она просила извинить ее за то, что не сможет присутствовать на ланче, потому что у нее разболелись зубы и ей нужно пойти к дантисту. Прекрасно понимая, что это всего лишь предлог, и ничего больше, ее брат поспешил в Кенсингтон. Конни к нему не вышла, ее муж сказал, что она лежит в постели. Хорнунг нервно шагал взад и вперед с видом судьи, разбирающего дело.

"Сдается мне, — заявил он между прочим, — что ты придаешь слишком много значения тому, платонические ваши отношения или нет. Я не вижу в этом большого различия. Какая разница?"

Шурин уставился на него во все глаза. "Да разница-то, — вскричал он, — как раз в греховности".

Едва сдерживая гнев, он покинул дом.

С современной точки зрения его позицию можно расценивать и так и эдак. Нынешний комментатор мог бы сказать, что он был не прав, а Хорнунг — прав. Но Конан Дойл не был современным человеком. Он был воспитан в определенных традициях, взгляды его формировались в согласии с рыцарским кодексом, где этому, незаметному для Хорнунга, отличию придавалось огромное значение. Это, как он говорил, — святое. Он вовсе не гордится своими поступками, добавлял он, но стремится поступать лучшим образом в сложных обстоятельствах. В поведении Хорнунга злило больше всего то, что, если у вас есть друг, как считал Конан Дойл, вы принимаете его сторону, прав он или ошибается.

"Разве я когда-нибудь отворачивался от кого-нибудь из родных? И разве я когда-нибудь навязывал им свои проблемы?" И верно. Не было ни одного члена семьи, которого бы он не поддержал или не старался поддержать; не говоря уже о финансовых вопросах, именно к нему всегда обращались за помощью.

Но единоборство с дьяволом и победа над ним, как бы ни были замечательны сами по себе, приводят неизбежно к одному: нервы оказы-

ваются натянуты до предела. С тех самых пор, как он повстречал Джин Лекки, медленно, но верно происходили в нем определенные перемены. Его гвардейская осанка стала напряженней. Глаза сузились. Усы заострились и торчали в стороны почти вызывающе. Временами он казался неумолимым и твердым, как базальт, ибо его не отпускало напряжение, которое понять могла только матушка.

Но вернемся в год 1897-й к фанфарам бриллиантового юбилея. В Лондон, в пыльный летний Лондон, хлынули гости со всей империи: войска из Индии, сикхи в тюрбанах, конные стрелки из Канады, из Нового Южного Уэльса, из Капской колонии и Наталя, гауссы из Нигерии и Золотого Берега, негры из вест-индских полков, кипрские заптии, даякская военная полиция с Северного Борнео. Семидесятилетняя королева Виктория из открытого экипажа сквозь солнечные очки наблюдала эту процессию.

25 июня около двух тысяч солдат всех цветов кожи и униформ столпились в казармах в Челси. В быстром темпе, задаваемом флейтами гвардейцев и барабанной дробью, под приветственные возгласы толпы промаршировали они по улицам в театр Лицеум на просмотр "Ватерлоо" Конан Дойла. Брем Стокер, в этом году выпустивший своего знаменитого "Дракулу", суетливо рассаживал по ложам премьеров колоний и индийских принцев. "Ватерлоо", как он говорил, "было принято в экстазе верноподданнических чувств".

А 26 июня принц Уэльский принимал в Спитхеде парад Великого флота: на рейде, в четыре линии, на тридцать миль растянулись военные корабли. Это вызвало взрыв бешеного энтузиазма. Они — властелины морей, непобедимые, символ Британской империи в зените ее мощи.

"Ничто не может сокрушить нас — ничто!" — иронически заметил очевидец. Новый взрыв патриотизма всколыхнул имперское здание, когда Сесиль Родс и д-р Лиандер Старр Джемсон (вальяжный д-р Джим с вечной сигаретой в зубах) начертали судьбу Южной Африки. В Англии процветал джингоизм. Что, в самом деле, воображают себе эти буры, арестовав в прошлом году д-ра Джима за его рейд в Трансвааль? Правда, и в Лондоне суд приговорил его к 15 месяцам заключения, но обыватели возвели его в герои. На официальном приеме премьер-министр лорд Солсбери, приветствуя защитника Джемсона, знаменитого королевского адвоката Карсона, сказал: "Я бы желал, чтобы вы привели с собой д-ра Джима".

Пусть его неотступно преследовала мысль о Джин, но Конан Дойл не мог не видеть, что страна его идет к войне. Экспедиция Джемсона, по его словам, была чистым идиотизмом. Свою страну Конан Дойл любил не меньше Сесиля Родса. Вся беда в том, считал он, что в выступлениях джингоистов против "оома" (дядюшки) Пауля Крюгера есть вполне законные основания, но сами они их не видят — машут руками вслепую.

И все же мысль о Джин не давала ему сосредоточиться на работе. "Я читаю курс Ренана, чтобы успокоиться... Это да еще много гольфа и крикета должно привести меня в порядок — мысли и тело".

Уже прошлой осенью он стал много выступать. Он покорил своим

обаянием "Новый клуб бродяг", где бывали почти все литературные знаменитости, начиная с миссис Хамфри Уорд до совсем молодого романиста Г. Дж. Уэллса. Он выступал с чтениями на пышных благотворительных собраниях, был избран "отвечать за литературу" в Клубе королевских обществ, а на ежегодном собрании Ирландского литературного общества несколько ошарашил присутствующих, заявив, что всем лучшим ирландская литература обязана не столько кельтскому, сколько саксонскому началу.

А в августе 1897 года он вступил в яростную полемику с Холлом Кейном.

Это было накануне выхода в свет романа Кейна "Христианин". Конан Дойл, просматривая газеты и журналы в Клубе авторов, пришел в негодование от начинавшей в последнее время входить в обычай у литераторов практики. Он тут же сел и написал в "Дейли кроникл" статью весьма взрывоопасного свойства.

"Когда м-р Киплинг писал свое стихотворение "Отпустительная молитва", он не объявлял публично, что о нем думает и как собирается его писать. Когда м-р Барри создавал такую замечательную вещь, как "Маргарет Огилви", не было никаких пространных интервью и объяснений, чтобы заявить о ней еще до выхода в свет. Литературные достоинства стихов или прозы скажут сами за себя проницательному читателю, а традиционные рекламные агентства, по обыкновению, донесут их и до широкой публики. Как литератор, я бы просил м-ра Холла Кейна придерживаться этих методов...

Книга м-ра Холла Кейна еще не появилась — и когда она появится, я желаю ей всяческого успеха, — но, я считаю, это ниже достоинства писателя, когда из газеты в газету читателю сообщают собственные м-ра Кейна комментарии о гигантской работе, к завершению которой он близок, с мельчайшими подробностями о каждой фазе этой работы и многочисленных трудностях, которые ему пришлось преодолеть. Об этом судить другим, и есть что-то оскорбительное и нелепое, когда писатель сам себя оценивает. Каждая книга Холла Кейна преподносится сходным образом".

Он рвался в самую гущу боя, разя направо и налево. Во всякой высокой профессии — будь это юрисдикция, медицина, военная служба или литература — есть определенные неписаные правила — джентльменский этикет, обязательный для всех, и в особенности для мастеров этого цеха. Не говоря уже о дурном влиянии на молодых писателей.

Сейчас, наверное, подобные взгляды не — в моде. Сейчас все наоборот. Нынешний молодой автор, скажи ему только, что это принесет успех его книге, охотно вымажет нос синей краской и, нацепив на себя объявление о своей книге, отправится по улицам в ресторан "Айви". Это уже не честное ремесло, а разбой. Отвращение Конан Дойла к саморекламе было неподдельным, он считал ее, как мы уже знаем, оскорбительной и нелепой. И хотя что-то подсказывало ему, что его взглядам едва ли сочувствует Дж. Бернард Шоу, большинство современников их разделяло. Конан Дойл даже заявил, что заберет из "Стрэнда" свои произведения, если там до их публикации появится хвалебный отзыв.

Вся эта история еще окончательно не улеглась, когда на исходе октября они въехали наконец в новый дом.

Новый дом был назван Андершо (Undershaw) — по роще, нависающей кронами над остроконечными черепичными крышами и длинным высоким фасадом. От ворот к шоссе, проходящему за домом, вела вниз по крутому холму усыпанная гравием дорога. Весь дом, с теннисными кортами перед ним, представлялся среди дикой долины живой иллюстрацией к немецким сказкам. Он купил еще одну верховую лошадь, гнедую кобылу, которую в пару к Бригадиру можно было впрягать в ландо, чтобы Туи могла совершать прогулки в этом краю лесов и вересковых пустошей, для чего был нанят знающий свое дело кучер по имени Холден.

Однако вступление в хозяйские права не прошло без неприятностей. В холле были развешаны всевозможные гербы. И по какой-то непонятной забывчивости среди прочих не вывесил он герба матушки.

Нередко совершал он поступки, прямо скажем, небезупречные, но совершал их осознанно, а тут... Чувства и слова матушки, когда она увидала висящие гербы и вдруг сразу оба, и мать, и сын, поняли, чего именно не хватает, — мы лучше не станем описывать. Умиротворить сразу нахохлившуюся матушку удалось только, когда он дал клятвенное обещание, что герб Фоли будет без промедления повешен над лестницей. И лишь здесь, в Андершо, впервые за долгое время — целых четыре года — будет у него собственный кабинет для работы. И именно здесь — гораздо раньше, чем принято считать — решил он вернуть к жизни Шерлока Холмса.

Излишне и говорить, что с конца 1893 года его неотступно преследовал, не давал проходу, поджидал на всех углах и изводил демон с Бейкер-стрит. В Америке первым вопросом был всегда вопрос о Шерлоке Холмсе. В Египте правительство перевело на арабский и выпустило подвиги сыщика в качестве учебника для полицейских. Анекдоты о гибели великого сыщика слишком хорошо известны, чтобы пересказывать их сейчас, кроме, пожалуй, замечания некой леди Бланк: «Я была просто убита горем, когда погиб Шерлок Холмс, я так люблю его книгу "Самодержец чайного стола"» *.

Конан Дойл стал старше. Он по-прежнему не любил этого господина. Но теперь он мог побороть в себе тошноту, подступавшую при одном упоминании его имени. Публика хочет Шерлока Холмса? Прекрасно, думал он скрепя сердце : выведя Холмса на сцену театра, можно славно заработать; новый дом обошелся недешево, и он все еще жаждал признания как полноценный драматург. К концу 1897 года он написал пьесу, назвал ее "Шерлок Холмс" и отправил Бирбому Три.

Эффектному актеру и постановщику Театра Ее Величества, уступавшему в славе только Ирвингу, пьеса понравилась, но ему хотелось, чтобы центральная роль была переписана так, чтобы это был больше Бирбом Три, чем Шерлок Холмс. Автор колебался.

---

* Суть недоразумения в том, что у известного американского писателя Оливера Уэнделла Холмса (1809-1894) есть сборник эссе под названием "Самодержец обеденного стола".

"У меня возникли серьезные сомнения, — писал он в начале 1898 года, — стоит ли вообще выводить Холмса на сцене — он привлекает внимание к моей слабейшей работе, несправедливо затмевая лучшие, — но, чем переписывать его роль так, чтобы вышел Холмс, не похожий на моего Холмса, я лучше положу его под сукно — и сделаю это без тени огорчения. Я полагаю, там он найдет свой конец, и, возможно, наилучший". Однако Холмс был спасен литературным агентом Конан Дойла, которому стало известно, что в Нью-Йорке эту пьесу жаждет получить Чарльз Фроман, и он послал ее Чарльзу Фроману.

Другая его пьеса "Напополам", по Джеймсу Пейну, все еще не была поставлена. Джеймсу Пейну, издателю, который первым предоставил Конан Дойлу страницы "Корнхилла", было около семидесяти, и он был смертельно болен. Его неудобочитаемый почерк, в прежние времена вызывавший смех и раздражение, оказалось, объяснялся началом ревматического артрита, теперь обезобразившего его руку до нечеловеческого вида.

"Смерть — ужасающая штука, ужасающая!" — кричал он своему ученику, а пять минут спустя его пронзительный смех обращал все в шутку. Ему не довелось увидеть "Напополам" на сцене. Пейн, описавший некогда свои собственные похороны как величайшую в мире комедию, скончался в марте 1898 года.

За зиму Конан Дойл сделал сравнительно мало. Он собрал свои стихи в книгу баллад "Песни действия" ("Songs of Action"), лишь вскользь коснувшись своих сокровенных мыслей в прочувствованном самоанализе "Внутренней комнаты" ("The Inner Room"). Образ Джин Лекки, с которой он виделся лишь изредка, не покидал его.

Как она мечтала разделять его интересы, так и он был верен ее увлечениям даже вдали от нее самой. Джин проводила много времени на охоте. И ему, никогда ранее не охотившемуся с гончими, не потребовалось долгих уговоров, чтобы со всем азартом увлечься охотой. Но в поступках влюбленного всего лишь шаг до смешного. Джин, к примеру, была очень музыкально одаренной. В его же пусть минимальные способности в этой области не мог поверить даже лучший друг. Но коль скоро он решил разделять ее увлечения, то изо всех сил взялся обучаться игре на банджо.

"Еще год назад, — писал он после двухчасовой битвы с инструментом, — я не мог представить, что буду способен на это".

Весной 1898 года перед поездкой в Италию он закончил три рассказа, открывающих в "Стрэнде" новую серию "Рассказов у камелька": "Охотник за жуками", "Человек с часами" и "Исчезнувший экстренный поезд". В последнем из них Шерлок Холмс, хоть и не названный, присутствует как бы за кулисами. Составители антологий не разглядели в этом рассказе, где целый поезд исчезает словно мыльный пузырь, замечательный образец "таинственного" (в отличие от детективного) жанра.

В этом он находил хоть какое-то развлечение для ума. Вот типичный распорядок его недели, начиная с четверга: "Завтра я обедаю на одном из праздничных обедов сэра Генри Томпсона, в пятницу я обедаю с Ньюджентом Робинсоном, в понедельник в Клубе авторов мы принима-

ем епископа Лондонского, во вторник я обедаю в Королевском обществе. Так что, во всяком случае, с голоду я не умру". А в Андершо специальная толстая книга в зеленом переплете пестрела записями, которые оставляли гости, наезжавшие по воскресеньям.

В конце августа майор Артур Гриффитс, помимо прочего автор книги "Тайны полиции и преступного мира", пригласил Конан Дойла на маневры. Там, среди красных мундиров и золотых аксельбантов, наблюдал он — всего лишь гражданское лицо, хоть и много занимавшееся стрельбой у себя в Андершо, — сражение "потешных" полков. И был озадачен.

Тогда, в 1898 году, он считал, что, помимо и сверх силы артиллерийского огня, есть в войне один высший судья, один решающий фактор. В каждом батальоне был свой пулемет "максим", или пулеметный взвод. Но "максимы" тяжелы, и через девяносто минут стрельбы закипает вода в охладительной системе — это все же "оружие на счастливый случай". Настоящим вершителем судеб было десятизарядное ружье Ли-Метфорд, превращавшее каждого бойца в ходячий пулемет. На маневрах он увидел, как шеренги пехотинцев, не вызывая ни малейшего упрека офицеров, без всякого прикрытия, выстраиваются, как напоказ, и палят друг в друга, словно по бутылкам на заборе.

Когда гул стрельбы утих, он обратился к штабному офицеру за разъяснением, и тот его заверил, что все было правильно.

Но предположим, что в настоящем сражении противник воспользуется прикрытием, а мы — нет. Что тогда?

— Сэр, — ответил его приятель, — простите, если скажу, что и так слишком много шумят о прикрытии. Цель атакующей стороны — занять заданную позицию. И тут не надо бояться некоторых потерь.

Ему, человеку гражданскому, это казалось чем-то диким, какой-то средневековой тактикой. Но он промолчал. Впрочем, чего опасаться? То был год блестящих побед. На маневрах он встретился и подружился со старым фельдмаршалом главнокомандующим лордом Уолсли; они беседовали на религиозные темы, когда пришло сообщение из Египетского Судана: генерал Китченер разбил армию халифа и открыл дорогу на Хартум.

Осенью увлекла его одна новая идея, на несколько месяцев — с октября по декабрь — отодвинувшая все другие интересы. Это была новая книга, тема которой могла бы удивить читателей. Но он не мог и не хотел с этим считаться. Он лишь надеялся, что они посмотрят на нее его глазами. Даже само название могло вызвать предубеждение против книги, хотя и тут он уповал на лучшее. Она называлась "Дуэт, со вступлением хора".

"Дуэт" — рассказ о жизни самой обычной супружеской пары из предместья, Мод Селби и Фрэнка Кросса, которые влюбляются, женятся и больше не знают в жизни никаких приключений помимо повседневных домашних забот. Рассказ не автобиографичен в том смысле, в каком автобиографичен "Старк Манро". Большинство описанных событий могло бы быть в жизни каждого человека, и некоторых из них наверняка не было в жизни автора. Ключ к "Дуэту" — в том душевном состоянии, в

котором он писал его: "Дуэт" — это мир его грез. И его незлобивый юмор таится не в обычном умении автора создавать комический эффект — разговоры молодых супругов вызывают улыбку потому, что они глубоко, пронзительно правдоподобны.

Взять к примеру главу "Признания". Мод и Фрэнк поклялись не иметь друг от друга секретов. Поэтому, когда Мод спрашивает мужа, любил ли он когда-нибудь до встречи с ней, ему остается только сознаться. И тут с обычной женской ловкостью она подцепляет его на крючок, и он выбалтывает, что любил не более и не менее, как сорок женщин. Распушив хвост, он начинает читать ей лекцию о природе мужчин, но, как замечает автор, женщинам не нужны обобщения. "Они были красивей меня?" — "Кто?" — "Эти сорок женщин".

Фрэнк, не подавая, конечно, виду, польщен ее ревностью и не подозревает, какой конец уготован блудливому псу. Он уже достаточно натешил свое самолюбие, когда последовало вот что:

— А ты, Мод, будешь ли так же откровенна со мной?

— Конечно, дорогой. Я чувствую, что обязана это сделать после твоего признания. У меня тоже был в жизни небольшой опыт.

— У тебя!

— Может быть, для тебя было бы лучше, чтобы я не говорила об этом. Что пользы ворошить старые истории?

— Нет, уж лучше расскажи.

— Ты не обидишься?

— Нет. Конечно, нет.

— Можешь поверить мне, Фрэнк, что, когда женщина говорит своему мужу, будто, пока не увидела его, не испытывала при виде других мужчин ничего подобного, — это вздор.

— Мод, ты любила кого-нибудь другого?

— Не стану отрицать, что я была увлечена — сильно увлечена — несколькими мужчинами.

— Несколькими!

— Это было до встречи с тобой, дорогой. У меня не было перед тобой никаких обязательств.

— Ты любила нескольких мужчин!..

— Чувства были по большей части весьма поверхностными. Есть разные степени и виды любви.

— О Боже, Мод! Сколько же мужчин вызывали у тебя эти чувства?

Нет и не нужно ни характеристики, ни единого даже эпитета, чтобы уловить интонацию. Мастер это понимал. Фрэнк, покашливаниями стараясь показать, что он совершенно спокоен и ничуть не раздосадован, требует от Мод новых подробностей.

— Нет, нет, продолжай! Затем?

— Ну, когда ты некоторое время кем-то увлекаешься, у тебя появляется опыт.

— О!

— Не кричи, Фрэнк.

— Разве я кричу? Неважно. Продолжай! У тебя был опыт.

— Зачем нужны эти подробности?

— Ты должна мне рассказать. Ты сказала уже слишком много, чтобы умалчивать. Я требую: так что же опыт?

И так далее, пока не оказывается, что опыт этот вполне невинного свойства. Таков весь тон "Дуэта" даже в серьезные или чувствительные моменты. И можно предсказать, какой прием будет ему уготован публикой.

Многие поклонники Конан Дойла, надеявшиеся найти-таки труп в маслобойке или принца Руперта во главе кавалерийского отряда, были разочарованы. Это было не то, чем кормил их обычно их фаворит, и они не могли понять, что же случилось. Более суровые критики, предпочитавшие в описании любовных проблем стиль Генриха Ибсена, осуждали книгу за наивность и сентиментальность. Да, так оно и было, и в этом была ее суть: книга была человечной. Может ли кто-нибудь из нас поклясться, что он ни разу не впадал в то же исступление, не испытывал тех же чувств, что и Фрэнк Кросс?

К "Дуэту" автор питал всегда особую привязанность, как ни к одной из своих книг: это было прославлением любви вообще. Прикинув, что издатель Грант Ричардс недавно женился, Конан Дойл подумал, что тот захочет выпустить книгу в свет. Он отказался от выгодных предложений издавать ее серией, ибо считал, что разбивка на части ее испортит. После выхода книги, когда отовсюду, от друзей и людей совсем незнакомых, потекли к нему хвалебные письма, он бережно сохранял их. Появились у книги и могущественные друзья. Когда он узнал, что она понравилась Суинберну (подумать только, именно Суинберну), он пришел в восторг. Не менее порадовало его письмо от Г. Дж. Уэллса.

"Моя жена, чьего вердикта я дожидался, — писал Уэллс, — только что дочитала "Дуэт". И так как на прошлой неделе я в некотором роде "поносил" книгу, мне подумалось, что Вы не будете в обиде, если я напишу Вам и скажу, что нам с женой обоим она очень понравилась. Мне кажется, Вы нашли самую верную форму и дух (или ткань, или особенности, или атмосферу, или как Вам будет угодно). Это супружеская пара среднего класса как она есть; но тупые критики ставят ей это в упрек.

Я сам просидел год из трех последних над такой же "обывательской" повестью, — добавил Уэллс с горечью, — и до сих пор сижу. Так что, когда я сужу об этой книге, я не то чтобы забираюсь не в свою епархию".

Мы можем понять чувства Конан Дойла, когда он увидел, что в прессе "Дуэт" подвергся критике за аморальность. Исключение делалось лишь для одного эпизода: Фрэнк Кросс встречает бывшую возлюбленную, а когда он — дело происходит в отдельном кабинете ресторана — уклоняется от возрождения прежних отношений, она угрожает рассказать все жене. Как бы нелепо ни было обвинение в "аморальности" этой — как и всякой другой — книги Конан Дойла, такой упрек был все же высказан пятью различными критиками.

И тут он выяснил, что все пять критиков — это одно лицо: д-р Робертсон Николл, который время от времени тискал в ежедневной прессе еще и анонимные отзывы.

Свидетелем ярости Конан Дойла стал сперва "Клуб реформы".

Затем он вынес обсуждение на страницы "Дейли кроникл", не заботясь о том, что срывается подчас на брань. Неискушенному читателю, которому и в голову не могло прийти, что среди критиков бытует практика рецензировать книги под разными псевдонимами, слышать это было удивительно. Конан Дойл, готовый публично допустить, что д-р Николл руководствовался не личными и не коммерческими соображениями, в глубине души подозревал обратное.

Между тем, пока он еще дописывал "Дуэт", подходил к концу 1898 год. Супруги Лекки, родители Джин, преподнесли ему на Рождество булавку с жемчугом и брильянтом. Джин с двумя подругами жила теперь на городской квартире. А в мире уже слышались отдаленные раскаты. 18 декабря в Иоганнесбурге бурский полицейский при аресте англичанина по имени Эдгар, подозреваемого в насилии, застрелил его на месте без всякого к тому повода. Приближался роковой 1899 год: как бы мал и незначителен ни был конфликт, которым он разразился, он оставил глубокий след в мире и по сей день.



ГЛАВА X
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: СИГНАЛ ТРЕВОГИ В СТЕПИ

"Смотри-ка, маленький храбрец не уступает великану!", "Ура голландцам в Южной Африке; они не дадут себя запугать!", "Вот будет здорово, если этому верзиле врежут как следует!"

Таково было настроение повсюду в те, еще сравнительно мирные дни 1899 года — и вполне естественно. В Англии пробурская партия выражалась еще категоричней. Германский император, кайзер Вильгельм, злорадно улыбаясь, запустил мощную газетную машину. Франция, уязвленная фашодским инцидентом, отпускала иронические замечания. Во всей Европе у Великобритании не нашлось союзников, да и сомнительно, что у нее вообще были друзья.

Не отдавая предпочтения ни той ни другой стороне, нельзя все же ни обвинять, ни приветствовать президента Крюгера за его желание подчинить Южную Африку владычеству Голландской республики. Но тон, которым журналисты всего мира описывали его — богобоязненный,

прямодушный фермер, с винтовкой в одной руке и Библией в другой, герой, не склонившийся перед могущественным агрессором, — был, мягко говоря, не совсем верным.

"С нами Бог. Я не хотел кровопролития, — заявлял президент Крюгер, отдавая новый приказ о военном снаряжении, — но я не собираюсь уступать".

В Англии в мае 1899-го, когда сэр Альфред Мильнер из Южной Африки просил правительство Ее Величества вступиться за ойтландеров, Артур Конан Дойл только что завершил полемику с обладателем пяти имен д-ром Робертсоном Николлом и углубился в новую работу.

В своем кабинете в Андершо работал он над конкурсным рассказом "Хозяин Кроксли". В кабинете царил полумрак из-за густых крон лиственниц за окнами, сквозь ветви которых поверх темной зелени соснового леса, убегающего вдаль за террасой и теннисными кортами, открывался вид на окрестности. Но эхо южноафриканских событий доносилось и сюда. Из всех самых ревностных защитников буров в Англии едва ли нашлось бы несколько, могущих сравниться с его матушкой.

"На мой взгляд, — писала матушка в вечной тоске по рыцарскому духу, — в том, что жалкую кучку буров загнали в невыносимое положение, а потом за это же стали бить, виден лишь недостаток великодушия. Это недостойно нашей великой нации. Но, очевидно, деньги, что пошли на организацию рейда и разжигание нынешней кампании, будут теперь использованы на то, чтобы довести дело до кризиса".

"Нет, нет и нет", — запротестовал сын, хотя о рейде у него самого были самые мрачные предчувствия. И в письме, написанном в день рождения, 22 мая, он умолял больше не обсуждать этого вопроса.

"Ну вот, мне уже сорок, но жизнь моя стала мало-помалу полнее и радостнее. Что касается моего физического состояния, то сегодня я играл в крикет и сделал 53 из 106 наших очков, а у противника выбил 10, так что я вполне здоров и крепок".

Ну какие там сорок лет? Даже смешно, ведь он чувствовал себя никак не старше 25 или 30. Он взволнованно поведал матушке, что "Дуэт" хорошо расходится в Америке. И заключил письмо потрясающей новостью, что две его пьесы — "Шерлок Холмс" и "Напополам" — будут поставлены еще до конца года. И верно, в Англию недавно приехал американский актер Уильям Гиллетт с рукописью первой пьесы.

Пьеса "Шерлок Холмс", строго говоря, уже не была пьесой Конан Дойла: Чарльз Фроман, взявшийся за ее постановку, вручил ее Уильяму Гиллетту, а тот, страстно возжелав сыграть в ней, попросил у автора разрешения переписать ее по своему вкусу. На сей раз автор, уже уставший от всего этого, махнул рукой и согласился. Пьеса была настолько основательно переписана, что теперь уже невозможно сказать, что представлял из себя оригинал. А тут еще, после долгого молчания, пришла телеграмма от Гиллетта:

"Могу я женить Холмса?"

Ответ на это, казалось бы, напрашивался простой и ясный: нет! Ну а если потребуются более веские аргументы — потрясти перед носом

мясницким тесаком. Но Конан Дойл ответил, что Гиллетт может женить Холмса, или убить его, или сделать с ним все, что заблагорассудится. Затем пришло известие, что Гиллетт, потеряв первый набросок пьесы во время пожара, намерен поставить пьесу в Нью-Йорке в осенний сезон, что она будет иметь колоссальный успех, который принесет им целое состояние, и что актер повез Конан Дойлу на одобрение новую рукопись.

И вот в первые дни своего сорокалетия он пригласил Гиллетта к себе в Андершо.

Он выехал навстречу гостю на железнодорожную станцию в нескольких милях от Андершо в своем ландо, запряженном парой лошадей, с Холденом в блестящем цилиндре на облучке. Он никогда не видел Гиллетта даже на фотографии. Ему ничего не было о нем известно, кроме высокой актерской репутации. Лондонский поезд из зеленых вагончиков первого и второго класса с шумом затормозил у платформы. И из вагона а долгополой серой накидке вышел... живой Шерлок Холмс.

Даже рисунки Сиднея Пейджета уступали в соответствии образу. Резкие черты лица, глубоко посаженные глаза, выглядывающие из-под спортивного кепи; да и возраст — середина четвертого десятка — был в самый раз. Конан Дойл, открыв рот, смотрел на него из своего ландо. Актер же, столкнувшись лицом к лицу с несколько располневшим д-ром Уотсоном, просто отпрянул. Мы не хотим сказать, что лошади понесли, но можно себе представить, какова была сцена и какой раздался потом веселый смех, не смолкавший уже в течение всего свидания.

"Гиллетт, — писал он матушке, — превратил это в замечательную пьесу!" А Иннесу: "Два акта его пьесы просто великолепны!" Да, видно, Гиллетт умел очаровывать; по происхождению и воспитанию он был истинным джентльменом, и это, видимо, в какой-то мере повлияло на отношение к нему хозяина. Ибо пьеса "Шерлок Холмс" — плохая пьеса, что подтвердил бы всякий, кому довелось ее видеть. И тем не менее актер заразил Конан Дойла своим острым предвкушением успеха у американцев. А всего через две недели после отъезда Гиллетта в Лондоне в театре Гаррика была поставлена пьеса "Напополам".

Была середина июня, и стояла жара, что уже грозило провалом. К тому же — и это могло быть еще опасней для постановки — в ней не были заняты звезды. Пьеса, точно следуя рассказу Джеймса Пейна, представляла собой незамысловатую семейную комедию о двух братьях, еще в юности давших друг другу слово встретиться ровно через 21 год и поделить между собой нажитое за эти годы. Но, несмотря на все отягчающие обстоятельства, пьеса имела хоть и не шумный, но верный успех.

"Какой свежестью, — писала "Дейли Телеграф", — веет от этого зрелища в наше скоротечное и молниеносное время, в век острых тем, в беспокойные и переменчивые дни".

Что бы ни говорилось о мимолетных и переменчивых временах, для семьи Конан Дойла это был действительно год перемен. Его младшая сестра Додо, которая жила с матушкой и с которой он виделся сравнительно редко, вышла замуж за молодого священника по имени Сирил Анджел. Вилли Хорнунг, в меру приосанившись, пожинал первые

всходы литературной славы, которую принесли ему "Лотерея" и "Взломщик-любитель", посвященные шурину. А Иннес, ныне артиллерийский капитан, проходил службу в Индии.

"Тысячу благодарностей, старина, — привычный рефрен писем Иннеса, — за три незаполненных чека. Буду тебе сообщать, как я ими воспользовался".

Дело в том, что Иннес увлекся поло, а это было сопряжено с некоторыми дополнительными расходами. Из Амбаллы, где он командовал батареей, приходили выразительные зарисовки его быта. В свои 26 лет он был заядлым спортсменом, весьма далеким от литературы. И тем не менее его письма передают дыхание армейской жизни в Индии.

Тощие артиллерийские лошади перемахивали через полные грязи рвы на учениях по преодолению препятствий; по ночам оглушительно квакали лягушки, а, когда Иннес шел к ужину, ни к чему иному не пригодный слуга нес перед ним фонарь как средство защиты от змей. Даже под жарким потоком проливных дождей, когда сгнивали струны банджо и размывало лунки на поле для гольфа, капитан Дойл не унывал.

"Не знаю, как и благодарить тебя, старина, за чек в 100 фунтов. Как раз накануне я приобрел себе коня, который обошелся мне в 1 тыс. 300 рупий. Это великолепный гнедой скакун по кличке Крестоносец... Где и когда увижу я "Хозяина Кроксли" и рассказ об охоте бригадира на лис?"

Не один Иннес жаждал прочесть недавно написанный рассказ о бригадире Жераре, имевший два названия: "Преступление бригадира" и "Как бригадир убил лису". Из всего "бригадирского цикла" сам Конан Дойл выделял именно его. Все, кто следил за жизнеописанием неотразимого Жерара, гордости наполеоновской армии, должны помнить, что он пребывал в одном приятном заблуждении. Научившись английскому благодаря урокам, которые ему преподал "адъютант О'Брайен из ирландского полка", и считая, что английское "о черт" — то же, что французское "о Боже", он мнил себя знатоком всего, что касалось Англии или англичан.

"Я вместе с англичанами охотился на лис, — гордо заявлял бригадир, — и к тому же боксировал с Бастлером из Бристоля".

Рассказ о том, как Этьен Жерар участвовал в охоте на лису, и его собственный взгляд на цели этой охоты — образчик классики. Конан Дойл, излагая Иннесу в июле свои планы на осень, писал, что собирается предпринять еще одно турне с чтением "Преступления бригадира". "Ужас в том, — добавлял он, — что от смеха я не могу читать".

Обсуждались и другие планы. Когда в Индии пройдет период дождей и Лахор вновь превратится в увеселительный центр Пенджаба, туда на отдых, под крыло Иннеса, пошлет он Лотти. Лотти, как прикованная, прожила с ними семь лет подряд. Она, обожавшая танцы, изнемогала, ухаживая за Туи и детьми. И сквозь рыдания она призналась, что хотела бы — ужасно хотела бы, если только без нее могут здесь обойтись, — поехать в Индию.

Однако: "Ума не приложу, что я буду делать, когда Лотти уедет,

как в свое время ты", — писал Конан Дойл Иннесу. Между тем в Южной Африке положение было неустойчивым — ни мир, ни война.

Конференция в Блумфонтейне между президентом Крюгером и сэром Альфредом Милнером окончилась ничем. С июля по сентябрь нескончаемые конференции сменяли одна другую, ноты одной стороны натыкались на ноты другой, предложения вызывали встречные предложения. Правительство Солсбери вовсе не стремилось навязать войну президенту и искало примирения с ним. Правительство не вдохновляла перспектива посылать за тысячи миль армию, которая может быть отрезана в тот самый момент, когда, ступив на твердую землю, оторвется от моря. Доходили сведения о союзе Германии, Франции и России против Англии. Но отказаться от владычества над Трансваалем было для британского правительства свыше сил. А президент Крюгер, поддерживаемый теперь президентом Оранжевой республики Штейном, вовсе не собирался идти на перемирие.

Все это время растянутые в тонкую нить английские войска — шесть тысяч человек на континент — не получали никакого пополнения. Офицерам было уже не до проклятий. Большие ящики с ярлыками "Сельскохозяйственные орудия" и "Горнорудная техника" нескончаемым потоком перетекали в форты Крюгера, и не только через Делагоа-Бей, но и прямо перед изумленным взором англичан через Кейптаун и Порт-Элизабет.

Бурские лидеры тянули время. Бур не может отправиться на войну без своей лошади. А лошадям нужен корм, то есть трава. А трава в степях появляется не раньше, чем пройдут дожди. А дожди начнутся не раньше осени. А когда наступит долгожданная осень...

В сентябре британское правительство, убедившись, что Крюгер серьезно намерен воевать, спешно отозвало войска из Индии и Средиземноморья. К концу месяца английские войска в Южной Африке насчитывали уже 22 тысячи. Но и этого было мало. Колкие замечания Чемберлена открывали глаза кабинету министров. Они уже выставили себя на посмешище в истории с экспедицией Джеймсона и этими затянувшимися переговорами с Крюгером. Есть ли, в конце концов, зубы у британского льва или нет? И если есть — пришло время огрызаться! Было принято решение в случае необходимости послать из Англии армейский корпус из трех дивизий под командованием сэра Редверса Буллера.

Военным экспертам и такая мощь казалась до смешного чрезмерной. "Что представляют собой эти буры? — говорили они, — дезорганизованная толпа". Им вторили чванливые завсегдатаи пабов: "Старик Крюгер? — Да что там, ему не продержаться и двух недель!" (Бурские лидеры в тех же точно выражениях отзывались об англичанах.) В Лондоне с протестом против подготовки к войне выступили пробурские партии и сторонники "Малой Англии". Митинги при свете газовых фонарей становились все более бурными. А пока правительство составляло президенту Крюгеру ультиматум, тот успел предъявить свой.

Все войска, сосредоточенные на границах, гласил ультиматум, должны быть незамедлительно отведены, и все британские военные подкрепления должны покинуть Южную Африку. Если правительство Ее

Величества не даст удовлетворительного ответа в течение 48 часов, президент не отвечает за последствия.

Гнев и недоумение вызвал у англичан этот ультиматум. Правительство ответило кратко. 11 октября 1899 года была объявлена война. А на следующий день, вопреки всем ожиданиям, буры атаковали английские позиции.

Среди тех немногих, кто сумел правильно оценить противника, были, как показывает их частная переписка, лорд Уолсли и Конан Дойл, который, хотя бы благодаря уважительному отношению к истории, знал о кальвинистской отваге буров и об их искусстве ведения боя среди холмов.

"Я бы желал, чтобы такие молодцы были с нами, а не против нас, — писал он Иннесу. — Дело дрянь. Однако, — вырывается у него горячее восклицание, — они из самой несговорчивой породы, с какой приходится иметь дело. Похоже, что на них вообще можно воздействовать только силой, и то с трудом".

В середине сентября, в холодный, дождем пронизанный день, он провожал Лотти, отплывающую на пароходе "Египет" в Индию. Едва лишь лайнер вышел в Темзу, Лотти помчалась к себе в каюту писать ему письмо.

"Душа моя слишком переполнена, чтобы говорить много, но я столько перечувствовала! Мне так не хочется покидать тебя, и я уже предвкушаю весну, когда вернусь. Но все же до той поры постараюсь приятно провести время, потому что знаю, что ты этого хочешь. Не стоит и пытаться отблагодарить тебя за все, потому что это просто невозможно".

"Вздор!" — проворчал братец, но письмо бережно сохранил. Когда разразилась война, Конан Дойл уже начал свое турне, состоящее из 14 чтений. В ноябре, по окончании турне, пришла телеграмма от американского агента о том, что публика хорошо приняла гиллеттовского "Шерлока Холмса" в Буффало. А затем телеграмма о нью-йоркском спектакле:

БЛЕСТЯЩИЙ УСПЕХ ПРЕССЫ И ПУБЛИКИ НЬЮ-ЙОРКЕ ВЧЕРА.
ГЕРАЛЬД НАЗВАЛ ЭТО ДРАМАТИЧЕСКИМ ТРИУМФОМ. ГИЛЛЕТТ
НА ВЕРШИНЕ КАРЬЕРЫ.

Все шарманки в Лондоне наигрывали песенку "Солдаты королевы", а из Южной Африки приходили унизительные и тревожные вести. Буры наступали.

К началу ноября около 11 тысяч человек английского войска было отрезано и окружено вблизи Ледисмита. А на далекой западной окраине в осаде оказались Кимберли и Мафекинг. Но худшее было еще впереди.

Погодите, было в Англии у всех на устах, вот придет сэр Редверс Буллер! Уж он покажет! Его военные транспорты приближались к Кейптауну. Это был месяц бедственных действий: буры, разбившись на боевые соединения, называемые коммандо, готовили вторжение в Капскую колонию. Прибывший наконец армейский корпус предотвратил вторжение, но лорд Метьюэн, поспешивший, чтобы освободить Кимберли, завяз у реки Моддер. И вот между 7 и 17 декабря настала для Англии "черная неделя".

Лорд Метьюэн в ночной атаке при Магерсфонтейн повел бригаду шотландцев прямо на траншеи Кронье, не подозревая, сколь близко они расположены. При Стормберге генерал Гатакр, сбитый с толку проводниками, на рассвете обнаружил, что находится среди стрелковых позиций, расположенных на холмах, куда его потерявшие голову бойцы никак не могут взобраться. Генерал Буллер, направлявшийся к Наталю, попытался освободить Ледисмит лобовым штурмом реки Тугел. Даже не догадываясь, что траншеи буров выкопаны сразу на берегу, а не на прибрежных склонах, и направив ирландскую бригаду Харта форсировать Тугел в месте, непригодном для переправы, Буллер буквально подставил своих людей под расстрел с невидимых позиций Бота на противоположном берегу.

"Поражения в трех битвах за одну неделю, — констатировала немецкая пресса, еще более злорадная, чем, скажем, французская, русская или австрийская, — низвели военный престиж Англии до самого низкого в XIX столетии уровня".

"Мы прочитываем 8—10 газет в день и ждем следующего выпуска", — говорил Конан Дойл, когда стали поступать первые дурные вести. Он уже давно подумывал записаться добровольцем, чем приводил матушку в бешенство.

"Как ты смеешь! — гневно восклицала она в своих письмах. — О чем ты думаешь? Ведь один только твой рост и сложение превратят тебя в отличную и верную мишень!" Достойно, ничего не скажешь, участвовать в битве, соглашалась она, весьма характерно напомнив о Перси, Пэках, Конанах и Дойлах, но вставать на защиту дела, в корне которого лежит "это ужасное золото", было бы глупостью и преступлением.

"Ради всего святого, послушай меня. Несмотря на твой возраст, я отвечаю за тебя перед Богом. Не иди на войну, Артур! Послушайся меня! Если бы политиканам и журналистам, которые с такой легкостью ввязались в войну, предстояло самим отправиться на фронт, они были бы много осмотрительней. Они ввергли страну в войну, и, пока это в моих силах, ты не станешь их жертвой. А если ты будешь держать меня в неведении, — мрачно предостерегала она, — я приеду сама!"

Приехала ли матушка в Андершо, чтобы устроить сцену прямо на месте, — неизвестно. Но сын остался глух к ее мольбам. На битву поднималась вся страна.

Сэр Редверс Буллер, в первый и единственный раз поддавшись отчаянию, дрогнул и предложил сэру Джорджу Уайту сдать Ледисмит. "Будь проклят сдающийся!" — отвечал Уайт. Тем временем в Англии правительство назначило лорда Робертса на пост главнокомандующего в Южной Африке, а генерала Китченера (ныне лорда Китченера Хартумского) — начальником штаба. В Южную Африку отправилась шестая по счету дивизия, седьмая — мобилизовывалась. Впервые пришлось обратиться к добровольцам, и не только на Британских островах, но и по всей Британской империи.

Еще в самом начале войны Конан Дойл заявлял, что страна обязана прибегнуть к помощи своих спортсменов — людей, которые умеют отлично стрелять и ездить верхом и которых можно противопоставить

подвижной бурской коннице. Сейчас он написал об этом в "Таймс", и письмо было опубликовано в тот самый день, когда правительство обратилось с призывом организовать именно такое воинское соединение — Добровольческую кавалерию. Теперь слово было за самим Конан Дойлом.

"Поэтому, разумеется, — оправдывался он перед матушкой, — честь обязывает меня, первым подавшего эту идею, стать и первым добровольцем.

Я чувствую, что сильнее, чем кто-либо в Англии, кроме разве что Киплинга, могу повлиять на молодежь, особенно молодежь спортивную. А раз так, было бы в самом деле важно, чтобы я возглавил их.

Что же касается существа раздора, то со дня вторжения в Наталь это превратилось в чисто академическую проблему. И конечно, стало очевидным, что они-то готовились уже много лет, а мы — нет. Что же после этого остается от всех наших коварных замыслов? До того, как война разразилась, у меня еще были серьезные сомнения, но с первого же дня войны я уверился, что она справедлива и стоит любых жертв".

Однако ему не везло. Сколько бы он ни обращался в военное ведомство, ему отвечали, что он слишком стар для действительной службы, а давать какие-либо поручения гражданскому лицу они не станут. "Вздор!"

Тогда у него возник план отправиться на место военных действий на свой страх и риск, и, если там возникнет нужда в людях, он окажется под рукой. "Мучительно оставаться в Англии, чтобы слышать: "Привет! А я думал, ты на фронте". Это было бы невыносимо". Это было тем более невыносимо, что у призывных пунктов выстраивались длиннющие очереди юношей из Вест-Энда в цилиндрах и стоячих воротничках. Но оставалась и другая возможность. Почему бы не отправиться на фронт в качестве врача?

Его друг мистер Джон Лангмен снаряжал полевой госпиталь за собственный счет. Госпиталь этот, в отличие от других гражданских госпиталей, должен был отправиться прямиком на фронт, и это-то обстоятельство и решило дело, когда Конан Дойлу предложили работать в госпитале. Сын устроителя, юный Арчи Лангмен, теперь в звании лейтенанта Мидлсекксской добровольческой кавалерии морозным вечером, под Рождество, сидя у жарко натопленного камина в Андершо, посвящал Конан Дойла в подробности дела.

— Я поеду в качестве казначея, — возбужденно разъяснял юный Лангмен. — Мы подобрали из гражданских главного врача и заместителя. Но мой отец желает, чтобы вы были старшим врачом и осуществляли общий надзор. Вы согласны?

Хозяин, не выпуская трубки изо рта, кивнул утвердительно.

— Госпиталь будет великолепным, — продолжал Арчи. — На сто коек, с большими шатрами и 35 палатками. Особые удобства для раненых. И штат у нас подбирается первоклассный.

— Кто главный хирург?

— Роберт О'Каллаган. Вы его знаете?

— Кажется, слышал это имя. Какова его специальность?

— Гинеколог. Женские болезни и всякое такое, понимаете.

Конан Дойл прищурился:

— У него будет сравнительно немного пациентов на фронте, не так ли?

— Не надо шутить, сэр! О'Каллаган хороший человек. Впрочем, отец говорит, что был бы счастлив, если бы вы взялись подобрать персонал.

Так был сформирован госпиталь Лангмена со штатом уже ни много ни мало в 45 человек, и их групповое фото (тропические шлемы, хаки, обмотки) теперь красовалось на страницах "Графики" и "Скетча". Конан Дойл был зачислен как неоплачиваемый служащий и, кроме того, должен был выплачивать жалованье своему денщику Кливу. Представителем военного министерства у них в госпитале оказался большой поклонник виски, и у старшего врача возникли опасения на его счет еще до отправки.

Когда колокола уже готовы были пробить начало нового года и нового столетия, пришли письма из Индии от Лотти, едва переводившей дух от танцев в пестром вихре офицерских мундиров в Лахоре на балу у губернатора.

"16-й уланский уже получил назначение в Кейптаун, — писала она. — И им пришлось провести турнир по поло второпях — о Англия! — и продать всех своих прелестных пони. Амбалла вскоре опустеет. Все удивлены, что до сих пор не призвали наших артиллеристов, а последние две недели я жила, как попрыгунья". Иннесу не до плясок, он негодует на задержку: "Почему они не призывают артиллеристов? Дома все уже ушли на фронт; мое вечное дьявольское везение!"

На Новый год, когда в Южной Африке разгар лета, тяжелые орудия батарей генерала Жубера забарабанили картечью по гофрированным, крышам осажденного Ледисмита. Жубер со свойственным ему благородством предложил всем невоюющим покинуть город, но ушли немногие. Опустошал город не артобстрел, а болезни. До осажденного Кимберли как-то раз донесся грохот пушек лорда Метьюэна и сверкнул на солнце наблюдательный воздушный шар; блеснул сигнал гелиографа, и был получен ответ, но спасение не пришло. На севере крохотный, незначительный Мафекинг заставлял трепетать сердца и будоражил воображение всей Империи. В Мафекинге полковник Баден-Пауэлл не только не подпускал близко осаждающих, но и открыто смеялся над ними, устраивая у них под носом крикетные матчи, которые те были не в силах прекратить, а по ночам осажденные задавали жару противнику штыковыми вылазками.

"Сдавайтесь во избежание кровопролития!" — гласил приказ.

"Когда же начнется кровопролитие?" — спрашивал Баден-Пауэлл.

На фронте, увы, несмотря на блестящую тактику кавалерии генерала Френча при Коулсберге, мрачной чередой тянулись поражения. Сэр Редверс Буллер вновь попытался форсировать Тугел. На сей раз успешно. Но на горе Спион-коп четыре тысячи англичан оказались в условиях, где укрытие могли найти каких-нибудь полтысячи человек; и бурская артиллерия устроила настоящую бойню, пока генерал Уоррен (у подножия горы) не отступил в беспорядке с уцелевшими.

В это не хотелось верить. В глазах обывателей эти буры, поющие

псалмы и почитающие за грех обстреливать город по воскресеньям, представлялись исчадиями ада, порождением темных сил.

"Победу, одну лишь небольшую победу!" — вымаливали у судьбы некоторые. Но такая мольба раздавалась и будет раздаваться сколько стоит мир и пока стоять будет.

В Андершо неизменно приветливая Туи, всегда готовая поддержать мужа, настояла на том, что он непременно должен сопровождать госпиталь, сама же поехала с детьми в Неаполь. В задумчивости вышагивал он по опустевшим комнатам, ожидая распоряжений. Люди все еще никак не могут уяснить, где кроется ошибка в боевых действиях, ему же это представлялось очевидным. Он давно уже задумал написать об этом. Но не раньше, чем сам встретится и поговорит с живыми свидетелями происшедшего. Да, теперь уж англичане не бросают солдат в лобовые атаки на открытой местности против бурских траншей, ведь гордость не позволяла им распластаться на земле и вести огонь под прикрытием муравейника. И офицеры не вылетают вперед с саблями наголо, превращаясь в живую мишень для полудюжины маузеровских пуль, едва лишь блеснет на солнце их обнаженный клинок. Так во все времена, — рассуждал Конан Дойл, — лучшие в мире войска, вопреки своим генералам, извлекают уроки из боевых действий. Но были и другие уроки, которые следовало зазубрить.

Госпиталь Лангмена должен был отплыть в Южную Африку 28 февраля 1900 года. Когда зафрахтованное судно "Ориенталь" вышло из Тильбюри, матушка приехала из Йоркшира проводить сына. Между тем с фронта стали приходить благие вести. Лорд Робертс, тщательно и совершенно секретно готовивший наступление, продвигался на север. Хотя сообщения в прессе были отрывочными, путаными и выхолощенными цензурой, все же можно было уяснить из них, что кавалерия генерала Френча каким-то образом опрокинула осаду Кимберли.

Но матушка... Матушка была непреклонна.

Она ненавидела эту войну. Поскольку родственникам и друзьям офицеров было позволено взойти на борт, матушка сидела в переполненной кают-компании с поджатыми губами, а наверху, на палубе, заливался оркестр. Джин Лекки заявила, что не придет провожать, потому что не в силах вынести последних минут расставания в многолюдстве и бравурном веселье военного транспорта. И только много позже он узнал, что она стояла на причале в толпе, провожая взглядом отплывающий корабль.

Он взял с собой кипу изданий официальных документов и справочников, чтобы выверить источники при анализе причин войны для задуманной ее истории. Матушка еще крепче стиснула губы при виде этого.

— Артур, это неправое дело!

— Я говорил тебе, мама, что дело это правое!

Обстановка не располагала к открытой ссоре, хотя они были на волосок от этого. Вновь и вновь уверял он ее, что будет осторожен. И глядя вслед уходящей по трапу матери, прокладывающей себе путь в толпе выряженных в парадную форму военных, он мысленно продолжал придумывать все новые доводы в оправдание себе, как, впрочем, и она. В тот самый день, когда судно вышло в море, голодающий и изнурен-

ный эпидемиями Ледисмит был наконец освобожден сэром Редверсом Буллером, чего на борту никто еще не знал. А накануне лорд Робертс, Китченер и Френч, добившись тактического превосходства, окружили отступающую армию Кронье при Паардеберге и вынудили бурского генерала сдаться с четырьмя тысячами бойцов.

А на борту "Ориенталя" топот тысяч кованых сапог сливался в некий бесконечный ритмичный гул. Оркестр перекрывал шум машинного отделения.

"Я стал ужасно нервным, — писал Конан Дойл, — и ощутил бремя своих лет, взявшись за тяжелый труд. Я вернусь помолодевшим лет на пять. Умоляю, простите меня, матушка, если я когда-нибудь был капризным или несговорчивым, — всему виной нервы".



ГЛАВА XI
ВИКТОРИАНСКАЯ: КОНЕЦ ЭПОХИ

И вот, слава Богу, его работа в Южной Африке закончилась.

А почти пять месяцев спустя вышел он июльским вечером перед закатом на вершину небольшого холма, вышел туда, куда он так часто приходил в те зловещие дни за глотком свежего воздуха. На севере простирался краснокирпичный город Блумфонтейн, бывшая столица Оранжевой республики, а здесь, перед ним, располагался госпиталь Лангмена; его маленькие палатки и полотняный тент занимали крикетное поле, а главные покои размещались в кирпичном спортивном павильоне.

Этот павильон когда-то использовался для любительских театральных представлений. Сотрудников госпиталя, конечно, позабавило, что в одном конце павильона возвышается в золоченом обрамлении сцена с декорациями для постановки «Крейсера „Пинафор"». Но долго веселиться им не пришлось.

Блумфонтейна они достигли 2 апреля 1900 года. Транспорт "Ориенталь", пристав в Кейптауне за распоряжениями, был направлен в порт Ист-Лондон, где и выгрузил войска вместе с затерявшимся среди них госпиталем Лангмена. Главный врач, мистер Роберт О'Каллаган, упитанный джентльмен, смахивающий на Дюма-отца, предпочитал сидячий образ жизни. Хирург военного ведомства, майор Друри, говорил с ужасным акцентом и осуществлял контроль за запасами виски. Весь штат госпиталя, 45 человек, усадили в военный эшелон, в котором они должны были проделать, как вскоре выяснилось, четырехдневное путешествие в глубь страны. Путь с недавних пор был открыт.

Когда госпиталь прибыл на место, стоял жаркий, исчерченный молниями дождливый сезон. Британские Томми *, поджарые парни из Канады, Австралии и Новой Зеландии, платили бурам по шиллингу за две сигареты. Город был переполнен генералами и журналистами, и Конан Дойл, все это время не прекращавший вести дневник, старался ничего не упустить из их разговоров. Новый госпиталь, с крикетным полем, окруженным забором из рифленого железа, ему понравился.

"Павильон замечательный, — писал он Туи, — вместе с нашими палатками мы надеемся разместить 160 пациентов вместо 100. Раненые прибывают в город; сегодня мы были в городе, чтобы сгрузить —с поезда наше оборудование".

В розовой сорочке, с красным, солнцем опаленным лицом, со сдвинутым на затылок защитным шлемом, он задавал темп в разгрузке 50-тонного багажа, темп такой неистовый, что, "когда мы закончили, я не мог говорить, потому что язык лип к губам". Бригада Смbт-Дорриена, регулярная армия и добровольцы, пешие и конные, шли вдоль железнодорожных путей. В южноафриканском солдате, правда, не в том приукрашенном виде, в каком он представлен в иллюстрированных изданиях, сплав всех начал: спутанная борода, в зубах трубка, на руках болячки. Вместе с ними шагали хайлендеры Гордона **.

"Славные гордонцы! — выкрикивал перепачканный грязью человек в розовой сорочке, сбрасывая ящики с платформы на повозку. Вокруг города беспрерывно носились кавалерийские отряды. — Я видел, как 12-й уланский, драгуны и 8-й гусарский уходили на восток на темном фоне дождевых туч".

Ибо буры на своих холмах не теряли времени даром. Один из них, которому суждено было стать их крупнейшим партизанским вожаком, Христиан Девет, никогда не снимавший темных очков, уже устроил засаду британской колонне. Кроме того, он захватил водопроводные сооружения в двадцати милях к востоку от Блумфонтейна. Никакие — пусть хоть три подряд — сражения этой войны не нанесли англичанам такого урона, как захват водопровода.

"Почему же, — мучил потом всех один и тот же вопрос, — ну по-

---

* Томми, или Томми Аткинс — прозвище британских солдат.

** Полк шотландских горцев, названный по имени офицера и географа шотландца Чарльза Джорджа Гордона.

чему же мы не выступили, не отбили у буров водопровода тогда же? Почему?"

Никто и по сей день не может ответить. Вероятно, кое-кто догадывался о причинах того, что произошло тогда. Но ясно одно, в Паардеберге войска использовали для питья зараженную воду. И началась эпидемия брюшного тифа.

Было бы дурным каламбуром сказать, что солдаты, которым прививка от тифа не делалась в обязательном порядке, умирали, как мухи. Потому что именно мухи-то и были повсюду, жужжа и роясь мерзкой черной тучей. Брюшной тиф, ввергая людей в беспамятство и вызывая высочайшую температуру, разъедает стенки кишечника. Он вызывает безостановочный смердящий понос и смертельное отравление организма. И смерть он влечет мучительнейшую.

Лангменовский госпиталь, запруженный армейскими носилками, был в положении ничуть не худшем, чем другие госпитали: в одном из них было 700 больных, а коек всего на четверть этого числа. Не хватало дезинфицирующих средств, белья, инструментов. Новых пациентов, невзирая на протесты, вносили в павильон и так и оставляли, больных или умирающих, между койками. Гротескную золоченую сцену со всеми ее декорациями превратили в отхожее место. И повсюду средоточием заразы, облепляя стаканы и норовя забиться в рот, зудели жирные мухи.

О'Каллаган, дородный, элегантный гинеколог, не мог вынести вида такой смерти. Он уехал домой. Майор Друри, с облепленной мухами лысиной, превратился из веселого товарища в пьяного офицера. Если бы Конан Дойл не взял все в свои руки, могла произойти катастрофа. Но младшие хирурги — Чарльз Гиббс и Х. Дж. Шарлиб — лучших людей нельзя было подыскать; то же можно было сказать и о персонале сентджонсовской лазаретной бригады, и о каждом из остальных сорока пяти человек. Они боролись с эпидемией, которая уже свалила двенадцать из них и все разрасталась.

Не приходилось думать о могилах для большинства умерших, тела которых заворачивали в больничные одеяла и сваливали в неглубокие рвы. Пятьсот человек скончалось за апрель и май. Со стороны Блумфонтейна распространялся такой смрад, что при перемене ветра он ощущался уже за шесть миль. С самого начала врачи всех госпиталей столкнулись с военными властями на почве строгого британского уважения военных законов.

Депутация врачей, среди которых был и старший врач лангменовского полевого госпиталя, просила власти разрешить использовать пустующие дома в Блумфонтейне и его окрестностях для размещения больных. Это невозможно, отвечали власти, без разрешения владельцев, — а владельцами были буры, сражающиеся во вражеских "коммандо". Просто голова идет кругом! Конан Дойл выдвинул другое предложение.

— Наше крикетное поле, — объяснял он, — окружено большим забором из рифленого железа. Мы могли бы разрезать забор и превратить его в сколько угодно навесов, которые хотя бы предохраняли от дождя. Вы позволите?

— Простите, это тоже частная собственность.

— Но люди умирают!

— Простите. Таков порядок. Мы должны показать голландцам, что они могут нам доверять.

Они придерживались того же кодекса, согласно которому Томми Аткинс, находясь в походе в краях, славных тучным скотом, не мог позволить себе и парочки жирных гусей. Лишь когда из фермы под белым флагом открывали по нему снайперский огонь, мог он пойти в штыковую на свиней; если он посягнет на частную собственность, ему грозит расстрел. Французский военный атташе уверял, что всякий, называющий себя человеком, не мог не взбунтоваться под гнетом такой дисциплины.

До сих пор в прессе не позволялось говорить ни слова об эпидемии. В середине апреля, когда жертвы ее, которых негде было разместить, умирали прямо на улицах, известный художник Мортимер Мемпес добрался до Блумфонтейна. Он прибыл от "Иллюстрейтед Лондон Ньюз" сделать зарисовки д-ра Конан Дойла в его замечательном, блещущем чистотой госпитале.

— Взгляните на этот ад! — вскричал вместо приветствия доктор, встретив Мемпеса на веранде павильона. — А это ангелы, — указал он на двух сестер милосердия в черных одеяниях, приехавших сюда помогать. — Сущие ангелы!

Мортимер Мемпес записал свои впечатления, когда завеса цензуры слегка приподнялась.

"Д-р Конан Дойл работал, как лошадь, пока ему, буквально насквозь пропитанному заразой, не приходилось мчаться на холмы за глотком свежего воздуха. Это один из тех людей, кто делает Англию великой". Мемпес — соломенная шляпа подвернута с одного края — интервьюировал его там же, на холмах. Неизбежно первый вопрос был о Шерлоке Холмсе.

— Какой из рассказов вам самому больше всего нравится?

— Думаю, тот, про змею, — ответил слегка опешивший доктор, — но сейчас мне ни за что не припомнить его названия. Прошу прощения.

Мемпес не оставлял его ни в миазмах под навесами на крикетном поле, ни в павильоне. И всюду, пока доктор работал, он делал наброски. Это были вполне цензурные рисунки, приукрашенные для удовольствия публики, но все же передававшие что-то такое в старшем враче, за что его боготворили пациенты. Это было не его врачебное искусство. Это было само его участие, как очаг, излучающее теплоту доверия; его презрение к опасности, его свободное обращение с предписаниями.

Под бормотание бредящих, под истошную скороговорку умирающих он нянчился с ними, развлекая их рассказами, писал за них письма. Тропические ливни барабанили по крыше; на улице приходилось пробираться по шестидюймовому слою грязи. Начались частые ссоры с майором Друри, впрочем, тот столкнулся вскоре с другим ирландцем, умевшим одним особым, страшным взглядом заставить старшего офицера замолчать.

"Один человек, — записал Конан Дойл в своем дневнике, — умер, пока я обмахивал его. Я видел, как свет померк в его глазах. Ничто не может превзойти терпения и храбрости Томми".

И все же человеческая природа прорывалась наружу.

"У нас есть пять буров, тихих, скромных людей, работающих в палатах. Один из них стоял и наблюдал похороны и какой-то Томми запустил ему палкой в лицо. Бур ушел. Позорный случай! Такое не должно повториться".

Наконец в этом аду стал виден какой-то просвет. Пришел приказ переправить 50 выздоравливающих назад, в Капскую колонию. Прибыл новый доктор. 24 апреля, в яркий солнечный день на исходе сезона дождей, до Конан Дойла дошел слух о предстоящей атаке водопроводных сооружений.

С Арчи Лангменом и двумя журналистами поскакали они вслед Конной инфантерии, которая, спешившись, развернутой цепью продвигалась в направлении кирпичных дымоходов, указующих на водопроводные сооружения. Далеко впереди можно было различить силуэты бурских всадников. Раз или два раздались отдаленные ружейные выстрелы. Но никакого штурма не потребовалось — ибо и сопротивления не было. Когда они вернулись, по Блумфонтейну разнеслись слухи о генеральном наступлении по всему фронту. И 1 мая лорд Робертс начал наступление на Иоганнесбург и Преторию.

Вдоль фронта в 30 миль, от холма к холму отсвечивали зеркала гелиографов. Едва лишь последний солнечный шлем центральной колонны скрылся за воротами Блумфонтейна, словно со вздохом облегчения, грянули духовые оркестры, знаменуя уход из этого зачумленного места. Кавалеристы, вооруженные саблями и легкими карабинами, сдерживали лошадей, разрезвившихся в зеленом вельде. Выздоравливающие от тифа (а их оставалось еще три тысячи) выглядывали из всех окон, силясь прокричать "ура!". Конан Дойл, проснувшись на рассвете под звуки "Британских гренадеров", понял, что выступают гвардейцы, а значит, начинается что-то серьезное. Вскоре он встретил взволнованного Арчи Лангмена.

— У тебя изможденный вид, — сказал юный Лангмен, — майор может теперь сам справиться с делами. Устроим себе отпуск на несколько дней и поскачем за главной колонной. Может, попадем под артобстрел.

И они поехали. Вновь с удивлением для себя заметил он, что чувствует себя под обстрелом гораздо менее напряженно, чем ожидал. "Мысли мои были заняты другим. Я был так раздосадован пропажей ранца, что на время забыл про снаряды, носясь туда-сюда в надежде отыскать его".

Через три дня Арчи Лангмен и Конан Дойл вернулись в госпиталь. В своей палатке он нашел письма из дома, письма из Индии и экземпляры своей новой книги рассказов "Зеленый флаг", вышедшей в начале апреля. Книга состояла из 13 рассказов — от пиратских, про капитана Шарки, до настоящей дьявольщины под названием "Король лис". Но сейчас ему было не до рассказов.

Дома пресса шумела об армейской реформе. У него уже давно были собственные соображения на этот счет, теперь, благодаря личным

впечатлениям и разнообразию мнений тех, с кем ему приходилось говорить, укрепившиеся еще более. Он набросал заметки для статьи в "Корнхилле". Но написал статью только в середине июня, когда бурская война близилась в завершению.

Президент Крюгер, захватив государственные архивы, бежал за день до того, как 31 мая лорд Робертс вошел в Иоганнесбург. Крошечный, уединенно расположенный Мафекинг был освобожден. В начале июня подняла британский флаг Претория, столица Трансвааля. А далеко в Лондоне м-р Бердет-Кутс сделал несколько сенсационных "разоблачений", касающихся состояния госпиталей во время эпидемии; пресса неистовствовала; Конан Дойл поместил в "Британском медицинском журнале" ответ, отметив ту простую истину, что ни один госпиталь — гражданский или военный — не мог бы сделать больше, чем было сделано в Блумфонтейне. Кроме того — уж не будем говорить, как это должно было оскорбить чувства лучших военных экспертов или подогреть эмоции пожилых клубных завсегдатаев, — он написал статью об армейской реформе под заголовком "Несколько военных уроков".

"Уроки войны, — писал он, — состоят в том, что полезнее и выгоднее для страны содержать меньше хорошо натренированных солдат, чем много, но разного качества. Нужно обучать их стрельбе и не тратить времени на парадную муштру".

Написав статью, Конан Дойл решил, что с этой целью в Англии должны быть основаны стрелковые клубы, и если никто другой не займется их организацией, то это сделает он сам. Но в памяти еще горело виденное им в Блумфонтейне и в открытых степных боях. Ему глубоко несимпатичны были гвардейские офицеры с их моноклями и протяжной речью. Да, они весьма храбры, но храбрости в Британии не занимать, чего не хватает — так это ума. Итак:

"Прежде всего, — заключал он, раскаляясь добела, — покончим с суетой вокруг перьев, золотых эполет и прочей мишуры! Покончим с дорогим обмундированием, сверхроскошными замашками офицерства, излишней расточительностью, из-за которых человеку несостоятельному трудно получить чин! Если бы хоть это было результатом наших разговоров и усилий, то это стоило бы всех затрат".

Иными словами, как охарактеризовала его выступление "Дейли ньюз", — "необходимо демократизировать армию". Это-то и был самый ошеломляющий вывод.

Вскоре после публикации статьи Конан Дойла в "Корнхилле" Лангмен стал сворачивать работу госпиталя, покрывшего себя боевой славой: кроме тех 12, которые подхватили тиф, и трех умерших, еще пятеро свалились с высокой температурой. Если госпиталь не мог продолжать работу, то и необходимости в нем больше не было. Военные госпитали к тому времени уже более чем наполовину опустели; да и война в общем кончалась.

Посетив 23 июня Преторию, Конан Дойл писал домой, что, очевидно, покинет Южную Африку в июле. Даже такое крепкое здоровье, как у него, было подорвано эпидемией. Он почти не мог есть; вдобавок,

неудачно упав на футбольном матче, он сломал несколько ребер, и пришлось накладывать фиксирующую повязку.

По правде говоря, признавался он Иннесу; самочувствие было чертовски скверным. И все же Конан Дойл отправился в долгое путешествие по железной дороге мимо обугленных телеграфных столбов и был приятно поражен, когда на рассвете увидел проплывающий перед окнами вагона станционный знак: "Претория". Погоня за стариком Крюгером отошла уже в прошлое. В память о своем визите он выкурил трубку в кресле президента Крюгера и побеседовал с уже не столь озабоченным маленьким, белоусым лордом Робертсом. Он курил и спорил с бурами, "ребятами неплохими", но очень невежественными. В Претории получил он записку от Арчи Лангмена о том, что 11 июля может сесть в Кейптауне на лайнер "Бритон". Весь госпиталь отправлялся в Англию в ближайшие две недели, а Конан Дойл, как неоплачиваемый служащий, мог ехать вперед на почтовом судне.

И вот, вечером 6 июля, когда африканская служба была уже позади, задержался он на вершине невысокого холма близ Блумфонтейна, куда так часто в те адские дни выходил вдохнуть в легкие свежего воздуха. Назавтра, распрощавшись с Арчи, своими верными друзьями Гиббсом и Шарлибом и всеми остальными, он уезжал в Кейптаун.

Над равниной, еще недавно уставленной военными палатками, алый закат уже подернулся багровой тенью. Южноафриканские зимние дни достаточно мягкие, но ночи — свирепо холодные. Если бы, избави Бог, ему еще хоть раз пришлось бы вдохнуть миазмы Блумфонтейна — эту адскую смесь заразы и дезинфекции, — ему вывернуло бы вместе с желудком всю душу. Сейчас он уже не стал бы никому говорить, что они "надеются принять больше больных". И все же:

"Я еду на юг, — писал он матушке утром того же дня, — с чувством, что не оставил ничего недоделанным. И, слава Богу, свои испытания я выдержал не худшим образом.

Я уложил мою историю в четыре главы, если только окончание войны не затянется на неопределенное время. Я надеюсь завершить ее еще до возвращения в Англию. Но многое надо переписать заново, так как есть более полные и новые сведения о ранних боевых действиях. Это да еще тщательная корректура займут месяц или недель шесть, которые мне нужно будет провести в Лондоне или поблизости от него".

В Лондон! Прибыв в Кейптаун и взойдя на борт "Бритона", он сразу же окунулся в лондонскую суету. Электрический свет на лайнере после многих месяцев свечей да керосиновых ламп ослепил его. А когда он увидел женщин в изысканных платьях с высоким воротом и пышными рукавами, он ощутил вдруг свою грубость и одичание от бивуачной жизни. Но это чувство вскоре растаяло, как растаял в ласковом тумане моря и сам Кейптаун с его кафрами, от избытка патриотизма повязавшими головы лентами. На "Бритоне" было много важных или, по крайней мере, видных пассажиров, и среди них некий громогласный иностранный офицер, побывавший в лагере буров. Этот джентльмен утверждал, что англичане постоянно применяли разрывные пули

"дум-дум". Конан Дойл, покраснев как рак, назвал его лжецом. Офицер, майор Роже Рауль Дюваль, принес письменные извинения.

Это, впрочем, был единственный инцидент. Наслаждаясь своей новой изогнутой трубкой — из тех, что распространились в Англии в период южноафриканской войны, — он проводил время между усердной работой и беседами в компании друзей, журналистов Невисона и Флетчера Робинсона. Последний, впоследствии издатель "Ярмарки тщеславия", был уроженцем Девоншира: он родился в Ипплепене, близ Дартмура. Флетчер Робинсон был кладезем всяких народных преданий и легенд о дьяволах и привидениях, будто бы являющихся на просторах этой жуткой пустоши.

Сейчас они были слишком переполнены войной, чтобы говорить о чем-нибудь ином. Но можно считать определенно счастливой случайностью то, что они условились когда-нибудь встретиться в будущем и поиграть в гольф.

Конан Дойл просил матушку ожидать его в Морли-отеле на Трафальгар-сквэр, в том самом отеле, где он так часто останавливался, приезжая в Лондон. И матушка, близоруко щурясь за стеклами очков, ждала его там. Но первое, что он увидел, была стайка репортеров, собравшаяся не столько потому, что он всегда хорошо выходил на фотографиях, сколько потому, что волнение вокруг "Скандала с военными госпиталями" достигло апогея. Собственно говоря, обвинялись больничные служащие-санитары. И обвиняли их в небрежении своими обязанностями и даже воровстве. Статья Конан Дойла в защиту служащих в "Британском медицинском журнале" предвосхитила его приезд.

"Когда, — писал он, не скрывая презрения, — скауты, или уланы, или иная живописная публика шествуют процессией по Лондону, подумайте о тех неприметных санитарах, которые тоже делали все, что могли, для своей страны. Они народ незамысловатый, и в тифозных палатах их не встретишь, но своим добросовестным трудом и тихой отвагой они побьют многих в нашей элегантной армии".

Конан Дойлу, как он и предполагал, предложили выставить свою кандидатуру в парламент от юнионистов. Он не тори, предупреждал он, он юнионист, каковым и был всегда.

В 1900 году у него было одно твердое убеждение: нынешнее правительство надо поддерживать. Не политики внесли сумятицу и беспорядок в ход войны, а те самые золотопогонники.

"Завоевания этой войны, — настаивал он, — не должно отдать в руки той партии, в рядах которой столь многие выступали против и с осуждением ее".

Однако, пока вопрос о кандидатуре еще не решился, впереди у него был целый месяц крикета. В августе он играл за Марилебонский крикетный клуб на стадионе "Лордз", и Джин Лекки как-то раз пришла посмотреть игру. Вот тогда-то Вилли Хорнунг и встретил их и сделал неверные выводы; и тогда-то и произошла та нелепая ссора с Конни и Вилли, которую мы уже описывали. Он очень рассердился тогда и еще не совсем отошел, когда м-р Борастон (в будущем сэр Джон), секретарь либерал-юнионистов, обратился к нему с предложением.

— Какое парламентское место хотели бы вы оспаривать? — спросил м-р Борастон.

На этот вопрос ответить было просто. Он хотел с открытым забралом выступить против оппозиции и бороться за место сэра Кемпбелл-Баннермана, лидера либеральной партии.

"Это было бы весьма почетно", — заявил он, а матушке сказал, что бороться за легкое, доступное место было бы делом жалким.

Эта вакансия, как ему сообщили, предназначена другому. Но если он желает трудного места, то не угодно ли выступить от центрального региона Эдинбурга?

"Что может быть лучше. Я родился в Эдинбурге!"

"Этот регион, надо помнить, — оплот радикалов. Главным образом голоса тред-юниона. Его не оспаривали несколько лет, а в последний раз на выборах кандидат радикалов имел перевес в две тысячи голосов на шеститысячном участке. Победить здесь нельзя, но сбить перевес можно".

Нельзя победить? Он не был в этом абсолютно уверен. Стараясь не выдавать волнения, он отправился на север, чтобы погрузиться в водоворот еще более головокружительный, чем в Америке.

Кремнистые, дымные улицы этого района Эдинбурга хрипели и неистовствовали в возбуждении политической борьбы. В отчетах прессы каждая реплика кандидата сопровождалась целым фейерверком ремарок: "возгласы", "громкие голоса", "смех", "свист". Любители острых замечаний с места не жалели глоток. У Конан Дойла на всю предвыборную кампанию было десять дней: с 25 сентября по 4 октября.

Свою первую речь он произнес в шрифтолитейном цехе перед толпой рабочих. В последовавшей за тем суматохе он выступал от семи до десяти раз в день. Он говорил, стоя на бочке в пивоварне. Говорил в конюшнях — в отделении, где моют лошадей. Завершался день обычно многолюдным собранием в театре или холле под градом вопросов; и от упрямого стремления аудитории обращаться к нему, как к Шерлоку Холмсу, не становилось легче.

Он выходил к ним со всегдашней широкой улыбкой на лице, левая рука в кармане брюк, а правая — размеренно жестикулирует. "Несмотря на стремительность его речи, каждое слово отчетливо слышится; и хоть речь его нельзя назвать ни страстной, ни пламенной, он, в конце концов, срывает у аудитории гром аплодисментов". С самого начала он отвел, как незначительные, текущие политические вопросы: об арендной плате, о местных выборах, о суфражистках.

"Есть лишь один вопрос, — снова и снова вдалбливал он, — который затмевает все остальные настолько, что выборы должны определяться именно этим. Речь идет о войне в Южной Африке. (*Шум.*) Пока этот вопрос остается нерешенным, отдавать свой голос в пользу того или иного социального явления — все равно, что наводить уют в гостиной, когда дом охвачен пожаром (*Шум.*)".

Эдинбургский "Скотсмен", сначала высказывавший сомнения по поводу кандидата из литераторов, после двух его выступлений пришел в бурный восторг. А более всего поражало прессу неожи-

данное умение этого новичка справляться с дерзкими любителями задавать вопросы.

И вот, вызывая тревогу радикалов, этот вторгшийся со стороны кандидат стал набирать голоса.

Его первоначальные сомнения в результате ("Борюсь яростно, но сомневаюсь, смогу ли сколотить нужное основание") сменились явной уверенностью. "Я выиграю", — вещал он своей аудитории; так он и думал. На одной из последних встреч с избирателями в Литературном институте на кафедру вышел поседевший д-р Джозеф Белл, чтобы уверить собравшихся, что его давний ученик будет одним из лучших членов парламента, если проявит усердие хотя бы в половину того, что выказал в Эдинбургской больнице.

В ночь перед выборами он почти не спал. И по здравом размышлении у него были более чем равные шансы. Но утром настроение резко изменилось.

Причиной тому была политическая изворотливость его противников. Вокруг трех избирательных округов центрального района все было увешано тремя сотнями плакатов с черными письменами от имени "Данфермлайнской организации защиты протестантства".

Д-р Конан Дойл, гласили эти плакаты, — папистский конспиратор, иезуитский эмиссар и ниспровергатель протестантской веры. Он происходит из католической семьи: может ли он это опровергнуть? Он обучался у иезуитов: станет ли он отрицать это? Если же все это правда, что прикажете шотландским протестантам, приверженцам Кирки и Ковенанта, думать о таком человеке? Разве нужны еще какие-нибудь доводы?

"В центральном Эдинбурге, — благородно осмысляла события "Дейли телеграф", — заметное оживление".

А пока шотландские рабочие читали плакаты и отпускали в его адрес страшные проклятия, что мог сделать кандидат от юнионистов?

Ведь сообщения о католическом происхождении и иезуитском воспитании были чистой правдой. Не мог же он, особенно под возгласы: "Ну, я с ним разделаюсь", — взять за пуговицу избирателя и сказать ему: "Послушай, я порвал со своей семьей именно потому, что не мог принять католичества". Сэндвичмены несли на себе напутствие его сопернику, м-ру Брауну, от капитана Ламтона (героя войны) из Ньюкасла. С наступлением темноты активисты на скверно освещенных улицах уже не различали, своих или чужих избирателей затаскивают они на участки; возникали стычки; плакаты сделали свое дело.

"Доктор, — сказал его помощник, — мы побиты". Увы, да.

Толпа его сторонников ожидала в Олдфелоуз-холле результатов голосования. Итог таков: Дж. М. Браун (его соперник либерал Джордж Макензи Браун — богатый и весьма бесцветный издатель из "Нельсон и Сыновья") набрал 3 028, а Конан Дойл (либерал-юнионист) 2 459 голосов. Перевес либералов составил 569 голосов. Побежденный кандидат, улыбаясь, произнес речь о том, что он, по крайней мере, сбил двухтысячное преимущество до каких-нибудь пяти сотен. Он ничего не сказал о злополучных плакатах, пока собрание хором не потребовало

ответа, и тогда он уклонился и, заявив, что убежден, что его соперник ничего о них не знал, отправился к себе в отель.

Но сам он еще не скоро смог с иронией взглянуть на комедию выборов. Он знал, что, не будь плакатов, он победил бы; и это было обидно.

Пока, однако, он не слишком разбирался в политике. Он не знал, что здесь разрешены любые приемы. Он не знал, что, если воспользоваться доверчивостью и невежеством избирателей, можно не только завалить кандидата в парламент, можно сбросить и с более высокого поста величайшего государственного деятеля, к которому некогда воззвали в минуту опасности. 25 октября, по возвращении в Лондон, Конан Дойл сидел в клубе Пэлл-Мэлл и слушал выступление 26-летнего молодого человека, только что избранного в парламент. Молодой человек был в самой гуще бурской войны в качестве специального корреспондента. Его имя было Уинстон Черчилль.

Но было достаточно событий — и литературных, и домашних, — которые могли отвлечь эдинбургского кандидата от мыслей о выборах. Прежнее правительство устояло и осталось у власти. Туи вернулась из Неаполя и поселилась в Андершо. Дети были там же. Хотя буры официально еще не сдались, издательство "Смит и Элдер" выпустило его исторический труд, назвав его "Великая бурская война", чтобы отличить ее от более мелкого конфликта, имевшего место в 1881 году. Первое издание заканчивалось захватом в сентябре Западного Трансвааля и бегством в Европу президента Крюгера на голландском военном судне.

"Представляю, какая гроза разразится надо мной рано или поздно, — писал Конан Дойл, — из-за моего свободного обращения с нашими "шишками". Я буду только рад".

"Великая бурская война" понравилась и врагам, и друзьям. Чем же это объясняется? Не без пользы для себя усвоил он стиль исторических писаний Маколея. Та же предельная ясность, избавляющая читателей от гадания, кто есть кто среди героев, или кто что делает в путанице дурного построения. Эта ясность и обеспечила притягательность книги.

Во всех спорных вопросах он приводил свидетельства в пользу обеих сторон. Его доводы в пользу бурских действий были высказаны столь твердо, что сами буры расхваливали книгу. При всей сумятице и неразберихе первых боев он с такой скрупулезностью взвешивал все за и против в действиях командования, что поначалу невозможно было даже уловить стоящие за этим горькие упреки.

Но его статья в "Корнхилле" "Несколько военных уроков", которую он дал в виде приложения к книге, появилась на месяц раньше. Она-то и вызвала настоящую бурю.

Перед Рождеством он основал стрелковый клуб в Андершо. В своем кабинете, где теперь сидел еще и его секретарь, Конан Дойл мог слышать резкие хлопки ружейных выстрелов. Присутствие секретаря, помимо облегчения в работе, ощущалось как символ изменения жизненного статуса.

Перемены! Все менялось в этом непостоянном мире!

Уже осенью стало известно, что здоровье королевы Виктории ухудшается. Для большинства людей, особенно пожилых, жизнь без королевы была невообразима. Словно в длинном и величественном коридоре одна за другой гаснут свечи и под его сводами зияют темные провалы. Но сообщения прессы были ободряющими: королева отправилась на Рождество, как обычно, в резиденцию Озборн на острове Уайт.

И, будто мало было смятения и несчастий, вдруг стало очевидно, что война в Африке не закончилась, Девет, Бота и Деларей еще огрызались партизанскими рейдами; лорд Китченер требовал дополнительно тридцать тысяч человек. Конан Дойл, специально для Джин Лекки позаботившийся переплести рукопись "Дуэта", недоумевал, как можно подавить партизанские действия на местности, словно нарочно для партизанской войны созданной.

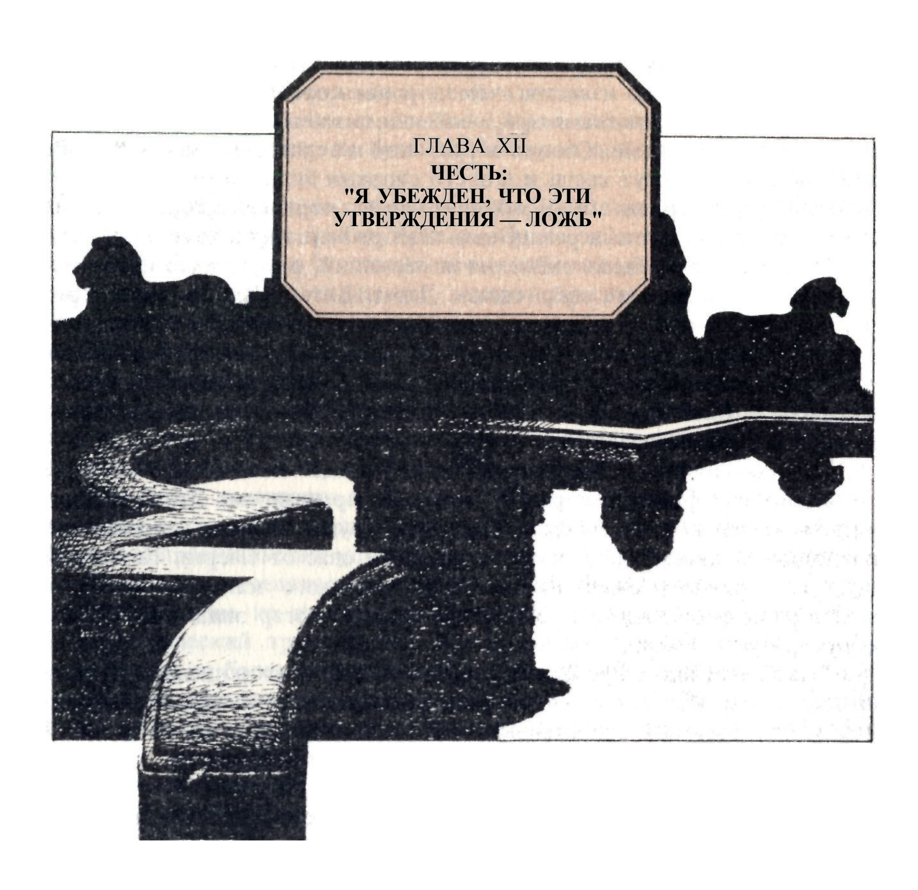
Напоминания о войне окружали его везде. В кабинете на столе стояла конная фигурка лорда Робертса, подаренная ему Джоном Лангменом за службу во время эпидемии. Другие острые напоминания приходили в письмах больных, которых он спас от смерти. Но самым душераздирающим было письмо отца молодого канадца, которого спасти он не смог. Рядовой У. С. Блайт умер в разгар эпидемии. Но его отец сумел все понять.

"Да благословит Вас Бог и защитит за Ваш благородный труд ради нашего сына. Мои слова не в силах выразить Вам нашей признательности. Это был мой единственный сын, и я отдал все, что имел, моей Королеве и стране и только сожалею, что мой возраст не позволяет мне пойти и занять его место".

Это, по мнению Конан Дойла, была не просто дань благодарности ему лично: в таковом качестве в ней не было ничего значительного. Но в этом письме верность Империи, верность, над которой насмехалась германская пресса, была выражена в нескольких простых словах.

Перемены! Сестра Лотти, поехавшая в Индию, как полагали, на несколько месяцев, повстречала там капитана инженерных войск Лесли Олдхема и вышла за него замуж. Первое сбивчивое письмо Олдхема к его недавно обретенному шурину было одним из самых приятных посланий, когда-либо им полученных. Лотти взволнованно убеждала матушку не обсуждать с Артуром проблему денег; однако незаполненные чеки продолжали исправно приходить. Сам же он, когда спала лихорадка эдинбургской битвы, написал своим друзьям в Шотландию, что он не был иезуитским эмиссаром и ниспровергателем чьей-либо веры. Его взгляды можно описать как благоговейный теизм: если он до сих пор и не может принять Библию как боговдохновенную книгу, он испытывает благоговение перед сущей Силой.

Перемены! На календаре январь 1901 года. Кайзер Вильгельм II ежедневно, в шесть часов утра, отправляется верхом из Потсдама в Берлин на маневры своих войск, длящиеся по шесть часов кряду. В Вашингтоне президент Маккинли занят урегулированием кубинских дел. А в Озборне на острове Уайт тихо, сложив руки на груди, отошла в лучший мир вослед принцу Альберту старая королева.



ГЛАВА XII
ЧЕСТЬ: "Я УБЕЖДЕН, ЧТО ЭТИ УТВЕРЖДЕНИЯ — ЛОЖЬ"

В шапке письма значилось: "Роуз-Даки-отель, Принстаун, Дартмур, Девоншир", а почтовая пометка была от 2-го апреля 1901 года.

"Вот я в самом высоком городе Англии. Мы с Робинсоном осматриваем Болота для нашей шерлок-холмсовской книги. Сдается мне, она выйдет на славу; право же, я написал уже почти половину. Холмс — в наилучшей форме, и замысел, которым я обязан Робинсону, очень интересен".

Это был первый отдаленный рык "Собаки Баскервилей".

Но это не первое упоминание о книге и даже не первое упоминание названия. Началось все это в марте того же года в маленькой водолечебнице в городке Кромер в Норфолке. Зимой Конан Дойл сильно сдал. Осложнения после брюшного тифа лишали его аппетита и сна. Несколько дней в Кромере, полагал он, могли бы поставить его на ноги. Действительно, все получилось замечательно, хотя и не совсем так,

как он предполагал, собираясь туда, просто чтобы поиграть в гольф со своим приятелем Флетчером Робинсоном.

В отеле "Роял-Линкс" в одно промозглое воскресенье при сильном ветре с Северного моря, после полудня, когда разожгли камин в холле, Флетчер Робинсон завел разговор о дартмурских легендах и атмосфере Дартмура. И особенно распалил —воображение его товарища рассказ о призрачном псе.

Конан Дойл провел в Кромере всего четыре дня. Ему следовало вернуться в Лондон: он давал в Атенеуме обед, на который среди прочих были приглашены Гриффитс, Барри, Уинстон Черчилль, Энтони Хоуп (Хокинз), автор "Узника Зенды", и Эдмунд Госс. Но тем ненастным полднем в Кромере он уже был настолько увлечен, что стал тут же вместе с Робинсоном прикидывать завязку сенсационной истории о девонширской семье, над которой тяготеет проклятье: собака-привидение, которая затем оказывается существом из плоти и крови.

Более чем понятно, что такой сюжет должен был его увлечь. Отдавал себе Конан Дойл в этом отчет или нет, но он уже использовал в точности ту же идею в рассказе "Король лис".

"Король лис", впервые опубликованный в "Виндзор мэгэзин" в 1898 году, — перевертыш более поздней "Собаки". Это — охотничий рассказ, передающий впечатления молодого охотника с расстроенными от злоупотребления спиртным нервами. Причем семейный врач, из лучших побуждений желая его запугать, предупреждает заранее о возможных галлюцинациях и даже видениях. Юный Данбери на охоте: он несется в кошмарной скачке по кошмарным местам в погоне за каким-то лисом, которого никто даже не видел. Оставив далеко позади остальных охотников, он оказывается один в сумрачном еловом лесу. И вот что происходит, когда гончие бросаются вперед, почуяв добычу:

"В то же самое мгновение тварь размером с осла вскочила на ноги. Огромная серая голова с чудовищными блестящими клыками и сужающейся к концу мордой вынырнула из ветвей, и тотчас собака подлетела вверх на несколько футов, а затем, скуля, плюхнулась в логово. Потом послышался лязг, будто захлопнулась мышеловка, скулеж сорвался на визг, и все затихло".

"Лис" оказался сибирским волком гигантского размера, бежавшим из бродячего зверинца. Но еще более, чем острый сюжет, увлекла Конан Дойла сама атмосфера Дартмура. Есть местности, мрачная слава которых опережает знакомство с ними. Он никогда не был в Дартмуре. Но рассказы Робинсона сделали свое дело. В его сознании этот край уже окрасился готической мистикой: скалистая пустошь, убегающая к угрюмому небосводу, быстро сгущающийся туман, бескрайние болота, гранитное здание тюрьмы. Перед отъездом из Кромера он писал матушке, что собирается сделать "книжку" под названием "Собака Баскервилей".

«Просто „волосы дыбом!"» — добавлял он.

Робинсон, отклонив его предложение о соавторстве, взялся сопровождать его в прогулках по трясине. Не прошло и месяца, а они уже поселились в отеле "Роуз-Даки" в Принстауне.

На бледном весеннем небе, в котором легко угадывался бурый осенний колорит, темнело здание тюрьмы. В Дартмуре в то время содержалась тысяча осужденных за самые тяжкие преступления, в общем, всякий сброд, кому сам черт не брат, — нередко, вооружившись лопатами, нападали они на охрану. В густом тумане охранники, патрулировавшие пространство вокруг внешних стен и каменоломни и вооруженные карабинами с насаженными штыками, могли ожидать самого худшего. Недовольство заключенных усмирялось кнутом.

Первоначально, как Конан Дойл признавался Дж. Е. Ходдеру Уильямсу, когда он обдумывал рассказ в Кромере, ему и в голову не приходило использовать Шерлока Холмса. Но вскоре, когда он стал сводить воедино все детали, стало ясно, что надо всем этим должен стоять некий вершитель судеб. "И тогда я подумал, — говорил он Ходдеру Уильямсу, — зачем мне изобретать такой персонаж, когда у меня есть Холмс?"

Из его переписки неясно, начал ли он писать рассказ еще в Лондоне или уже в принстаунском отеле. Понятно только, что он уже вовсю писал в промежутках между походами, в которых они с Робинсоном — оба в кепи и широких коротких штанах — отмахивали по 14 миль по трясине за день. Они наблюдали трясину, которая превратилась потом (можно ли придумать более зловещее название?) в Гримпенскую Топь. И уже в воображении вставал подернутый сеткой дождя Баскервиль-холл с отпечатками ног на Тиссовой аллее. Они обследовали каменные убежища доисторического человека. И в одном из таких убежищ, вдали от дороги, в сумраке услышали вдруг странные звуки — шаркающие шаги в их сторону.

Это был всего лишь такой же, как и они, турист, не менее, чем они, потрясенный при их внезапном появлении на пороге пещеры. Д-р Уотсон, как вы помните, пережил нечто сходное. Стоит ли удивляться, что и сам Шерлок Холмс был возвращен к жизни.

Создателю Холмса действительно *хотелось* написать этот рассказ. Но развеять атмосферу этих мест, все эти тени и полумрак, не заразив своим настроением героев, он не мог. Весьма сдержанного в начале, Холмса под конец лихорадит не меньше самого Генри Баскервиля. Когда Селден, беглый преступник, с душераздирающим воплем разбивается насмерть среди скал, Холмс хохочет и пританцовывает над трупом, словно сумасшедший ("У него борода!"), а издали уже приближается огонек сигары Стэплтона. Эта, наверное, лучшая сцена в книге, высвеченная тусклым пламенем спичек, соткана из того же сырья, что и осенняя блеклость неба, и одинокие фигуры на его фоне, и собачий лай, разносящийся над болотами.

Если "Собака Баскервилей" не лучшая детективная повесть Конан Дойла и нынешний биограф будет под пытками клясться, что лучшая появилась позже, то не вызывает сомнения, что это лучшая "уголовная" повесть. В ней единственной из всех рассказов повествование берет верх над Холмсом, а не Холмс над повествованием; и читателей в ней очаровывает не столько викторианский герой, сколько дух готического романтизма.

Когда сэр Джордж Ньюнес прослышал о новом рассказе, который

Конан Дойл еще только дописывал по дороге домой, останавливаясь на начало крикетного сезона в Шерборне, Бате и Челтнеме, в "Стрэнде" очень обрадовались. "Собаку" прочили в восемь номеров с августа 1901-го по апрель 1902-го.

Правда, как говорил Джордж Ньюнес на ежегодном собрании пайщиков, сыщик не возвращен к жизни. О падении Холмса в пропасть Ньюнес выражался не иначе как "ужасное" и "прискорбное", что, с точки зрения пайщиков, вполне понятно. Это новое приключение, пояснял он, произошло еще до гибели Холмса. Это — единственное, что разочаровывало и миллионы читателей.

"Нельзя ли вернуть его? — неизбежно спрашивали автора. — "Собака Баскервилей" — это замечательный Холмс. Но я не могу быть вполне счастливой, пока не узнаю, что он жив и снова у себя в старом доме".

"Он у подножия Раушенбахского водопада, — отзывался Конан Дойл. — Там ему и быть". Но был ли он в этом так уж уверен? Уильям Гиллетт, сыгравший уже 450 раз свою роль в Америке, теперь ехал в Англию к открытию сезона в Лицеуме в начале сентября. Итак, был ли он уверен?

Летом он снова демонстрировал первоклассную игру в крикет. Но он не мог выйти на поле "Лордза", чтобы не вспомнить о той, еще не затухшей ссоре с Конни и Вилли, происшедшей год назад.

Уже не первый месяц матушка пыталась помирить их, но сын не поддавался. Более всего его удручало то, как восприняла это Джин Лекки.

"У Джин приступы депрессии, — сетовал он во время ссоры, — и она пишет так, будто сделала что-то ужасное. В эти минуты я люблю ее еще сильнее".

Все попытки матушки наладить отношения между ее сыном, с одной стороны, и дочерью и зятем — с другой, могли лишь частично восстановить взаимное дружелюбие. "Я написал Конни вежливую записку, — говорил он, — что, между нами говоря, больше, чем она заслуживает. И меня не утешает, — добавлял он раздраженно, — соображение, что Уильям — полумонгол, полуславянин или, уж не знаю, какая там смесь".

9 сентября в гигантском Лицеуме, с его золочено-красно-плюшевыми гротами, Уильям Гиллетт представил зрителям то, что в подзаголовке обозначалось как до сих пор не известный эпизод из жизни великого сыщика, показывающий, какую роль играл он в "Загадочном деле мисс Фолкнер". Шерлок Холмс слонялся по своей квартире на Бейкер-стрит в расшитых шлепанцах и шелковом в цветах халате. Мадж Ларраби (злоумышленница) оказалась модницей, чей длиннейший шлейф сметал пыль со сцены, а ее бежевая бархатная шляпа была "увенчана большой белой птицей".

И нельзя сказать, что это был неизвестный эпизод. Просто в версии Гиллетта, пока Шерлок Холмс отыскивает компрометирующие документы или встречается лицом к лицу с вкрадчивым профессором Мориарти, наряженным, словно мистер Пиквик, мелькает с полдюжины намеков на ранние сюжеты. Было во время спектакля одно неприятное обстоятельство: части галерки не слышно было актеров и она заяв-

ляла об этом громогласно. Один из критиков сетовал на американизмы в диалогах. Но все кончилось триумфом.

В тот вечер в Лицеуме ожили тени минувшего. Генри Ирвинг, больной, престарелый, преследуемый неудачами, был готов уйти от управления театром. В это лето, после дорогостоящей и провалившейся постановки "Кориолана", Ирвинг часто приезжал в Андершо. До глубокой ночи, потягивая портвейн, беседовал он с Конан Дойлом, забывая даже, что на улице его ждет кеб. Да, теперешний Лицеум бросил свою горсть земли на могильный холм викторианской эпохи.

В прошедшем январе Конан Дойл присутствовал на похоронах старой королевы среди безмолвной толпы — кроме тех немногих, кто рыдал открыто, — мимо которой провезли на лафете крошечное тело покойной.

"А Англия — что будет с Англией?" — писал он. Он был не менее тронут видом тех пожилых людей, что родились и состарились при Виктории, чем зрелищем маленького гроба среди аляповатых униформ. Он писал о "мрачном пути" и "черных вратах"; не допуская мысли об угасании. А Англия? Что будет с Англией теперь, когда у нее отняли ее великий символ? Было очевидно, что газетная кампания, особенно в германской прессе, достигла апогея истеричности.

Жесткосердный Томми, было общеизвестно, сжигал дома фермеров просто из удовольствия сжигать дома фермеров. Он грабил без разбора, поощряемый в этом своими офицерами. Он поступал так с самого начала и с самого начала пользовался пулями "дум-дум". Он закалывал штыком младенцев и швырял их тела в пылающие дома. Но особый вкус он питал к насилию и насиловал всех бурских женщин, что попадались ему на глаза.

"Я воевал со всеми дикими племенами Африки, — кричал в изгнании президент Крюгер, — но столь диких, как британцы, не было".

Бурских женщин и детей — и это тоже было общеизвестно — содержали в особых местах, называемых концентрационными лагерями. (Что верно, то верно — слово не новое.) Там их морили голодом, всячески измывались и подвергали оскорблениям. Женщин, которым посчастливилось избежать насилия в родных вельдах, сгоняли в лагеря, где надругаться было еще проще. Ужасающие рассказы о болезнях, об умирающих детях, превратившихся в мешки с костями, приобретали особую яркость в рисунках художников. Их символом был британский офицер с улыбкой в тридцать два зуба, стоящий среди дымящихся руин и науськивающий кафров на грабеж.

Но не только в иностранной печати появлялись такие нападки. Если мы в наши дни хотим понять, что такое истинно свободная печать, нам следует обратиться к тем замшелым памфлетам, чтобы увидеть, что английские журналисты пробурской ориентации могли позволить себе писать о собственных войсках на театре военных действий.

"День и ночь, — гремел У. Т. Стид из "Журнала журналов", — в Африке разворачивается самая адская панорама, и мы знаем, что до заката британские войска, исполняя волю королевской комиссии, добавят еще несколько кошмарных деяний к их общему устрашающему числу Жестокие дела неумолимо совершаются".

У. Т. Стид, со слегка выцветшими от времени рыжими волосами и бородой, как и прежде, воинственно приплясывал на переднем крае журналистики. Он был безупречно честен. Не вызывает сомнений, что он искренне верил в то, что пишет. Бесспорно и то, что, напиши он нечто подобное в любой другой стране, он угодил бы за решетку.

Плакаты и памфлеты, от "Убивать ли мне моего брата бура?" (1899) до "Методов варварства" (1900), — все это пресса множила под девизом: "Прекратить войну". Если У. Т. Стид был далеко не единственным журналистом, писавшим в таком духе, то в подстрекательстве ему не было равных. Зарубежная пресса, естественно, цитировала его и затем заявляла, что все эти страшные истории "признаются англичанами".

И никто в Англии не предпринял ничего, чтобы это опровергнуть.

Правительство не снисходило до ответа. Правительство пожимало плечами, протирало монокли и считало, что отвечать — ниже его достоинства. И большинство народа думало так же.

"Что волноваться? — бормотали апатичные. — Мы же знаем, что это неправда".

"Что волноваться? — говорили высокомерные, те, кому Англия обязана всеми своими врагами. — Мы стоим особняком, в блестящем одиночестве, и что ж? Что нам до того, что думают о нас проклятые иностранцы?"

Конан Дойл, читая в ту осень прессу, не мог бы сказать, какое обвинение против британской армии выводило его из себя более всего. Он видел Томми Аткинсов на поле боя. Он делил с ними грязь, тиф и пули. Он видел, как военные власти стремились соблюдать правила, вводя почти невыносимую для своих же людей дисциплину. Да и представляя себе рыжего журналиста, что сидит в Лондоне, развалясь, и верит всякому анонимному письму, он не мог примириться.

А германская пресса...

Большинство англичан не могло понять, что происходит в Германии. Ведь Пруссия с наполеоновских времен считалась союзницей. И чувство расположения к германским государствам, чувство кровного родства, казалось, крепло после брака королевы Виктории с принцем Альбертом Саксен-Готским. А нынешний германский император — любитель спорта, прекрасно владеющий английским — был внуком королевы Виктории. Разве германский император не приезжал менее года назад оплакивать свою бабушку, и разве не пожаловал он лорду Робертсу орден Черного Орла?

К немцам вообще Конан Дойл питал холодную, сдержанную антипатию, унаследованную от матушки так же, как он унаследовал любовь к французам. И он не лучше своих соотечественников понимал, что побуждало Германию к такому поведению сейчас. Но зато он хорошо знал, что двигало германской прессой.

"Немцы — хорошо дисциплинированный народ, — напишет он вскоре. — Англофобия не могла бы достичь таких высот без некоторой официальной поддержки".

Международная обстановка в результате этой шумихи стала довольно напряженной. 25 октября в Эдинбурге Джозеф Чемберлен произнес

речь, которая была в Германии воспринята как очерняющая поведение Пруссии во франко-прусской войне. В Берлине д-р Лидс, консул из Трансвааля, рассказывал мрачные подробности. 680 представителей духовенства с Рейна подписали петицию против зверств англичан.

Для ирландца в Суррее это было последней каплей.

Он прочел эту петицию в "Таймс" в середине ноября 1901 года в утреннем поезде по дороге в Лондон. Он смял газету и зашвырнул ее на багажную полку.

Почему британцы так тяжелы на подъем, когда нужно защитить свое имя? Ни одно обвинение не опровергнуть молчанием; молчанием его можно лишь подтвердить. Если затронута ваша честь, разве вы станете раздумывать, не пора ли вбить вашему противнику в голову верное представление о положении дел? Не так ли и тут, но гораздо серьезнее, ведь речь идет о национальной чести? Быть может, за этой надменной, неприступной политикой кроется безразличие, быть может — вызов, но, безусловно, что за этим стоит глупость. К черту холодное величие! Бить по лжи, и бить наповал!

Как можно ожидать от иностранных держав, что они вникнут в сущность конфликта, если они слышат голос только одной из сторон? Британские репортажи они не принимают в расчет, как не заслуживающие внимания. Страницы британских "Синих книг" забиты снотворной информацией, которую вообще никто не читает. Почему бы кому-нибудь, посвященному в существо дела, не выйти с фактами в руках и не изложить их ясными словами, избегая прямых опровержений, и, главное, в удобочитаемой форме?

Тогда почему бы ему самому этого не сделать?

Он был как раз самым подходящим для этого человеком. Он и без того уже собрал столько материала для исчерпывающей истории войны, что и на смертном одре — как он сказал однажды издателю Реджинальду Смиту — он будет уточнять и переписывать их.

Он мог бы написать небольшую брошюру, скажем, на 60 тысяч слов, в бумажном переплете, дешевую, доступную всякому. Эта брошюра — не истерический вопль, а факты — представит англоязычным народам иную сторону вопроса. Из доходов от продажи этой брошюры, со сборов по подписке, из собственного кармана, в конце концов, если понадобится, он сможет дать средства для перевода ее на все иностранные языки. И эти переводы хлынут и заполнят цивилизованный мир.

Осуществимо ли это? Можно ли разбить недруга голыми руками?

В тот вечер, на обеде у сэра Генри Томпсона, слушая слова сэра Эрика Баррингтона из министерства иностранных дел, он составил этот план. "Каждый иностранный журналист, — писал он, — получит в руки факты! Каждый школьный учитель, каждый представитель духовенства, каждый политический деятель в Европе и каждый священник в Ирландии!" И Министерство иностранных дел (хотя он этого никогда не узнал) прекрасно понимало, как им повезло. Ибо это был не просто "некий писатель". Это был человек, которого будут читать и в странах, где Англию ненавидят или ничего о ней не знают. Это был создатель Шерлока Холмса.

Разведывательный отдел военного министерства предоставил в его распоряжение свои документы для бесцензурной публикации всего, что он пожелает. Министерство иностранных дел обещало выделить средства. 20 ноября он написал об этом проекте своему другу Реджинальду Смиту из издательства "Смит, Элдер и К°". Реджинальд Смит тот же час предложил печатать книгу бесплатно и вошел в сделку, которая не принесла — да и не должна была принести — ни пенни дохода.

В разгар работы он получил радостное письмо от У. Т. Стида.

Тут нет и тени сарказма. Да и в письме Стида не было сарказма: его приветливость, так режущая слух в данной ситуации, шла от чистого сердца.

"Мой дорогой д-р Конан Дойл, — писал этот мастер кошмаров, — я был очень рад прочесть в сегодняшней "Мейл" объявление о том, что Вы готовите опровержение всех обвинений, выдвинутых против британских войск в Южной Африке. Уже давно пора кому-нибудь взяться за это дело. Настойчивость, с которой наши же солдаты в своих письмах домой дают свидетельства в пользу таких обвинений, делает задачу защитника крайне сложной".

"Я не думаю, что кто-нибудь видел больше солдатских писем, чем я, — отвечал Конан Дойл. — Я убежден, что эти утверждения — ложь; и я не завидую той ведущей роли, какую Вы сыграли в их распространении".

Впоследствии, спокойно осмысляя прошедшие события, он понял, что не часто в жизни приходилось ему испытывать такой прямой и властный призыв к долгу, отодвигающий все другие интересы на задний план. Но тогда у него было совсем не философское настроение. К Германии он теплых чувств не питал, У. Т. Стида готов был убить. "Издатели указывают на семь пунктов явной клеветы — писал он, закончив первый вариант книги, — итак, нужно взять редакционный карандаш и вымарать". Но уже в окончательной версии он беспристрастен и в самом своем негодовании.

"В истории не было такой войны, — писал Конан Дойл в предисловии, — чтобы справедливость была целиком на одной стороне или чтобы все события военной кампании были неуязвимы для критики. И я не утверждаю, что и в данном случае это так. Но я думаю, что всякий непредубежденный человек, ознакомившись с фактами, поймет, что британское правительство делало все, чтобы избежать войны, а британская армия — чтобы вести ее гуманно".

Итак, он взялся повлиять на мнение света.



ГЛАВА XIII
ДИЛЕММА: КАК ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЫЦАРСКОГО ТИТУЛА И ЧТО ИЗ ЭТОГО ВЫШЛО

"Придерживайтесь фактов и не сочиняйте небылиц! Писать грошовые побасенки вам больше подходит".

"Бога ради, не надо превращать в спорт оправдание убийства 12 тысяч детей в лагерях. Истина дороже и ваших денег, и вашего спорта".

"Вы напоминаете мне джентльмена, о котором Шеридан сказал, что он черпает факты из своего воображения, а свои фантазии — из памяти".

Это три почтовые открытки из целого вороха ежедневной почты, приходившей после появления в середине января 1902 года книжки "Война в Южной Африке: ее причины и ведение". Но подобные отзывы, обычно анонимные, составляли не больше сотой доли процента в общем потоке благодарностей: "Слава Богу, нашелся хоть кто-то, чтобы сказать слово в нашу защиту".

"Война...", ценой всего в шесть пенсов, разошлась большим тиражом

за несколько недель, и не только в Англии, но и в Соединенных Штатах и Канаде. Но гораздо важнее была проблема перевода на другие языки. С этой целью был создан добровольный фонд пожертвований в "Банке столицы и графств", который, кстати, вовсе не был выдумкой только для Шерлока Холмса, как считают многие, а вполне реальным заведением, которым пользовался и сам Конан Дойл. И те, кто писал благодарные письма, делали пожертвования от 500 фунтов ст., как некий "Верный британец", до почтовых переводов в полкроны или в шиллинг.

Что касается "Верного британца", то управляющий одним филиалом банка по этому поводу писал:

"Позвольте уведомить Вас, что сумма в 500 ф. ст. была вчера внесена на счет Фонда военной книги неизвестным, не пожелавшим назвать свое имя".

Воображение охотно рисует картину, словно взятую со страниц "Новых сказок Шехерезады" Стивенсона, как таинственный незнакомец в маске, прижав палец к губам, под плотным покровом тумана выныривает из экипажа и снимает маску, лишь оказавшись перед управляющим банка. В действительности же, таким способом министерство иностранных дел представляло интересы короля Эдуарда VII. Другими крупными пожертвователями в большом списке вкладчиков были лорд Розбери и А. Г. Харман — по 50 ф. ст.; такую же сумму внес некий А. Конан Дойл. Но так или иначе — фонд рос.

Книга "Война: ее причины и ведение" ни в коей мере не пыталась обелить свою сторону. И в этом была ее главная сила. Объем книги едва ли позволял считать ее памфлетом, как все, включая автора, ее называли: в ней было 60 тысяч слов. И если существовал какой-нибудь факт, который истолковывался превратно, автор немедленно его приводил. Так, признавая необходимость создания "полосы отчуждения", он настаивал на том, что всякий фермерский дом, уничтоженный с этой целью, должен быть восстановлен, а врагу выплачена компенсация.

Но обвинения в зверствах, грабеже, насилии были грубой ложью. И тут автор не вступает в пустые споры. Аргументами ему служат свидетельства очевидцев: бурских солдат и бурских женщин, бурских военачальников, бурских судей, бурских священников, американского военного атташе, французского военного атташе, австрийского генерала Хюбнера и главы голландской реформаторской церкви в Претории.

"Кому же нам верить? — спрашивает автор. — Нашим врагам непосредственно с места действия или журналистам в Лондоне?"

А какова же правда о концентрационных лагерях? Британские власти, решив взять в плен бурских женщин и детей, потому что ничего другого не оставалось, вынуждены были кормить их и заботиться о них. Разве их держали заложниками?

"Имею честь сообщить Вам, — писал лорд Китченер в ответ на бешеные протесты Шалка Бюргера, — что все находящиеся в наших лагерях женщины и дети, которые пожелают уйти, будут переданы на попечение Вашей чести, и я буду счастлив узнать, желаете ли Вы, чтобы они были Вам переданы".

Это предложение не было принято. Бурские "коммандо" не выразили

желания принять этих женщин и детей — они были рады избавиться от ответственности за них. "Голодный" паек в лагерях (согласно пробурским, а не английским данным) состоял из ежедневной порции в полфунта мяса, 3/4 фунта муки, полфунта картофеля, двух унций сахара, двух унций кофе на человека; детям до шести лет выдавалась кварта молока.

И вновь автор выстраивает факты в боевом порядке. Никто не отрицает ужасающего распространения заболеваний или высокого уровня детской смертности. Но заболевания эти были не тиф и не дифтерит как результат дурных санитарных условий — это были корь, ветрянка, коклюш. Матери с плачем прижимали к себе детей и не давали докторам или сестрам милосердия поместить их в изолятор. И болезнь, молниеносно распространяясь по палаткам, вскоре охватывала весь лагерь.

И еще об одном забыли упомянуть стиды: с начала войны в точно таких же условиях содержались английские беженцы из Иоганнесбурга.

В такую внешне бесстрастную форму тщательного подбора фактов вылилось все негодование автора. Двадцать тысяч экземпляров переведенной книги разошлось в Германии. Двадцать тысяч во Франции. Она достигла и Голландии, России, Венгрии, Швеции, Португалии, Италии, Испании, Румынии; даже на родине был сделан специальный перевод на валлийский. А для норвежского издания часть текста пришлось передать с помощью гелиографа, ибо из-за снежных бурь всякое иное сообщение с Осло было прервано. Зарубежный переводчик или издатель навлекал на свою голову попреки, а то и хуже; порой приходилось биться в тесных цензурных тисках, но у всеми поносимой Британии находились и свои друзья.

Полноте, да не задумал ли он сражаться с ветряными мельницами? "Мы не питали иллюзий, — писал Конан Дойл впоследствии в "Таймс". — Мы не ждали полного обращения. Но можно быть уверенным, что теперь никто не сможет отговориться неведением".

Если это и была битва с ветряками — то он их сокрушил. И, продолжая сравнение, можно сказать, что жернова многих и очень многих из них, гораздо более, чем он мог надеяться, перестали молоть муку для президента Крюгера. Другие, по примеру влиятельных журналов, до той поры настроенных против Британии, замедлили свое вращение. И когда Г. А. Гвинн сказал, что его труд можно приравнять к успешным боевым действиям какого-нибудь генерала, это были не пустые слова. То же повторяли и Джозеф Чемберлен, и лорд Розбери. Большая часть английских газет, как и его корреспонденты, высказывала благодарность за то, что он вступился за справедливость. Но были и такие, что, в общем одобряя его патриотический труд, опасались, как бы достоинство Великобритании не пострадало от такого заступничества.

Именно с такой позицией: с заносчивым снобизмом, с безразличием англичан к мнению других — всю свою жизнь боролся Конан Дойл. И об этом нельзя забывать, подсчитывая его заслуги перед нацией.

В апреле 1902 года переводы "Войны" были закончены. Спасаясь от того беспокойства, которое охватывало его по окончании работы, он решил провести короткий отдых за границей. Его младшая сестра

Ида вышла замуж за Нельсона Фоли и теперь жила на острове Гайола в Неаполе. Вновь побывать в Италии, поплескаться в Средиземном море и возвращаться домой не торопясь, растянув поездку этак недели на две, — лучшего отдыха не придумать. Его размолвка с Хорнунгами кое-как уладилась, во всяком случае, внешне, и теперь Конни с Вилли наезжали в Андершо. Все хлопоты по поводу книги о войне он поручил Джин Лекки.

"Это высший, самим небом ниспосланный дар — наша любовь. Сперва "Дуэт", а теперь памфлет вышли прямо из нее. Она оживила мою душу и чувства".

И затем:

"Как мило с Вашей стороны, матушка, написать Джин такое письмо и подарить ей браслеты тетушки Аннет. Я всегда чувствовал, что тетушка Аннет знает о нашей любви и одобряет ее. У нас часто возникало ощущение присутствия Ангела-хранителя".

Последнее замечание, возможно, отражает минутное настроение. Конечно, не принимать в расчет настроение нельзя; как мы понимаем и учитываем свое настроение в нашей собственной переписке и не станем судить по поспешному замечанию, так и тут ничего определенного утверждать нельзя, но ясно, что раньше ничего подобного он не писал. От воинственного неверия юноши он дорос до почтительного деизма, до любви к Богу, как это иногда называли. Почитание само по себе уже важный шаг. Видеть в этом влияние Джин, как-нибудь сознательно ею на него оказываемое, — едва ли возможно. Но может быть, все дело в том, что он нашел в ней свой идеал?

10 апреля 1902 года на почтовом судне "Острал" он отплывал в Неаполь. Джин поднялась на борт парохода проводить его.

«Она украсила мою каюту цветами и с двух сторон поцеловала подушку. В последний раз я видел ее лицо уже в тени навеса, куда она спряталась, чтобы не видели, что она плачет. Я рассказываю Вам, матушка, потому, что Вы можете понять и знаете, как много значат в жизни подобные мелочи. Мы отчалили от того самого причала, откуда в тот дождливый день, когда и Вы были тут, отплыл в Южную Африку „Ориенталь"».

Но именно в это время — впервые в жизни — их отношения с матушкой оказались на грани серьезного конфликта.

Война в Южной Африке подходила к концу; в Претории бурские лидеры искали мира. И теперь ничто, кроме безотрадного ощущения недожеванного и непереваренного врага, не омрачало предстоящей коронации Эдуарда VII. И ни для кого уже не было секретом, что в списке почетных лиц на коронации значится и д-р Конан Дойл, если он соблаговолит принять рыцарский титул.

Знал, конечно, об этом и он. Он уже встречался с королем Эдуардом, о котором Джордж Мередит как-то сказал, что, "когда принц смеется, смеется всё — от самого кончика бороды до лысой макушки, и шея тоже смеется". Король Эдуард, тучный и седой как лунь в свои шестьдесят лет, пригласил Конан Дойла на обед и усадил его за столом рядом с собой.

Затруднение состояло в том, что Конан Дойл не желал принимать рыцарский титул и собирался отказаться от посвящения. Это решение шло вовсе не от демократических принципов, а, наоборот, было проявлением его мрачной родовой спеси. Если у него были заслуги перед Англией, то только потому, что он ненавидел ее врагов. И ему не по душе были всякое покровительство или подачки с барского стола.

"Вы, конечно, не думаете, — писал от матушке, — что мне следует принимать рыцарский титул: значок провинциального мэра?

Молчаливо признается, что великие люди — вне дипломатической или военной службы, где это род профессионального отличия — не снисходят до таких вещей. Не то чтобы я был великим человеком, но что-то во мне восстает против этой затеи. Представить Родса, Чемберлена или Киплинга в подобной ситуации! А почему мои мерки должны быть ниже, чем их? Это люди, подобные Альфреду Остину или Холлу Кейну, принимают награды. Вся моя работа для страны покажется мне оскверненной, если я приму так называемую "награду". Может быть, это гордыня, может быть, глупость, но я не могу пойти на это.

Звание, которым я более всего дорожу, — это звание доктора, достигаемое самопожертвованием и целеустремленностью. Я не снизойду до иного звания".

Матушка, искренне полагавшая, что символы рыцарства означают сегодня то же, что они значили пять веков назад, просто не могла поверить своим ушам. У нее это в голове не укладывалось. Ей казалось, что сын ее спятил. И на всем его пути в Италию она бомбардировала его письмами. Расположившись в доме Иды Фоли на Острове, в комнате на втором этаже, выходящей окнами на Неаполитанский залив, он стал размышлять о новой наполеоновской серии с возвращенным к жизни бригадиром Жераром. А матушка пришла в ярость.

"Я никогда не ценил титулов, — отвечал он ей, — и никогда не скрывал этого. Я могу представить себе человека, который под конец долгой и плодотворной жизни принимает рыцарский титул как знак признания проделанного им труда, как это было с Теннисоном; но когда еще не старый человек нацепляет на себя рыцарские достоинства, утративший всякое значение титул (вот что ему претило), — повторяю, об этом нечего и думать. Давайте покончим с этим".

Покончить с этим, однако, было не так просто. Когда в конце мая он вернулся в Англию, матушка уже с нетерпением его поджидала.

В Андершо давно уже привыкли к их раздорам по разным поводам почти всякий раз, как они встречались: и раскачивался, кивая, белый чепец "умницы матушки", и вздымал кверху руки ее сын, а дети убегали с глаз долой. Но сейчас все было достойнее, все было серьезнее. Матушка, решив добиться своего, если вообще в жизни ей суждено чего-нибудь добиться, сменила гнев на ледяное спокойствие. Ей ли не знать своего сына. Ей ли не знать, как он воспитан.

"Не приходило ли тебе в голову, — вопрошала она, — что отказ от посвящения может оскорбить короля?"

Да, это было попадание в самое уязвимое место.

Здравый смысл подсказывал ему, что, как он и пытался ей внушить,

король, помимо утверждения списков, не имеет к этому никакого отношения. Матушка же не проронила больше ни слова. Она лишь загадочно улыбалась и смотрела куда-то вдаль, предоставив волноваться сыну. И чем более он волновался, тем более терял уверенность. Одно дело полная независимость, другое дело — неучтивость.

"Я говорил Вам, матушка, что не могу на это пойти! Это дело принципа!" — "Если ты желаешь демонстрировать свои принципы, нанося оскорбления королю, то ты, несомненно, прав".

Так его имя попало в почетный список. Коронация первоначально была назначена на 26 июня. Много позже он напишет рассказ "Три Гарридеба", в котором заставит Шерлока Холмса отказаться от титула как раз в этот самый день. Но в жизни все получилось иначе: за два дня до назначенного срока король Эдуард внезапно заболел; потребовалось безотлагательно лечь на новую для того времени операцию по удалению аппендикса. Все прошло благополучно, король быстро поправлялся, и операция сделалась столь популярной в стране, что доходы хирургов резко возросли. А 9 августа, в день, когда колокольный звон возвестил коронацию, Конан Дойл с профессором Оливером Лоджем, тоже посвящаемым в рыцарское достоинство, оказались в каком-то загоне в Букингемском дворце. И среди перьев и шелков пышного ритуала эти двое настолько увлеклись беседой на спиритические темы, что даже позабыли о цели своего здесь пребывания; вот так и не поборов в себе мятежного духа, вышел на свет божий сэр Артур Конан Дойл.

"Я чувствую себя, — писал он в раздражении Иннесу, — как новобрачная, которая и в имени-то своем не уверена. Они к тому же сделали меня каким-то вице-губернатором Суррея".

Но внешне все его недовольство сосредоточилось именно на этом назначении вице-губернатором, да еще на мундире. Мундир был действительно уж очень вычурный: золотые эполеты и какая-то пилотка. И он, всегда с такой легкостью идущий на расходы, тут горько жалуется на дороговизну новой формы и говорит, что в ней он похож на обезьянку на шесте.

Но было бы противоестественно, если бы в глубине души он не был польщен, — предметом его гордости стал хлынувший поток поздравлений.

"Мне —кажется, — писал Г. Уэллс, — поздравлять нужно тех, кто имел честь оказывать почести Вам". Получил он поздравление и от искалеченного болезнью, умирающего Хенли, которого не видел много лет. Когда Конан Дойл описывал Шерлока Холмса, стоящего в своей комнате по щиколотку в поздравительных телеграммах, он предугадал то, что происходило теперь.

Этот, будь он неладен, Шерлок сумел-таки по-своему омрачить настроение. Не сегодня придумана шутка, будто Конан Дойл своим рыцарским достоинством обязан этому демону и его возвращению в "Собаке Баскервилей", совершающей свое триумфальное шествие по страницам "Стрэнда". Уже в современной ему прессе можно встретить вполне серьезные намеки на это. Вот почему, получив посылку с сорочками для сэра Шерлока Холмса, он словно начисто лишился

чувства юмора и еще долго не мог успокоиться, прежде чем недоразумение уладилось.

А между тем прекрасное лето сменила золотая осень. Приезжали ненадолго Лотти и Иннес, заставший последние бои в Южной Африке. Со всей своей энергией и растущим мастерством обратившись вновь к наполеоновской эре, он написал новую серию рассказов о бригадире, которая вышла в свет под названием "Приключения бригадира Жерара". Три рассказа из серии появились в "Стрэнде" еще до конца года, пять других (включая и рассказ из двух частей о битве при Ватерлоо) — весной 1903 года. И тогда же, весной, непривычный шум перепугал шесть верховых лошадей, что стояли в его конюшне. Шум этот был покашливанием двигателя первого в его жизни автомобиля.

Автомобилизм был новым спортом, и спортом рискованным. В Бирмингеме он купил десятисильный "Вулзли", темно-синий с красными колесами. В нем умещалось пятеро, а если потесниться, то и семеро пассажиров. "Автомобиль обостряет интерес к жизни", — заявил Конан Дойл. Своего кучера он отправил в Бирмингем на шоферские курсы. Но вообще собирался водить машину сам.

"Когда все будет готово, — объяснял он Иннесу, который умолял его, ради всего святого, быть поосторожнее, — когда все будет готово, я намерен отправиться туда и сам пригнать машину. Это будет славный спортивный номер, не правда ли: проехать 150 миль подряд, впервые оказавшись на дороге".

Что ж, в спортивности ему не откажешь. И он поехал. Со всей округи при известии о его приближении собирались толпы зевак. Еще издали видна была его высокая, восседающая за вертикально установленной рулевой колонкой фигура в жабьеглазых очках, пока наконец сине-красный автомобиль, прокашляв по дороге и преследуемый всеми на свете собаками, не вкатился величественно в ворота Андершо. Это могло бы символизировать эдвардианскую эпоху, эпоху автомобилистских масок и оборчатых штор, пальм и медных кроватей, эпоху, рассвет которой занимался как раз в те годы.

В возрасте сорока трех лет, еще не достигнув вершины своих возможностей, он был одним из знаменитейших людей и, по-видимому, одним из самых популярных писателей в мире. О его популярности можно судить по тем предложениям, которые были ему сделаны той же весной 1903 года. Вот условия, предложенные в Америке: если он возродит к жизни Шерлока Холмса, как-нибудь объяснив историю с Раушенбахским водопадом, то они готовы платить ему по 5 тысяч долларов за каждый из шести или, буде он пожелает, больше рассказов. И это только американский копирайт. Джордж Ньюнес же мог предложить если не столько же, то много больше половины этой суммы за английский копирайт.

На почтовой открытке своему агенту Конан Дойл написал только: "Очень хорошо. А. К. Д."

Им овладел какой-то холодный цинизм. И такое настроение уже не покидало его с годами. Если читателям этого хочется, он отныне будет выдавать только тщательно отделанную ремесленную продукцию и будет

получать за нее столько, сколько эти ненормальные издатели готовы платить. Он может даже увлечься этим занятием, но только весьма поверхностно. Главное, что в ближайший год, или около того, замыслил он создать новый роман из средневековья в пару к "Белому отряду", где собирался наглядно показать публике ее заблуждения.

В чем же было очарование этой марионетки Холмса, если даже он, в руках которого были все нити от нее и которому даже говорить-то приходилось за нее, не мог этого уразуметь? Ведь должно же было быть очевидно, что Шерлок Холмс — не более чем он сам?

По иронии судьбы именно глас народа — газеты, репортеры, друзья и соседи, обращавшиеся к автору по имени его героя — был голосом истины. Он в своих рассказах сделал достаточно намеков, чтобы было понятно, что Холмс — это он сам. Он вовсе не собирался признавать это публично, но рано или поздно он сделает такой прозрачный, такой очевидный намек, что его уже нельзя будет пропустить мимо ушей. А пока ему нужно каким-то образом вытащить Холмса из пучины, в которую он его вверг.

"Я не ощущаю в себе никакого упадка сил, — резко отвечал он на не слишком тактичное замечание матушки. — Я не писал холмсовских рассказов уже лет семь или восемь (в действительности — ровно десять лет без месяца) и не вижу причин, почему бы мне снова за них не взяться.

Могу добавить, что я закончил первый рассказ под названием "Пустой дом". Сюжет, кстати, подсказала мне Джин, и он на редкость удачен. Вы увидите, что Холмс никогда и не погибал, да и теперь вполне живой".

Первые четыре рассказа — "Пустой дом", "Подрядчик из Норвуда", "Пляшущие человечки" и "Одинокая велосипедистка" — он считал решающими. Они должны были рассеять его сомнения; не утратил ли он навыка. Идею одного из них, "Пляшущих человечков", он подхватил во время путешествия на автомобиле в Норфолк, когда остановился в Хэпписбурге, в отеле Хилл-хаус, которым владела семья некоего Кьюбитта. Маленький сын владельца имел странное обыкновение оставлять свою подпись в виде пляшущих человечков. Конан Дойл работал в Зеленой комнате, глядящей окнами на пышную зелень, и усеял всю комнату бумажками с пляшущими фигурками.

Если мы хотим пристальнее вглядеться в него тем летом, что даст нам представление о всяком лете, которое он, начиная с 1897 года, проводил дома, мы можем взглянуть на него глазами его детей. Мэри, круглолицей и длинноволосой, было сейчас четырнадцать лет. Кингсли — смышленому крепышу, хотя и менее артистически одаренному, чем его сестра, еще не исполнилось одиннадцати. Все время, что они проживали в Андершо, они сходились, по крайней мере, в одном чувстве, испытываемом к отцу, — чувстве страха.

Мать их с годами не переменилась. Туи, седая, сколько помнила себя Мэри, оставалась милосердным божеством, щедро расточающим улыбки, но не способным принимать участие в их играх, разве что в живых картинах. Очень смутно запечатлелся в памяти Мэри образ того шумного человека, ее отца, который переодевался Санта Клаусом и самозабвенно изобретал все новые забавы. Но этот человек, если ког-

да-то и существовал, давно уже превратился в другого — чуждого и вздорного.

Он редко проводил время дома. Но всегда, где-то на заднем плане, ощущалось его присутствие; так, однажды, когда Мэри уже отправилась спать, позабыв выполнить поручение, он вдруг, неслышно, по-кошачьи подкравшись, возник в освещенном дверном проеме спальни, излучая гнев и неся возмездие. Пока он работал, детей в доме не могло быть слышно, иначе он как смерч вылетал из своего кабинета в затасканном, порыжевшем от времени халате и на головы виновников неминуемо обрушивалось наказание.

Правда, у этого, теперь далекого им, человека случались проблески благодушия: по воскресеньям, когда детям следовало быть в церкви, он мог позволить им нести его принадлежности для гольфа. Им были доступны и другие вольности, которым могли бы позавидовать дети более чопорных родителей: предоставленные самим себе, они носились по окрестностям и самостоятельно путешествовали на каникулах. Они отличались в стрельбе (Мэри даже сфотографировалась вместе с членами стрелкового клуба), они отличались в крикете и особенно выделялись среди сверстников в тот самый день летних каникул, когда им впервые разрешали бегать босиком.

При всей приветливости в отношениях со взрослыми, для детей он был отцом грозным и непредсказуемым. Даже когда он ничего не говорил, был у него один такой особый взгляд. Однажды Мэри в той же комнате, где отец читал "Таймс", стала беззаботно обсуждать плодовитость кроликов. И тут из-за края газеты появился один-единственный глаз, глаз — и больше ничего, но Мэри тотчас смолкла, застыла с открытым ртом, сознавая, что виновата, но не понимая, в чем.

Этот "взгляд", конечно, действовал и на людей повзрослее. И человек, который в 1903 году трудился над "Возвращением Шерлока Холмса", был уже не тем человеком, который в 1892 году создавал "Приключения", позволяя Мэри ползать по своему рабочему столу и не обращая внимания на вспышки магния.

Но первые четыре рассказа о Холмсе в новой, как он это называл, манере его удовлетворили. "У меня три попадания в самое яблочко и одно — в молоко, — решил он, не слишком довольный "Одинокой велосипедисткой". — Мне не нужна помощь в писании. Писать легко. Вот сюжеты меня убивают. Мне нужно с кем-нибудь обсуждать сюжеты. Подойдут ли они Холмсу?"

Показались ли сюжеты подходящими или нет, когда в октябре 1903 года "Пустой дом" появился в "Стрэнде", — вопрос исторический.

"Таких сцен, как у железнодорожных книжных киосков, — писала одна дама, живо их запомнившая, — мне не приходилось видеть ни на одной распродаже. Мой муж, выпив, любил читать мне куски из "Дуэта", но здесь — ничего подобного. Холмс был другим".

"Как мы и предвидели, — бушевала "Вестминстер-газетт", — падение со скалы не убило Холмса. На самом деле он вовсе ниоткуда не падал. Он вскарабкался по другому склону скалы, чтобы убежать от своих врагов, и неблагодарно оставил бедного Уотсона в полном неведении.

Нам это показалось натянутым. Но все равно, стоит ли жаловаться?"

"Ба! — иронизировала "Академия и литература" по поводу выходящего почти в то же самое время Собрания сочинений Конан Дойла, — ведь его любят вовсе не за то, что он создал этого сверхплута, этого иллюзиониста из "Иджипшен-холла" *! Дети наших детей будут обсуждать вопрос, был ли Холмс героем солярного мифа. Дайте нам "Белый отряд", дайте нам "Родни Стоуна"! Он слишком крупен для иных вещей".

"Сэр! — писал создатель Холмса, — могу ли я высказать сердечную благодарность за Ваше замечание?")

Но эти двое — критик и автор — были в меньшинстве. Издательство Ньюнеса не успевало выпускать требуемое количество экземпляров. На Саутгемптон-стрит выстраивались очереди, каких и по сей день не увидишь ни в хлебных, ни в зрелищных местах. "Бах!" — раздался выстрел духового ружья в пустом доме, звякнуло стекло, полковник Себастьян Моран, убийца Рональда Адера, бьется в объятиях полицейских, и восходит заря новой эры, когда Холмс возвращается в дом напротив — Бейкер-стрит, 221б.

Современная легенда — будто читатели обнаруживают постепенный спад способностей Холмса — не подтверждается ни отзывами прессы, ни перепиской автора. И вряд ли здравомыслящий человек станет доверять ей сегодня. Нужно быть очень осторожным с подобными обобщениями, памятуя, что и рука мастера не всегда тверда. Если, к примеру, "Приключения" достигают таких высот, как "Человек с рассеченной губой", то они же опускаются и до "Знатного холостяка". В "Записках" всякий еще не окончательно окаменевший человек не может не восхищаться "Серебряным" или "Обрядом дома Месгрейвов", но, чтобы высоко ценить "Глорию Скотт" или "Желтое лицо", нужно быть уж очень рьяным поклонником Холмса.

Впрочем, автор всего перечисленного и не стал бы спорить. Почувствовав, что его рука не потеряла своей силы, он мог спокойно заняться другими проблемами.

В результате их совместных стараний с едва ли не самым бескорыстным издателем Реджинальдом Смитом скопилось более 2,5 тысяч фунтов стерлингов излишков от продажи книги "Война". Вся эта сумма была вложена в благотворительные мероприятия: от стипендии для южноафриканцев в Эдинбургском университете до приза на артиллерийских стрельбах в Ла-Манше. Первый же соискатель стипендии преподнес им сюрприз, хотя оспаривать справедливость его притязаний не приходилось.

"Я чистокровный зулус", — заявил он.

Нельсон тоже решил сделать однотомное издание его "Великой бурской войны", — и таким весом пользовались теперь слова автора,

---

*"Иджипшен-холл" — здание, построенное в египетском стиле, в котором в 1873—1904 гг. помещался театр иллюзий Джэка Невилла Маскелайна и Джорджа Кука.

что, получив сигнальный экземпляр, он сумел заставить издательство переделать весь тираж.

По какой причине? Ответ на этот вопрос можно найти в том самом высланном ему экземпляре, где на фронтисписе помещен его портрет.

"Этот том, — написал он на титульном листе, — должен стать единственным. Когда я увидел, что они поместили мой портрет, я заявил, что уничтожу весь тираж, но не пропущу его. Тогда они поместили портрет лорда Робертса, что уместнее".

Нужны ли комментарии? Нужно ли комментировать поведение человека, который до такой чистоты довел рыцарскую церемонность? Это исчерпывающе характеризует его в тот период жизни. И лучшим подарком в его глазах была огромная серебряная чаша, которую преподнесли ему по подписке за его работу во время бурской войны и за взятый на себя труд по оправданию своих соотечественников. Сверкающая чаша была водружена на стол, и мы теперь по достоинству можем оценить монограмму на ней:

"Артуру Конан Дойлу, который в минуту великой опасности словом и делом служил своей стране".



ГЛАВА XIV

НАОЩУПЬ: ВСЕ СОМНЕНИЯ МИРА

Через весь Андершо, соскальзывая с крутизны и выныривая на подъемах, носились, жужжа, миниатюрные вагончики монорельсовой дороги.

Это был монорельс, приводимый в движение электричеством и уравновешиваемый посредством гироскопа. В то время многие верили, что это транспорт будущего; в одном романе Г. Уэллса Англия предстает опоясанной сетью монорельсовых дорог. Конан Дойл, заинтересовавшись этим проектом — как он умел загораться самыми разнообразными, будоражащими воображение авантюрами от ваятельной машины до затерянных сокровищ, — соорудил модель монорельса, вагончики которого были достаточно большими, чтобы вместить маленьких пассажиров.

И те с восторженным гиканьем носились по саду.

Правда, к лету 1906 года Мэри была уже не ребенок и держалась не без достоинства. Четырнадцатилетний Кингсли, теперь обучающийся в Итоне, вырос длинноногим атлетом, как отец.

"Нельзя ли побыстрей, папа? Нельзя ли прибавить скорости?"

"Нельзя. Ты хочешь разбиться?" — запрещал отец, который сам за эти три года — с 1903 по 1906 — несколько раз едва-едва не свернул себе шею.

В конюшне стояли уже два автомобиля — один из них в двадцать л.с. — и еще мотоцикл. Когда он как-то заикнулся, что хотел бы избавиться от лошадей и экипажей, матушке это очень не понравилось. Ей было жаль родовых реликвий, старинной упряжи с фамильными гербами и тому подобного. Но против автомобиля как такового у нее возражений не было. Более того, известно, что, когда старый "Вулзли" столкнулся с двумя телегами, полными репы, матушка как раз восседала на заднем, отделенном от водительского, сиденье автомобиля.

Лошади понесли, телеги перевернулись, забросав старую леди репой. Сын, выскочив из машины, увидел матушку нисколько не обеспокоенной. Она продолжала работать спицами — неприступная, не снисходящая до вульгарной перебранки, — пока ее сын и фермеры обменивались мнениями друг о друге, да так громко, что это можно было услышать в соседних графствах.

Автомобильные невзгоды валились на него вовсе не из-за неумелого вождения, хотя кое-кто и поговаривал, что всю жизнь он хватался за рычаг переключения скоростей так же, как, скажем, Сандоу-силач выполнял свой борцовский захват. По крайней мере, если вспомнить случай, происшедший зимой 1904 года, похоже, что он брал уроки у этого самого силача.

Они с Иннесом, который навсегда теперь вернулся в Англию и состоял в Штабном колледже, катались на старом "Вулзли". И по сей день никто, даже газетчики, так и не знает толком, что же на самом деле произошло, но только известно, что машина, уже въезжая в Андершо, зацепила столб ворот, а затем покатилась по дороге к дому, выплевывая гравий из-под жестких резиновых шин. Потом она вдруг накренилась, свернула в сторону и стала взбираться по крутому откосу дороги и тут — перевернулась.

Мэри из дома услышала сотрясающий землю удар. Она подбежала к окну в столовой в тот момент, когда перевернутая машина лежала вверх своими красными колесами и одно из них еще вращалось. Иннес вылетел из машины невредимым. Но его брат, сидевший за рулем, оказался под машиной, хотя и в стороне от рулевой колонки. Когда автомобиль опрокинулся, вся сила удара пришлась на руль, который поначалу удерживал на себе вес машины. Это спасло Конан Дойлу жизнь. Но затем руль надломился, и теперь вес машины лег на его спину и плечи.

Силой мускулатуры он удерживал тяжесть более чем в тонну, пока вопли Холдена не созвали достаточно людей, чтобы приподнять машину. Всклокоченный, но невредимый, встал он, покачиваясь, на ноги и сдвинул на лоб автомобильные очки. «Все в порядке?» — «Да, да, все в порядке!» — проговорил он в ответ Иннесу, прикидывая в уме, сколько времени потребовалось бы, чтобы сломался позвоночник.

Приблизительно в это же время купил он мотоцикл. А три месяца спустя объяснял настырному молодому репортеру из журнала "Мотоцикл", что считает эту машину чрезвычайно простой, несмотря на ничем не объяснимые наклонности (и тут тоже!) переворачиваться на откосах и проделывать сальто-мортале.

"Я не могу покинуть Андершо, — приводил репортер свои слова в интервью, опубликованном 27 февраля 1905 года, — не задав вопроса о моем старинном друге Шерлоке Холмсе.

— М-да! — пробормотал хозяин Андершо.

— Можем ли мы надеяться, — не унимался лирически настроенный репортер, — увидеть, как знаменитый сыщик и преданный Уотсон преследуют преступника, оседлав мотоциклы новейших моделей?

— Нет! — уже теряя самообладание, ответил Конан Дойл. — Во времена Холмса никто даже вообразить себе не мог мотоцикла. К тому же, — заметил он, немного поостыв, — Холмс сейчас углубился в частную жизнь".

"Возвращение Шерлока Холмса" после публикации в "Стрэнде" с октября 1903 года по декабрь 1904-го появилось недавно отдельным изданием у Ньюнеса. Теперь уже Холмс не мог умереть снова, он мог лишь уйти от дел, он был обречен жить вечно. Конан Дойл, написав все 13 рассказов этого цикла в один присест, больше года не вспоминал о знаменитом сыщике. Он погрузился в исследования, необходимые для литературной работы, которая была ему гораздо более по сердцу. Да еще на некоторое время он по уши увяз в политике — национальной и международной.

В августе 1905 года Северная эскадра французского военного флота — с вице-адмиралом Кайаром на флагманском корабле "Массена" — встала на рейде Спитхеда. Это был более чем обычный визит дружбы и рукопожатий. Дипломатически он подчеркивал союз с Англией.

Ибо в беспокойной Европе баланс сил стал меняться. Германия брала за горло Францию в марокканском споре; и, если Франция смиренно не уступит, Германия угрожала войной. Это привело вскоре Великобританию — так же, как и Россию — на сторону Франции. И перед Германией будто захлопнулся железный занавес — она оказалась в союзе только с Австрией.

Немцы неуклонно наращивали свой военный флот. Кайзер в речи, произнесенной в Ревеле, скромно назвал себя Адмиралом Атлантики. Англия ничего не ответила, но в Портсмуте строился первый корабль класса дредноутов с десятью двенадцатидюймовыми пушками на борту.

Дипломаты уже предчувствовали бурю. Это могло кончиться и ничем — сколько уже было разных кризисов. Но, когда в августе 1905 года французский флот посетил Англию, ему был оказан торжественный прием. Офицеров эскадры длинной процессией автомобилей повезли осматривать Лондон. И на вопрос, с кем бы они хотели встретиться, они не задумываясь в один голос заявили: "С Его Величеством королем! И с сэром Джоном Фишером, великим английским адмиралом!" Конечно, но, может быть, они хотят повидать когонибудь еще? И, вместо ожидаемых Бальфура или Чемберлена,

последовало столь же решительное и единодушное: "Сэра Конан Дойла!"

"И правда, — писал корреспондент "Дейли кроникл", путешествовавший вместе с ними, — они, похоже, считают сэра Артура единственным неофициальным англичанином". Ему и был послан неофициальный запрос о том, сможет ли он принять французов у себя, когда они будут возвращаться в Портсмут? О Господи, ну конечно! Ведь он считает союз-антанту с Францией долгожданным идеалом.

Хозяин задумал начать прием уже при подъезде гостей к Андершо. Четыре духовых оркестра приветствовали их по мере приближения. По обе стороны дороги стояли по стойке смирно британские ветераны при всех регалиях. Красивейшие девушки округи кидали им букетики цветов. Французские офицеры, в своих длиннополых синих кителях и белых фуражках, вставали с сидений во весь рост и кричали: "Magnifique!" *, словно типичные французы в английских пьесах.

Они были искренне тронуты. Они ожидали лишь холодной официальности, если не скрытой враждебности. А тут, у ворот Андершо, где над вершинами деревьев растянулся плакат "Bienvenue" **, стоял дородный мужчина с усами наполеоновских времен, одетый по-домашнему, в крошечной соломенной шляпе. Над теннисными кортами был раскинут большой тент, украшенный флагами. И между очарованными гостями замелькали женщины в белоснежных одеяниях с пышными рукавами и белыми зонтиками, и надо всем этим царил их радушный хозяин. Они все более и более убеждались, что он был как раз тем самым одним-единственным неофициальным англичанином.

"Во время всего визита, — писала "Кроникл" после ухода эскадры, — французы пристально следили за всяким проявлением симпатий к немцам. Они видят в "антанте" залог мира для Франции. Они увидели в нас людей, беззаботно относящихся к германской угрозе".

Да, это было очень близко к истине; кое-кто мог бы, пожалуй, сказать, что англичане вели себя уж чересчур весело и беззаботно, ведь, побывав в Берлине, можно было явственно услышать треск пулеметов на закрытых стрельбищах. Но в самой Англии царил политический хаос, отвлекавший от заморских проблем. Что же касается Конан Дойла, то разве несколько лет назад не зарекся он вмешиваться в политику?

"Если бы вы выставляли свою кандидатуру в парламент, — спросил его репортер, — то от какой партии?"

"Такая партия еще не придумана", — ответил он.

И только под влиянием старинного друга и руководителя Джозефа Чемберлена решился он нарушить этот обет. Чемберлен, уже переступивший за шестой десяток, все еще воинственно поблескивая своим моноклем, развернул кампанию — и невольно расколол собственную партию — в пользу протекционистской политики. Вкратце его взгляды можно выразить так:

"Дайте колониям предпочтение в торговых отношениях с нами!

---

* Великолепно! (*фр.*).
** Добро пожаловать (*фр.*).

Установите тариф на импорт из зарубежных стран; пусть свободная беспошлинная торговля производится с колониями: это в будущем окупится сторицей. Лелейте колонии, сплачивайтесь с колониями; мыслите имперски, в противном случае и сама Империя не устоит!"

Такую же позицию занимал и Конан Дойл, который вновь выставил свою кандидатуру в парламент в той бурной кампании, закончившейся достопамятными всеобщими выборами 1906 года. И снова это было в Шотландии, в Приграничных городах Ховик, Селкирк и Галашилс. И снова он потерпел поражение. Правительство, юнионисты, консерваторы — все уступили в этих выборах либералам.

"Мой друг, что за странные у Вас вкусы! — печалился Уильям Гиллетт. — К чему вся эта активность? Не лучше ли, как я, — ни о чем не заботиться?"

Но Конан Дойл так не мог. И зная, как он идеализировал женщин, легко понять, что он не мог не реагировать на все растущее движение суфражисток.

"Собирается ли кандидат даровать всеобщее право выборов женщинам?" — «Нет, не собираюсь. (*Возгласы: О-о!*)» «Не объяснит ли кандидат, почему? (*Крики.*)» — «Извольте. Когда мужчина возвращается домой после целого дня работы, я не думаю, что он мечтает встретить у своего очага политика в юбке. (*Крики, свист, общий шум.*)"

"Общий шум" сопровождает большинство отчетов прессы о его выступлениях. Он не мог убедить своих избирателей, чьи дела страдали от иностранной конкуренции, в том, что налог на иностранные товары окупится. Но капитан Иннес Дойл, приехавший в Ховик в последние два дня кампании и не слышавший публичных выступлений своего брата со времен американского турне 1894 года, — капитан Иннес Дойл был потрясен. "В Америке, — писал он Лотти, — старина Артур был очень даже неплох, но сейчас — Бог свидетель!" Он был под таким впечатлением, что не мог удержаться, и в ночь на 17 января в их комнате в отеле он заговорил об этом с братом.

— Знаешь, Артур! А что, если твое настоящее призвание не литература, а политика?

Брат, писавший письмо, не поднимая головы, ответил:

— Ни то, ни другое. Религия.

— *Религия?*

Тут Конан Дойл резко вскочил на ноги и уставился на брата с таким очевидным недоумением, что оба расхохотались.

С чего вдруг — сам поражался он — сказал он такую нелепость? Он не собирался говорить ничего подобного, даже в шутку. Слова сами слетели с языка. Какова бы ни была его карьера, за одно он мог поручиться: она могла быть связана с чем угодно, только не с религией.

В религии, при всем его интересе к спиритизму, он по-прежнему натыкался на глухую стену. Как и в Саутси, Конан Дойл увлекался спиритизмом потому, что он вмещал всевозможные вероисповедания. Спиритизм не расточал проклятий направо и налево, не внушал человеку, что душа его загублена из-за того или иного прегрешения против доктрины. Религиозная нетерпимость, которую он с детства возненави-

дел инстинктивно, теперь была столь же ненавистна его разуму. Но одного интереса недостаточно, увлеченность не доказательство.

И, как он сообщал друзьям в 1901 году, к их немалому удивлению, он верил, что в исследованиях Крукса, Майерза и Лоджа и в работах Альфреда Рассела Уоллеса, которые он читал в Саутси, много справедливого. Это все были люди науки, и пользовались они научными методами. И если их аргументы нельзя принимать на веру лишь благодаря их выдающимся именам, то факт остается фактом: они провели глубокие исследования, тогда как их оппоненты не сделали в сравнений с ними ничего.

"Лорд Амберли, — отметил он в своей записной книжке, — разуверился в спиритизме после пяти сеансов. Тиндал — уже после первого. Хаксли заявил, что этот вопрос его не интересует. Можно спорить, если угодно, но зачем же закрывать глаза!"

Книга Фредерика Майерза "Человеческая личность и ее дальнейшая жизнь после телесной смерти", опубликованная после смерти самого автора в 1901 году, произвела на него сильнейшее впечатление. Как Майерз и Лодж, он попробовал сам ставить эксперименты. Он устраивал сеансы столовращения, вступал в контакт с медиумами. И в результате...

Итак! Бесспорно, существует некий феномен. В этом он убежден. Существуют "силы", или называйте это как угодно, выходящие за пределы нормального; и силы эти существуют, какие бы усилия во избежание трюка и обмана вы не предприняли. Но где подтверждение тому, что вести приходят именно оттуда, с той стороны гробового свода?

Они могут иметь вовсе не бесплотное происхождение. Они могут иметь вполне научное, пусть и сверхъестественное, объяснение, которое мир пока еще не способен понять. К тому же (и это его более всего удручало) при самом пристальном анализе феномен этот оказывается до смешного малым, ничтожным. Вертящийся стол, летающий бубен — можно ли предположить, что спиритические силы заняты этими детскими забавами? И если их проявление не несет духовного предназначения, то тогда какой в них смысл?

Не имея ответа на эти вопросы, он не мог делать дальнейших выводов. Но в тот январский вечер 1906 года, когда Иннес вдруг заговорил о его призвании, он достиг в своих размышлениях именно этой точки.

"Ни то, ни другое. Религия".

Откуда такая нелепость? Видимо, решил он, — от усталости. Наутро, под градом и дождем, они с Иннесом пошли посмотреть, как голосующие стекаются к избирательным участкам. Радикалы вновь одержали верх в Приграничных городах. Собственное поражение (всего 3133 голоса против его 2444) скорее удручило, чем удивило его. Но он уже с нетерпением ждал лета, когда в июльском номере "Стрэнда" должны были появиться первые части его нового романа "Сэр Найджел".

Для него "Сэр Найджел" означал больше, чем просто "новый роман". Это была та самая книга, та самая мечта, та самая надежда развеять абсурдное представление о нем как о создателе Шерлока Холмса

в первую голову и занять подобающее ему место среди истинных писателей. "Сэр Найджел" — книга-спутник "Белого отряда" — вернула его к копьям и рыцарским знаменам.

Уже в начале 1904 года приступил он к изучению исторического фонда, исписывая мелким, четким почерком пухлые записные книжки. Летом 1905 года он начал писать. Стремительно закончив роман к концу 1905 года — как раз накануне поездки на выборы в Приграничные города, когда Эдинбургский университет присвоил ему звание доктора права, — он написал матушке :

«„Сэр Найджел", Dei gratia *, закончен! 132 тыс. слов. Это моя абсолютная вершина!» И можно легко представить его состояние, когда он в волнении поздно вечером опускал в ящик открытку.

Роман, появившийся отдельной книжкой в декабре 1906 года, был чем-то вроде продолжения, обращенного вспять, — хронологически действие в нем происходит раньше, чем действие в "Белом отряде". Мы видим Найджела Лоринга еще мальчиком, он из древнего рода, но нищ, как Лазарь; он горит желанием совершить великие подвиги, но не имеет даже доспехов; он преисполнен гордого упрямства и живет в доме (без земель, которые у него украдены) вдвоем с бабушкой, величественной старой дамой Эрментруд.

Понятно, почему книга была так близка автору, понятно, почему юный Найджел Лоринг обучался геральдике, впитывал в себя рыцарский дух, преисполнился веры и надежды, сидя у очага и внимая наставлениям Эрментруд. Ведь Найджел Лоринг — это он сам, а госпожа Эрментруд — его матушка.

Нам, уже достаточно знакомым с матушкой, это может показаться смешным: мы видели ее крутой нрав, чтобы не сказать раздражительность, — ее ирландские черты. Но убрать все ирландское — и на нас взглянет суровая старая дама, соединяющая в себе практичность с идеализмом, с благоговейным трепетом относящаяся к генеалогии и вполне серьезно писавшая сыну: "Рука Конана тверда, а копье — метко", — в точности так могла бы сказать госпожа Эрментруд.

Подвиги Найджела Лоринга, который отправляется искать славы и, чтобы заслужить руку своей дамы, дает обет совершить три великих подвига, пронизаны все той же тонкой нитью романтических символов. Прошло семнадцать лет с тех пор, как Конан Дойл описал времена Эдуарда Третьего. Теперь, с возросшим мастерством и неослабевшим духом, описывал он морской бой в Ла-Манше, осаду замка Батчер, атаку в битве при Пуатье — сцены, ничуть не теряющие от сравнения с "Белым отрядом".

И все же, когда "Сэр Найджел" увидел свет, автор испытал горькое разочарование.

Здесь, однако, нам следует разобраться в причинах его разочарования. Многих комментаторов сбило с толку утверждение, сделанное автором много лет спустя в его "Автобиографии": "Он ("Сэр Найджел") не был по-настоящему замечен ни критикой, ни читателями".

* Слава богу (*лат.*).

На этом построены разнообразные детски наивные теории, как, например, теория о том, что вкусы читающей публики изменились и исторические романы оказались не нужны.

Беда этих умозаключений в том, что они не верны по сути. В одной из его папок, с наклейкой "Отзывы о сэре Найджеле", можно найти шестьдесят пять вырезок из хвалебной прессы. А данные о продаже тиража книги говорят, что она была бестселлером рождественского сезона.

"Весь вчерашний вечер, — писал Редьярд Киплинг из Бариша в Суссексе, — читал запоем сэра Найджела. Я прочел его от корки до корки и все же не утолил жажды". Объяснение недоразумения, вызванного позднейшим замечанием Конан Дойла, не в том, что он сказал, а в том, что он под этим имел в виду.

Он мечтал и надеялся, что эта книга вместе с "Белым отрядом" будет считаться его шедевром, по которому следует судить об авторе. Он страстно ждал появления подобных отзывов: "Эта книга — ожившая история; она воспроизводит средневековье во всем его готическом великолепии". И некоторые журналы, как, скажем, "Спектейтор" или "Атенеум", именно так о книге и говорили. Но в большинстве случаев ей оказывался прием тот же, что некогда "Белому отряду": "Что за грандиозный клубок приключений!" И хотя его ворчание и брюзжание могут показаться неблагодарностью, но, увы, все это он уже когда-то слышал.

А критика "Сэра Найджела" была направлена как раз на то, чего он стремился достичь. Он слишком заботится, говорили одни, об исторической достоверности. Он упивается цветом, атмосферой и историческим фоном. Иногда он сам врывается в разгар сражения, чтобы объяснить, чего ради это сражение ведется.

Однако прелесть исторической прозы именно в раскраске, атмосфере и фоне. Удалите эти детали из "Генри Эсмонда" или "Собора Парижской богоматери" — и вы умертвите самый дух, их создавший. Истинная же причина критики кроется в ином. "Белый отряд", в свое время воспринятый лишь как увлекательное чтение, сейчас, наверное, мог бы быть признан величайшим историческим романом. Но это уже этап пройденный, и автору нельзя переписать книгу еще раз, даже если это получится много лучше, чем в первый. Слава, которую снискала, пусть и не по существу, первая книга, несла в себе гибель его новому творению прежде, чем он за него взялся.

Впрочем, появление романа было еще впереди, а пока, весной, увлекся он серией статей в форме непринужденных бесед о книгах, озаглавленной "Через магическую дверь", для журнала "Касселз мэгэзин", всколыхнувшей в памяти давно минувшие дни жизни в Саутси, с их подвижничеством, потрепанными книжками на видавших виды полках. Жарким летом 1906 года ворвалась в его жизнь трагедия.

Туи умирала.

И хотя это было неотвратимо, и прошло уже 13 лет с тех самых пор, как д-р Дальтон дал ей всего лишь несколько месяцев жизни, конец так долго оттягивался, что реальность — ее полное осознание —

явилась шоком. Луиза Конан Дойл, самая жизнерадостная и непритязательная из всех, кого Артуру приходилось в жизни встречать, выглядела чуть более изнуренной — и только. Муж ее заподозрил неладное как-то ночью в июне, когда Туи впала в беспамятство. Специалисты из Лондона приехали на следующее утро.

Модель монорельса затихла. Затихло стрельбище. У Иннеса Дойла, находившегося в Штабном колледже в Бедфорде, хранилась связка писем, которые писал ему брат в течение всего месяца, когда Туи становилось то лучше, то хуже. Это краткие сообщения в одну, от силы две строчки. Сначала они были обнадеживающими: "Туи держится хорошо", "Туи лучше", "Лучше; встает к чаю; надеюсь на лучшее".

Но вот, 30 июня:

"Счет идет на дни, — писал он, — или недели, но конец теперь неотвратим. Она не ощущает телесной боли и беспокойства, относясь ко всему с обычным своим тихим и смиренным равнодушием. Сознание ее затуманено, но по временам наступают просветления и она способна с интересом следить за письмами о свадьбе Клэр, которые я ей читаю".

Смерть уже стояла у порога. В тот же день было еще две открытки. Одна утром: "Все так же". Другая вечером: "Ничего хорошего — слабеет". Миссис Хокинз, жившая неподалеку, сидела у ее постели. Супруг Туи был тут же и держал в своих ладонях ее хрупкую руку. 5 июля в газетах появилось краткое сообщение.

"Леди Конан Дойл, жена сэра Артура Конан Дойла, писателя, скончалась вчера в три часа ночи в Андершо, Хайндхед. Покойная, которой было 49 лет от роду, уже несколько лет серьезно болела. Она была младшей дочерью мистера Дж. Хокинза и вышла замуж в 1885 году".

Это был самый черный день в жизни ее супруга. Хотя его чувство нельзя было назвать любовью, но он питал к ней такую нежность, какую никогда не испытывал ни к кому другому. Что бы ни происходило с ним в тот год, он неизбежно возвращался мыслями к давно минувшим дням.

Он вспоминал то суровое, полунищенское существование в Саутси и Туи, веселую и преданную Туи, сумевшую сохранить веселость и преданность все эти долгие тринадцать лет болезни. В связке писем, хранившихся у Иннеса, есть одно, последнее послание. Оно в траурной кайме, написано после похорон, и к нему вряд ли можно что-нибудь добавить.

"Спасибо тебе, старина, за участие, что так меня поддержало. Я сейчас иду к ней с цветами".

Туи была похоронена в Хайндхеде. Над ее могилой воздвигнут мраморный крест. О его душевном состоянии в это время можно судить по тому, что с ним происходило в последующие месяцы. Он, никогда не страдавший ничем, кроме зубной боли или легкого несварения, — серьезно занемог. "Никаких симптомов болезни нет, только слабость". Чарльз Гиббз, консультировавший его еще с южноафриканских времен, был тут бессилен. Это был нервный срыв. Вернулась бессонница, еще более жестокая, чем прежде. "Я старался, — писал он

матушке, — никогда не доставлять Туи ни минуты горечи, отдавать ей все свое внимание, окружать ее заботой. Удалось ли мне это? Думаю, да. Я очень на это надеюсь, Бог свидетель".

Каждый человек на этом свете в скорбную минуту спрашивает себя: "Сделал ли я все, что мог? Был ли я достаточно хорош?" Он, стремившийся к идеалу почти недостижимому, мучился тем же вопросом. Но тени рассеиваются, на то они и тени. И все же осень успела сменить лето, а зима — осень, прежде чем он сбросил с себя болезнь и утомление, ее сопровождавшее.

И тогда, как раз под Рождество, он воспрянул духом.

Его корреспонденцией, которая составляла в среднем по 60 писем в день и с которой по большей части он справлялся сам, во время болезни занимался его секретарь. Но если Альфред Вуд находил среди писем что-нибудь достойное внимания Конан Дойла, он отбирал это и оставлял на рабочем столе.

Как-то раз Конан Дойл выудил среди кучи писем конверт, содержавший газетные вырезки об одном уголовном деле трехлетней давности. Поначалу он стал их лениво перелистывать. Дело вырисовывалось загадочное, волнующее, запутанное ложными следственными выводами, будто его собственные детективные рассказы. Но не это было важно для него. Письмо с мольбой о помощи было послано человеком, замешанным в деле.

Если утверждения этого человека правда, а ему показалось, они звучали правдоподобно, тогда, безусловно, дело требует дополнительного расследования. Расследования кропотливого, чтобы исправить чудовищную судебную несправедливость.

В следующей главе мы собираемся раскрыть подробности тех давних событий, ибо Артур Конан Дойл не на бумаге, а на деле взялся за решение детективной загадки.



ГЛАВА XV
СЫЩИК: ЗАГАДКА ГРЕЙТ-УИРЛИ

По всему Стаффордширу, от "Гончарен" на севере до горняцких районов юга, в это туманное августовское утро люди стекались на работу. Деревня Грейт-Уирли, менее чем в двадцати милях от Бирмингема, располагалась в местности наполовину земледельческой, наполовину шахтерской. Угольные копи Грейт-Уирли, где утренняя смена начиналась в шесть утра, лежали несколько поодаль, среди полей и холмов отработанной породы.

Предыдущая ночь была ненастной, Потоки дождя хлынули за полчаса до полуночи и не прекращались до самого рассвета. В полях вблизи копей земля — красновато-желтая смесь из глины и песка — превратилась в хлюпающую трясину. Первым обнаружил, что случилось в полях этой ночью, молодой шахтер по имени Генри Гаррет.

В луже крови, еще живой, лежал пони с соседней шахты. Его брюхо было рассечено каким-то острым предметом, но разрез,

хотя и довольно глубокий, не проникал в брюшную полость. Пони слабо вздрагивал, и кровь еще струилась из раны.

"Рана, — как свидетельствовал потом Генри Гаррет, — здорово кровоточила".

Он стал звать на помощь. На его крик сбежались несколько шахтеров, которым хотелось посмотреть на раненого пони. Явилась и полиция. Два десятка полицейских в форме и в штатском, собранных из разных округов графства в эту ночь — как и каждую ночь в последнее время, — патрулировали окрестность. Это был уже восьмой случай нанесения увечий животному за шесть месяцев.

Между февралем и августом 1903 года лошади, коровы и овцы гибли от руки ловкого маньяка, остававшегося для всех невидимкой. За это же время местная полиция получила целую гору издевательских писем. Под ними стояли вымышленные или поддельные подписи. Те из писем, которые представляли наибольший интерес и о которых еще пойдет речь, были подписаны именем одного ученика Уолсоллской гимназии; мальчик этот, как выяснилось, был к ним совершенно непричастен.

Анонимные письма были чтением не из приятных. Больше всего в них отталкивало какое-то маниакальное кривляние. В одном письме автор не без волнения несколько раз упоминает о море и тут же с изуверским сладострастием смакует подробности насилия над животными. О себе он говорил как о члене банды, среди участников которой называл многих явно безвинных людей, и рассказывал, как они развлекаются, калеча животных. Одного из сообщников он изображал так: "У него орлиное зрение и острый, как бритва, слух, а походка быстрая и бесшумная, как у лисы, и он подкрадывается на четвереньках к несчастным тварям..." А вот в другом месте, будто давясь от смеха: "То-то будет весело в Уирли в ноябре, когда мы возьмемся за маленьких девочек и к марту отделаем штук двадцать, как отделали лошадок".

Эта угроза повергла в ужас возмущенное общество. И вот утром 18 августа был найден в поле умирающий пони. Неизвестный снова сделал свое дело под носом у двадцати полицейских, наблюдавших за окрестностью, причем трое из них следили непосредственно за местом происшествия.

Это был какой-то деревенский Джек Потрошитель, знающий, как, не вспугнув, подойти к животному, чтоб нанести удар. Инспектор Кемпбелл из полицейского управления графства Стаффордшир осмотрел пони и сделал для себя некоторые выводы.

Инспектор Кемпбелл, как и все его коллеги вплоть до начальника полиции графства, совершенно искренне верил, что знает виновного. Он считал, что знал его с самого начала. В полумиле от места происшествия, за насыпью лондонской Северо-Западной железной дороги, стоял дом местного священника. Инспектор Кемпбелл со своими людьми отправился туда. Он был готов, обнаружив малейшую улику, арестовать сына священника.

Дело в том, что преподобный Шапурджи Идалджи, более тридцати лет служивший приходским священником, был парс, то есть происходил из индийской секты. Выражаясь языком просторечным, он был

просто "цветным", а значит, чуждым и подозрительным. Как парс сделался священником англиканской церкви, никто не знал, но он был женат на англичанке, Шарлотте Стунмэн, и старшим из троих детей был двадцатисемилетний Джордж Идалджи.

Джордж Идалджи, смуглый молодой человек с как будто удивленными, чуть навыкате глазами, служил юрисконсультом в Бирмингеме. Каждое утро он садился на поезд 7.20, направляясь в свою контору, и каждый вечер возвращался домой в половине седьмого. Джордж был юношей низкорослым и хрупким, нервным и застенчивым, с незаурядными способностями. В Мейсон-колледже, а затем и в Бирмингемском университете он с отличием выдержал экзамены, не раз получал призы от Общества юристов и составил известный справочник по железнодорожному праву. Но даже достоинства этого "цветного" юноши с глазами гнома делали его существом, вселявшим еще больший ужас, чем его отец.

"Чудной он, — говаривали про него. — Не пьет, не курит. Может смотреть на тебя в упор и не замечать. А в последнее время..."

Это-то "последнее время" и вызывало все толки.

За несколько лет до того, в период между 1892 и концом 1895 года, когда Джордж был еще школьником, в тех же местах возникло какое-то поветрие скверного толка розыгрышей и анонимных писем. Кое-что из этих выходок было направлено на людей посторонних, в том числе на директора Уолсоллской гимназии. Но основным объектом травли стал преподобный Шапурджи Идалджи. Письма, порочащие его жену, дочь и в особенности старшего сына, подсовывались под двери и забрасывались в окна его дома. Донимали священника и всевозможными мистификациями.

Ложные объявления помещались от его имени в газетах. Открытки, также носящие его имя, рассылались другим священникам. Один священник в далеком Эссексе не знал, что и думать, получив от Ш. Идалджи следующее послание :

"Если вы незамедлительно — телеграммой — не принесете извинений за те возмутительные намеки относительно моего целомудрия, которые вы себе позволяете в своих проповедях, я предам гласности разврат и насилие, коим вы предаетесь".

Все это могло бы показаться попросту забавным. Однако анонимное злотворство редко забавляет того, кто испытывает его на себе. Под покровом темноты кто-то усеял лужайку перед домом священника старыми ножами, ложками и прочим хламом. Как-то раз на порог дома был подброшен большой ключ, украденный из Уолсоллской гимназии. Подобные злонамеренные забавы продолжались более трех лет.

Но начальник Стаффордширской полиции достопочтенный капитан Джордж Александр Ансон взирал на это бесстрастно. Капитан Ансон был из тех людей, для которых "цветной" хуже скотины. Капитан Ансон говорил, что злоумышленником был не кто иной, как юный Джордж Идалджи, терзающий собственную семью. Священник возражал, что это явная нелепица: ведь письма подметывались под дверь, когда Джордж (мать и отец видели это собственными глазами) был дома.

Начальник полиции стоял на своем. О ключе, найденном на пороге, он писал: "Я могу сразу же заявить, что не намерен слушать никаких уверений в непричастности, какие может дать ваш сын по поводу ключа". Позже Ансон заявлял, что надеется добиться для преступника годика-другого каторжных работ". А глумливые выходки все продолжались.

И вдруг в конце декабря 1895 года травля прекратилась. Последнее подложное объявление от имени Ш. Идалджи появилось в одной Блэкпулской газете. Вслед за тем в Грейт-Уирли на целых семь лет, вплоть до 1903 года, воцарился целительный покой.

А потом кто-то стал увечить скотину. Каждой жертве наносилась длинная узкая рана, вызывающая сильное кровотечение, но не проникавшая во внутренности животного. Кто же нападал на скот?

— Джордж Идалджи, — считали власти. Всю округу взял под контроль специальный отряд полиции. По инструкции капитана Ансона констебли должны были следить за домом священника и подмечать, не выходит ли из него кто-нибудь по ночам. Они приступили к слежке еще до появления второй серии анонимок, в одной из которых и была фраза об "орлином зрении и остром, как бритва, слухе". В довершение всего эти письма неизменно указывали на Джорджа Идалджи как на главаря "скотобойной" банды.

"Мистер Идалджи отправился в Брам... обстряпать свои делишки под носом у всех этих полицейских, и я уверен, что теперь коров кокнут не ночью, а средь бела дня".

Кто же, по мнению начальника полиции, писал эти письма?

"Мистер Идалджи самолично". (Ему, как видно, захотелось собственными руками погубить свою карьеру юриста.)

Так обстояли дела к утру 18 августа, когда, осмотрев изувеченное животное, инспектор Кемпбелл направился в дом священника. Инспектор с несколькими констеблями прибыл туда в восемь утра. Джордж Идалджи уже уехал на работу в Бирмингем. Но его мать и сестру инспектор застал в столовой за завтраком. Едва только тени полицейских промелькнули за цветными стеклами входной двери, миссис Идалджи и ее дочь уже поняли, какой оборот принимает дело.

— Я вынужден просить вас, — сказал инспектор Кемпбелл, — показать мне одежду вашего сына (на ней, полагал он, наверняка будут обширные пятна крови).

— А также, — продолжал он, — всякое оружие, которое могло бы послужить преступнику.

Полиция не нашла ничего, что могло бы сойти за оружие, кроме футляра с четырьмя бритвами, принадлежавшего священнику; химический анализ бритв показал, что на них нет следов крови несчастного пони. Но была найдена пара ботинок Джорджа Идалджи, мокрых и вымазанных черной грязью. Нашли также пару синих саржевых брюк, запачканных черной грязью по обшлагам. Нашли еще старую домашнюю куртку с белесыми и темными пятнами на рукаве, которые могли оказаться слюной и кровью умирающего пони.

— Куртка мокрая, — заявил инспектор Кемпбелл.

Священник, к тому времени уже присоединившийся к остальным

в своем кабинете на первом этаже, провел по куртке рукой и сказал, что она ничуть не мокрая. Инспектор сказал, что заметил прилипшие к куртке конские волосы. Шапурджи Идалджи, поднеся куртку к самому окну, возразил, что не видит никаких волос, и предложил своему собеседнику продемонстрировать хоть один. Об этом же в один голос твердили миссис Идалджи и мисс Мод Идалджи.

— Это просто нитка, — воскликнула девушка, взглянув на куртку. — Ну конечно, это просто нитка вытянулась из ткани!

Во всяком случае, как заметил впоследствии сэр Артур Конан Дойл, полиция не собрала образцов конского волоса и не запечатала их, как полагается, в конверт. Зато куртку вместе с жилетом полицейские без дальнейших объяснений унесли с собой. Тем временем, чтобы избавить его от мучений, был умерщвлен пони. Из его шкуры вырезали полоску и — мягко говоря, весьма неосмотрительно — упаковали в один сверток с одеждой Джорджа Идалджи. Лишь около четырех часов дня ее взялся осматривать беспристрастный свидетель — полицейский врач д-р Баттер. Независимо от того, были конские волосы на одежде раньше или нет, теперь-то они наверняка должны были там обнаружиться. Доктор Баттер насчитал их 29 на куртке и 5 на жилете.

Это была козырная улика, тем более, что другие улики заметно потеряли в весе. Доктор Баттер заключил, что белесые и темные пятна на одежде — пищевого происхождения, за одним только исключением. На правом манжете куртки было два пятна, "каждое размером с трехпенсовую монету", в которых обнаружились следы крови млекопитающего. Это могла быть кровь пони, но с тем же успехом — брызги крови из ростбифа. Во всяком случае, пятна не были свежими.

Джордж Идалджи был арестован вечером того же дня в своей конторе; полицию он встретил со страдальческим видом. Сознавая свою физическую слабость, Идалджи чувствовал себя загнанным в угол. Он то резко огрызался, то впадал в крайнее отчаяние.

— Я не удивлен, — сказал он по пути в полицейский участок. — С некоторых пор я ждал этого.

Эти слова были тут же записаны и потом использованы на суде как подтверждение нечистой совести обвиняемого.

"Можете ли вы рассказать, что вы делали вечером 17 и в ночь на 18 августа, когда был изувечен пони?"

Показания Идалджи, данные тогда же и впоследствии, вкратце сводятся к следующему.

"Я вернулся домой из конторы в половине седьмого вечера. Дома я немного поработал. Потом отправился по шоссе к сапожнику в Бриджтаун и добрался туда чуть позже половины десятого. На мне был синий саржевый плащ". Это подтвердил и сапожник Джон Хэнд. "Ужин должны были подать не раньше половины десятого, и я некоторое время просто гулял. Меня, должно быть, заметили несколько человек. Весь день шел дождь, но в то время дождя не было".

(Итак, замечает Конан Дойл, — вот объяснение грязи на штанах и мокрых ботинок. Это была черная дорожная слякоть. Конечно, без

труда можно было отличить черную слякоть сельской дороги от рыжей смеси песка и глины с окрестных полей!)

Но обратимся к показаниям Идалджи.

"Я вернулся домой, — утверждал он, — в девять тридцать. Поужинал и лег в постель. Я сплю в одной комнате с отцом вот уже семнадцать лет. Я не выходил из спальни до двадцати минут седьмого следующего утра".

Ночь с 17 на 18 августа была ненастной, дождь не прекращался до самого рассвета. Шапурджи Идалджи, вообще спящий очень чутко, в эту ночь, томимый неясными предчувствиями и болями в пояснице, спал особенно беспокойно. "Я всегда, — подчеркнул он, — запираю дверь спальни. Если бы сын ночью выходил, я бы знал об этом. Но он не выходил".

Когда распространилась весть об аресте Джорджа Идалджи — после стольких месяцев ночных злодеяний, — негодование местных жителей вырвалось наружу. Над "цветным" юношей нависла угроза линчевания. Когда полиция везла его в магистратский суд в закрытой карете, уличная толпа набросилась на карету и сорвала дверцу с петель.

"В местной пивной, — писал репортер бирмингемской газеты "Экспресс энд стар", — мне довелось услышать множество теорий, одна другой замечательней, насчет того, зачем Идалджи выходил по ночам убивать скотину; большинство, однако, сходилось на том, что он приносил жертву своим богам".

20 октября 1903 года Идалджи предстал перед судом. Слушалось дело в так называемом суде квартальных сессий, и местный судья оказался настолько невежественным в правовых вопросах, что ему пришлось нанять советника из адвокатов. Но и обвинение на суде совершенно переменило тактику.

Первоначальная версия в том виде, в каком она была представлена магистратскому суду в Кэнноке, состояла в том, что Идалджи совершил преступление между 8.00 и 9.30 вечера, то есть тогда, когда он был у сапожника и потом прогуливался перед ужином. Но в этой версии обнаружились прорехи. Нашлись свидетели, видевшие Джорджа во время прогулки. Рана, нанесенная пони, утром следующего дня еще сильно кровоточила, и ветеринар, осмотревший пони, засвидетельствовал, что эта вполне еще свежая рана не могла быть нанесена ранее половины третьего ночи.

И вот вся история была преподнесена присяжным в совершенно переиначенном виде. Идалджи, как утверждалось, совершил преступление между 2.00 и 3.00 часами ночи. Он украдкой выбрался из спальни священника. И затем под проливным дождем, ускользнув от внимания полицейского патруля, он отшагал полмили, перебрался через огражденные железнодорожные пути, изувечил пони и вернулся домой еще более кружным путем через поля, изгороди и канавы.

Но разве полиция не наблюдала за домом священника в ночь совершения преступления?

Ответ полиции был, по существу, таков: "И да, и нет". В предыдущую ночь, как показал сержант Робинсон, в дозоре было шесть человек, но о роковой ночи наверняка того же не скажешь. Специального

приказа следить за домом священника не было; было лишь то, что можно назвать общим указанием. Зато огромное впечатление на присяжных произвели улики (не упоминавшиеся в магистратском суде): следы с места преступления.

Констебль, как утверждало обвинение, сравнил один из башмаков Джорджа Идалджи со следами, ведущими к месту, где лежал пони, и обратно. Правда, вся земля кругом была уже вдоль и поперек истоптана шахтерами и другими прохожими. (Здесь автору Шерлока Холмса впору было взвыть.) Но констебль нашел несколько следов, схожих со следами обвиняемого. Взяв башмак Идалджи, он вдавил его в землю рядом с одним из этих следов и получил таким образом необходимый для сравнения отпечаток, и, между прочим, измазал башмак рыжей грязью. Затем он измерил оба отпечатка и нашел, что они одинаковы.

— Были ли эти следы сфотографированы?

— Нет, сэр.

— Был ли сделан с них слепок?

— Нет, сэр.

— Тогда где же улика? Почему вы не вырыли ком земли, чтобы получить хороший слепок?

— Но, сэр, земля была в одном месте слишком мягкой, а в другом — слишком твердой.

— Но как же вы измеряли следы?

— Палочками, сэр. И соломинкой.

Но довольно с нас этой судопроизводственной трагикомедии. Эксперт по почерку Томас Гаррин заявил под присягой, что письма, обвиняющие Идалджи в убийстве животных, писаны рукой самого Идалджи. Г-н Гаррин был тем самым экспертом, чье свидетельство уже однажды помогло отправить за решетку невиновного — Адольфа Бека — в 1896 году. И в нашем случае присяжные признали Джорджа Идалджи виновным. Судья-дилетант, решительно отвергнув соображение, что в интересах правосудия было бы лучше перенести судебное разбирательство в Лондон, подальше от предвзятых настроений местной публики, приговорил Идалджи к семи годам каторжных работ.

"Господи помилуй!" — воскликнула мать осужденного.

Это произошло на исходе октября 1903 года. Правда, пока Идалджи находился в заключении в ожидании суда, произошел еще один случай нападения на лошадь, но представитель обвинения объяснил это проделками "Уирлиской банды", имевшими целью запутать следствие. В ноябре было получено еще одно анонимное письмо и была зарезана еще одна лошадь. Идалджи канул в тюрьму, он отбывал срок сначала в Льюисе, а затем в Портленде. Здесь, кстати, можно добавить еще один случайный, но эффектный штрих в духе Анатоля Франса: в Льюисской тюрьме Идалджи занимался тем, что кроил заготовки мешков-кормушек для лошадей.

В конце 1906 года, когда он отбыл уже три года из своего семилетнего срока, с ним произошло событие столь же необъяснимое, как и все в его истории. Его выпустили на свободу.

Он не был оправдан. Никто не объяснял ему, почему вдруг он был

освобожден. Он оставался под полицейским надзором. Все это время, с самого начала дела Идалджи, его друзья, руководимые бывшим верховным судьей Багамских островов Р. Д. Йелвертоном, не переставали настаивать на шаткости улик против него. Когда он уже пребывал в тюрьме, десять тысяч человек, включая несколько сот юристов, подписали петицию в министерство внутренних дел о пересмотре дела. Петиция не возымела действия, и г-н Йелвертон, при мощной поддержке журнала "Truth", вновь поднял этот вопрос. Но министерство, неизвестно чем руководствуясь, избегало давать объяснения. Ворота Портленда на миг отворились — и только.

— И что же прикажете мне делать теперь? — спрашивал осужденный.

Перспективы открывались мрачные. "Меня, конечно, вычеркнули из списка юрисконсультов. Во всяком случае, я едва ли смогу заниматься своим делом, находясь под надзором полиции. Но виновен я или нет? Этого мне не хотят говорить".

— Не хотят? — воскликнул Конан Дойл.

Он как раз ознакомился с этим делом по газетным материалам и перечитывал письмо от Идалджи с призывом о помощи. Делу Идалджи он посвятил восемь месяцев напряженного труда, с декабря 1906 по август 1907 года, отложив собственные дела, войдя в немалые расходы и, между прочим, установив личность истинного преступника. И отмена приговора казалась ему необходимой для соблюдения элементарной справедливости.

"Либо этот человек виновен, либо нет, — писал он. — Если виновен, то должен до последнего дня отбыть все семь лет вполне заслуженного приговора. Если нет, то его должны оправдать, принести извинения и восстановить во всех правах".

Конан Дойл без устали собирал доказательства своей гипотезы, переписывался со всеми, кто мог дать показания по этому делу, и выкурил не одну унцию табаку в размышлениях над результатами своего труда, прежде чем встретиться лично с Джорджем Идалджи. В начале января 1907 года они наконец встретились в холле лондонского Гранд-отеля на Чаринг-Кросс.

"Одного лишь взгляда на г-на Джорджа Идалджи достаточно...", — писал Конан Дойл в своей нашумевшей статье, появившейся неделю спустя. "Одного лишь взгляда на г-на Джорджа Идалджи достаточно, чтобы убедиться в нелепости обвинений против него и понять некоторые причины подозрений, которые он навлек на себя".

"Он пришел в отель по моему приглашению, — продолжал Конан Дойл, — но сам я запоздал, и он коротал время, читая газету. Я опознал его по смуглому лицу и стал наблюдать за ним. Он держал газету вплотную к глазам и чуть наискосок, что свидетельствовало..."

Тут, по-прежнему не спуская с Идалджи глаз, писатель пересек холл и протянул ему руку.

— Вы мистер Идалджи, — сказал он и назвал себя. — Не страдаете ли вы астигматической близорукостью?"

Нам не известно, что испытал молодой юрист при таком приветствии, но известна их дальнейшая беседа.

— Я когда-то учился на окулиста. Астигматизм у вас явный, и думаю, что и близорукость довольно сильная. Почему же вы не носите очков?

— Я никогда их не носил, сэр Артур. Я обращался к двум офтальмологам, но ни один не смог мне подобрать подходящие очки. Они говорят...

— Но об этом, конечно же, упоминалось на суде?

— Сэр Артур, — проговорил Джордж с отчаянной искренностью, — я хотел пригласить окулиста в качестве свидетеля. Можете проверить. Но мои адвокаты сказали, что улики против меня до того смехотворны, что не стоит и беспокоиться.

Идалджи, — рассуждал про себя Конан Дойл, — ничего не видит даже днем, а в сумерках, должно быть, пробирается на ощупь по любой не слишком ему знакомой местности; ночью же — он просто беспомощен. Чтобы такой человек рыскал в полях по ночам, не говоря уже о роковой ночи с проливным дождем, когда Идалджи якобы проделал кружной путь в милю, не промокнув при этом до нитки, — это, решил он, совершенная бессмыслица.

Может быть, слепота Идалджи притворная? Он не верил в это. Но проверять себя следовало на каждом шагу. Он направил Идалджи к известному специалисту по глазным болезням Кеннету Скотту, который установил близорукость в восемь диоптрий — даже сильнее, чем предполагал Конан Дойл. Тем временем он вступил в переписку с Идалджи-отцом и побывал в Грейт-Уирли, чтобы на месте провести расследование и опросить свидетелей. И теперь у него в руках были все необходимые детали.

11 января 1907 года в "Дейли телеграф" появилась первая часть его репортажа в восемнадцать тысяч слов: "Дело Джорджа Идалджи".

Он начал с того, что, вынеся на читательский суд улики против Идалджи, одну за другой разрушил их до основания уже известными нам доводами. Затем со всей нетерпимостью, с какой он относился ко всяким предрассудкам, будь то неприязнь расовая, национальная или религиозная, выступил с обличительной речью. "Нетрудно, — писал он, — найти оправдания тем чувствам, какие должен был вызвать у невежественных крестьян непривычный облик Идалджи. Но трудно оправдать того английского джентльмена, начальника полиции, который лелеял свою ненависть с 1892 года и заразил ею всю полицию графства".

"Это дело, — продолжал Конан Дойл, — есть жалкое подобие дела Дрейфуса. И в том и в другом случае власти расправляются с молодым интеллигентом с помощью сфабрикованной графологической экспертизы. Капитан Дрейфус во Франции стал козлом отпущения потому, что он еврей. Идалджи в Англии — потому, что он индиец. Англия — колыбель свободы — содрогнулась в ужасе, когда подобное происходило во Франции. Что же прикажете сказать сейчас, когда это случилось в нашей собственной стране?"

А министерство внутренних дел? Какова была его реакция — не

изменившаяся, кстати, при смене кабинета, — когда такой авторитетный правовед, как Р. Д. Йелвертон, представил доказательства несправедливости вынесенного Идалджи приговора?

"Конечно, — писал с горечью Конан Дойл, — власти были сконфужены и предпочли пойти на компромисс со своей совестью". После трех лет отсидки они выпустили страдальца, но так и не оправдали его. Ничуть не стыдясь, объявили: "ты свободен", добавив при этом: "однако виновен". Но с этим нельзя смириться. Кто вынес это бессмысленное решение? И на каких основаниях? Он, Артур Конан Дойл, взывает к общественному мнению:

"Перед нами захлопнулись все двери, и теперь мы взываем к высшему суду, к суду, который никогда не грешит против признанных фактов. Мы спрашиваем народ Великобритании: до каких пор это будет продолжаться?"

Нечего и говорить — сенсация.

Джордж Идалджи за одну ночь стал притчей во языцех. Столбцы "Дейли телеграф" разбухали от самой разноречивой корреспонденции. Еще один знаток права, сэр Джордж Льюис (вошедший в историю криминалистики в связи с делами об отравлении Браво и о похищении бриллиантов на Хаттон-Гарден), выступил в защиту Идалджи. Все громче становился ропот: кто несет ответственность за решение "свободен, но виновен"?

Министерство внутренних дел отказалось давать объяснения по этому поводу, а вернее, вообще не желало входить ни в какие объяснения. Министр Герберт Гладстон, сын покойного "Великого старца", дипломатично заверил, что дело Идалджи будет досконально пересмотрено. Увы, это оказалось не так просто. В ту пору еще не было такого органа, как апелляционный уголовный суд, хотя вопрос о его создании рассматривался еще в связи с делом Адольфа Бека. Поэтому возникла проблема, как сызнова дать делу ход.

"Так что же, — поговаривали в пабах, — видно, приговор Идалджи останется в силе только потому, что нет такого юридического механизма, который мог бы его отменить?"

Что касается повторного слушания дела, то это действительно так. Однако сейчас речь идет, не смутившись признавало министерство внутренних дел, об исключительных обстоятельствах. Министерство соглашалось назначить комитет из трех беспристрастных судей; этот комитет должен был изучить на закрытых заседаниях все представленные материалы и выработать рекомендаций властям относительно их линии поведения.

"Превосходно!" — сказал Конан Дойл. Его не беспокоила отсрочка, ибо он был уверен, что может назвать имя истинного преступника. Путем обширной переписки и секретных поездок в окрестности Уирли он собирал материал, который можно было представить комитету.

"Улики против моего подозреваемого, — писал он матери еще 29 января, — уже сейчас достаточно весомые. Но я продолжаю вести расследование по пяти различным каналам одновременно и надеюсь, что скоро

добуду неопровержимые доказательства. Вот будет здорово, если мне удастся положить его на лопатки!"

И тут он стал получать нелепые послания от неугомонного "шутника-живодера". Они заползали в его почтовый ящик, словно змеи, чей яд уже потерял прежнюю вредоносность.

"Я узнал от одного сыщика из Скотленд-ярда, что если ты напишешь Гладстону, что виноват-таки Идалджи, то тебя в будущем году произведут в лорды. Что лучше, быть лордом или рисковать своими потрохами? Вспомни о кровавых делах ужасного убивца (sic!) — как бы и с тобой чего не случилось".

Не было сомнений, что эти угрозы исходили от того же самого "шутника". Не говоря уже о почерке, в этих посланиях было слишком много чисто местных подробностей, слишком часто и назойливо обращался писавший к идеям, коими был одержим уже многие годы. К примеру:

"В Уолсолле нельзя было учиться, пока эта грязная скотина (имярек) был директором гимназии. Он получил свое, когда до начальства дошли кое-какие сведения на его счет. Ха-ха".

И всюду "шутник" исступленно доказывал, что Идалджи, Идалджи, Идалджи — автор всех прежних анонимок.

"Доказательство — образец его почерка, который он поместил в газетах, когда его выпустили из тюрьмы, где бы надо ему сидеть до гроба со своим папашей и всеми другими черномордыми и желтомордыми жидами... Взгляни, дурак слепой, разве кому-нибудь подделать такой почерк".

Нет, не одной лишь злобой дышали эти письма. Конан Дойл давно уже понял, что их автору место среди умалишенных. Но он дорожил каждым росчерком его пера, потому что они давали материал для сравнения с теми, другими, письмами, восходящими к началу всей этой истории.

Вот что писал тогда Конан Дойл:

"Исходя из анализа почерка, я пришел к определенным выводам. Я утверждаю, что анонимные письма 1892—95 годов писали два человека: один из них достаточно образован, а другой — полуграмотный мальчишка-сквернослов. И я утверждаю, что почти все письма 1903 года написаны тем же сквернословом, достигшим двадцатилетнего возраста. На основании других данных я утверждаю, что Сквернослов не только был автором этих писем, но и калечил животных.

Но с ходу выдвинуть такие утверждения — значит начать с конца. Вернемся к началу. Обратимся к фактам в том виде, в каком они были нам представлены, и посмотрим, какие умозаключения можно из них вывести.

Прежде всего, одна деталь настолько бросается в глаза, что я удивлен, как можно было ее не заметить. Я имею в виду необычайно длительный перерыв между двумя потоками писем. Первая серия писем и по-детски нелепых розыгрышей длилась вплоть до конца декабря 1895 года. А после этого почти семь лет подряд никто в тех местах подобных оскорбительных писем не получал. Мне это говорит не о том, что винов-

ный внезапно изменил своим зловредным повадкам и нраву, а потом, в 1903 году, они вдруг вновь проявились, но о том, что он все это время отсутствовал; то есть неизвестный злоумышленник просто-напросто куда-то удалился.

Но куда же? Прочтем самое первое письмо из серии 1903 года. В нем в трех местах недвусмысленно говорится о море. Пишущий расхваливает матросскую жизнь, он бредит жизнью корабельного юнги. И ввиду его долгого отсутствия не естественно ли предположить, что он ушел в море и лишь недавно вернулся.

Заметим также, что последним издевательством над Идалджи в 1895 году было вымышленное объявление от его имени в Блэкпулской газете. Возможно, это и простое совпадение, каждый мог бы поехать отдыхать в Блэкпул; но все же не будем забывать, что этот курорт расположен близ Ливерпуля — морского порта.

Примем эту теорию в качестве рабочей гипотезы. Где же прежде всего искать следы нашего гипотетического злоумышленника? Безусловно, в списках учеников Уолсоллской гимназии!

Уолсоллская гимназия — явное связующее звено между двумя потоками писем. Среди писем группы "А" есть непристойное послание тогдашнему ее директору. Большой ключ, похищенный из Уолсоллской гимназии, был подброшен на порог дома Идалджи. А некоторые из писем группы "Б" подписаны именем ученика Уолсоллской гимназии. Я сам уже в 1907 году получил письмо, полное бредовых измышлений о директоре, возглавлявшем гимназию пятнадцать лет назад.

Поэтому я прежде всего направился в Уолсолл. Мне нужно было выяснить, учился ли в гимназии в начале 90-х годов мальчик, а) озлобленный на директора, б) отмеченный врожденной порочностью, в) ушедший впоследствии в море. Я предпринял этот естественный шаг — и сразу же напал на верный след".

Эти свои наблюдения Конан Дойл сообщил министерству внутренних дел, а через некоторое время, опустив последний абзац, поместил в "Дейли телеграф".

И вот между февралем и апрелем 1907 года все пять линий расследования стали сходиться в одной точке, и Конан Дойл получил возможность передать министерству подкрепленное свидетельскими показаниями досье следующего содержания:

В Уолсолле с 1890 по 1892 год учился мальчик по имени Питер Хадсон (имя это вымышленное, заимствованное из "морских" рассказов Конан Дойла); в тринадцать лет он был исключен из гимназии. Уже тогда Хадсон проявлял странные пристрастия. Он, например, любил подделывать письма, причем делал это весьма неуклюже. Особую страсть он питал к ножам. В железнодорожных вагонах по дороге в школу он поднимал подушки сидений и вспарывал обивку, выворачивая наружу конский волос.

Не однажды отцу Питера Хадсона приходилось платить штраф за то, что его сын срезал кожаные ремешки с вагонных окон. В Уолсолле учился мальчик по имени Фред Брукс, с которым Питер Хадсон не на шутку враждовал, так вот семья этого мальчика в 1892—95 годах

была завалена анонимными письмами. После исключения Хадсона отдали в обучение к мяснику; там он получил возможность вволю поупражняться во владении ножом на тушах животных.

В конце декабря 1895 года он нанялся юнгой на корабль. Его судно вышло в море из Ливерпуля. В начале 1903 года он окончательно сошел на берег и все то время, пока совершались нападения на животных, жил в окрестностях Грейт-Уирли.

Следует отметить, что в 1902 году он на протяжении десяти месяцев служил на судне, перевозившем скот. Там он приобрел навыки обращения с животными — навыки совершенно необходимые, подчеркнул Конан Дойл, тому, кто желает быстро и бесшумно подкрасться к жертве. "Сравните этого человека, — писал он, — с подслеповатым интеллигентом Идалджи".

Однако служба Хадсона на перевозившем скот судне повлекла за собой еще одно следствие — решающую в нашем деле улику.

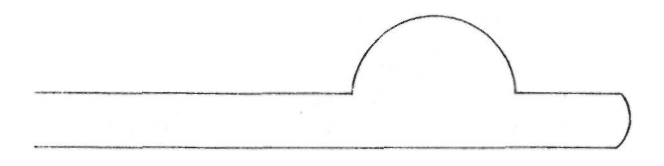
В июле 1903 года некая г-жа Эмили Смоллкинг навестила Питера Хадсона в его доме, стоящем на краю поля. Супруги Смоллкинг были давними друзьями семейства Хадсонов. В ту пору вся округа только и говорила, что об убийствах скота. Г-жа Смоллкинг упомянула об этом в разговоре с Питером Хадсоном, который впал вдруг в какой-то восторженно-доверительный тон. Он подошел к буфету, достал огромных размеров нож из тех, какими пользуются коновалы, и поднял его над головой.

"Глядите, — сказал он, — вот чем они убивают скотину".

Г-же Смоллкинг стало не по себе. "Убери это! — сказала она. И торопливо добавила: — А то я подумаю, не ты ли это делаешь".

Питер Хадсон спрятал нож на место. Впоследствии он попал в руки Конан Дойла. Не будем задаваться вопросом, как это произошло, лучше вернемся к досье для министерства внутренних дел.

"Во всех случаях увечения скота вплоть до 18 августа, — писал Конан Дойл, — раны носили необычный характер: это были узкие разрезы, рассекавшие кожу и мышцы, но не проникавшие во внутренности. Если использовать режущее орудие, оно непременно в каком-нибудь участке разреза войдет слишком глубоко и затронет острием или лезвием внутренности. Обратите внимание на то, как устроено лезвие этого инструмента:



— нож заточен очень остро, и все же он производит лишь поверхностный надрез. Я утверждаю, что такой нож, похищенный Питером Хадсоном на судне, — единственный инструмент, с помощью которого можно было совершить все эти преступления".

Этаж за этажом воздвигал Конан Дойл систему доводов; он доказал, что Джон Хадсон, старший брат Питера, принимал участие в написании писем 1892—95 годов и что семья Идалджи давно уже была предметом ненависти обоих братьев. Некоторые наиболее веские и уничтожающие доводы мы привести здесь не можем, ибо они слишком явно укажут на личность Хадсона, но власти с ними ознакомились.

В ожидании отчета комитета по изучению дела Идалджи Конан Дойл все больше исполнялся уверенности, что справедливость восторжествует. Он был в этом убежден. Да и весь этот год складывался для него замечательно — год исполнения желаний: в сентябре он должен был обвенчаться с Джин Лекки.

"И мы, — писал он, — пригласим Идалджи на свадьбу".

В конце мая были обнародованы рекомендации комитета и решение министра внутренних дел. В правительственном заявлении, "представленном обеим палатам по указу Его Величества", излагались выводы комитета. На г-на Йелвертона, первого защитника Идалджи, они произвели ошеломляющее впечатление.

Джордж Идалджи, утверждали члены комитета, был ошибочно обвинен в нападении на домашних животных; они не могут согласиться с приговором присяжных. С другой стороны, они не видят оснований сомневаться в том, что Идалджи был автором анонимных писем. "Признавая его невиновным, нужно отметить, что он до некоторой степени сам виноват в своих неприятностях". Следовательно, он будет реабилитирован, но не получит никакой компенсации за трехлетнее пребывание в тюрьме, раз он сам навлек на себя беду.

Иными словами, опять компромисс с совестью.

Это уже чересчур. В палате общин на министра внутренних дел градом отравленных стрел посыпались едкие вопросы. Общество юристов, выражая мнение коллег Идалджи, немедленно восстановило его в списке юрисконсультов с правом юридической практики. "Дейли телеграф" объявила подписку на триста фунтов стерлингов в пользу Идалджи. А доведенный до крайности Конан Дойл потребовал объяснений у министерства внутренних дел.

— Вы что, считаете, — вопрошал он, — что Джордж Идалджи сумасшедший?

— Нет, на это не похоже.

— Может быть, когда-нибудь ранее возникали сомнения в его вменяемости?

— Никогда.

— Тогда как вы можете всерьез утверждать, что он послал мне семь злобных писем, угрожая расправой?

— Мы можем только посоветовать вам обратиться к отчету Комитета, страница шестая. "Эти письма, — говорится там, — имеют лишь весьма отдаленное отношение к вопросу о справедливости приговора, вынесенного Идалджи в 1909 году". Весьма сожалеем, но это все.

Нет, это было не все. Конан Дойл вновь ринулся в бой на страницах "Дейли телеграф" — сначала циклом статей под заголовком "Кто был автором писем?", а затем — с июня по август — собственными

письмами в редакцию. "Я этого дела так не оставлю!" — писал он. Он раздобыл одному ему ведомыми способами аутентичные образцы почерка Питера и Джона Хадсонов. Эти образцы вместе с анонимными письмами он передал д-ру Линдсею Джонсону, лучшему в Европе специалисту по почеркам, которого в свое время пригласил мэтр Лабори, адвокат Дрейфуса. Исходя из очевидного сходства почерков, подтвержденного заключением д-ра Линдсея Джонсона, Конан Дойл доказал, что Питер Хадсон являлся основным автором анонимок, а Джон Хадсон — его сообщником.

С официальной точки зрения это ничего не значило. Представители властей дружно уверяли, что, поскольку против Питера Хадсона никогда не возбуждалось дело ни по обвинению в написании анонимных писем, ни в калечении домашнего скота, никакое дальнейшее расследование не представляется возможным. Остается только добавить, что неугомонный шутник еще в 1913 году, когда все давно уже позабыли об Идалджи, время от времени рассылал в центральных графствах письма, полные безумных угроз.

Но вот за звуками церковных гимнов, гулом органа и восторженными восклицаниями не стало слышно шума вокруг дела Идалджи. 18 сентября 1907 года, будто единым взмахом, развернулись красный ковер в отеле "Метрополь" и газетные заголовки:

"Бракосочетание сэра Артура Конан Дойла" ("Лондон морнинг пост"). "Сэр Артур Конан Дойл женится на мисс Джин Лекки" ("Нью-Йорк геральд"). "Сэр А. Конан Дойл женится" ("Манчестер гардиан"). Среди газетных вырезок в архиве Конан Дойла мы находим отклики из отдаленных краев: «„Сыщик-виртуоз" и его невеста» ("Берлинер цайтунг"), "Шерлок Холмс все-таки женился" ("Буэнос-Айрес стандарт"), "Женщина-сыщик" ("Ля кроник", Брюссель). Последний заголовок кажется интригующим, пока мы не обратимся к еще более поразительному объяснению бельгийского репортера:

"Конан Дойл, английский писатель, создавший образ гениального сыщика Шерлока Холмса, недавно женился. По словам одного французского журналиста, юная поклонница детективного жанра была столь очарована необычайными приключениями короля сыщиков, что вступила в брак с его создателем".

Венчание совершалось в церкви св. Маргариты в Вестминстере. Чтобы избежать толпы зевак, о которых Конан Дойл не мог помыслить без отвращения, название храма не было объявлено в газетах. Приглашены были только близкие родственники и несколько друзей. И, когда у входа в церковь, в тихом солнечном уголке аббатства развернулся полосатый тент, — это привлекло лишь нескольких любопытных прохожих.

Первым появился жених, величаво выступавший в традиционном фраке и белом жилете, с веточкой гардении в петлице; по словам одного репортера, он являл собой "олицетворение счастья". Его сопровождал в качестве шафера крайне взволнованный Иннес. За ними шествовала мать жениха — седовласая, в платье из серой парчи, — а за нею шли гости. В два часа вышла из кареты, опираясь на руку отца, Джин

Лекки в платье, отделанном белыми испанскими кружевами и расшитом по серебристому фону жемчугом.

Службу совершал Сирил Эйнджел, зять жениха. Пятилетний сын Сирила и Додо, одетый пажом, нес длинный шлейф невесты, когда та шла по проходу в сопровождении своих подруг, Лили Лоудер-Симондз и Лесли Роуз. В церкви было прохладно, благоухали охапки цветов и царило радостное возбуждение. Очевидец отметил, что жених отвечал на вопросы священника звонким и взволнованным голосом, ответы невесты были едва слышны".

Венчание совершалось торжественно, голоса певчих гулко звучали в полупустом храме; на свадебном приеме в "Метрополе" все выглядело иначе. Под руку с Джин, следя, чтобы она не запуталась в длинном шлейфе, сэр Артур поднялся по застланной красным ковром лестнице туда, где в зале среди высоких пальм и белых цветов их ожидали 250 человек гостей.

Он рад был приветствовать и д-ра Хора с супругой, у которых он служил ассистентом более двадцати пяти лет назад, и Булнуа, товарища по странствиям в южных морях. Были там и Джеймс Барри, и Джером К. Джером, и Роберт Барр, который, как и встарь, ревел медведем над бокалом шампанского. Были и другие друзья: сэр Гилберт Паркер, Макс Пембертон, Фрэнк Баллен, сэр Джон Лангмен, не говоря уже об Арчи Лангмене, живом напоминании о бурской войне; был и сэр Роберт Крэнстон, который руководил его избирательной кампанией на выборах в Эдинбурге. Когда заиграл оркестр и были открыты три корзины с поздравительными телеграммами, Конан Дойла охватило чувство, будто он листает альбом из "добрых старых времен".

И еще одному гостю обрадовались все. Это был Джордж Идалджи, который преподнес в качестве свадебного подарка однотомные издания Шекспира и Теннисона. Запинаясь, пробормотал он поздравления и слова благодарности. Потом, за чаем, когда новобрачные прощались с гостями перед отъездом в свадебное путешествие по Европе, Идалджи начал было снова благодарить сэра Артура. Но тот ответил, что не заслуживает ничего сверх поздравлений по случаю свадьбы.

"Я очень счастлив. Я очень рад. Господь с вами", — сказал он.

В том же году, во многом благодаря делам Адольфа Бека и Джорджа Идалджи, был наконец учрежден апелляционный уголовный суд. Это событие совпало с другими знамениями нового века: Маркони соединил материки беспроволочным телеграфом, а Фарман почти час продержался в воздухе на своем биплане. Но, вспоминая дело Идалджи и ту роль, которую в нем сыграл Конан Дойл, мы не можем не задаться вопросом, ответ на который напрашивается сам:

"Кто же был истинным прототипом Шерлока Холмса?"

ГЛАВА XVI

ПАСТОРАЛЬ: УИНДЛШЕМ С ТЕАТРАЛЬНЫМИ ИНТЕРМЕДИЯМИ



«Будучи единственным оставшимся в живых свидетелем похорон Эдгара Аллана По, — писал мистер Элден в феврале 1909 года, — и одним из немногих, видевших его при жизни, я крайне сожалею, что мой преклонный возраст и слабое здоровье не позволят мне присутствовать на юбилейном обеде, где Вы будете председательствовать.

Живя в то время в Балтиморе, моем родном городе, я часто видел мистера По; при некоторой моей юношеской сентиментальности я был очень увлечен им самим, помимо его литературного гения.

Необычно холодным и мрачным октябрьским днем я вышел из дому, и вдруг мое внимание привлекли приближающиеся похоронные дроги, за которыми тянулись два наемных экипажа, все это было весьма скромного вида. Когда я поравнялся с этой маленькой процессией, что-то побудило меня обратиться к вознице : „Кого это хоронят?" К моему великому изумлению он ответил: „Мистера По, поэта"».

Такие штрихи из биографии вечно голодного, изможденного гения до глубины души трогали Конан Дойла, для которого По был одним из первых его литературных кумиров. Он всегда утверждал, что Эдгар Аллан По — величайший мастер рассказа всех времен и народов. И теперь, занимая место во главе стола на обеде в честь столетия со дня его рождения, он вновь заговорил об этом, отдавая ему дань как изобретателю детективного жанра.

Конан Дойлу недавно исполнилось пятьдесят. В волосы и усы вкрались легкие нити седины. Но полнота жизни и семейное счастье гнали прочь всякую мысль о старости. Колесо судьбы сделало полный оборот, вернув его к давно минувшим добрым временам. Эти семь лет, прошедшие со дня женитьбы в 1907 году, были, наверное, счастливейшими в его жизни, обращавшейся сейчас вокруг жены и нового дома Уиндлшем в Кроуборо, Суссекс.

Уиндлшем, стоявший в безлюдной открытой местности, простиравшейся от Кроуборо-Бикона до Суссекской возвышенности, был основательно переделан, увеличен и теперь мало походил на тот невзрачный деревенский дом, который он приобрел накануне свадьбы. Родители Джин уже много лет подряд проводили летние месяцы в Кроуборо, и он решил: дочь должна жить неподалеку. Этот пустынный уголок Суссекса, сто лет назад населенный лишь одними цыганами, контрабандистами и угольщиками — цыганские черты узнаются в жителях и по сей день, — освежал его воображение не хуже бриза с морского побережья.

Уиндлшем, с его пятью фронтонами, серыми стенами и белыми оконными рамами, с красной черепицей и красными же трубами, был виден издалека. Главный фасад, перед которым Джин разбила розарий, выходил на юго-запад. В правой части дома, если стоять к нему лицом, размещался его кабинет.

В передней комнате сидел секретарь, Альфред Вуд, человек плотного сложения, военной выправки, лет на шесть младше него. Это помещение отгораживалось от следующего малиновыми шторами. Ряд окон и балкон задней комнаты кабинета выходили на то, что некогда было Эшдаунским лесом, на красные вымпелы площадки для гольфа, а дальше, сколько хватало глаз, стелился багряно-желтый терновник, таявший в голубой дымке Суссекских холмов, убегающих к Проливу.

— Взгляните туда! — любил он говорить, подходя к окну и указывая вдаль. — Видите эту группу деревьев в четверти мили отсюда слева?

— Да, да. Что это?

— Это так называемый Кровавый Дол. Когда-то, во времена контрабандистов, там произошла жестокая стычка с таможенниками. — И он оглядывался на кожаные кресла, книжные полки, старый верный письменный стол, на поверхности которого лежала большая лупа, а во внутреннем ящике — небольшой пистолет. "Разве здесь не должно хорошо работаться?"

В первое время, однако, он работал мало. Чтобы доставить удовольствие Джин, он написал еще два холмсовских рассказа — "В Сире-

невой Сторожке" и "Чертежи Брюса-Партингтона". И опять же в угоду Джин занялся он садоводством, да так рьяно, что ей приходилось напоминать, что он не землекоп, а садовник. Дом их был всегда полон гостей; два дня в неделю они совершали визиты или сами принимали в Лондоне.

Он так гордился ее обаянием — она любила одеваться в голубое, оттеняющее ее карие глаза и темно-золотистые волосы, — что даже самые тягучие приемы не угнетали его. А у Джин, при всей ее любви к музыке, животным и цветоводству, было в жизни лишь одно настоящее увлечение — ее безупречный супруг. Что бы Артур ни сказал или ни сделал — он всегда прав. Однажды, после обеда, за которым лорд Китченер не совсем учтиво обошелся с ее мужем, она, чисто по-женски негодуя, решилась писать Китченеру о том, как должен вести себя истинный джентльмен. А муж ее, посмеиваясь про себя, однако весьма польщенный, сделал вид, что ничего не замечает, и не стал ей мешать.

В Уиндлшеме главную роль в их быту стала играть непомерных размеров бильярдная, связанная со столькими воспоминаниями.

Бильярдной этой — во всю ширину дома с востока на запад, с окнами во всю стену по торцам, в которой, когда сворачивали ковры, могли танцевать сразу 150 пар, — Конан Дойл, перестраивая дом, отвел роль гостиной — средоточия всей жизни.

В одном ее конце, под сенью пальм, стояли рояль и арфа Джин. В другом конце, под лампой с зеленым абажуром, — его бильярдный стол. И рояль, и бильярд в этом огромном помещении терялись, как терялись обитые парчой кресла и разостланные по полу звериные шкуры. Над камином висел портрет Тома Стаффорда кисти Ван-Дейка, принадлежавший его деду Джону. Над другим камином, в алькове, не уступающем размерами иной комнате, висела оленья голова в обрамлении патронташей — трофей из Южной Африки. По стенам, обтянутым голубыми обоями, шел бордюр из оружия наполеоновских времен. И среди оружия висел его собственный портрет работы Сиднея Пейджета.

С наступлением сумерек, при свете газовых светильников, льющемся сквозь розовый шелк и стекло абажуров и отраженном в натертых до блеска полах, сколько голосов, сколько бесед слышали они с Джин в стенах этой самой бильярдной, где оживает для нас атмосфера довоенной эпохи.

Тут и сэр Эдвард Маршалл Холл, Великий Защитник, доказывающий, что д-р Криппен мог быть оправдан. И исследователь Арктики Стефанссон, развернувший на бильярде свои географические карты. В алькове сидит Редьярд Киплинг и, покуривая гаванскую сигару, рассказывает историю об убийстве "внушением" в Индии. И Уильям Дж. Бернс, американский детектив, объясняющий действие детектофона и осаждающий хозяина вопросами о Шерлоке Холмсе. У рояля Льюис Уоллер, романтический актер, непревзойденный Генрих V; когда он читает отрывки из своих ролей, его голос заставляет звенеть хрустальным звоном стеклянные с шелковой драпировкой абажуры.

Но для 1909 года это пока еще сцены из будущего. А обед в честь

По, в марте того же года, происходил незадолго до рождения их первенца. И хоть отец не был новичком, его на сей раз "охватила такая тревога, что стыдно признаться". Ребенок, мальчик, появился на свет в день святого Патрика. Матушка была в восторге.

"Итак, — писала она, сразу переходя к делу, — как насчет имени? — Учитывая день появления на свет, почитая дедушку и семейные традиции, я склоняюсь к имени Патрик Перси Конан Дойл".

Но сами родители не испытывали склонности к этому имени, о чем и сообщили матушке. И спустя три дня тон матушкиного письма уже иной.

"Вы вольны поступать как вам угодно, — выражает матушка гордое безразличие. — Это, безусловно, ваше право". После недолгих пререканий матушка, мечтавшая, что все ее отпрыски будут носить "великое древнее имя" Перси Баллинтампль "в сочетании с Конанами, как в Сальде-Шевалье на Монт-Сен-Мишель", смирилась с предложением назвать внука Денис в честь сэра Дениса Пака из рода Фоли.

Едва лишь Денис Перси Стюарт Конан Дойл был крещен, как его отец с новым пылом бросился на защиту угнетенных и беззащитных. Теперь это было "Преступление в Конго". А мишенью его был Леопольд Второй, король Бельгии.

На "Черном континенте", на несколько тысяч квадратных миль, простиралось Свободное государство Конго, по большей части покрытое непролазными джунглями, в 1885 году признанное международным соглашением. Управление им возлагалось на бельгийского короля, который был призван "способствовать моральному и материальному благополучию коренного населения".

Но старый сатир, король Леопольд, сочетавший веселый нрав с холодным цинизмом, понимал благосостояние туземцев по-своему. Конго сулило Соломоновы сокровища (слоновая кость и золото), стоило только кнутом и цепями, калеча и убивая, запрячь в работу черных. Долгие годы эти сокровища перетекали в его карманы. Он не обнародовал никаких отчетов. Кроме его ближайших советников, нескольких человек в Бельгии, никто не знал, как на самом деле управляется Конго. Но постепенно, из консульских донесений и протестов миссионеров, Европа уловила царящий в джунглях дух. То был дух насилия и смерти.

В 1903 году Британское правительство не из одних лишь гуманных побуждений, но и блюдя интересы свободной торговли, выступило с протестом. Росло возмущение и в Бельгии. Конан Дойл, впервые ознакомившись с подлинными фактами, просто отказывался верить. Картина зверств, изощренного надругательства и насилия даже в наш жестокий век заставляла содрогнуться.

"Я убежден, — писал он в предисловии к "Преступлению в Конго", появившемуся в октябре 1909 года, — что причина безучастности общественного мнения к вопросу о Конго в том, что эта ужасающая история не доходит до людского сознания". И поэтому цель своей новой книги, где так же, как и в "Войне в Южной Африке...", каждое утверждение тщательно подкреплялось цифрами и фактами и которая не принесла ему ни пенни дохода, он видел в том, чтобы донести до людей правду о Конго.

"Я очень рад, — писал Уинстон Черчилль, тогдашний глава Министерства торговли в либеральном правительстве, — что Вы обратили свой взор на Конго. Я окажу Вам посильную помощь". Руку помощи протянул из Реддинга в Коннектикуте и умирающий Марк Твен.

Но... "Осторожно!" — предупреждало Министерство иностранных дел; сэр Эдвард Грей, его глава, считал, что эта шумиха вокруг Конго угрожает европейскому миру. Впрочем, запущенная Конан Дойлом кампания уже набрала ход, в то время как он сам оказался действующим лицом иной, несколько комической американской антрепризы.

4 июля в Рено должна была состояться встреча на звание чемпиона в тяжелом весе между Джимом Джефри и негритянским боксером Джеком Джонсоном, но расовая проблема мешала выбору рефери, и, если бы сэр Артур Конан Дойл соблаговолил выступить в этой роли, обе стороны были бы удовлетворены.

"Ей-богу, — говорил он, — подобного спортивного предложения мне еще не приходилось получать".

Он и сам еще не оставил занятий боксом, и каждую неделю в Уиндлшем приезжал его спарринг-партнер. Джин, хорошо его изучившая, была гораздо менее удивлена американским предложением, чем некоторые его друзья.

— Так ты собираешься ехать?

— Ехать? Разумеется, собираюсь! Это великая честь!

Вилли Хорнунг и даже Иннес пытались отговорить его, уверяя, что англичанин в роли судьи американского поединка с расовым подтекстом должен быть счастлив унести ноги живым. Тут-то и заключалась их тактическая ошибка. Ничто не могло бы так повлиять на его решение — он немедленно принял предложение. И если неделю спустя ему пришлось-таки с горечью отказаться, то лишь вняв голосу совести, преследовавшей его столь же неотступно, как и матушка.

"Дело Конго только начинается, — твердила совесть. — Ты не можешь бросить все в таком виде. Просто не имеешь права! К тому же нельзя забывать о театре".

Правда, тут, в театре, он нашел себе одно слабое утешение. Задолго до 4 июля, когда Джонсон на пятнадцатом раунде разделался с Джефри, тот, кто должен был быть рефери на их поединке, стоял на галерке театра "Аделфи" и следил за боем по ходу его собственного боксерского представления — пьесы "Дом Темперли".

1910 год прошел для него под знаком театра — то был год натянутых до предела нервов и едва ли не провала. Точнее говоря, началось это раньше, полгода тому назад, когда пьеса "Огни судьбы" (так называлась инсценировка "Трагедии в Короско" с изменениями в сюжете) была успешно поставлена в театре "Лирик".

Уже знакомый нам Льюис Уоллер играл в "Огнях судьбы" главную роль весьма юного полковника бенгальских улан. Уоллеру требовались роли блестящие — удачней всего выходил у него д'Артаньян и мосье Бокэр, он был кумиром женщин, выразителем мужественного начала, при этом подвижным и оживленным, как поющая юла; он даже мог играть в паре с актрисой (какой актер отважился бы на такое?) выше его

ростом. И уже в 1906 году, когда он некоторое время руководил Имперским театром и выступал вместе с Лили Лангтри, Уоллер сыграл роль в "Бригадире Жераре".

Мы до сих пор не упоминали о "Бригадире Жераре", потому что это была далеко не лучшая пьеса Конан Дойла. Бригадиру нужны монологи, нужно, чтобы он был сам себе рассказчиком, чтобы сам себе создавал фон и бряцал оружием, то есть это была бы идеальная современная радиопостановка. Хотя автор изо всех сил пытался выжать комедию и своего хвастливого героя, почитательницы Уоллера были разочарованы и недовольны. Где берущая за душу торжественность? Где волоокий мосье Бокэр?

"Ты знаешь, — услышал Конан Дойл в фойе слова одной девушки, — были минуты, когда я едва могла удержаться от смеха". Что тут скажешь!

Но Уоллера в качестве полковника Эджертона из "Огней судьбы" выручала мелодраматичность и "нравоучительность" (как значилось в подзаголовке) пьесы. Успех, каким пользовалась постановка летом и осенью 1909 года, когда он делил расходы с Уоллером, укрепил давно зревшую в Конан Дойле уверенность, что он сможет покорить сцену, если, вопреки оценке менеджеров, возьмется поставить за свой счет "Дом Темперли".

"Дому Темперли", поначалу называвшемуся "Дни регентства", потребовалось семь актов и 43 персонажа, не говоря уже о статистах. Конечно, ни один менеджер не прикоснулся бы к столь разорительной постановке. Но это была его старинная мечта: спектакль, зрелище, панорама спортивной жизни Англии 1812 года, которая предстанет во всех точнейших подробностях и покажет, что в профессиональном боксе нет ничего низкого, если оградить его от мошенничества. А боксерский поединок на сцене театра!..

Он подписал весьма рискованный контракт об аренде театра сроком на шесть месяцев. И 27 декабря 1909 года, когда в Аделфи поднялся занавес, Конан Дойл находился в ложе, тщательно укрывшись за шторами и сжимая руку Джин.

В прессе уже пробежал легкий трепет перед предстоящим событием. "Уикли диспетч" послала в качестве театрального критика Фредди Уэлша, чемпиона Англии в легком весе, вызвав язвительное замечание "Вестминстер газетт", что впредь обозревателями пьес о бродягах будут, по всей видимости, профессиональные взломщики. В передних рядах можно было видеть Юджина Корри, рефери национального спортивного клуба, и лорда Эшера, председателя ассоциации территориальных войск Лондонского графства. Аделфи, традиционный дворец мелодрамы, был набит битком.

Зрители увидели, что "Дом Темперли" не был инсценировкой "Родни Стоуна", хотя и имел с ним много общего. Первый акт, разворачивающийся в величественном поместье Темперли, был вялым и высокопарным; в нем намечалась какая-то поверхностная любовная интрига, которой никто, включая автора, заинтригован не был. Конан Дойл, ерзая в ложе, нацарапал на программе: "Слишком анемично!".

Но с первых же реплик второго действия пьеса пробудилась к жизни.

Теперь уже в партере аплодировали, а галерка ликовала. Невозможно было усидеть на месте, поддавшись азарту реалистической постановки. Ибо то, что происходило на сцене, было далеко не имитацией. Натаскивал актеров Фрэнк Биннисон, инструктор по боксу, а помогал ему сам автор, выступавший на репетициях поборником реализма.

Ничего подобного, признавала пресса на следующий день, на сцене не видывали. Там был еще эпизод военного сражения — естественно, с грохотом, разрывами снарядов и пороховым дымом. Ну да это — как впоследствии оценил его сам автор — был перебор, хотя и задевавший патриотические струнки публики. Когда в одиннадцать часов занавес наконец опустился, ликование уже охватило партер, а галерка — та была просто вне себя от восторга.

"Когда сэр Артур вышел на поклон, — писала на следующий день "Дейли ньюс", — ему был оказан великолепный прием".

Итак, он добился своего. Он поставил на сцене боксерский поединок. Публике это пришлось по душе. Он был счастлив. И все же, продержавшись четыре месяца при все пустеющем зале, "Дом Темперли" сошел со сцены.

Клемент Скотт из "Джона Буля" был, видимо, единственным критиком, предрекшим такой конец. Другие обозреватели сулили спектаклю жизнь до Судного дня. Это была пьеса для мужчин. Но мужчины редко приходят в театр одни, без женщин, или же женщины ходят в театр сами. И хотя нельзя сказать, что в 1910 году женщины совершенно игнорировали боксерские соревнования ("Лондон опинион" отмечает появление недавно вошедших в моду гофрированных пышных юбок на местах за полгинеи), но все же пьеса, не затрагивающая женских проблем, не может вызвать их сочувствия.

Можно либо развить крепкую любовную интригу, либо использовать беспроигрышный мотив девушки в опасности, но нельзя пренебрегать и тем и другим вместе. Конан Дойл, терпя еженедельные убытки и имея на руках столь катастрофически расточительный театр, использовал всевозможные приемы, чтобы спасти "Темперли". Когда матушка корила его за то, что он забывает ей писать, особенно теперь, когда Иннеса недавно произвели в майоры, он не имел смелости рассказать ей, что дела его очень плохи.

"Моя одноактная пьеса "Баночка икры" (это было переложение одного из его лучших рассказов) идет на бис к "Темперли", и весьма успешно. Дела в Лондоне обстоят из рук вон плохо, — писал он 21 апреля 1910 года, — но мы надеемся постепенно наверстать".

6 мая скончался король Эдуард. Для большинства его кончина явилась совершенной неожиданностью, мало кто даже знал, что он был серьезно болен. Вест-Энд погрузился в траур, людям было не до театра. А между тем, как мы теперь знаем из письма, о котором Конан Дойл и не подозревал, он уже давно мог уступить Аделфи под музыкальную комедию и тем самым избежать новых убытков. Но он был слишком упрям, он не мог признать поражения. Еще до апрель-

ского письма матушке он увлекся другой пьесой, которую написал в одну неделю и тотчас же принялся за ее постановку.

"Черт подери! Они еще увидят!"

"Дом Темперли" закрыл свои двери незадолго до похорон короля Эдуарда. 4 июня, менее чем через месяц, Аделфи осветили огни новой премьеры. Это была "Пестрая лента".

"Пестрая лента" принесла больше, чем он потерял; и уверенно не сходя со сцены, имела еще до сентября две гастроли. Тут были Холмс и Уотсон; прежние божества вновь явили свою живительную силу.

Однако — в наши дни, когда мельчайшие подробности приключении Холмса приобрели такое значение, — надо предостеречь его приверженцев от чтения пьесы "Пестрая лента". Они найдут Холмса и Уотсона в лучшей форме, но с ума сойдут, пытаясь привести в порядок хронологию.

В хорошо знакомой нам обстановке на Бейкер-стрит появляется лучезарный Уотсон, только что обручившийся с Мэри Морстен из "Знака четырех". Холмс в халате обескуражил его.

— О Боже, Холмс! Я бы вас никогда не узнал.

— Дорогой Уотсон, когда вы станете меня узнавать, это будет начало конца. Мне придется коротать остаток дней, разводя птиц на какой-нибудь ферме.

И тут великий ум, пристально взглянув на Уотсона, догадывается, что тот недавно обручился и с кем.

— Но, Холмс, это удивительно! Леди зовут мисс Морстен, вы имели честь ее видеть и восхищаться. Но как вы узнали...

— По тем же признакам, мой дорогой Уотсон, которые убеждают меня в том, что вы виделись с этой леди сегодня утром.

Он снял с плеча Уотсона длинный волос, намотал его на палец и стал рассматривать в лупу: "Очаровательно, дружище! Нельзя не узнать этот тициановский оттенок".

(То есть, рыжий, как мы понимаем. Но у Мэри Морстен были белокурые волосы, и едва ли она вознамерилась бы их перекрасить. Так чьим же обществом наслаждался Уотсон на сей раз?)

В Аделфи носились беспокойные зловещие тени. Роль д-ра Райлотта (вместо Ройлотта) играл Лин Хардинг, который сказал однажды младшему коллеге, что актер, знающий свое дело, может держать зал в напряжении, декламируя таблицу умножения. Мисс Кристина Силвер играла Инид (а не Элен) Стонор, девушку, над которой нависла опасность. Х. А. Сейнтсбери был Шерлоком Холмсом, Клод Кинг — доктором Уотсоном.

Все работало на развязку в третьем акте, когда в тусклой спальне луч потайного фонаря выхватывает из темноты сползающую по шнуру от звонка змею. Змея же, первоначально настоящая, была подменена столь искусно выполненным чучелом, что оно могло, посредством натяжения невидимых нитей, двигаться с чудовищным натурализмом.

Холмс стегает шнур, и в следующее мгновение зал слышит из соседней комнаты вопль д-ра Райлотта, на которого набросилась уползшая змея. Звук тростниковой дудочки, все набиравший силу, резко обры-

вается. Слышны торопливые шаги в коридоре. Холмс распахивает дверь, проливая на темную сцену дорожку желтого света. И в этом освещенном проеме стоит д-р Райлотт: огромный, судорожно искривленный силуэт, змея обвивает его голову и шею.

С хриплым криком он делает два шага и падает. И тут, производя невиданный театральный эффект, змея медленно сползает с его головы и извивается на сцене, пока Уотсон не добивает ее своей тростью.

Уотсон *(глядя на змею)*: Гадина мертва.

Холмс *(глядя на Райлотта)*: Другая тоже.

(Оба бросаются, чтобы подхватить потерявшую сознание девушку.)

Холмс: Мисс Стонор, вам больше не угрожает опасность под этой крышей.

В конце сентября, когда "Пеструю ленту" запустили в Глоб-театре, Конан Дойл стал собираться домой, в Уиндлшем — ему требовался хотя бы краткий отдых. Весь этот год, среди всех театральных забот и волнений он искал поддержку в борьбе за реформы в Конго. Один из тех, у кого он нашел сочувствие, был Теодор Рузвельт, ныне экс-президент Рузвельт. Конан Дойл всегда симпатизировал ему и как государственному деятелю, и как спортсмену. Не было и более страстного читателя детективов, чем Теодор Рузвельт. В письме, отправленном в июле 1903 года из Ойстер-бей, мы читаем: "Президенту стало известно, что сэр Артур вскоре будет в нашей стране (информация была ошибочной), и желает узнать, когда и где его можно повидать по приезде".

Но они не встретились вплоть до мая 1910 года, когда Рузвельт побывал в Лондоне, завершив охотничий сезон в Африке. Это было на ланче, вскоре после похорон короля Эдуарда.

"Мне *нравилось* быть президентом", — говорил Рузвельт, обнажая в улыбке зубы и стукнув для убедительности по столу на слове "нравилось". Он поинтересовался, как себя чувствует Шерлок Холмс, и был рад узнать, что идут репетиции "Пестрой ленты".

Собирая пожитки в отеле "Метрополь", Конан Дойл не желал уже больше слышать ни слова о "Пестрой ленте" или какой-нибудь другой пьесе. Он сходил с театральных подмостков, как сообщил он в интервью, данном 18 сентября репортеру "Рефери".

— Я покидаю театральное поприще не потому, что театр меня не волнует, — сказал он. — Напротив, он волнует меня слишком сильно. Это так затягивает, что отвлекает мысли от более важных проблем жизни.

Не поймите меня превратно! Для тех, кто способен воспринимать важные проблемы жизни в драматургическом ключе, все это, возможно, и не так. Я же знаю свои пределы. — Он подумал об "Огнях судьбы", "нравоучительной пьесе", смысла которой, как это ни горько вспоминать, публика не разглядела или не захотела разглядеть. — И вот я дал зарок, что никогда не буду писать для сцены.

— Каковы ваши планы?

— О, я хочу провести зиму за чтением.

В Уиндлшеме, где вас встречал паж в ливрее, в точности как в спектакле "Пестрая лента", в эту осень было не много развлечений. Второй

ребенок Джин, и опять мальчик, родился 19 ноября. Они назвали его Адриан Малкольм: в честь д-ра Малкольма Лекки, любимого брата Джин, а Адрианом просто потому, что ей это имя нравилось. В ту зиму Конан Дойл вновь углубился в Римскую историю и писал рассказы, которые впоследствии составили часть "Последней галеры".

Римская история была только одним из целого ряда занятий в эти уиндлшемские годы, давшие обильную пищу его пухлым записным книжкам. Его ум, всегда беспокойный, должен был над чем-то работать; он должен был разминаться; должен был занять себя, чтобы не застояться. Нумизматика, археология, ботаника, геология, древние языки: все это в свой черед увлекало его, и, говоря о чтении, он имел в виду не ленивое почитывание.

В прошлый год, к примеру, он погрузился в филологию. Отдыхая в Корнуолле, он изучал древний корнуоллский язык и пришел к убеждению, что он родственен халдейскому. Корнуолл дал ему фон еще для одного рассказа, появившегося в этом году: "Дьяволова нога". И сверх всего этого широчайшая переписка.

Постоянную тему его уиндлшемской корреспонденции составляли просьбы о помощи в расследовании запутанных дел. Некогда они были обращены к Шерлоку Холмсу, но после дела Идалджи — что знаменательно — адресовались лично Конан Дойлу.

Например, когда на польского дворянина пали серьезные подозрения в убийстве, его родственники просили Конан Дойла назвать свою цену, предлагая выслать незаполненный чек, с тем, чтобы он приехал в Варшаву и разобрался в деле. Он отказался. Совсем иначе отнесся он к девушке по имени Джоан Пейнтер, сестре милосердия из Северо-Западного госпиталя в Хемпстеде, чьи отчаянные письма словно были взяты из его собственных рассказов.

"Я пишу Вам, — умоляла она, — потому что не могу представить себе никого иного, кто мог бы мне помочь. Я не в состоянии сама нанять детектива, потому что у меня нет денег, не могут и мои родственники по той же причине. Около пяти недель тому назад я повстречала человека, датчанина. Мы обручились, и, хотя я не хотела, чтобы он говорил об этом некоторое время, он настоял на поездке в Торки к моим родственникам..."

В некоторых деталях это походило на "Установление личности", хотя мотивы были различны. Молодой датчанин завалил ее подарками, уговорил оставить работу в госпитале и затем, когда все приготовления к свадьбе были сделаны, исчез, как мыльный пузырь.

Но у девушки не было денег, и он это прекрасно знал. Не было тут и соблазнения или попытки соблазнения. Мисс Пейнтер, не помня себя, пришла в Скотленд-ярд, где решили, что ее жених попал в руки мошенников, но они не смогли его разыскать. Не смогла его разыскать и датская полиция. Если он исчез добровольно, если он не похищен и не убит, то чем объясняется его поведение? И где он находится?

"Пожалуйста, не сочтите это за наглость с моей стороны, — заканчивалось письмо мисс Пейнтер, — я очень несчастна и как раз сегодня утром подумала о Вас, пожалуйста, сделайте для меня все, что можете, и я буду Вам вечно благодарна".

Может ли рыцарь остаться равнодушным к такой мольбе? Ответ очевиден.

Так вот — он обнаружил этого человека. "Я смог, — писал Конан Дойл впоследствии, — методом дедукции и показать, куда он делся, и убедить, что он не стоит ее чувств". Об этом мы находим свидетельство в последнем из писем мисс Пейнтер.

"Я не знаю, как отблагодарить Вас за Вашу доброту. Как Вы говорили, я своеобразным путем избежала горшей участи, и мне не хочется даже думать, что было бы, не исчезни он в свое время. Я возвращаю письмо и, конечно, сразу сообщу Вам, если когда-либо услышу о нем хоть что-то".

Но как ему удалось распутать дело? Мы располагаем лишь одной стороной их переписки. Где в этих письмах отгадка, которая виделась ему так ясно? Биограф, рискнувший подставить свою голову под вполне справедливые упреки за сообщение весьма невразумительных сведений, вынужден сказать, что, судя по всему, нам отгадки не найти.

Конан Дойл как никогда увлекся криминалистикой. В октябре 1910 года он поехал в Лондон на суд над доктором Криппеном. В начале того же года в серии "Достопримечательные шотландские судебные разбирательства" была опубликована книга, посвященная загадочному делу, в которое ему теперь предстояло углубиться. Книга была замечательно издана Уильямом Рафхедом, одним из лучших писателей по криминологии. Она называлась "Суд над Оскаром Слейтером".

Пока же он сидел в Уиндлшеме в кабинете с красными шторами и писал свои римские рассказы и делал заметки в новой тетради. Среди этих заметок были и некоторые высказывания Теодора Рузвельта.

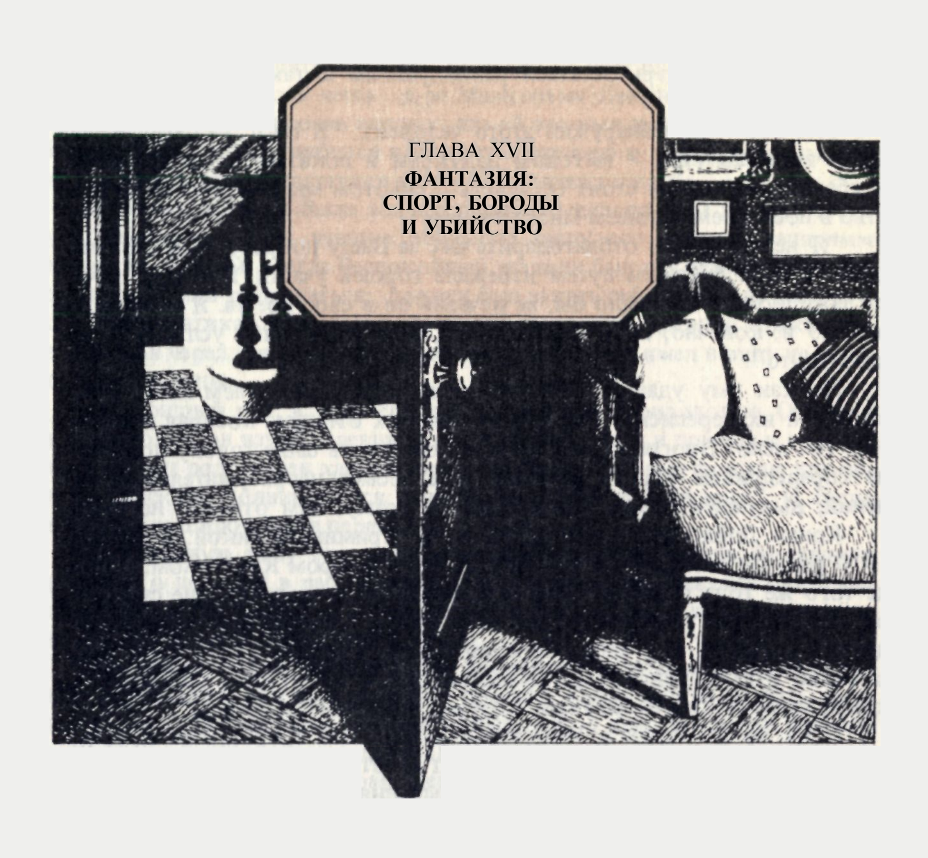
Во время похорон короля Эдуарда германский император, — фыркнул Рузвельт, — ревновал к маленькой белой собачке покойного короля, потому что она "завладела всеобщим вниманием". Конан Дойл же, всегда живо откликавшийся на проявления благородства, был тронут присутствием кайзера, несмотря на трения между Британией и Германией.

Он еще не чувствовал реальности германской угрозы. Общеизвестно, что на германских офицерских собраниях поднимался тост за "Der Tag" *. Но, имея врага в лице Франции у своих западных границ, Россию — с востока, решится ли Германия ввязаться в войну с Британской империей? На что она может надеяться? Куда девался немецкий практический ум?

Семь месяцев спустя, совсем при иных обстоятельствах, ему пришлось переменить свои взгляды.

---

* Тот день (*нем.*).



ГЛАВА XVII

ФАНТАЗИЯ: СПОРТ, БОРОДЫ И УБИЙСТВО

Все участники — то есть 50 англичан против 50 немцев — выстроили свои автомобили в одну шеренгу на гранд-параде в городе Гомбурге в Гессе-Нассау перед стартом так называемого пробега принца Генриха. Это была первая неделя июля 1911 года. Среди автомобилей можно было увидеть машину сэра Артура Конан Дойла "Лорейн-Дитрих" (двадцать лошадиных сил) с прикрепленной спереди подковой на счастье.

Принц Прусский Генрих, обходительный и бородатый, заявил, что затеял этот пробег как спортивный жест доброй воли в честь коронации Георга V. Каждый участник должен был управлять своей машиной. В каждой машине должен был быть в качестве наблюдателя армейский или морской офицер со стороны соперника. Стартовав в Гомбурге, они должны были пройти через Кельн и Мюнстер в Бремерхафен; затем снова стартовать в Саутгемптоне и, описав круг по Англии и Шотландии, финишировать в Лондоне.

"Не скорость важна, — писал Конан Дойл 5 мая, сообщая матушке, что собирается принять участие в пробеге, — а надежность машины и человека... Победительницей будет команда, которая идет лучше и теряет меньше штрафных очков. Я беру пассажиркой Джин. Это будет славная гонка".

"Призом, — передавали слова принца Генриха, — будет статуэтка юной девы из слоновой кости, на постаменте которой выгравировано: "МИР". И кто бы ни победил: Кайзеровский ли автомобильный клуб или Королевский — приз, вне всякого сомнения, все равно останется символом дружбы и миролюбия".

Вне всякого сомнения — это было далеко не так, хотя и английская пресса, по соображениям дипломатическим, выражалась не менее лицемерно, чем принц Генрих. Сигнал к старту был дан 5 июля. В густых клубах пыли длинная процессия автомобилей выкатилась из Гомбурга — под номером 1 белый "Бенц" принца Генриха.

Четырьмя днями ранее германское правительство совершило весьма характерный шаг. Французы были в Марокко, но и у немцев были свои виды на эту страну. Германские торговые фирмы проявляли большой интерес к гавани Агадир на Атлантическом побережье Марокко. До июля Вильгельмштрассе вела игру вполне деликатно. Как вдруг к Агадиру были посланы канонерка "Пантера" и крейсер "Берлин" "отстоять и защитить германские интересы". И "все колокола Европы разом забили набат", как писал впоследствии м-р Черчилль.

До наших автомобилистов эти известия дошли, когда они уже гнались, пробиваясь сквозь облако пыли, за девой из слоновой кости по имени МИР. Страсти и без того уже накалились. Из уважения к принцу Генриху англичане в качестве наблюдателей выставили офицеров высшего чина, и им пришлось молчаливо смириться с тем, что их компаньонами с германской стороны были капитаны или лейтенанты. Можно представить себе чувства британского генерала, сосуществующего на равных с инодержавным младшим офицером. Но было и кое-что еще.

Конан Дойл за рулем своего ландолета, в открытом салоне которого сидела Джин, а рядом с ним кавалерийский офицер, испытывал какое-то тревожное беспокойство. Он говорил по-немецки, но все его попытки проявлять благодушие ни к чему не приводили. Эти юнцы, прусские вояки, предвкушали скорую войну, словно это дело решенное. И ко всему еще тяжеловесный немецкий юмор — смесь лукавства и наглости, — действовавший на англичан, как чесотка, — такова была атмосфера, сгустившаяся до осязаемости.

"Подойдет тебе один из этих островков?" — спросил немецкий флотский офицер, когда пароход "Великий Курфюрст", с машинами и их экипажами на борту, выходил в Северное море мимо Фризских островов. Вот образчик их веселой шутки.

Разница темпераментов, обостренная жарой и дорожными тяготами, проявилась после второго старта в Саутгемптоне. Лимингтон, Харрогит, Ньюкасл, Эдинбург — гости немало повидали в стране и повсюду не расставались со своими фотоаппаратами.

"Вообще, — упорствовал Конан Дойл, — эти немцы — хорошие парни". Он готов был простить многое человеку, который каждое утро оставлял букет цветов на месте, где сидела Джин. "Но..." Он не мог не добавить этого "но". Они были ему не по душе.

В конце июля в Лондоне в Королевском автомобильном обществе все участники пили за здоровье кайзера. Британская команда одержала победу, и принц Генрих вручил им деву из слоновой кости.

Тем временем по всей Европе нарастало напряжение, особенно остро в Англии и Франции. Германия отказывалась дать объяснение, что означает присутствие военных кораблей у Марокканского побережья. Британская администрация (либерал-империалисты и радикалы), казалось, раскололась необратимо. Но Дэвид Ллойд Джордж, канцлер казначейства, неожиданно объединил два крыла: выступая в Гилдхолле, он сообщил, что, если Германия развернет войну с Францией, ей придется воевать и с Англией.

Внешне же последняя встреча участников пробега в Брукленде протекала безоблачно и очень красочно. Автомобили с высокими панелями ветровых стекол отливали всеми цветами радуги, от зеленого до малинового. Принц Генрих, главнокомандующий германским флотом, корабли которого стояли в гавани Агадир, сказался непосвященным в международные дела. Немецкие офицеры приехали сюда, конечно же, исключительно из спортивного интереса. В "Автомобиле" за 26 июля появилась крупная фотография (опять же — "чистый спорт") с подписью: "Лейтенант Бир на своем моноплане Этриха пролетает над шеренгой автомобилей в Брукленде".

Конан Дойл уже тоже совершил в этом году свой первый полет на "аппарате тяжелее воздуха" в одном из платных рейсов в Хендон. И хотя он не мог представить себе серьезность обстановки в Уайтхолле, будущее представлялось ему в весьма мрачных красках. Вернувшись в Уиндлшем, проделав более двух тысяч миль, он написал Иннесу:

"Билли, наша машина не допустила ошибок и вела себя весьма надежно. В остальном ничего хорошего. Но я не стану тебя беспокоить в такое время".

Дело в том, что Иннес в августе женился на датчанке Кларе Швенсен из Копенгагена. Его брат с целой семейной делегацией поехал на свадебную церемонию в Данию. На свадебном приеме Иннес произнес памятную всем речь, убедившую его датских друзей, покатывавшихся со смеху, что перед ними наконец истинный англичанин. Смущенный всеми похвалами в свой адрес, Иннес вдруг вскочил из-за стола и произнес буквально следующее:

"Ну... То есть, как сказать! О Господи! Что же?"

И сел.

Его брат не мог без хохота повторить эти слова. Вообще, если позабыть о германской угрозе, насчет которой, впрочем, возможно, он и ошибается, в ту осень он был вполне счастлив, уйдя с головой в работу над новой повестью.

Вот уже шесть лет, с тех самых пор как был написан "Сэр Найджел", не принимался он за большую вещь. Да, ему хватило разочарований, которые его постигли с "Сэром Найджелом"! Новая вещь — это будет нечто в ином роде, нечто, отвечающее его настроению, нечто приключенческое, нечто, завораживающее читателя и его самого так, как это было когда-то. Первые мысли зашевелились в нем при виде игуанодона, доисторического монстра двадцати футов роста, чьи ископаемые отпечатки были найдены в Суссекской долине, вид на которую открывался из окон его кабинета. Эти ископаемые останки хранились теперь в его бильярдной.

И это осенью 1911 года заставило его обратиться к книге профессора Рея Ланкастера о вымерших животных. С иллюстраций в книге уставились на него саблезубые и безмозглые чудища. Предположим, в сумеречном свете из подернутой туманной дымкой долины, словно привидение, появляется стегозавр? Или лучше так: допустим, в некотором отдаленном уголке земли — скажем, высокое плато в джунглях с природой нетронутой и неприкасаемой — такие существа живут по сей день?

Что за находка для любителя приключений! Просто клад для зоолога! Обращаясь к годам учения в Эдинбургском университете, выудил он из памяти сэра Чарльза Уайвилла Томсона, зоолога, ходившего в экспедиции на судне "Челленджер". В Томсоне самом по себе было мало живописного. Но от него тянулась ниточка к образу профессора Резерфорда: коренастого геркулеса — грудь колесом и ассирийская борода, — внушительно шагающего по коридорам, а далеко впереди уже слышались раскаты его голоса...

Профессор Челленджер. И "Затерянный мир".

Если какой-нибудь бытописатель способен произнести эти имена, не испытав радостного трепета, можно сказать, что у него в груди ледышка. Челленджер! Эдуард Мелоун! Лорд Джон Рокстон! Профессор Саммерли! Пусть, пусть отмечают их восклицательные знаки; эти имена неразрывны, как имена мушкетеров, и, как мушкетеры, они нас пленяют. В детстве они для нас бессмертны и ничуть не тускнеют в зрелые годы.

Профессор Челленджер вырос из своего создателя, как Портос из Дюма, но значительно стремительней. Конан Дойл увлекся Дж. Э. Ч. более, чем кем-нибудь иным из своих созданий. Он мог подражать Челленджеру. Он мог, как мы сейчас увидим, налепить себе бороду и густые брови, как у Челленджера. И за объяснением не нужно ходить далеко. Ведь, не считая непомерного тщеславия Челленджера, он сделал его совершенно откровенной копией самого себя.

Как и Челленджер в "Затерянном мире" да и в последующих рассказах, он мог совершать поступки, которые запрещены в привычной нам общественной жизни. И уж если находил на него такой стих, он вполне мог укусить экономку за лодыжку, чтобы проверить, может ли хоть что-то на свете нарушить ее невозмутимость. Он мог бы схватить за штаны репортера и протащить его с полмили по дороге. Он мог бы произносить звонкие внушительные сентенции, скрывая за льсти-

вым тоном изощренные издевательства, как ему всегда хотелось поступать в обращении с тупицами.

И, доведенный до предела, он был вполне способен проделать все это в реальной жизни. Вот что нам нравится в них обоих.

Что же касается "Затерянного мира", то автор был настолько переполнен им, что не мог помыслить ни о чем другом, кроме бронтозавров, человекообезьян да растительности дикого плато.

Каждый вечер в октябре и ноябре он читал Джин и ее подруге Лили Лоудер-Симондз, приехавшей погостить в Уиндлшем, то, что написал за день. Он устраивался в викинговском кресле, присланном в подарок из Дании, в белой нише своей бильярдной у жарко растопленного камина под чучелом головы оленя. И тогда вставали в воображении джунгли и продиралась через них неустрашимая четверка: лорд Джон Рокстон, этакий рыжий Дон Кихот, язвительный Саммерли, неизменно симпатичный Мелоун и во главе их — Челленджер в очень маленькой соломенной шляпе, вытягивающий носки при ходьбе, — и походка, и шляпа, к слову сказать, списаны с его создателя.

"Я думаю, — писал он Гринхофу Смиту, редактору "Стрэнда", 11 декабря, когда повесть была закончена, — я думаю, это будет лучший сериал (оставив в стороне особую ценность Ш. Холмса) из всех, мною сделанных, особенно в сопровождении фальшивых фотографий, карт и планов".

Его затея доставляла ему все большее удовольствие.

"Я надеялся, — добавил он, — дать книге для мальчишек то, что Шерлок Холмс дал детективному рассказу. Я не уверен, что сорву лавры и тут, но все же надеюсь".

И не зря. Ибо вовсе не в "динозавромахии" секрет очарования "Затерянного мира". Челленджер и его друзья впитали в себя всю живость их создателя. Они не станут менее привлекательны, даже если всего-навсего отправятся на день в Маргейт. Правда, в Маргейте уж что-нибудь да произойдет. Об этом позаботится Челленджер. Но наше восприятие этих событий, радостное предвкушение того, как это будет происходить, свидетельствуют о том, что Челленджер — создание из плоти и крови — столь же неподвластен времени, как Микобер и Тони Уэллер.

В сочельник в Уиндлшеме устроили представление по старинному, забытому в Суссексе обычаю. Ряженые в своих чешуйчатых серебристых доспехах с обязательным драконом показывали в бильярдной рождественское действо. Свет розовой лампы освещал скачущие, гримасничающие фигуры. Джин и ее супруг подняли на руки детей, чтобы они могли все видеть. Впрочем, за всем этим он не позабыл об обещании, данном Гринхофу Смиту, и вскоре занялся фальсификацией фотографий.

"Что вы об этом думаете?" — спросил он не без гордости.

С необъятной черной бородой, с накладными бровями и в парике смотрел он с фотографии в обличье профессора Челленджера. Были и другие снимки, запечатлевшие его в кругу трех друзей, долженствующих представлять Рокстона, Саммерли и Мелоуна. Но фотография ан-

фас крупным планом, где он в шелковой шляпе, должна была пойти в качестве иллюстрации в "Стрэнде".

"Нахмуренность весьма характерная, — писал он Гринхофу Смиту 9 февраля 1912 года. — "Хмурость Конанов", как назвал это сэр Вальтер Скотт в одном из своих романов".

Гринхоф Смит забеспокоился. Он говорил, что при всей безобразности маски она недостаточно неузнаваема и может навлечь на журнал неприятности за фальсификацию. "Ладно, — согласился Конан Дойл спустя три дня. — Ни слова о фотографии проф. Ч. Я признаю свою дерзость. Хотя вообще-то это не я. Я лишь болванка, по которой лепился вымышленный образ. Но не выдавайте меня"

Ему самому так понравился этот маскарад, что он не мог не испробовать его на ком-нибудь. В тридцати с лишним милях отсюда, в Вест-Гринстед-парк, имении брата Вилли сэра Питта Хорнунга, жили Хорнунги с сыном Оскаром. Совершенно естественным показалось ему попробовать разыграть Вилли.

Тут-то и заварилась каша. Представившись дер герр доктором Васиздасом, это волосатое существо возникло на пороге. Оно утверждало, что оно есть друг герр доктор Конан Дойл, который нету дома, и не примет ли его герр Хорнунг?

Хорнунг, к счастью или к несчастью, был близорук. К тому же он уже привык к тому, что другом его шурина мог быть кто угодно: от последнего бродяги до премьер-министра. Он принял гостя очень радушно. Тот стал исторгать трескучие, длинные немецкие фразы, и несколько минут все ему сходило с рук. Наконец Хорнунг разъярился: указав гостю на дверь, он поклялся, что вовек ему этого не простит. Герр доктор, прикрывшись все той же шелковой шляпой и сотрясаясь от давившего его смеха, бесславно удалился.

Такова была одна сторона его жизни. Теперь, с наступлением 1912 года, заглянем на другую сторону.

Это был сплошной водоворот работы, споров и общественной деятельности. Ассоциация за реформы в Конго одержала победу при сменившем короля Леопольда и совершенно на него непохожем юном короле Альберте. Конан Дойл же, изменив свои взгляды, выступил в пользу гомруля для Ирландии.

В 1912 году он принял участие в работе Союза за реформы в бракоразводном законодательстве, выступив против церкви и палаты общин за смягчение британских устаревших правил разводов. В том же году он предоставил кров совету Британской ассоциации медиков, который провел в Уиндлшеме одну из своих ежегодных конференций. Он взял на себя — по настоянию лорда Нортклиффа, убеждавшего его, что он единственный в спорте лидер, которому это по силам — бремя объединения двух разобщенных группировок и сбора средств для лучшей подготовки британских атлетов к Олимпийским играм 1916 года. Здесь хватало и дипломатии, и сложностей, и обид; длилось это год и любого другого, менее упорного, давно заставило бы забросить все с отвращением. Помимо всего прочего, взялся он распутать одно загадочное убийство, чтобы вновь оправдать невиновного чело-

века. И тут нам становится ясно, что имел в виду Роберт Льюис Стивенсон, когда говорил о "белом пере Конан Дойла".

Вот обстоятельства этого убийства трехлетней давности, словно вышедшие из грез Де Квинси.

Представим себе тихий переулок в Глазго; декабрьский вечер, семь часов, газовые фонари мерцают сквозь завесу дождя. Чуть ниже, по правую руку, как только свернешь с Квинз-кресчент, находился номер 15 по Квинз-террас.

Мисс Марион Гилкрист, богатая старая дама 83 лет, до роковых событий (1908) проживала там уже не первый год. Чтобы зайти к мисс Гилкрист, нужно было сначала пройти через первую, уличную, дверь, затем подняться на один пролет по лестнице к двери, непосредственно ведущей в ее квартиру и запираемой на два замка. Мисс Гилкрист хранила в не занятой ею спальне на виду или запрятанными среди одежды в шкафу драгоценности на три тысячи фунтов стерлингов. Она условилась с мистером Артуром Адамсом — ее соседом снизу, чья столовая приходилась под ее столовой, — что будет стучать в пол, если ей станет не по себе или потребуется помощь.

"Она никогда не боялась за себя, — свидетельствовал ее бывший слуга. — Но очень боялась, что взломают квартиру".

Вечером 21 декабря 1908 года старая леди находилась в своей квартире с единственной служанкой, девушкой 21 года по имени Элен Ламби. Итак, следите за событиями.

Дедовские часы в холле пробили семь. Элен Ламби выходит из дому по мелкому поручению. Дверь квартиры снабжена двумя патентными замками *. Элен Ламби запирает дверь и берет с собой оба ключа. Свою хозяйку она оставила в столовой, душной комнате, увешанной большими картинами в золоченых рамах. Мисс Гилкрист, надев очки, читала за обеденным столом, сидя спиной к камину. Другой источник света — газовый светильник за экраном синего стекла — горел в холле. Здесь-то в какие-нибудь десять минут и совершилось убийство.

Соседи, мистер Артур Адамс со своими сестрами Лаурой и Ровеной, находились в это время в столовой, как раз под комнатой мисс Гилкрист. Они услышали глухой удар в потолок, а затем еще три отчетливых стука. Лаура Адамс обратила на это внимание брата.

"Говорила ли она, что вы должны подняться и посмотреть, не случилось ли чего?" — спрашивали у него впоследствии.

"Она сразу же послала меня наверх".

Мистер Адамс, музыкант, выбежал в такой спешке, что позабыл свои очки. На улице было холодно и все еще шел дождь. Наружная дверь квартиры мисс Гилкрист была приоткрыта. Он взбежал вверх по лестнице до внутренней двери и трижды сильно потянул шишечку звонка. Никакого ответа — словно все вымерли.

---

* Патентный замок предшествовал пружинному замку. Его можно было открыть изнутри. (*Примеч. авт.*)

Но сквозь застекленные створки дверей м-р Адамс видел синий свет светильника в холле. А еще через несколько мгновений он различил неясный шум, как ему показалось, со стороны кухни, что заставило его предположить, что служанка дома.

"Было похоже, — говорил он, — будто кто-то колет дрова — не слишком сильные удары".

Тюк, и еще тюк! Несомненно, девушка, Элен Ламби, колет поленья для плиты и не собирается отвечать на бренчание звонка. М-р Адамс вернулся домой.

"Я рассказал сестрам, что в доме горит свет и я не думаю, чтобы там что-нибудь случилось; я решил, что это девушка. Сестра Лаура так не считала и послала меня назад".

И вновь в злополучной квартире разнеслось бренчание дверного звонка. Но на сей раз никакого иного звука уже не было слышно. Стоя в нерешительности на тускло освещенной площадке, вдыхая запах замшелого камня, он все еще держался за звонок, когда услышал снизу по лестнице шаги. Это была Элен Ламби, которая, выполнив поручение — купив газеты, — возвращалась домой. Он сказал ей, что случилось что-то серьезное и "трещат потолки" у них в квартире.

"А, — отозвалась беззаботно девушка, — это, верно, ролики". Она имела в виду блоки, на которых были натянуты бельевые веревки в кухне — они иногда срывались. Потом она отперла дверь, которая отделяла их от мисс Гилкрист. Что случилось затем, запечатлелось в мозгу м-ра Адамса как вереница сменявшихся в мгновение ока ярких вспышек.

Когда Элен Ламби проходила через холл к кухне, в холле со стороны пустующей спальни появился человек. М-р Адамс, без очков, лицо его рассмотрел весьма смутно, но одет он был "прилично, как джентльмен". Человек этот спокойно дошел до двери, а затем бросился вниз, как "наскипидаренный". Элен Ламби, явно не придавшая этому особого значения, заглянула в кухню, а затем вошла в пустующую спальню, где теперь горел свет. Многие драгоценности еще оставались на туалетном столике, хотя шкатулка с личными бумагами мисс Гилкрист вместе со всем ее содержимым валялась на полу.

Лишь тут м-р Адамс обрел дар речи.

"Где ваша хозяйка?"

Элен Адамс пошла в столовую и открыла дверь. По прошествии стольких лет он уже не мог восстановить интонацию ее речи, но смысл ее слов был таков: "Ах, скорее сюда!"

Старая дама, так страшившаяся грабителей, лежала у камина головой к решетке, рядом валялась вставная челюсть. Хотя на тело была наброшена служившая ковром звериная шкура, сразу бросалась в глаза кровь на камине и каминных принадлежностях и на ящике для угля. Лицо ее и вся голова были изуродованы до неузнаваемости нанесенными ей ранами, углубляться в описание которых не доставило бы удовольствия.

Так 21 декабря 1908 года было обнаружено убийство мисс Гилкрист. Истинные свидетельства, включая многое из того, что было сказано

и сделано в тот же вечер, стали известны лишь через много лет. Когда Конан Дойл знакомился с делом, можно было проследить лишь за формальными действиями полиции Глазго.

Из квартиры мисс Гилкрист (согласно показаниям Элен Ламби — единственной свидетельницы) была похищена одна только брильянтовая брошь в форме полумесяца с полкроны размером. Показания свои об этом она дала инспектору сыска Пайперу в ночь убийства, находясь еще в сильном нервном потрясении.

На Рождество полиции стало известно, что в Слоупер-клаб некий подозрительный тип по имени (наиболее часто употребимому) Оскар Слейтер предлагал купить закладную на брильянтовую брошь. Вечером под Рождество, будто чтобы специально подстегнуть полицию, Слейтер вместе с содержанкой, мадам Джунио, и несколькими чемоданами уехал в Ливерпуль. На следующий день Слейтер и мадам Джунио уже плыли в Нью-Йорк на пароходе "Лузитания".

Заложенная брошь представлялась серьезной уликой. Но, как вскоре установила полиция, это была вовсе не та брошь, что похитили у мисс Гилкрист. Оскар Слейтер заложил брошь, свое личное имущество, более чем за месяц до убийства.

Тут полиция совершенно растерялась. Она объявила вознаграждение в 200 фунтов и договорилась по телеграфу с Нью-Йорком об аресте Слейтера по приезде его туда. Тем временем 14-летняя девушка по имени Мэри Барроумен — она проходила мимо дома мисс Гилкрист в вечер убийства — дала показания о человеке, который выбежал из дома, столкнулся с ней и убежал прочь.

И хотя она видела бежавшего лишь мельком, да еще в дождь, да в сумерки на слабо освещенной улице, Мэри описывала его лицо и одежду в мельчайших подробностях. Ее описания не совпадали с более смутными описаниями м-ра Адамса и Элен Ламби. Да и к реальному Оскару Слейтеру они никак не подходили. Но через несколько дней расследования Элен вдруг изменила свои показания и согласилась с Мэри относительно одежды неизвестного.

Поместив в одну каюту под честное слово не говорить о деле, Мэри и Элен отправили в Нью-Йорк на опознание Слейтера. Девушки вполне могли видеть фотографии Слейтера. Да и потом, когда его в наручниках вели по коридору в зал суда, депутация из Глазго устроила как-то так, что Мэри и Элен оказались в это время в том же коридоре.

Затем в зале суда в Америке:

— Да, я могу его опознать, — поборов смущение, сказали в один голос обе девушки.

А впоследствии обе пылко клялись, будто ничуть не сомневаются, что это именно он.

Напрасно Слейтер, теряя самообладание, душераздирающе вопил, что никогда не слышал ни о какой мисс Гилкрист или ее драгоценностях, что он приехал в Глазго недавно и что он уже за несколько недель до трагедии делал приготовления к поездке в Нью-Йорк, что он и доказал впоследствии. Вопреки совету его американского адвоката, он уклонил-

ся от формальной процедуры выдачи его властям Великобритании и вернулся на суд в Шотландию.

Как видим, Оскар Слейтер — вовсе не герой публики. И то обстоятельство, что он был чужестранцем из Германии и еврейского происхождения, не много прибавляло к предубеждению, которое накопилось против него. Оскар Слейтер держал игорные дома в Лондоне и Нью-Йорке, существовал, что называется, своим умом, жил с любовницей, которая (судя по всему) была еще и проституткой. И этого было достаточно, чтобы внушить и до высшей степени распалить неприязнь к нему, когда он 3 мая 1909 года предстал перед Высшим уголовным судом в Эдинбурге.

Слейтер широкогрудый, с темными волосами и усами, на вид, вообще говоря, вполне привлекательный, но Зловещий Чужестранец — съежился в тесном загончике между двумя констеблями. Полный ход судебного разбирательства, при том, что подлые закулисные махинации еще не всплыли, не должен нас отвлекать. Обвинение заявило, что Слейтер совершил убийство с помощью небольшого молотка из набора инструментов, каким пользуются жестянщики, хотя медицинская экспертиза не подтвердила этого факта. У Слейтера было алиби, но его признали несостоятельным, потому что оно основывалось на показаниях его подружки и служанки. Мэри Барроумен и Элен Ламби уверенно указывали на него. М-р Адамс тоже приехал в Нью-Йорк, но не мог признать в Слейтере виденного им в квартире убийцу.

На вопрос защитника: "И даже после всего, что вы слышали, вы не можете дать абсолютно твердого ответа, был ли это тот самый человек?" — свидетель ответил:

— Нет, это слишком серьезное обвинение, чтобы я мог вынести его с одного лишь мимолетного взгляда.

Королевский советник м-р Юри, Генеральный прокурор по делам Шотландии, выступил с речью. Как убийца смог проникнуть в квартиру, запертую на два замка, при этом не открыв окон? Этот вопрос он не затронул. Откуда Слейтер узнал, что мисс Гилкрист хранит драгоценности? Это он пообещал объяснить, но так и не удосужился. К тому же мистер Юри явно передергивал некоторые факты, губительные для Слейтера, и судья не нашел нужным его поправить.

Присяжные большинством голосов, необходимым в Шотландии — девять: виновен, пять: вина не доказана, один: не виновен, — признали Оскара Слейтера виновным в убийстве.

Кого-то, конечно, могло покоробить, что Слейтер на своем ломаном, невнятном английском закатил такую жалостливую сцену, прервав слушание в тот самый момент, когда судья уже готов был огласить смертный приговор. Ведь те, кто ведет беспутную жизнь, по мнению этих людей, не могут испытывать настоящего ужаса или впадать в отчаяние. А у Слейтера нервы не выдержали, и он вновь и вновь бубнил одни и те же слова:

"Я ничего об этом не знаю, совершенно ничего не знаю! Я никогда и имени этого не слышал! Я ничего об этом не знаю! Я не понимаю, как я оказался сюда замешан, в это дело! Я сам, сам по себе, по своим

делам приехал из Америки!" И в конце концов: "Мне нечего больше сказать".

Его должны были повесить в Глазго 27 мая. Но шотландская совесть, насытившись и несколько поостыв после такого триумфа морали, высказалась в лице 20 тысяч просителей за отмену приговора. Слейтеру оставался всего один день жизни на этом свете, когда он узнал, что лорд Пентленд, министр по делам Шотландии, заменил смертный приговор пожизненным заключением. Узник канул в Петерхед — чахнуть бы ему здесь вовеки.

К Конан Дойлу, как он писал матушке, обратились юристы, по-видимому, от Слейтера. Он брался за дело с великой неохотой. Это было совсем не то, что дело Идалджи; он считал Слейтера пройдохой, о чем откровенно заявил в своей брошюре. Но человеческие пороки тут ни при чем! Если он не повинен в убийстве, то нужно пройти огонь и воду, перевернуть все вверх ногами, но вызволить его. И вот:

"Паладин проигранных дел, — как писал м-р Уильям Рафед (вновь прибегая к этому титулу), — нашел в сомнительных обстоятельствах этого дела что-то себе по душе".

А он уже раскручивал кампанию в прессе. В августе 1912 года Ходдер и Стаутон выпустили его брошюру "Дело Оскара Слейтера". Но пока он еще не был доведен до такого накала, как когда ему открылись некоторые закулисные ходы в этом деле.

"Невозможно, — писал он, — узнавать и взвешивать факты... не испытывая глубокого неудовлетворения ходом следствия и моральной убежденности, что правосудие не свершилось". И шаг за шагом он опрокидывал все улики. Но были ли у него взамен какие-нибудь встречные гипотезы?

Те, кто был на стороне Слейтера, с самого начала отметили некоторые важные моменты. Почему эта девушка, Элен Ламби, не выказала никакого удивления, обнаружив чужого человека в запертой квартире? Не потому ли, что он не был чужим? Не потому ли, что она узнала в нем кого-то? Те же вопросы можно было обратить и к самой жертве. Не ожидала ли мисс Гилкрист этого человека, и не сама ли она впустила его в квартиру?

Конан Дойл в "Деле Оскара Слейтера" вводит новую версию.

"Совершенно необходимо разрешить один вопрос, — писал он, — а именно: за драгоценностями ли вообще приходил убийца?"

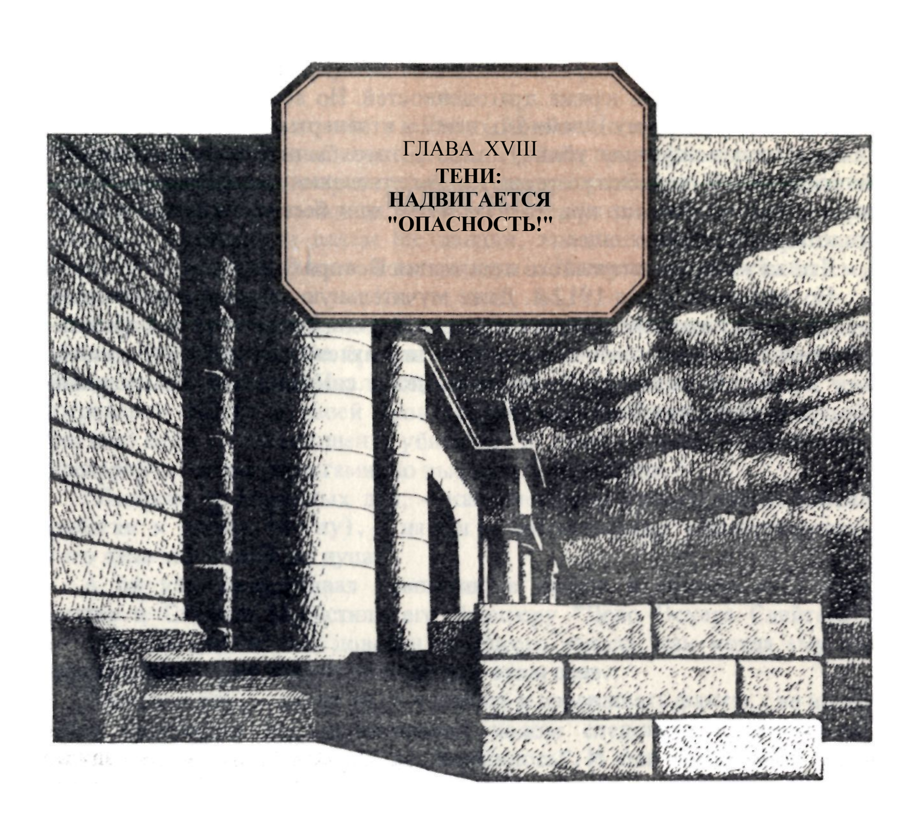
Представим себе поведение преступника! Нанеся жертве несколько сокрушительных ударов по голове неизвестным предметом, он проходит прямо в спальню и зажигает газовую лампу. Но он не трогает ценных колец и часов, лежащих на виду на туалетном столике; вместо того он взламывает и обшаривает деревянную шкатулку с личными бумагами мисс Гилкрист, раскидывая содержимое по полу.

"Уж не бумаги ли он искал, — ставился вопрос в "Деле Оскара Слейтера", — и не было ли похищение брильянтовой броши под занавес только прикрытием?" Речь могла идти о каком-нибудь документе, скажем, завещании. Такой мотив преступления гораздо лучше объяснял бы все дело.

Была и еще одна теория, основанная на предположении о прерванной обстоятельствами краже драгоценностей. Но все теории и гипотезы упирались в проблему двойного замка и запертых окон. Либо мисс Гилкрист сама впустила убийцу, либо у того были дубликаты ключей. Но если даже у него были вторые ключи, то слепки для их изготовления он мог добыть только при сознательном или бессознательном соучастии кого-либо из домашних.

Что же касается плачевного положения Оскара Слейтера...

Но вернемся в год 1912-й. Даже мучительную загадку тех роковых десяти минут: кого же все-таки увидела Марион Гилкрист в той проклятой комнате? — мгновенно вытеснило впечатление от двух интереснейших встреч. В нашем рассказе появляется симпатичный, изысканный образ м-ра Джорджа Бернарда Шоу.



ГЛАВА XVIII
ТЕНИ: НАДВИГАЕТСЯ "ОПАСНОСТЬ!"

В Мемориальном зале на Фаррингдон-стрит в этот декабрьский вечер мистер Шоу и Конан Дойл выступали на собрании столь многолюдном, что для наведения порядка на запруженных людьми близлежащих улицах потребовалось вмешательство полиции.

Они уже давно были друзьями — с тех самых пор, как стали появляться первые рассказы о Холмсе, а желчное лицо и рыжая борода м-ра Шоу так болезненно действовали на Генри Ирвинга, — но встречались редко. В 1912 году им суждено было повстречаться дважды: первая встреча состоялась в печати и была окрашена в тона весьма ядовитые.

Вызвана она была печально знаменитой морской катастрофой. "Титаник", самое крупное и роскошное из пассажирских судов, 10 апреля вышел из Саутгемптона в свое первое плавание. Спасательных шлюпок на борту судна было даже больше, нежели предписывалось правилами. Но лишь впоследствии выяснилось, что сами эти правила для торго-

вого флота, неизменные с 1894 года, были предусмотрены для судов водоизмещением в 10 тыс. тонн — почти в пять раз меньше, чем размеры "Титаника".

Поздно вечером 14 апреля, идя со скоростью в 21,5 узла, "Титаник" не смог справиться с управлением. Капитан Е. Дж. Смит, следуя примеру других капитанов, выставив вахтенных, рискнул продвигаться среди льдов. Айсберг пропорол борт "Титаника", будто консервную банку, хотя судно продержалось на воде еще целых два с половиной часа. На борту было 2206 человек. Вместимость спасательных шлюпок, включая четыре складные и две аварийные, составляла только 1178 человек. Даже если бы строжайший и полнейший порядок соблюдался (что было далеко не так), эти спасательные средства могли взять чуть более половины всего человеческого груза.

На "Титанике" погиб У. Т. Стид, старый друг-недруг Конан Дойла. Да и множество других пошло ко дну вместе с "Титаником", в том числе кочегары, что, стоя по пояс в воде, не прекращали работы до двух часов ночи, чтобы поддержать освещение и работу помп. "Мы прожили вместе сорок лет, — сказала Айседора Штраус, отказавшись сесть в шлюпку без мужа, — мы и сейчас не расстанемся". Спаслось только 711 человек.

Вести о трагедии — радиопозывные, сигналы бедствия, ракетами взмывающие в безлунное небо, — доходили до Англии в виде путаных и отрывочных слухов. Британская пресса сразу же стала говорить о том, что на "Титанике" царило мужество и даже героизм.

И это вызвало презрение и возмущение мистера Джорджа Бернарда Шоу.

Малейший намек на "романтизм" или "сентиментальность" звучал для м-ра Шоу как заклятие. Он написал письмо в "Дейли Ньюз энд Лидер", уличая британскую прессу в разгуле романтических бредней. Зло высмеяв английские "романтические" претензии на геройство в ситуации кораблекрушения, он сравнивал их с "достоверными свидетельствами", чтобы показать, что поведение офицеров, всего экипажа и пассажиров можно было называть как угодно, только не героическим.

Конан Дойл взорвался и написал ответ, в котором указал, что "достоверные свидетельства" м-ра Шоу не согласуются со всеми фактами и что сейчас не время для упражнений в сарказме по поводу жертв "Титаника", живых или мертвых.

Ответный выпад м-ра Шоу был стремителен и тщательно отточен, как балетное па.

Он надеется, что его друг сэр Артур Конан Дойл, выразив свой романтический и горячий протест, вновь раза три или четыре перечитает его письмо. Его, м-ра Шоу, неправильно поняли. Ведь если журналисты расточают похвалы, не выяснив обстоятельств, они повинны во лжи. И нужды нет, — тут м-р Шоу отмахивается от мелких деталей, — что впоследствии появились достоверные свидетельства, подтвердившие некоторые рассказы журналистов о тех на "Титанике", кто исполнял свой долг. Он, м-р Шоу, приводит лишь первоначальные свидетельства — и таким вот антраша уводит читателя от факта, что сам-то он, высмеивая в своем письме несчастную жертву, воспользовался как первыми, так и последующими свидетельствами.

"Ну и ладно, — отозвался бы посторонний наблюдатель. — Повеселились и хватит".

Нет, он, мистер Шоу, не может допустить сочувствия капитану Смиту. Судно капитана Смита погибло, а это — непростительная провинность. И нет такого оправдания, как бы ловко оно ни было построено, которое могло бы обратить поражение в победу. Капитан Смит не покинул корабля и погиб; и он, м-р Шоу, не произнес бы ни слова, огорчительного для семьи Смита, не начни журналисты превозносить его поведение до небес. В Королевском военно-морском флоте он непременно был бы отдан под трибунал. А "сентиментальные идиоты с надрывом в голосе" всегда вызывали у него, м-ра Шоу, только раздраженное презрение. Ему никогда не изменял здравый смысл.

Зная все это, нам тем более интересно будет взглянуть на м-ра Шоу и Конан Дойла в конце того же года, когда они выступали с речами по ирландскому вопросу.

На большом митинге в Мемориал-холле на Фаррингдон-стрит ирландские волынки вызывали на сцену ораторов. Сцена была украшена зелеными и оранжевыми полотнищами, представляющими католиков и протестантов Ирландии. Это был митинг английских и ирландских протестантов, выступающих против позиции, занятой протестантами Северной Ирландии, которые опасались, что гомруль обернется преследованием протестантского меньшинства католическим большинством.

Но за всем этим не стояла трагедия, подобная трагедии "Титаника", и выступления ораторов можно только одобрить.

Хотя были и другие выступавшие, кроме м-ра Шоу и Конан Дойла, пресса сосредоточилась именно на них. Оба были на одной стороне, придерживаясь мнения, что преследований со стороны католиков опасаться не следует. И вот на оранжево-зеленую сцену вышел м-р Шоу и обратился к собравшимся с пылкой речью.

"Я — ирландец, — сказал м-р Шоу. — Мой отец был ирландцем. Моя мать была ирландкой. Мои отец и мать были протестантами, которых можно было бы назвать, принимая во внимание глубину их веры, непримиримыми протестантами. — Тут м-р Шоу захотел тронуть сердца своих слушателей. — Но многие заботы моей матери делила с ней ирландская нянька, которая была католичкой, — выкрикнул он. — И она никогда не укладывала меня в постель, не окропив святой водой".

Здесь с сожалением приходится признать, что ирландская аудитория не в силах была сохранить серьезность. В образе м-ра Шоу, окропляемого святой водой, как-то недоставало патетики ни на взгляд протестантов, ни на взгляд католиков. Оратор в бешенстве и некотором логическом замешательстве захотел узнать, почему они смеются над такой трогательной сценой. Быть может, это и распалило его красноречие.

"Я достиг возраста, когда можно оглянуться на свою жизнь, — заявил он. — И странное и немыслимое дело — ни одно из моих достижений, которыми я обязан своим талантам, трудолюбию или здравомыслию, не вселяет в меня какой бы то ни было гордости. Но то, что я ирландец... всегда наполняло меня дикой и неугасимой гордостью".

"Что же касается собственно ирландского чувства, — продолжал он,

уж неважно, с дрожью в голосе или без таковой, — я не могу выразить, что я ощущаю. Мне говорят, что надо мной нависла опасность преследования со стороны католиков этой страны, а Англия меня защитит. Я скорее дам живьем сжечь себя католикам, чем... позволю защитить себя англичанам", — закончил он фразу, но она почти потонула во взрыве смеха. Мы, конечно, понимаем, что это было нехорошо по отношению к м-ру Шоу. Это было несправедливо. Столь патриотичные высказывания могли звучать смешно, только если бы они исходили из уст какого-нибудь англичанина или американца из его пьесы. Несчастный — им не следовало смеяться над ним.

Конан Дойл, один из "сентиментальных идиотов", взял иной тон.

"Я редко посещаю политические митинги, — начал он. — Но я пройду, сколько потребуется и куда потребуется, чтобы выступить против религиозных гонений. У нас есть все основания верить, что ирландские католики станут вести себя порядочно; католическая церковь Ирландии никогда не была церковью гонителей. Такая же проблема была благополучно решена в Баварии, Саксонии, где протестантское меньшинство никогда не подвергалось гонениям.

Но важнее всего счастье и процветание страны. Мы, люди ирландской крови, чтобы принять ту или иную сторону, всегда оглядываемся на прошлое. Предки одного осаждали Дерри, другого — бились при Бойне или были изгнаны в годы голода. Если бы только ирландцы оставили в покое своих прадедушек, они могли бы острее увидеть то, что им нужно сейчас, и им было бы легче этого достичь".

Мысли Конан Дойла обращались к религии не только на этом митинге, но и на протяжении всей той осени. Некоторые размышления занес он в свою записную книжку. Отразились они и в повести "Отравленный пояс" — еще одном приключении профессора Челленджера, которое он написал перед Рождеством.

"Принесите кислород!" — закричал Челленджер. Конец мира! Пояс смертоносного газа быстро перемещается по земле, истребляя на своем пути все живое. Представьте себе небольшую группу из пяти человек, запершихся в воздухонепроницаемой комнате (в его воображении это был кабинет в Уиндлшеме с окнами, выходящими на площадку для гольфа и холмы) и под свист кислородного баллона наблюдающих, как замирает жизнь вокруг.

Они — словно пассажиры "Титаника", зажатые во льдах со всеми своими мягкими диванами и уютной безопасностью. О чем они думают в эти роковые часы? Что ощущают, когда наступает последний рассвет и доходит очередь до последнего кислородного баллона?

Такова тема "Отравленного пояса", хотя большинству читателей запоминается скорее его приключенческая сторона. Поток тревожных сообщений, нелепое поведение лондонцев, смешное начало, ведущее к мрачному концу; и вот, наконец, для Челленджера и его жены, для Мелоуна, Рокстона и Саммерли настает последнее утро, когда волна смерти готова их поглотить.

"В руки сил, что сотворили нас, мы предаем себя вновь!" — громко возгласил Челленджер и бросил бинокль, чтобы разбить окно.

"Если я буду жить после смерти, — писал Конан Дойл в записной книжке приблизительно в то же время, — меня не сможет удивить ничто из того, что я встречу за покровом вечности. Лишь одно может поразить меня. Это — осознание дословной правоты христианских догм".

В "Отравленном поясе" после того, как окно разбито, воцаряется тягостная тишина, пока пятеро героев ждут своего конца. Но вот доносится дуновение свежего воздуха, щебетание птиц и приходит прозрение: отравленный пояс рассеялся и они одни-единственные (по всей видимости), кто остался в живых. Повествование не идет на спад, самые сильные части впереди, но психологический смысл заключен именно здесь.

"Потерянный мир", опубликованный Ходдером и Стаутоном в октябре, — беззаботное, легкое приключение. И Челленджер по законам жанра — задира и хвастун. Но в "Отравленном поясе" ему вручена главная роль в ничуть не шуточной истории — автор знал Челленджера и любил его, он мог положиться на старого приятеля.

Мы, конечно, не станем утверждать, что ему виделись какие-то картины мировой катастрофы вроде мертвых городов и распластанных манекенов "Отравленного пояса". Но любопытно, как переплетаются в это время некоторые направления его мысли: параллельно с этой повестью написал он статью "Великобритания и грядущая война", появившуюся в "Фортнайт ревью" в феврале 1913 года.

Что империалистическая Германия думает о войне — и что она собирается предпринять и как, — открылось ему, когда он прочел книгу генерала фон Бернгарди "Германия и грядущая война". Он увидел в ней черновой набросок, удачно дополнявшийся в его сознании образами, запечатлевшимися во время автопробега принца Генриха. Генерал фон Бернгарди, человек в Германии известный, изъяснялся с замечательной прямотой. Прислушаемся к генеральской философии:

"Сильные, здоровые, цветущие нации увеличиваются в числе. С некоторого времени... им требуются новые территории для размещения излишков населения. Так как почти все уголки земного шара заселены, новые территории должны быть добыты завоеванием, которое, таким образом, становится законом необходимости".

Франция, говорил фон Бернгарди, должна быть уничтожена. А следом и Англия, враждебная Германии с 1761 года и намеченная к уничтожению еще со времен бурской войны.

Конан Дойл, прозрев ход подобной войны, говорил впоследствии, что прозрение это не было результатом каких-либо сознательных вычислений, а само сложилось в его мозгу как почти готовый план-схема, но чреватый новыми, непредвиденными опасностями. Великобритания считала себя изолированной, опоясанной стальным кольцом военного флота. До некоторой степени так оно и было. Но Великобритания вынуждена импортировать продукты. И если Германия нападет на Францию, что более чем вероятно, Британия должна будет тоже направить свою армию на континент и удерживать линии снабжения.

"'Элемент опасности, — писал он в своей статье, — состоит в существовании новых форм ведения войны на море, которые не рассматрива-

лись компетентными людьми и которые могут полностью перевернуть ее условия. Эти новые факторы — подводные лодки и воздушные корабли".

Аэроплан или управляемый воздушный шар ему представлялись еще "не столь устрашающими, чтобы изменить весь ход военной кампании". Другое дело субмарины. Ни одна блокада не способна удерживать этих водяных змей в гавани, никакое искусство не поможет торговым судам уклониться от их атак. И тогда:

"Предполагать, какой эффект свора субмарин, залегших у входа в Пролив или Ирландское море, может произвести на снабжение островов, не входит в мои задачи, — писал он. — Видимо, и другие корабли, помимо британских, тоже будут уничтожаться и возникнут международные осложнения".

Будто вспыхнуло алыми письменами слово "ОПАСНОСТЬ". Его взгляды, хоть и выраженные в кратком обзоре в "Фортнайт ревью", разнеслись — пусть к ним и не прислушивались — по всей стране. Как же предотвратить эту опасность?

Что ж, он придумал три способа. Первый заключался в том, чтобы производить достаточно продуктов дома, вынуждая к такой мере высоким тарифом на ввозимые товары; но политики никогда не пойдут на это. Вторым способом было создание подводных продуктовых транспортных кораблей, столь же неуловимых, как и атакующие; но это представлялось сейчас невозможным.

Третьим способом, который он особенно отстаивал, была постройка туннеля под Ла-Маншем — заглубленный на две сотни футов под землей, протяженностью в 26 миль, он должен был соединить Англию и Францию. Англия и Франция должны держаться вместе.

"Мне кажется, — писал он сухо, — нет необходимости доказывать, что в наших жизненных интересах, чтобы Франция не была искалечена и выхолощена. Подобная трагедия превратит Западную Европу в одну гигантскую Германию с несколькими незначительными государствами, свернувшимися у ее ног".

Такой туннель, подземная железная дорога, был бы трубопроводом, дорогой жизни, одинаково ценным для торговли и для войны. Проект выдвигался и ранее, он был осуществим уже тридцать лет назад. В 1913 году при современных инженерных методах туннель потребовал бы трех лет — если это еще не поздно — и затрат в пять миллионов фунтов стерлингов.

"Мы воспользуемся (через Марсель и Туннель) всеми плодами Средиземного и Черного морей". В маловероятном случае нападения на территорию Англии подкрепление можно было бы быстро перебросить назад из Франции. Как бы то ни было, уважаемые лорды и джентльмены, субмарины — реальная угроза. Как вы собираетесь ее предотвратить?

Хотя многие влиятельные лица, включая генералов сэра Реджинальда Талбота и сэра Альфреда Тернера, его поддерживали, большинство в высоких кругах не склонно было воспринимать его серьезно. Митинг на Кэннон-стрит, где он был основным оратором, вызвал разноречивые отзывы.

М-р Асквит, премьер-министр, говорил: "Вопрос о нашей способности снабжать население или сохранить коммуникации через Канал есть вопрос о том, обладаем ли мы непобедимым флотом и владычеством на море или нет".

Вежливая усмешка комментария в "Таймс": "Предоставим сэру Артуру Конан Дойлу привести это высказывание м-ра Асквита в соответствии с воображаемой картиной: 25 вражеских субмарин у Кентского побережья и 25 субмарин в Ирландском канале".

А тремя годами позже адмирал фон Капель ликовал в рейхстаге:

"Единственный пророк современной формы экономической войны — сэр Артур Конан Дойл".

Но в описываемое время в своей стране он не пользовался популярностью в военных кругах. Не веря во вторжение, он предполагал, что территориальные войска (в случае войны) служили бы поддержкой армии за границей".

Обязательная воинская повинность была ему не по душе. Он верил в добровольцев и сомневался в осмысленности рекрутства: взгляд ошибочный, но непосредственно вытекающий из его юношеских представлений и отражающий существенную сторону его характера. Обязательная служба, конечно, может стать необходимостью во время войны. Но в мирное время, справедливо полагал он, такая мера не пройдет через парламент.

"Готовьте лучше территориальные войска, — настаивал он, — и у вас будет резерв".

Это, в частности, вызвало острейший спор, когда весьма живописный ирландец, генерал Вильсон, распорядитель военных операций, пригласил его на конференцию по поводу "Великобритании и грядущей войны". После ланча в доме полковника Саквилль-Уэста генерал Вильсон швырнул свои вопросы в лицо этому ершистому штатскому — и загрохотали кулаки об стол по обе его стороны. Они не могли убедить его в необходимости рекрутского набора, он не мог заставить их увидеть опасность в подводных лодках.

Еще одну угрозу он усматривал в плавучих минах, оказавшихся столь смертоносным оружием в русско-японской войне. Он ломал голову над тем, нельзя ли придумать способ защиты одновременно от мин и подводных лодок. Во всяком случае, он понимал, что нужно как-то пробудить публику. Все шло так гладко, так складно весной 1913 года, что только вопли воинствующих суфражисток волновали общество.

"Избирательные права женщинам!" — кричали они.

Они били стекла, атаковали кабинет министров, приковывали себя к железным оградам. Они объявляли голодовки, вынуждая применять к ним принудительное питание. Они устраивали демонстрации в театрах и общественных собраниях, откуда их, визжащих и царапающихся, уволакивали в облаке выдранных волос. Людям недалеким это представлялось смешным. Большинство же смотрело в недоумении. Казалось, будто чаепитие в доме священника вдруг обернулось шабашем ведьм, или добропорядочные вдовушки запели "Александр Рэгтайм-бэнд".

Конан Дойл, никогда не сочувствовавший суфражизму, резко восстал, когда началась эта свистопляска. Дело было не в политических

принципах. Ему претило их поведение. Он видел в этом гротеск, полную перемену ролей, как если бы мужчины переоделись в женское платье и занялись вязаньем. Джин, как и большинство женщин того времени, не изъявляла желания голосовать и сообщила ему об этом без всякого нажима с его стороны.

"Зачем мне это? Я вполне счастлива".

Их третий ребенок, девочка, которую они назвали Лина Джин Аннет, родился 21 декабря 1912 года. Следующее лето застало в Уиндлшеме совершенную идиллию. Новая семья вовсе не отчуждала прежних детей, Мэри и Кингсли; напротив, все привязались друг к другу еще сильнее.

Мэри с удивлением наблюдала, как в бильярдной Денис и Адриан возятся на полу у ног отца, пока тот упражняется в ударах (он занял третье место в любительском соревновании в 1913 году). И он, не раздражаясь (как бывало в прежние времена), преспокойно, будто и не замечая, погруженный в свои мысли, переступал через них, обходя вокруг стола, и позволял им бегать, где вздумается.

С Мэри и Кингсли было достигнуто истинное взаимопонимание. Кингсли — высокий, крепкий юноша, очень замкнутый и мягкий — готовился к получению медицинского диплома в госпитале Сент-Мэри, пройдя курс обучения в Лозанне и Ганновере.

"Я иногда ощущаю, — признавался когда-то Конан Дойл в письме Иннесу, — что не могу проникнуть сквозь его замкнутость, что не понимаю его". Это досадное чувство рассеялось, Кингсли увлекся метанием молота, и отец состязался с ним на лужайках Уиндлшема.

— Кингсли, — говорил он Джин, — должно быть, самый неразговорчивый из всех когда-либо живших Дойлов. Но он может быть весьма красноречив, когда пишет всем этим девушкам.

— *Всем* девушкам?

— Да в доме нельзя открыть ни одного ящика стола, чтобы не наткнуться на очередное письмо, начинающееся словами "Дорогая Сьюзен" или "Дорогая Джейн". И, изображая самого себя, он надувал щеки и будто принимался распекать сына: "Кингсли! Черт возьми! В чем дело? Мальчишка — сущее наказание".

Он много выступал в тот год по поводу реформы бракоразводных законов. "Основа национальной жизни, — говорил он, — не просто семья. А семья счастливая. А этого-то, с нашими замшелыми брачными законами, как раз и нету".

Не говоря уж о мопеде, — то есть велосипеде с приспособленным к заднему колесу двигателем, который, чихая, возил их по окрестностям, не было таких увлечений, которым бы он не предавался. М-р Столл мечтал о Шерлоке Холмсе в виде, который миссис Хамфри Уорд назвала "эти новые схемы для кинематографического воспроизводства романов". Но первым экранизированным произведением Конан Дойла стал "Родни Стоун".

Еще доносилось эхо "Потерянного мира". В прессе от 1 апреля (что делать? — это не придуманная дата) увидел он следующее сообщение:

"Захватывающий роман сэра Артура Конан Дойла "Потерянный мир"

пробудил жажду приключений у группы американцев. Несколько дней назад яхта "Делавэр" вышла из Филадельфии в плавание по широким водам Амазонки. Яхта принадлежит Пенсильванскому университету и направляется в Бразилию с группой отважных исследователей, которые предполагают достичь дальних пределов Амазонки и верховьев многих ее притоков в интересах науки и человечества. Они ищут "потерянный мир" Конан Дойла или научных свидетельств его существования".

Можно предположить, что американский репортер добавил остроты в реальные факты. Были упомянуты и реальные имена: капитан Роувен, командовавший яхтой, и д-р Фаррабл из Пенсильванского университета. Джин была в ужасе.

— Ты не боишься, что они приняли это всерьез?

— Нет, конечно же, нет. Во всяком случае, пусть едут! Если они и не найдут плато, что-нибудь интересное они непременно найдут.

Тогда же, в апреле, в Уиндлшеме появился человек, за которым закрепилась слава величайшего американского сыщика. Уильям Дж. Бернс, с рыжими усами и проницательными глазами, обладал "легкими и отшлифованными манерами дипломата, под которыми нащупывалось нечто такое, что подверглось шлифовке — гранит".

«Он рассказал мне, — записал Конан Дойл в своей записной книжке, — что, когда он вел сан-францисское дело, ему пригрозили, что пристрелят его на суде. Тогда он отдал распоряжение, чтобы, если что случится, его люди перебили всех адвокатов и свидетелей противоположной стороны. „Я был бы уже мертв, сэр Артур, и мне было бы все равно"».

Бернс хотел говорить о Шерлоке Холмсе. Он утверждал, что методы Холмса вполне применимы на практике, и демонстрировал "детектофон", с помощью которого можно слышать разговоры, происходящие в соседней комнате. Но хозяин Уиндлшема, прячась от вопросов за клубами своей трубки, настоял на том, чтобы гость рассказал ему о своем детективном агентстве и о случаях из многолетней практики агентства Пинкертона. Одна история — о Молли Маджиресе, происшедшая в 1876 году в антрацитовых шахтах Пенсильвании, — еще долго после отъезда Бернса не давала Конан Дойлу покоя.

Сработает ли опознавательный механизм памяти, если мы без всяких комментариев процитируем: "Я Берди Эдвардс!"?

Так в двух совершенно различных направлениях — в попытках открыть глаза на субмаринную угрозу и в различении туманных очертаний детективной истории — в то лето и осень работала его мысль.

За последние пять лет пять детективных рассказов от "Приключения в Вистерия-Лодж" до "Исчезновения леди Франчески Карфакс" — было опубликовано в "Стрэнде". А что если, спрашивал он, прислать полнометражный детектив? И в то же время он просил содействия в осуществлении другого плана, предложив прокомментировать его рассказ в военно-морских кругах.

Тем временем в записной книжке появляется все больше заметок на духовные темы. Попадаются записи и о спиритизме — предмете, который он никогда не обсуждал с Джин, ибо она не любила этого и боялась. Читая записные книжки, можно получить представление о ходе его мыслей.

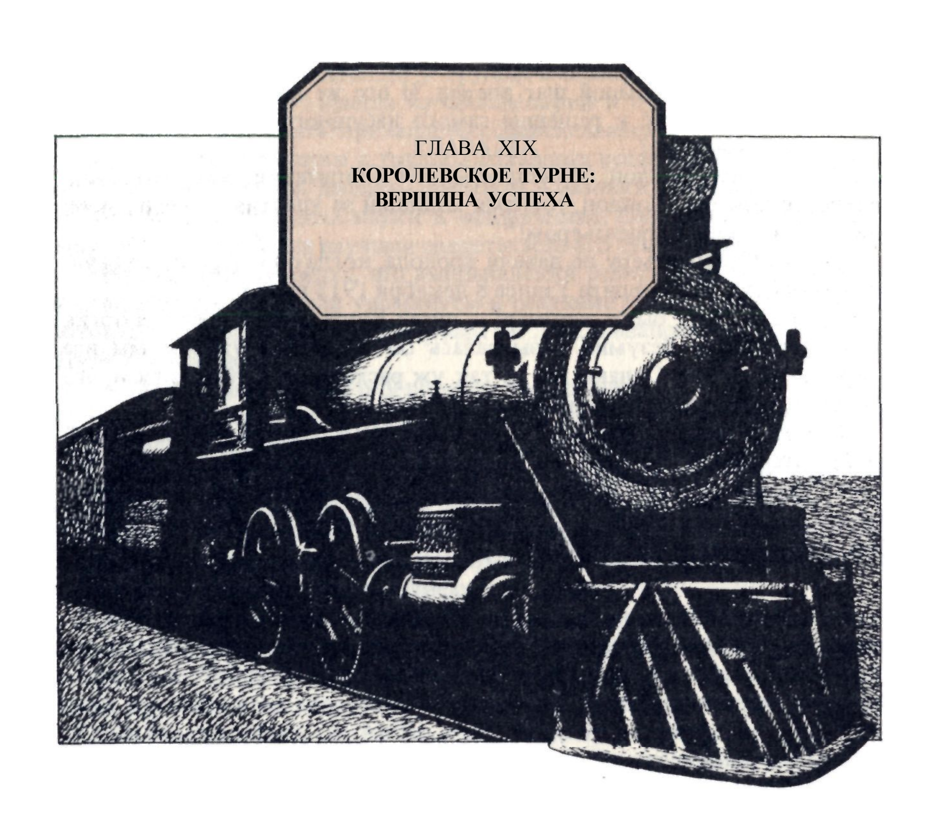
"Даже предположив, что спиритизм не ложь, — писал он, — мы сделаем не слишком большой шаг вперед. И все же даже этот маленький шажок приводит нас к решению самого насущного вопроса — все ли кончается со смертью?

Представим Лондон, помешанный на спиритизме, как это было недавно с боксом, Лондон, толпами ходящий за удачливым медиумом, как за Джорджем Карпентьером!"

(Юному Карпентьеру не давали прохода, когда он в первом же раунде свалил с ног Бомбардира Уэллса 8 декабря 1913 года.)

"Что это был бы за кошмар! — писал Конан Дойл. — Что за оргия мошенничества и безумия разыгралась бы! С каким ужасом мы все взирали бы на это. Однако это не так уж расходится с убеждением, что все, что провозглашает спиритизм, — истина".

В этот период, с зимы 1913 по весну 1914 года, на вершине своей изобретательности, написал он последнюю и лучшую детективную повесть "Долина страха". И одновременно — длинный рассказ "Опасность! Запись в судовом журнале капитана Джона Сириуса", который должен был стать образцом пророчества.



ГЛАВА XIX
КОРОЛЕВСКОЕ ТУРНЕ: ВЕРШИНА УСПЕХА

Субмарина, несущая на своей палубе выдвижную 120-миллиметровую пушку, а внутри — торпеды, вышла из гавани Бланкенбурга на закате. Это была "Йота" под командованием капитана Джона Сириуса.

Бланкенбург — вымышленная столица крошечного вымышленного государства Норландия.

Это ничтожное и на первый взгляд бессильное государство, находящееся в состоянии войны с Великобританией, изобрел Конан Дойл. Со своей флотилией всего из восьми подводных лодок капитан Сириус диктовал противнику условия, даже когда несметный английский флот блокировал норландские порты. Капитан Сириус не намеревался атаковать военные корабли. Он топил лишь суда, перевозившие зерно, скот, продовольствие всех видов и из всех стран.

"Мне все равно, — заявлял он, — под каким он флагом, если он зани-

мается контрабандой оружия на Британские острова". Первое торговое судно, утопленное его пушечным огнем, было американским.

Англия, это правда, слишком уж быстро принимает условия неприятеля, да и число неприятельских подводных лодок слишком невелико. Но всякий, читающий "Опасность!" в наши дни, по прошествии двух мировых войн, не может не чувствовать, что Конан Дойл попал в самую точку. Даже второстепенные детали столь реальны, что нам приходится напоминать себе, что дело происходит в феврале 1914 года, когда все это было еще только плодом воображения Конан Дойла.

Конан Дойл начертал точный план того, что случилось позже. Он просил Гринхофа Смита заполучить отзывы на его рассказ, скажем, дюжины ведущих военно-морских экспертов. Может ли такое случиться? — следует спросить у них и напечатать их мнение в приложении к рассказу.

"Каждый отзыв, — писал он, — должен содержать не более 100 слов или около того, чтобы не перевесить рассказ. И нужно, сколь возможно, держаться подальше от политики.

Это нужно сделать обязательно. Это очень, очень, очень важно!"

В то же самое время он усиленно работал над повестью, касательно которой Гринхоф Смит настоятельно просил держать его в курсе событий.

«„Стрэнд", — отвечал он 6 февраля 1914 года, — предлагает такую высокую плату за этот рассказ, что было бы просто неблагодарно не дать им исчерпывающую информацию.

Название, я думаю, будет "Долина страха". Исходя из сегодняшних возможностей в ней будет не менее 50 000 слов. Я сделал около 25 тысяч. Если все будет в порядке, я закончу ее до конца марта.

Как и в "Этюде в багровых тонах", действие доброй половины книги переносится в Америку, где выясняются обстоятельства, приведшие к преступлению, совершенному в Англии... В этой части повести будет содержаться один сюрприз, который, я надеюсь, потрясет самого стойкого читателя. Но по ходу дела мы расстаемся с Холмсом. Это необходимо».

А поверх письма он, подумав, приписал:

"Мне сдается — это моя лебединая песнь".

Получив письмо, Гринхоф Смит обеспокоился и умолял Конан Дойла объяснить, в чем дело.

Конан Дойл, наслаждаясь комизмом ситуации, ответил, что под своей лебединой песней, — "или гусиным гоготанием, я бы сказал", — он подразумевает только то, что человек он далеко не бедный, что у него основательная коммерческая база и он может целиком посвятить себя любимому делу — истории. А пока:

"Так как сначала я намереваюсь написать две вступительные шерлок-холмсовские главы, а затем сразу перейти к американской части (что не соответствует порядку публикации), мне трудно прислать Вам что-либо, что не создало бы неверного впечатления".

Некоторые критики склонны принижать достоинства "Долины страха". Им не нравится "политический", на их взгляд, аспект второй части, и они заявляют, что их коробит техника исполнения. Это вечная

жалоба тех левых писателей, которые сами ни за что на свете не могут сколотить крепкого сюжета. Но повышенная чувствительность этих джентльменов не должна заслонять от них тот факт, что совершенно самостоятельная часть под названием "Трагедия в Берлстоуне" едва ли не совершеннейший образчик детективного жанра.

Принято считать, что Конан Дойл заимствует одну находку у По, другую находку — у Габорио, а третью — еще у кого-то. Но за этими рассуждениями мы забываем о том, что создал он: он изобрел "загадочную отгадку", "таинственный ключ". Мы наталкиваемся на нее чуть ли не в самом начале рассказа в кочующих, таких примерно прозрачных пассажах:

— Вы хотели бы обратить на что-нибудь мое внимание?

— На одну любопытную деталь: поведение собаки ночью.

— Но собака никак не вела себя ночью.

— Именно это и любопытно.

Можно назвать это "шерлокизмом" или как угодно, но факт остается фактом — вам дается отгадка, верный ключ к решению. Этим трюком детектив — предоставляя вам прекрасную возможность догадаться обо всем самому — тем не менее заставляет ломать голову, о чем же в конце концов идет речь. Придумал этот прием создатель Шерлока Холмса, и никто, кроме великого Г. К. Честертона, в чьих рассказах о патере Брауне так ощущается его влияние, не овладел им и наполовину.

Холмс как литературный герой — разгадывает ли он шифр Порлока или читает лекцию по архитектуре заинтригованному инспектору Макдональду — и в 1914 году не утратил своей силы. Пусть критики-эстеты посвящают себя "Этюду" или "Знаку четырех", с которыми и так обращаются весьма сомнительно. Но пусть они остерегутся нести всякую чепуху о "Долине страха".

Он закончил ее в апреле, как он писал Гринхофу Смиту, "часто отвлекаясь на многое другое". Кое-что из этого другого не могло не задеть его.

Воинствующие суфражистки вновь оживились. Они подожгли крикетный павильон в Танбридж-Уэлс, что вызвало митинг их противников, на котором резкую речь произнес Конан Дойл. В Лондоне, когда он выступал в церкви Этикал-черч по поводу реформы бракоразводного законодательства, они пытались ворваться внутрь здания. В обществе нарастало возмущение движением суфражисток, которые не останавливались ни перед порчей произведений искусства, ни даже перед поджогами. Это объясняет и некоторые более поздние высказывания Конан Дойла.

Год назад, когда он мог только сожалеть, что слишком занят, чтобы принять предложение, канадское правительство пригласило его осмотреть заповедник Джаспер-парк на севере Скалистых гор и в качестве гостя совершить турне по Канаде. Теперь, в 1914 году, оно повторило свое приглашение.

"Главная сеть железнодорожных магистралей — писал полковник Роджерс, — выделит в Ваше распоряжение личный поезд, который будет ожидать Вас в Квебеке или Монреале и доставит в любую точку в Восточ-

ной Канаде по Вашему пожеланию, затем Вас обеспечат лучшими пароходами на Великих озерах и предоставят другой поезд, на котором от Форта-Уильяма Вы сможете передвигаться по железнодорожным путям Западной Канады".

От таких почестей он не желал отказываться, ведь он сможет побывать в землях Паркмана, пройти по тем лесам, где обитали ирокезы из его "Изгнанников". Путешествие по Канаде, умеющей чествовать так изящно, обещало обернуться настоящим королевским турне. Однако сначала они с Джин провели беспокойную, суетливую неделю в Нью-Йорке. Америка и на этот раз признала его своим. В 1894 году он был известным писателем. Теперь же он был великим человеком. Но, как мы увидим, в нем не было и тени чванства.

Не успел еще лайнер "Олимпик" 27 мая 1914 года показаться в виду Манхаттана, а в прессе уже появились приветственные сообщения. И на них с Джин устремились фотокамеры, аппарат для производства движущихся картин и, как им показалось, все на свете репортеры.

Как изменился горизонт, над которым теперь высился голиафом небоскреб Вулворта!

— Позвольте, прошлый раз, когда я был здесь, самым высоким был "Тауэр"! Что, что? Избирательные права для женщин?

Они остановились в "Плаза". И пока в коридорах гостиницы его осаждали все новые и новые репортеры, Джин, сидя в розовой гостиной их апартаментов и наблюдая грозу, разразившуюся над Центральным парком, удовлетворяла любопытство американок. Конан Дойлу особенно польстило, что о нем написали, будто ему не дашь больше сорока и будто из него вышел бы отличный полисмен. Но некоторые заголовки утренних и вечерних газет резанули по глазам, как яркая вспышка света в темной комнате.

Нью-йоркская "Уорлд" за 28 мая:

«Шерлок здесь; ждет линчевания „диких женщин"».

Нью-йоркская "Мейл":

"Суд Линча — лекарство Конан Дойла от суфражизма".

Нью-йоркская "Американ":

"Конан Дойл заявил: пусть суфражистки перемрут от голода".

— Я не говорил этого, — в ужасе кричал он Джин.

— Но, дорогой, ты говорил что-то очень похожее.

— Я только сказал, что *боюсь,* как бы их не линчевали. А "Джорнэл" представляет дело так, будто я утверждал, что возглавлю линчевание и буду вешать их собственноручно.

Он был очень раздосадован. Его, чей кодекс поведения не позволял ему произнести даже грубого слова в присутствии женщины, изобразили вешающим суфражисток на фонарных столбах вдоль Риджент-стрит! И он бессилен здесь что-нибудь исправить.

Однако все уладилось. Те же журналисты, которые нигде и ни на шаг не отставали от них, разве что когда Уорден Кленси запер его в камере Синг-Синга, поместили в своих газетах его ответ. На том дело и кончилось. Из официальных приглашений он смог принять только одно — то, которое получил посредством аппарата Маркони, когда еще

находился в Атлантике, — приглашение на завтрак в Обществе Паломников, действительным членом которого он состоял в Лондоне. Джозеф Х. Чоут, бывший посол в Великобритании, представил его как самого известного из живущих англичан, и самый известный из живущих англичан произнес спич об англо-американских отношениях.

"Все в этом городе будто сговорились таскать нас повсюду". Неделя проносилась головокружительно. В моду входило танго, Бродвей уже мог гордиться своими огнями, а в "Клочке бумаги" они видели Джона Дрю и мисс Этель Барримор. На седьмом ярусе тюрьмы Тумз ему показали английского заключенного, именовавшего себя сэром Джоном Греем, но более известного полиции под именем Джо Бумажный Воротничок.

"Сэр Артур, — писала "Ивнинг сан", — заинтересовался Чарльзом Бекером. Ему все известно о Кровавом Джипе, Луи-Левше и других бандитах".

Накануне их отъезда в Монреаль пресса вложила в его уста намек ("он не говорил этого буквально", — признавалась добросовестная "Сан"), будто он привезет Холмса в Нью-Йорк и поселит на Вашингтон-сквэр. "Ему определенно понравился этот город", — отметил "Джорнэл", и на сей раз он не ошибся.

А затем началось восхитительное путешествие по Канаде. В собственном пульмановском вагоне, соединяющем в себе гостиную, столовую, спальню, они проделали почти три тысячи миль от Монреаля до Джаспер-парка на границе с Британской Колумбией. От озера Джордж до реки Ришелье, где рыскали некогда ирокезы — охотники за скальпами, слышалось ему дыхание зловещих стивенсоновских строчек:

Война разразилась в лесистом краю,
За морем вдали лежащем,
Война засад в полночной мгле
И выстрелов из чащи.

В долгом путешествии из Оттавы к Виннипегу и Эдмонтону отошли на второй план прежние видения из его "Изгнанников".

"Едва я приехал в Канаду, я только и делаю, что говорю, — сказал он во время выступления в Эдмонтоне, — мне почти нечего прибавить об Англии такого, чего бы вы сами не знали. Истинная опасность — в угрозе войны".

За Эдмонтоном на дальней границе Альберта поднималась цепь Скалистых гор. Когда-то давным-давно воображение переносило его сюда и вместе с капитаном Майн Ридом настреляли они тогда немало медведей. Теперь, конечно, не могло быть и речи об охоте в заповеднике Джаспер-парк, где они были гостями полковника Мейнарда Роджерса.

Но они выезжали на верховые прогулки (Джин — в своей стихии) по бескрайним зарослям елей, простирающимся ниже уровня снегов. Они останавливались на привал в вигвамах и удили рыбу в ледяной воде озер. И каждый божий день посыльный верхом привозил телеграмму от Лили Лоудер-Симондз, заверявшей Джин, что с ее детьми все в порядке.

"Мы много бродили по окрестностям, — рассказывал Конан Дойл на

обратном пути, — и уже стали воображать, что одни на белом свете, пока не повстречали бурого медведя. Тут наши фантазии улетели прочь, а за ними следом и мы".

Все канадское турне заняло меньше месяца. У Конан Дойла зародилась идея новой, канадской, повести, и он обмолвился об этом прессе в Виннипеге. "Нет, нет, она будет не о Шерлоке Холмсе, не о северо-западной конной полиции и не о том и другом вместе". В Англию они вернулись в начале июля рокового лета 1914 года.

Приехав на вокзал Ватерлоо, он увидал на прилавках июльский номер "Стрэнда" со своей "Опасностью!". Редактор сопровождал ее двенадцатью отзывами военно-морских специалистов, которые автор видел еще в гранках и в которых разбирался вопрос о реальности описанной ситуации.

Семь из двенадцати комментаторов были адмиралами, по преимуществу отставными, и почти все они отнеслись к возможной опасности весьма легкомысленно, полагая, что Британским Островам не могут причинить вреда несколько субмарин под командованием каких-то отчаянных сорвиголов.

"Я вынужден заявить, — писал кавалер ордена Бани адмирал сэр Комптон Домвилл, — что считаю это крайне невероятным и более всего смахивающим на Жюля Верна".

"Британская публика, — писал адмирал Пенроуз Фицджералд, — не примет тех совершенно невероятных технических подробностей, которые вводит автор. Я же считаю, что ни одна цивилизованная нация не станет торпедировать безоружные и беззащитные торговые корабли".

"Ни одна нация не допустит этого", — вторил ему адмирал Уильям Ханнам Хендерсон, утверждая, что всякий командир подводной лодки, который отважится на подобный шаг, предстанет перед судом и будет приговорен к расстрелу собственным народом.

Капитан Джейн, соглашаясь, что сверхсубмарины, подобные описанным в рассказе, могут в ближайшие годы появиться, считал, что лучший способ предотвратить подводную войну — это вешать всякого капитана и команду, которые попадут в руки англичан.

"На Террор надо ответить Террором, — писал он в воображаемом приказе адмиралтейства. — Мы способны расквитаться! Повесить парочку для острастки другим — и они больше не сунутся!"

Таковы были аргументы.

Но нам, знакомясь с ними, не следует слишком сурово судить этих джентльменов за недомыслие. Кто мог угадать, что у немцев на уме? Могло ли адмиралтейство в преддверии войны что-нибудь изменить? А 25 лет спустя много ли благоразумнее вели себя мы? Очевидное становится очевидным, лишь когда это уже свершившийся факт, в чем так часто приходилось убеждаться д-ру Уотсону. Все спокойно и безмятежно в доме, все, вплоть до безделушек на камине, на своих местах, пока вдруг дом не шатнет землетрясение; и вот так же в июле как-то совсем неприметно, с какого-то незначительного инцидента на Балканах разгорелся великий пожар.

А пока, сразу по возвращении, Конан Дойл вновь взялся доказывать

невиновность Оскара Слейтера — дело об убийстве старой леди в собственной квартире в Глазго, — так как вскрылись некоторые новые обстоятельства, опубликованные незадолго до того, 27 июня, в правительственной Белой книге.

Лейтенант полиции Глазго Джон Томсон Тренч был одним из тех, кто участвовал в расследовании убийства мисс Гилкрист. Вот уже пять лет дело Слейтера не давало ему покоя. Но, не превышая своих полномочий, он не мог обнародовать некоторых обстоятельств, заставлявших его верить в невиновность Слейтера.

В марте 1914 года он поверил свои сомнения м-ру Дэвиду Куку, юристу из Глазго. Выступая, как он полагал, под защитой заверений в неприкосновенности, данных министром по делам Шотландии, лейтенант Тренч сделал некоторые потрясающие признания.

Он показал, что по той или иной причине на свидетелей был оказан нажим, и это вполне могло повлиять на решение суда. Некоторые из его показаний касались Элен Ламби, горничной.

Возвращаясь к событиям того рокового вечера — Элен Ламби, выполнив поручение, спешит домой, где у дверей стоит Артур Адамс и дергает звонок, — мы должны припомнить и то, что эти двое столкнулись лицом к лицу с убийцей в освещенном холле. Элен, заявлял лейтенант Тренч, узнала этого человека, о чем сказала тогда же одной из родственниц мисс Гилкрист.

Родственницей, о которой шла речь, была мисс Маргарет Биррелл, жившая тогда на Блитсвуд-драйв. Лейтенант Тренч просил приобщить к делу ее показания. Вот выдержка из этого документа:

"Мне никогда не забыть день убийства. Горничная мисс Гилкрист, Элен Ламби, прибежала ко мне в 7.15... Дверь была не заперта — она влетела в дом и выпалила:

— Ах, мисс Биррелл, мисс Биррелл! Мисс Гилкрист убили; она мертвая лежит в столовой; и ох, мисс Биррелл, я видела, кто это сделал.

Я ответила: "О Боже, Нелли, это ужасно. Кто это, ты его знаешь?"

Она ответила: "Ох, мисс Биррелл, мне кажется, это был А. Б. Я уверена — это А. Б."

Я сказала ей: "О Боже, Нелли, что ты говоришь?"

Инициалы «А. Б.» прикрывали в сообщении некое реальное имя. Этот да еще четыре факта, на которые обратил внимание лейтенант Тренч, заслуживали того, чтобы назначить новое расследование. Хотя Элен Ламби и мисс Биррелл отказались от своих слов, Тренч мог доказать, что на свидетелей оказывалось давление, сыгравшее роковую для Слейтера роль.

Но новое расследование проводилось секретно; ни узник, ни свидетельницы не были приведены к присяге; в отчете в самых острых местах появились звездочки.

"С удовлетворением могу сказать, — заявил министр по делам Шотландии, — что нет ни одного судебного дела, которое оправдывало бы мое вмешательство в приговор". Это было сказано 17 июня 1914 года. А десятью днями позже, будто для большей наглядности, появилась правительственная Белая книга с результатами секретного расследования.

Конан Дойл, уже давно убежденный в невиновности Слейтера, с этой минуты стал его яростным защитником. На протяжении 16 лет, начиная с брошюры 1912 года, он вел борьбу за освобождение узника Петерхеда. Но и узник, и его защитник уже успели поседеть, прежде чем оказались в зале суда, где вынесли постановление об отмене приговора. Прозвучал все тот же традиционный вопрос и последовал знакомый ответ:

— Чего вы желаете?

— Правосудия! Одного лишь правосудия!

Но это впереди, а пока — ему 55 лет: он стал чуть грузнее, волосы и усы не слишком убелены сединой, а серо-голубые глаза на добродушном лице смотрят еще приветливее. Силы его не покинули: он, как и прежде, мог поднять, держа за конец ствола, по ружью в каждой руке до уровня плеча. И он все еще не нашел своей духовной философии.

"Даже если допустить, что спиритизм правда, — писал он за год до этого, — это не слишком продвигает нас вперед. И все же этот маленький шаг решает насущный вопрос — все ли кончается со смертью?"

В какой-то момент, между 1905 и 1913 годами (более точно сказать нельзя, ибо он никогда не признавался в этом своему сыну), он преодолел один из крепчайших барьеров сомнения. Сомнения, вызванного ощущением малости, никчемности всех этих парапсихических явлений. Стал бы освобожденный от плоти дух возиться с такими пустяками, как вращение столов или игра со светом!

Вдруг он понял, что это ощущение продиктовано чисто романтическими запросами, требованиями рыцарской чести, не имеющими ничего общего с жизнью духа. Это была все та же жажда великих знамений, свойственная диким племенам. У большинства людей есть врожденное, инстинктивное представление, что истинное знамение пишется молниями на Синае, или поражает армии Сеннахирима, или что-нибудь еще в таком роде, от чего, если бы и вправду это происходило постоянно, лишь нарушался бы порядок мирозданья.

"Но позвольте, — вправе спросить меня, — по сути ли явления я сужу о нем или по размеру его внешних проявлений?" О смысле сообщения не судят по звуку телефонного звонка, а о посетителе — по стуку в дверь. Если слышен стук или нечто тянет вас за рукав — пусть тихо и слабо, — это нечто привлекает ваше внимание. Нечто требует быть замеченным.

Но где же подтверждения? Подтверждений, как он их ни искал, у него не было! Никаких!

А в Уиндлшеме этим летом было очень весело и шумно.

"Надеемся, что сможем навестить тебя, старина" — писал Иннес, теперь уже отец двухлетнего сына по имени Джон. Иннес оставался неизменно жизнерадостным, хоть и в своей, особой, как он ее называл, флегматичной и основательной манере. "А что Америка? Все такая же, как тогда, двадцать лет назад, когда мы ее покинули? А как тебе нынешняя прекрасная погода?"

Дети в Уиндлшеме, пятилетний Денис и четырехлетний Адриан и их младшая сестра Джин, возились с игрушечной железной дорогой, привезенной из-за границы. Кингсли, высокий, веселый, собрал детям целую железнодорожную сеть. Из Вест-Гринстед-парка приезжали Конни

и Вилли Хорнунги с сыном Оскаром, который был чуть моложе Кингсли.

Прошли годы, но наиболее яркие обрывки воспоминаний сохранились у детей Конан Дойла именно в образах тех, предшествовавших катастрофе, дней. Им помнилось, будто был какой-то званый обед в Уиндлшеме, гул голосов, доносившийся из узкой и длинной столовой рядом с бильярдной; оба мальчика, когда считалось, что они уже давно мирно спят в своих постелях, встают и крадутся вниз по лестнице, увешанной иллюстрациями к Шерлоку Холмсу и "Потерянному миру"; они заглядывают из-за перил в приотворенную дверь столовой, и из всего увиденного их память запечатлевает игру розового света ламп на белых манишках мужчин и колыхающихся юбках женщин.

Лорд Такой-то или сэр Сякой-то не представляли особого интереса; но разговоры других гостей — а ведь бывали военные, путешественники, не говоря уж о менее интересных государственных мужах и писателях, — ужас как хотелось послушать, если бы еще они хоть что-то понимали.

Вот уже знакомый нам стол, которым так гордился их отец. Против камина, меж двух мечей с плетеными эфесами, висела картина, изображавшая бракосочетание сэра Найджела, про которую говорили, будто это их отец и мать. Взрыв смеха в общем шуме беседы, блеск драгоценностей, ощущение чего-то волнующего и великого — вот все, что сохранила память.

23 июля 1914 года Австро-Венгрия предъявила резкий ультиматум Сербии.

"Было бы неплохо, — говорил за две недели до того граф Бертольд австрийскому главнокомандующему, — если бы вы и военный министр на время уехали, чтобы сохранить видимость, будто ничего не происходит".

Теперь все было готово и начищено до блеска. Маленькая Сербия служила предлогом. Хотя Сербия смиренно ответила на австрийский ультиматум, граф Бертольд заявил, что этого недостаточно. 28 июля престарелого императора Франца-Иосифа убедили подписать документ об объявлении войны; днем позже австрийские мониторы на Дунае открыли огонь по Белграду.

За спиной Австрии стояла Германия. Россия должна вступиться за Сербию или отступиться от нее. Если Россия отступится — прекрасно, ведь связанная договором, она должна была оказать военную помощь Франции, если на нее нападет Германия; а Франция — истинная цель германских вояк. Когда Россия вступит в войну, австрийская армия и несколько германских дивизий скуют ее действия на востоке.

А тем временем на западе ничем не сдерживаемая Германия проведет через Бельгию два миллиона человек и за шесть недель разгромит Францию.

Россия отступать не собиралась, наоборот, — она объявила мобилизацию. Германия выразила возмущение столь недружественным актом. Русский царь Николай II искренне желал мира. Кайзер, как водится, то распалялся, то успокаивался; теперь уже не зная твердо, хочет ли он настоящей кровопролитной войны. Царь и кайзер обмени-

вались дружескими телеграммами по-английски, подписываясь "Ники" и "Вилли". Но в стране уже заправляли люди в остроконечных касках.

1 августа Германия объявила войну России. Требование Франции, союзнице России, не вступать в войну было выражено в столь вызывающем тоне, что немецкий посланник даже не осмелился предъявить его дословно. Францию нельзя было допустить до переговоров. Непобедимые тевтонцы 3 августа вторглись в Люксембург, а на следующее утро — в Бельгию.

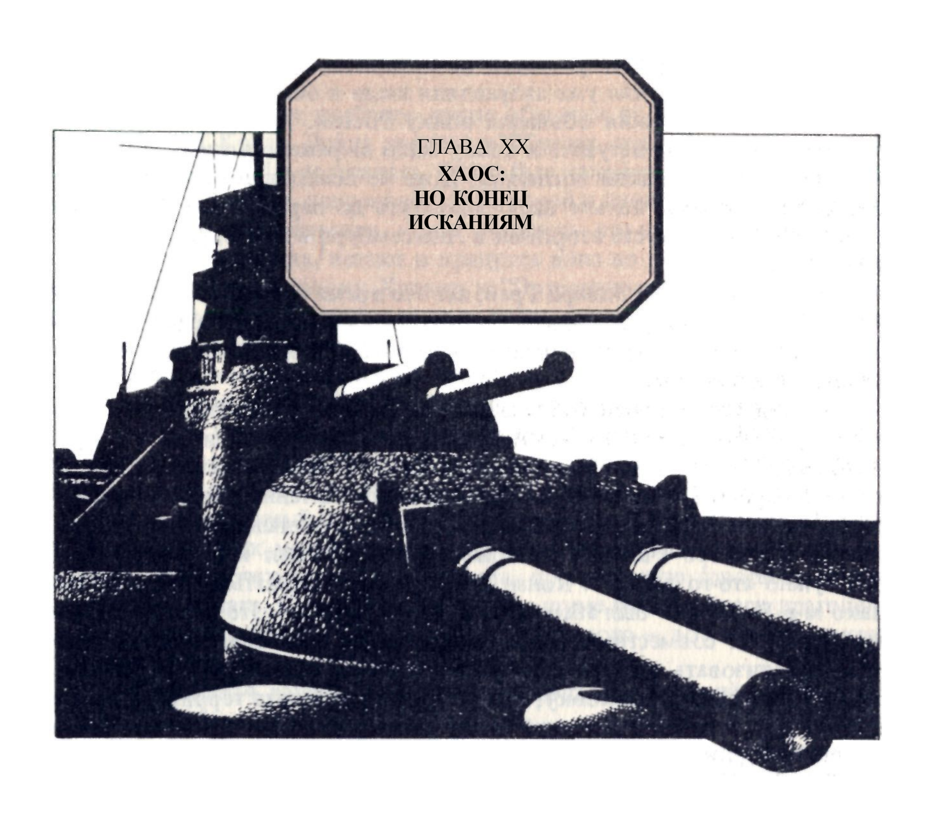
М-р Асквит и сэр Эдвард Грей, все это время пытавшиеся сохранить мир, понимали, какую позицию следует им занять теперь. Срок английского ультиматума, предъявленного Германии, истекал 4 августа в одиннадцать часов вечера.

В Уиндлшеме Конан Дойл следил за событиями последней недели с тем чувством, какое должен испытывать человек, стоящий на железнодорожных путях и завороженно глядящий на фонарь надвигающегося на него паровоза. 4 августа, когда оставались считанные часы до истечения срока ультиматума, он получил записку от лудильщика из Кроуборо.

"В Кроуборо считают, — торжественно сообщал м-р Голдсмит, — что нужно что-то делать". Конан Дойл не мог удержаться от смеха, однако м-р Голдсмит был абсолютно прав. Кроуборо — это одна из тысячи деревень, чьи совместные усилия могут иметь большое значение. Что если организовать корпус гражданских резервистов, людей не старых, способных держать винтовку, с тем чтобы освободить территориальные войска для активных действий в случае вторжения? В тот вечер, когда летние сумерки сменились темнотой ночи, он планировал первую в Англии кампанию добровольческого резерва.

В Лондоне в это же время собирались толпы людей, настроение было приподнятое, даже веселое. Рядом с Букингемским дворцом, на улице Мэлл, под высокими бледными фонарями было особенно многолюдно — пели "Боже, храни короля", когда в звуки гимна ворвался первый из одиннадцати ударов колокола Биг Бена.

Они были храбрыми. Еще большая храбрость потребовалась от них четверть столетия спустя. Но никогда уже они не были так молоды духом.



ГЛАВА XX

ХАОС: НО КОНЕЦ ИСКАНИЯМ

Впоследствии, когда он писал об этих четырех годах,— да и тогда же — он старался сосредоточиваться на самых приятных впечатлениях. Это немного отвлекало от долгих, пронизанных болью днях.

Он предпочитал думать о том сэре Артуре Конан Дойле, что состоял рядовым под № 184343 4-го королевского добровольческого батальона Суссекса. Его Кроубороский отряд был первым из 200 тысяч человек, что явились прообразом современной Home guard — войск местной обороны. В первую неделю войны Конан Дойл распространил по всей стране воззвания, и свои отряды выставили и другие деревни.

Спустя две недели Военное министерство потребовало, чтобы он отказался от осуществления своего плана. Но комитет под председательством лорда Дезборо, членом которого стал и Конан Дойл, восстановил проект и выдал Кроубороскому отряду свидетельство первенства. Он любил вспоминать о ночевках в караульной палатке на побережье Ла-

Манша, когда единственной заботой было натереть до блеска пуговицы и вычистить ружье. "Старина Билл", — говорил он о себе, или: "самая последняя линия обороны".

Он любил вспоминать единственную краткую загородную прогулку летом 1915 года, когда он вывез Джин и детей на однодневный пикник. Но все это время в подсознании жило ощущение ужаса.

Утром, перед завтраком, выйдя в розарий, можно было различить какой-то странный гул.

"Гул очень слабый и отдаленный, но в нем ясно чувствуется свой пульс, — писал Конан Дойл, — он то нарастает, то убывает вновь и вновь".

Этот гул доносился сюда издали, за сто двадцать миль, хорошо различимый в утренней тиши, когда солнце выкатывалось на ясное небо и трава блестела от росы. — "Мы слышим его уже с неделю, как только ветер задул в нашу сторону". То был гул орудий во Фландрии.

Вот уже год не таяло возникшее в начале войны первое неосознанное ощущение беды. С 8 августа до середины сентября 1914 года лучшие войска семи воюющих стран словно в гигантском кровавом матче сталкивались на поле сражения. Жоффр, вместо того чтобы занять оборону, бросил миллион триста тысяч человек в атаку на вторгшегося врага по всей линии фронта.

Французы, не пожелавшие сменить свои традиционные синие мундиры и красные панталоны, в порыве бешеного патриотизма и ненависти к врагу с дикими криками бросались в штыковую под огонь пулеметов. Как будто бурская война ничему их не научила! За один этот месяц было убито и ранено больше людей, чем за каждый последующий год войны.

В Англии патриотический дух еще дремал. В первые шесть месяцев всякая репортерская деятельность еще не допускалась, но мир полнился слухами, предчувствиями, противоречивыми соображениями по мере поступления официальных коммюнике.

"Саднящее чувство от невозможности делать что-либо определенное, — писал Конан Дойл матушке, на 76-м году жизни познавшей всю хрупкость бытия. — Живу одними газетами. Малкольм (речь идет о Малкольме Лекки, капитане медицинских войск, любимом брате Джин) на передовой. Думаю, скоро призовут Кингсли. Я намереваюсь получить чин в Новой армии, хотя Иннес и другие против. Очень тяжело ничего не делать".

"Лондонцы, — писал он впоследствии в "Бритиш Уикли", — никогда не забудут эту ужасную неделю с 24 по 30 августа, начавшуюся с сообщения о том, что Намюр пал и британские войска ведут тяжелые бои".

Это была битва при Монсе, где серые германские полчища нахлынули, как когда-то дервиши при Омдурмане. И вот еще одна памятная картина: гигант Китченер, еще не облачившийся в свой мундир, с каской в одной руке и телеграммой в другой, сообщает об отступлении от Монса.

Недели за две до того Конан Дойл обратился в Военное министерство с просьбой отправить его на фронт. Он слишком давно не занимался врачебной практикой, признавал он, и уже не молод, это правда,

но еще мог бы приносить пользу раненым. 21 августа он получил вежливый отказ Военного министерства и стал искать иных путей.

Малкольм Лекки был первым из их семьи, кому суждено было пасть на этой войне.

Он был смертельно ранен в битве при Монсе, но отказался сложить с себя свои врачебные обязанности, а спустя четыре дня скончался. Джин и ее супруг не получали о нем никаких известий, пока в конце декабря не пришло сообщение о посмертном награждении его Орденом за отличную службу.

Тем временем произошло сражение на Марне. Матушка, узнав, как любезные ее сердцу французы сумели переломить ход отступления и заставить Непобедимых тевтонцев остановиться, расплакалась. Все было, конечно, не так просто, но все же французам удалось не потерять головы, а немцам — нет. Им пришлось отказаться от мысли разгромить французскую армию, они дрогнули, стали отходить, и затем фон Клюк повернул к Ла-Маншу.

Кингсли вступил в ряды Королевских медицинских войск в начале сентября.

Идея войны была ему отвратительна. Когда-то давно он писал отцу, что после первых же опытов в анатомическом театре его вывернуло наизнанку. Но вот, все тщательно взвесив, он решил, что оставаться в стороне просто непорядочно.

"Я, пожалуй, не стану получать офицерского звания, — говорил Кингсли. — Быть рядовым вполне достаточно". И он ушел на войну вместе с тысячами других юношей, а в октябре бесчисленные полчища серых дервишей, подкрепленные 14 свежими дивизиями, при поддержке ураганного артиллерийского огня двинулись в наступление на Дюнкерк, Кале и Булонь.

Отец Кингсли, отстраненный от действительной службы, уяснил, что правительство возлагает на него иные задачи: выступления в печати и перед публикой. Но этого ему было мало. И границы своего поля деятельности он предпочитал устанавливать сам.

На рассвете 22 сентября в затишье после шторма подводная лодка У-9 обнаружила три британских патрульных крейсера — "Абукир", "Хог" и "Кресси" — старые, несовременные корабли, чей эскорт был рассеян штормом. От первой же торпеды, пущенной с У-9, "Абукир" опрокинулся на штирборт, как старый дырявый чайник. "Хог" и "Кресси" поспешили ему на выручку, представляя из себя великолепные мишени для торпед. Все три корабля затонули, похоронив на дне моря 14 сотен человек.

"Что вытворяют эти подводные лодки?" — вопила обозленная и потрясенная случившимся публика.

Но для автора "Опасности!" тут не было ничего нового. Он-то уже имел кое-какое представление о том, на что способны подводные лодки. Только несчастным, что захлебывались и тонули вместе с идущим ко дну судном, от этого не легче.

На борту современного военного корабля устанавливалось всего несколько шлюпок, потому что шлюпки огнеопасны и разлетаются

в щепки, когда дело доходит до серьезных боевых действий. Но разве можно говорить о каких-то серьезных боевых действиях применительно к торпедам или плавучим минам: при встрече с ними вам предоставляется только одно — тонуть. На подбитом "Абукире" матросы сбрасывали в воду все что не тонет, вплоть до пустых канистр, что могло помочь удержаться на поверхности.

"Неужели действительно невозможно, — писал Конан Дойл в "Дейли Мейл", развертывая кампанию в прессе, — придумать что-нибудь — пусть хотя бы надувные резиновые пояса — что могло бы дать морякам шанс на спасение? Теперь, когда их сопровождению запрещено держаться вблизи (речь идет о спасательных судах, уязвимых для торпед), этот вопрос стал еще насущней".

Не прошло и недели, как был отдан приказ о срочной поставке флоту четверти миллиона надувных резиновых жилетов весом по три унции, которые моряки могли бы носить при себе и надувать в случае необходимости.

Но в холодной воде или при волнении на море такое спасательное приспособление лишь продлевает смертную агонию. Конан Дойлу стало это очевидно, когда при ясной луне и сильном декабрьском ветре в Ла-Манше был подбит торпедой крейсер "Формидабль".

В чем же он видел решение проблемы?

Использование надувных резиновых лодок. По-настоящему резиновые лодки оценили только во второй мировой войне. Но письмо его на эту тему можно найти в "Дейли Кроникл" уже 2 января 1915 года.

Для него существенна была человеческая жизнь. "Мы можем уберечь или заменить корабль. Но мы не можем уберечь людей".

Шел 1915 год. Началась нескончаемая бойня в окопах. Кайзеровское наступление на порты Ла-Манша удалось сдержать и остановить, что вселило в англичан призрачные надежды. Теперь уже никто не мог шевельнуться. Через всю Францию уродливой незыблемой дугой от Северного моря до Альп пролегла линия траншей. Прорвать ее можно было не иначе как лобовой атакой. Вот достопамятная география этих событий: Ипр, Аррас, Сомма, Суассон, Верден — в течение почти четырех лет окопная линия меняла свои очертания всего на какие-нибудь несколько миль или даже ярдов.

И с самого начала Смерть не отдавала предпочтения именно Западному фронту. На Востоке армии царской России внедрились так глубоко на территорию Восточной Пруссии, что обеспокоенные этим обстоятельством немцы перебросили туда два армейских корпуса из Бельгии и Франции; это, как писал Конан Дойл, вполне могло решить исход битвы на Марне. Танненберг и Мазурские озера были обагрены русской кровью. К концу 1914 против союзных войск выступила Турция.

В начале 1915 года Великобритания попыталась разрубить мертвый узел на Западном фронте, ударив в единственно возможном направлении с фланга. Если бы соединенными действиями на море и на суше удалось захватить Дарданеллы, то можно было бы надеяться прорваться с изнанки Европы и помочь России ударом по врагу с другого конца. Военным

кораблям предстояло пробиваться в узком проливе под огнем турецких крепостей.

Но вернемся в Уиндлшем.

"И вот, после полуночи — в постель, — писал Конан Дойл в начале лета. — Окно моей спальни открыто. Бросая последний взгляд на небо, улавливаю в отдалении все тот же тупой, пульсирующий гул, с которого день начался".

Теперь это была вторая битва на Ипре — изнурительная, агонизирующая в кошмаре газовых атак.

Газовые атаки еще более обнажили недавно проявившиеся недостатки в амуниции, которые, как поговаривали, были в британской армии катастрофическими. Но Ипр преподал и другие, если и не новые, то весьма суровые уроки.

"Такие атаки, как 9 мая, — писал Конан Дойл в июле, — когда несколько бригад теряют почти половину своего наличного состава, пытаясь преодолеть жалких 300 ярдов, отделяющих их от германских траншей, ясно показывают, что войска без всякого прикрытия не могут пересечь зоны, контролируемой пулеметным огнем. Следует либо отказаться от подобной тактики, либо найти способы искусственной защиты людей".

Военному министерству он предложил некоторые виды нательной защиты, которая могла бы хоть как-то предохранить две жизненно важные точки: голову и сердце.

"Голову, — писал он в "Таймс" 27 июля, — нужно защитить каской наподобие такой, какую применяют сейчас французы. Сердце нужно прикрыть изогнутой пластиной из хорошо закаленной стали".

Помимо выступлений и статей, которые просило от него правительство, он работал в то время над историей британской кампании во Франции и Фландрии. И помогали ему в этом генералы верховного командования, снабжавшие его всеми интересующими его подробностями.

И пока в его кабинете нагромождались материалы для работы (его секретарь стал теперь майором Вудом и находился на фронте недалеко от подполковника Иннеса Дойла), даже этот тихий уголок страны окрасился в военные цвета. В Кроуборо, где расквартировался полк территориальных войск, Джин открыла дом для бельгийских беженцев. Конан Дойл вскоре собирался устроить в Уиндлшеме клуб для канадцев, а тем временем каждую субботу давал ужин для сотни канадских офицеров.

По ночам восточное побережье тонуло во мраке затемнения и тьма распространялась в глубь страны. Над Англией неподвижно завис шестисотфутовый цеппелин, характерным шипением смахивая на гремучую змею.

"Полдюжины крепких суфражисток, — огрызнулся Конан Дойл, — причинили бы не меньший урон". И уже серьезнее заговорил он в "Политике убийства": "Политика эта идиотична с военной точки зрения; нельзя придумать ничего, что бы так подстегивало и укрепляло гражданскую самооборону".

Если он ненавидел врага за холодное, расчетливое применение

террора, то он все же мог правильно оценить историческую перспективу. Весьма характерно в "Великом германском заговоре" его обращение к тем, с кем бок о бок проделал он в 1911 году весь путь автопробега принца Генриха:

"Всех благ Вам, граф Кармере, и пусть все беды обрушатся на Ваш полк! И Вам также, капитан Тюрк, Фрегаттенкапитан, всего наилучшего, и разрази гром Ваш крейсер!"

Не сочувствовал он и вспыхнувшей шпиономании. Он встал на защиту кельнеров-иностранцев, оказавшихся в бедственном положении, и был обвинен за это в прогерманских настроениях. Во время одного из выступлений он был не в силах сдержать своего гнева, когда представлявшему его лорду Холдейну выкрикивали из толпы "Предатель!" за предполагавшиеся симпатии к Германии. "Игра должна быть честной!" — настаивал Конан Дойл, хотя никто лучше него не знал, во что могут превратить этот принцип творцы германской военной политики.

"Война — это вовсе не большая игра, мои британские друзья, — такие слова вложил он в уста капитана Сириуса из "Опасности!". — Это отчаянное стремление одержать верх, и нужно пошевелить мозгами, чтобы отыскать слабую точку у противника. Поэтому не проклинайте меня, если я нащупал такую точку у вас".

Проклинать не проклинать, но вмазать по этой ухмыляющейся физиономии так и подмывало. И все же:

"Взгляните, — писал он в третьей главе своей истории, — на эту великолепную панораму побед, прозванную в фатерланде "Die Grosse Zeit" ("Великое время"). И он беспристрастно описывал триумф немцев в 1914 году: "Я не знаю, можно ли найти в истории серию побед, подобную этой".

Он написал это летом 1915 года, продолжая составлять свою историю войны, в то время как Союзники терпели одну неудачу за другой. В конце сентября первые части китченеровской армии были брошены в бой при Лоосе. Руководил сражением папаша Жоффр. Серым полчищам в остроконечных касках противостояли тридцать британских и французских дивизий при Лоосе и сорок французских дивизий в Шампани; в первую же неделю потери составили 300 тысяч человек.

"Этого не может быть", — вырывалось даже у тех, кому не приходилось сомневаться.

Такая жатва смерти казалась нереальной, запредельной, противоречащей всем земным представлениям — это просто не укладывалось в голове. И не видя, как человека разносит взрывом на мельчайшие части, не побывав в этой мясорубке, в это поверить было невозможно. "Где трупы? Где наши мертвые?"

Одна потерявшая своего сына мать пыталась описать это так: "Он был там, когда разорвался снаряд. И от него ничего не осталось, даже ничего, что бы можно было похоронить".

В конце августа "Интернэшнл Сайкик газетт" обратилась к ряду знаменитых людей с вопросом: "Что бы Вы могли сказать в утешение скорбящим? Чем Вы могли бы им помочь?" Было более пятидесяти ответов. Ответ Конан Дойла был самым кратким.

"Боюсь, мне нечего сказать. Лишь время лечит раны".

Тем временем в войну вступила Италия. Тяжелые бомбардировки раздирали Балканы. Конец года принес с собой безотрадные вести о британской экспедиции в Дарданеллах. Операция провалилась, не получив поддержки, захлебнулась среди болезней и смертей. Когда последнее экспедиционное судно отплывало, за ним оставалось только пламя пожарищ на опустошенном Галлиполийском берегу.

"Боюсь, мне нечего сказать. Лишь время лечит раны".

Лаконизм этой фразы, появившейся в октябре 1915 года в "Сайкик газетт", объяснялся не тем, что он не испытывал сочувствия к скорбящим, но скорее тем, что он слишком им сострадал и потому не смел вселять в них искру ложной надежды. И нам следует в этой связи присмотреться к иной цепочке рассуждений Конан Дойла, звено за звеном выковывавшейся с самого начала войны.

Тактические приемы ведения войны его не могли удивить — ведь он предвидел и предсказал и свободное маневрирование артиллерии по железной дороге, и специальное прикрытие для пушек от наблюдательных воздушных шаров (на что он указывал еще во время бурской войны). И роль авиации он верно оценил в 1913 году как весьма действенную "для сбора информации", но недостаточную, "чтобы изменить условия кампании". О подводных лодках и говорить нечего.

Но размах сражения — вот что поражало. Полмира взялось за оружие, чтобы подвергнуть уничтожению другую половину. Еще один шаг по этому пути — и это будет означать истребление человеческого рода.

Есть ли в этом некое предзнаменование свыше?

Дом в Уиндлшеме представлял собой в микрокосме то, что происходило повсюду. Первым ушел на войну Малкольм Лекки, и Джин, так его любившая, пять месяцев не имела о нем никаких вестей, пока не пришло сообщение о его гибели. "Храни вас Бог, — писал им Кингсли в то время, — неизвестность, должно быть, так томительна".

Лили Лоудер-Симондз, ближайшая подруга Джин, жившая в Уиндлшеме, потеряла на Ипре трех братьев. Четвертый ее брат был ранен и попал в плен. Оскар Хорнунг, единственный сын Конни и Вилли, вскоре погиб там же. То же и Алекс Форбс, племянник Конан Дойла со стороны жены.

А Лотти, любимая сестра Лотти, которую шестнадцать лет назад провожали они в Индию, что сталось с ней?

Лотти с дочерью Клэр жила теперь у матушки в Йоркшире. Она надеялась вскорости поступить на работу во французский Красный Крест. Скупая записка известила ее брата о том, что его зять, то есть муж Лотти, майор инженерных войск Лесли Олдхэм был убит в свой первый же день в окопах.

Вот события 1915 года, и сердце Конан Дойла обливалось кровью, когда он писал "Лишь время лечит раны", но что можно было еще добавить? Смерть пока щадила Кингсли и Иннеса, которыми он гордился больше всего. Кингсли возвратился из Египта и, получив офицерский чин, обучался гранатометанию в Линдхерсте перед отправкой на Западный фронт.

А полковник Иннес Дойл даже на фронте, где наконец нашли применение его организаторские способности, всегда оставался все тем же Иннесом. В поисках прототипа лорда Джона Рокстона не нужно ходить слишком далеко.

"Необычайно погожие деньки, — писал Иннес 11 февраля после тяжелейшего обстрела, — здорово оживили все в. наших местах. И это навело меня на одну мысль..." И, как бы извиняясь, он продолжал: "Если со мной что-нибудь стрясется..."

Он объяснял, что следует сделать для его жены и маленького сына, живших у брата в Уиндлшеме, а затем спешно замял эту тему, чтобы рассказать, какие любопытные условия на его участке фронта. Незадолго до того как Иннес написал это письмо, Конан Дойлу пришлось перенести еще один тяжелый удар. Лили Лоудер-Симондз скоропостижно скончалась.

Кошмар расползался все шире, пушки загрохотали в Вердене. Конан Дойл, взвесив все "за" и "против", уже склонялся к определенному выводу.

Задолго до смерти Лили Лоудер-Симондз обрела способность к автоматическому письму. "То есть, — как объяснил Конан Дойл, — некоторая сила водит ее рукой и записывает то, что предположительно исходит от мертвых".

Долгое время наблюдая за этим феноменом, он все же не мог в него до конца поверить. "К автоматическому письму, — говорил он, — следует относиться всегда очень осторожно, чтобы не поддаться заблуждению. Ведь нельзя утверждать, что она не черпает все это безотчетно из глубин собственного сознания".

Лили Лоудер-Симондз потеряла троих братьев и друга — Малкольма Лекки. Послания исходили предположительно от одного из этих четырех юношей, и некоторые оказались вполне достоверными. "Сообщения были переполнены военными подробностями, которые девушка знать не могла. Один из братьев сообщил, что встретил бельгийца, и назвал его имя, и мы выяснили, что все так и было". Но, с другой стороны, было много неточностей. Конечно, все это производило на Конан Дойла некоторое впечатление, но не более того — он еще не сделал следующего решительного шага.

И тут случилось нечто особенное. Он сам получил послание. "Наконец меня оставили сомнения".

Послание было от Малкольма Лекки, в нем содержался намек на нечто сугубо личное, что знать могли только он сам и Малкольм. В этом он увидел объективное доказательство, которое искал почти тридцать лет.

В "Новом откровении", написанном два года спустя, он говорит об этом феномене:

"В нашем бьющемся в предсмертных муках мире, слыша каждодневно о гибели цвета нации на заре обнадеживающей юности, видя кругом себя жен и матерей, не ведающих толком, куда уходят их возлюбленные, мне вдруг открылось, что то, с чем я так долго заигрывал, есть не просто познание некоторой внеположной законам науки силы,

но нечто чрезвычайное, вроде падения стены между двумя мирами, некая прямая неопровержимая весть с той стороны, голос надежды и путеводный знак миру во времена глубочайших страданий...

Телефонный звонок сам по себе не более чем детская забава, но он может быть предвестием весьма важного сообщения. Похоже, что и все эти явления, крупные и малые, суть такие же телефонные звонки, бессмысленные сами по себе, но вещающие человечеству: "Поднимайтесь! Вставайте! Не проглядите знамения Божественного послания!"

Его обращение к вере в общение с потусторонним миром можно поместить по времени между началом сентября 1915 года (ответ в "Сайкик газетт") и концом января 1916 (смерть Лили Лоудер-Симондз). И с этой минуты он пытался постигнуть религиозный смысл своего открытия.

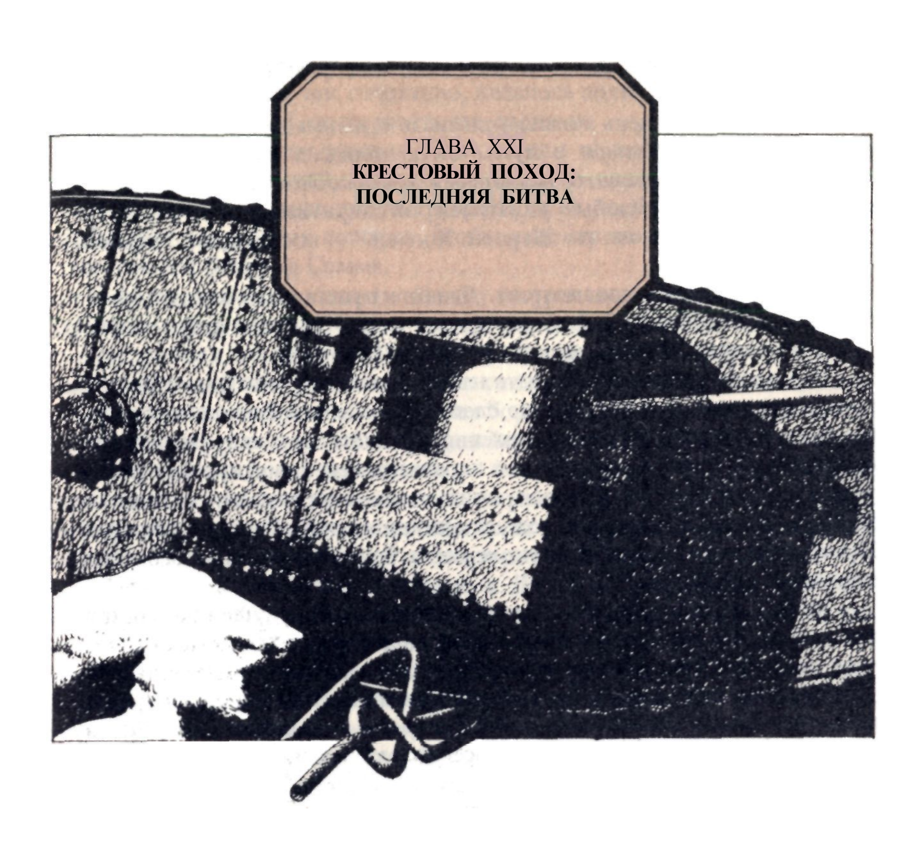
"Объективная сторона несущественна, ибо стоит лишь хорошенько вдуматься, и вопрос исчерпан. Религиозная сторона явно бесконечно важнее". Итак, "религиозная сторона"! Долгие поиски наконец увенчались успехом.

В своем кабинете в Уиндлшеме, на камине по правую руку от письменного стола, он устроил нечто вроде фамильной усыпальницы. Там были фотографии и боевые ордена тех, кто погиб в бою. И часто ночью, при затянутых шторах, чтобы ни один проблеск света не был заметен с цеппелина или аэроплана, сиживал он за столом, делая заметки в записной книжке.

Вот одна из таких заметок весны 1916 года.

"Дуновение Духа можно ощутить сегодня, здесь, в этой комнате так же свободно, как некогда в Горнице Сионской. Бог не умер две тысячи лет назад. Он здесь, сейчас... Единственная незыблемая и вечная ценность — память о том, что мы обсуждали сегодня, мост через смерть, верное продолжение пути в потустороннем мире".

Он подошел к третьей поворотной точке своей жизни.



ГЛАВА XXI
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Теперь путь к полемике нам открыт, и прежде чем стихнут залпы первой мировой войны, мы должны сказать несколько слов о последнем периоде жизни Конан Дойла.

Ваш покорный слуга, автор этого жизнеописания, не приверженец спиритизма. И спиритизм вовсе не та область, в которой он чувствует себя настолько уверенным, чтобы высказывать свое мнение. Однако следует заметить, что религиозные взгляды автора не должны влиять на исполнение поставленной перед ним задачи. Он должен стремиться, насколько это в его силах, представить живой образ того, о ком взялся писать, и показать, что *он* думал, что *он* говорил, во что *он* верил.

В силу этого автор не вправе делать какие-либо предположения о загробной жизни сверх того, что сказал об этом его герой. Но ему не возбраняется комментировать жизнь земную. И нам необходимо

разобраться с бытующими в обществе неверными представлениями о Конан Дойле.

Часто и по сей день можно услышать о Конан Дойле как о человеке хорошем, но сбившемся с пути. Он-де пережил тяжелейшие утраты, лишившие его душевного равновесия и способности здраво мыслить, и как за целебное снадобье "ухватился" за спиритизм.

"Что бы сказал на это Шерлок Холмс?" — восклицают "здравомыслящие".

Хорошо, давайте посмотрим. Давайте пристальнее вглядимся в тот период жизни Конан Дойла, что пролег между началом войны и открытым провозглашением веры в спиритизм в 1916 году.

Нет необходимости убеждать наших читателей, что Конан Дойл пришел к спиритизму не наугад, не слепо. Прежде чем сделать какие бы то ни было выводы, он на протяжении тридцати лет напряженно изучал спиритизм. Бесспорно и то, что он перенес тяжелейшие, пусть не роковые утраты, и глубоко переживал конвульсии ввергнутого в хаос мира. Вопрос, таким образом, в том, повлияла ли война на его убеждения? Превратила ли она его в легковерного безумца, не способного верно оценивать реальность?

Чтобы ответить на этот вопрос, поверим его душевное состояние практикой. Война (на которой гибли люди) разжигала страсти, помрачала рассудок, толкала страны к новым опасностям и подвергала народы воздействию невиданных орудий уничтожения. И чтобы оценить слова и поступки Конан Дойла, мы воспользуемся, так сказать, его "послужным списком", как могли бы воспользоваться архивом Кабинета министров.

Вот что он говорил о германской армии, когда на полях сражений гибли его близкие: «Взгляните на эту великолепную панораму побед, известную в фатерланде как „Die Grosse Zeit"», или об английских солдатах: "Голову нужно защитить каской, наподобие такой, какую применяют сейчас французы". О моряках: "Неужели действительно невозможно придумать что-нибудь — пусть хотя бы надувные резиновые пояса, — что могло бы дать им шанс на спасение?" О воздушных налетах: "Невозможно придумать ничего, что бы так подстегивало и укрепляло гражданскую самооборону".

Можно здесь усмотреть хоть намек на эмоциональную неустойчивость? Разве это слова сумасшедшего, гоняющегося во мраке за своими химерами? И могут ли человека, предсказавшего новое оружие, повергнуть в панику последствия его применения?

Вот о чем следует помнить, когда мы слышим восклицания: "Ах, он слишком доверчив". Так ли это? Судя по всему, в тот год (1916) его рассудок был как никогда ясен, а способности приведены в боевую готовность. Спиритический же опыт был переживанием глубоко личным, и тем, кто не обогащен этим опытом, не дано судить о нем. Относительно спиритизма Конан Дойл мог быть прав или мог заблуждаться, но это не значит, что все его представления были ошибочными.

И соглашаемся ли мы с его спиритическими воззрениями или отвергаем их — но в этом человеке было что-то особенное, нетленное, что-

то стоящее выше чести и рыцарства, какое-то не поддающееся анализу горение. Это виделось так отчетливо, казалось почти осязаемым, но нам, плоти от плоти земной, не выразить это словами.

Однако продолжим рассказ. Пока он еще не провозгласил ни своей веры, ни того, что к ней привело. Он недавно вернулся из поездки на фронт. В июле 1916 года уже не требовалось ни особого затишья, ни благоприятных воздушных потоков, чтобы ясно слышать грохот канонады, возвестившей битву на Сомме.

Ему уже довелось увидеть кое-что из происходящего по ту сторону Ла-Манша, куда его направило с инспекционным визитом Министерство иностранных дел. В плоской каске, по форме напоминающей тарелку, под палящим солнцем, скользил он по глине и спотыкался в коммуникационных траншеях британской линии обороны. То был период дремотного затишья, нарушаемого только орудийной перестрелкой. И все, что ему пришлось испытать на передовой, — это нестерпимый смрад трупов, разлагающихся позади проволочных заграждений, да раз или два свист снайперской пули. Напряженное ожидание и неусыпный дозор сковали все пространство, обозначенное сосисками воздушных шаров.

"Артур, — писал Иннес в письме к Джин 28 мая, — пошел на ланч к сэру Дугласу Хейгу. Он все время очень занят, но мне думается, что ему здесь интересно, и он сказал, что спал хорошо".

Хейг, сменивший Джона Френча на посту главнокомандующего, производил отрадное впечатление. Его гостю более всего запомнились детали: вороны, парящие над изрытым снарядами пространством, или та минута в Шарпенбурге — о, как удивился бы он, если бы ему рассказали об этом лет двадцать назад! — когда он склонил в молитве голову. По распоряжению главнокомандующего на встречу с ним разрешено было явиться Кингсли. Они гуляли и болтали о том о сем, с загорелого лица юноши не сходила улыбка.

"Скоро намечается большое наступление", — сказал Кингсли, посвящая отца в подробности будущей операции. И такой далекой показалась Конан Дойлу бурская война.

На итальянском фронте — Министерство иностранных дел хотело, чтобы он написал об итальянцах и подбодрил их — итальянцы преградили путь австрийцам и столкнулись со все той же проблемой — невозможностью преодолеть пулеметный огонь и проволочные заграждения. По всей Северной Италии на стенах было начертано "TRIESTE O MORTO!" ("Триест или смерть!"). Начались тяжелые воздушные налеты. Однажды его чуть не накрыло взрывом снаряда. "Только не надо мне говорить, что австрийские артиллеристы не умеют вести огонь". Почти все это время он испытывал какой-то душевный подъем, отчасти потому, что вновь оказался при деле, отчасти от сознания, что ему нужно поведать миру некую истину.

Его по-прежнему терзала бессонница, и как-то днем, когда он задремал в отеле, во сне прозвучало звонкое "Пиаве, Пиаве, Пиаве". Почему Пиаве? Смутно припомнилось, что это название реки далеко за итальянскими оборонительными линиями, но он записал свой сон и показал друзьям. Это происшествие все не шло из головы, даже по возвращении

в Париж, где прямо на вокзале человек в красной фуражке военной полиции огорошил его мрачными новостями.

— Лорд Китченер утонул, сэр. Ох уж эти длинные языки!

Однако "красная фуражка" был не прав, вовсе не утечка информации повлекла гибель фельдмаршала во время его секретной миссии в Россию. Легкий крейсер "Хэмпшир", борясь с сильным волнением у Оркнейских островов, наскочил на мину и затонул в течение 20 минут.

Но тогда этих подробностей еще никто не знал. Совершенно подавлен ный, встретился Конан Дойл в Париже с редактором, заказавшим ему военные корреспонденции, — впоследствии они были собраны воедино под заголовком "На трех фронтах" и воспроизведены (правда, не полностью) в его "Автобиографии". М-р Роберт Дональд, редактор "Дейли Кроникл", организовал для них обоих посещение французских передовых позиций.

— Куда мы едем?

— В Аргонский лес. Это настолько близко от Вердена, насколько они позволяют нам приблизиться.

Конан Дойл был в восторге от французов не меньше, чем матушка. Но их стратегия восторга у него не вызывала. Правда, и противник, чего только не испробовавший под Верденом за четыре месяца, включая и жидкий огонь, прорваться все-таки не смог. И даже более, чем известный девиз "Они не пройдут!", полюбилось французам краткое петеновское "On les aura!" — "Мы их возьмем!"

Народы истекали кровью. Увидев Суассон, Конан Дойл сделал одно из самых горьких своих замечаний: "Да ляжет проклятие Божье на дерзновенных и на их нечестивые помыслы, ввергнувшие человечество в этот ад!"

Но о том теплом приеме, который оказали ему французы, Конан Дойл стеснялся рассказывать, смущаясь своего смешного штатского вида, хоть и скрашенного мундиром, благодаря званию вице-губернатора Суррея. Но французы считали иначе.

В сумрачном Аргонском лесу, где разрывы снарядов разносили в щепки стволы берез и дубов, французы в его честь начистили медь духовых оркестров. Нередко приходилось слышать о том, что французские генералы забрасывали его вопросами о Шерлоке Холмсе. Происхождение этих слухов объяснил редактор "Дейли Кроникл". К торжественному обеду, данному 11 июня, была сделана специальная карта блюд с виньеткой в виде скрещенных лупы, револьвера и скрипки, символизирующих Шерлока Холмса. Уж коли такие почести отдаются не присутствующему здесь англичанину, генерал Гумберт пожелал удостовериться в его преданности и, насупив брови, спросил прямо в лоб:

— Sherlock Holmes, est-ce qu'il un soldat dans l'armée anglaise? *

— Mais, mon général, il est trop vieux pour service **, — ответил опешивший гость.

---

* — Шерлок Холмс, это что, солдат английской армии? (*фр.*).

** — Ну что вы, генерал, он слишком стар для службы (*фр.*).

И генерал, удовлетворенно хмыкнув, вернулся к обеду, хотя его смутные подозрения были не до конца развеяны.

Именно у французов Конан Дойл увидел специальные значки за ранения, позднее получившие название планок, и, вернувшись в Англию, посоветовал генералу сэру Уильяму Робертсону, которому он посвятил первый том своей истории войны, перенять этот обычай, что Военное министерство вскоре и сделало.

А в Англии его ждали собственные невзгоды. Еще весной 1916 года, накануне поездки по трем фронтам, заболел и чуть было не умер от воспаления легких его младший сын Адриан. И, ухаживая за ним, он не стал расточать обычных родительских ободрений, но принялся знакомить мальчика с историей, рисуя примеры рыцарской доблести при Аженкуре.

В июле, сопровождаясь мощной канонадой под Верденом, началось то самое британское наступление, о котором ему говорил Кингсли. Это было сражение на Сомме, где в первый же день англичане потеряли убитыми и ранеными 60 тысяч человек. Такие гигантские жертвы оглушали сознание и притупляли чувства. И одной лишь малой каплей в этом океане страданий был капитан Кингсли Конан Дойл.

Для Кингсли, хотя и тяжело раненного двумя пулями в шею, еще не все было потеряно. В его 1-м Хемпширском батальоне не было ни одного офицера, не убитого или не получившего ранения в первый день наступления. Отец Кингсли узнал, что его сын десять дней подряд, пока его не настигли пули, выползал в ничейную зону и отмечал для артиллеристов белыми тряпочками проволочные заграждения, подлежащие уничтожению огнем батарей.

Можно, конечно, утверждать, что на первый взгляд бессмысленное сражение на Сомме, — в котором до наступления ноябрьских заморозков погибло почти полмиллиона солдат, цвет британской молодежи, — было ударом в самое сердце Германии и что германская армия более уже не оправилась от этого удара. Но разве это может утешить?

Едва началось наступление на Сомме, Конан Дойл стал добиваться применения нательной брони.

"Необходимость этого уже признана настолько, чтобы снабдить солдат касками, — писал он. — Это, хоть и не сразу, но все же было сделано".

Теперь он предлагал нечто вроде лат для защиты от осколков и пуль. Он сам ставил эксперименты, обстреливая из своего ружья разнообразные по форме металлические пластинки. До Дениса и Адриана, которым запрещалось подходить близко, доносилось то позвякивание отраженной пули, то резкий щелчок пули, прошившей броню.

Тогда же он пытался спасти от смерти Роджера Кейсмена, ныне сэра Роджера Кейсмена, пожалованного рыцарским титулом за преданную службу Великобритании в тропиках, которого он встречал в прежние дни в связи с кампанией против зверств в Конго. Прежний патриот, с усохшим лицом и цвета слоновой кости кожей, просвечивающей сквозь бороду, предстал ныне перед судом по обвинению в предательстве, которое он и не отрицал.

Трудно симпатизировать Кейсмену в чем бы то ни было, кроме

его идеализма. Но он был честен, честен абсолютно, даже когда, получив деньги от Германии, отправился в Ирландию поднимать восстание. Конан Дойл считал — не без основания, — что годы, проведенные в тропиках, наградили Кейсмена душевным — да и физическим — недугом.

"Не вешайте его! — требовал Конан Дойл, этот паладин проигранных дел, которому невыносима была мысль о повешении, пусть даже последнего негодяя. — Приговорите его к какому угодно заключению. Не лишайте его жизни. Он беззащитен".

Но признать правомочность защиты Кейсмена значило бы признать Ирландию как свободное государство, находящееся в состоянии войны с Британией. Кейсмена повесили в Пентонвилле; ничего иного не оставалось; а гул канонады на Сомме набирал силу.

Конец 1916 — начало 1917 года не только несли с собой смерть, но и заставили взглянуть в лицо национальной катастрофе. Если бы литературному персонажу капитану Джону Сириусу довелось увидеть страну, некогда описанную в "Опасности...", он бы немало повеселился. Война под водой все-таки разразилась, и две сотни подводных кораблей сновали беспрепятственно, где им вздумается.

Семья Конан Дойла сплотилась еще теснее. Матушка, на старости лет ощутив свое одиночество, покинула Йоркшир, чтобы быть ближе к сыну, но все же не воспользовалась его гостеприимством и поселилась в собственном доме. Кингсли поправлялся и весело говорил о возвращении на фронт. Мэри работала добровольно в Пил-хаусе, где солдаты дожидались отправки на фронт.

В журнале "Лайт" за 21 октября 1916 года появилась статья Конан Дойла о его вере в сообщение с потусторонним миром.

Тщательно взвешивая каждое слово, он утверждал, что, столкнувшись со свидетельством жизни после смерти, можно пойти по двум путям рассуждений.

«Или абсолютное безумие, или переворот в религиозной мысли, — писал он, — переворот, дающий нам бесконечное утешение, когда те, кто дорог нам, уходят за завесу „мрака"».

Духовное утешение! Религия! Вот на чем зиждился его подход к спиритической проблеме. Сэр Уильям Барретт, приверженец спиритизма, но не в качестве религии, именно в этом пункте не соглашался с Конан Дойлом, но подтвердил справедливость его выводов о реальности явления.

"Я рад возможности, которую предоставил мне редактор "Лайта" — писал Уильям Барретт, — выразить благодарность сэру Артуру Конан Дойлу за смелую и своевременную статью..."

Джин уже больше не относилась к его спиритическим штудиям как к чему-то зловещему и непонятному. Ее брата, родных, ее ближайшую подругу — всех унесла смерть. Она разделяла с ним его переживания. Она верила. А он? Если он верил, то обязан был — "возвестить об этом миру".

Так в 1917 году начались и уже не прекращались до конца его дней выступления на спиритические темы. Он понимал, что его голос, голос лектора, сейчас, в грохоте войны, будет слышен не слишком далеко. Да и оставалось еще столько других дел.

Его ожидали выступления по проблемам, которые выдвигала война, и, главное, ждал завершения исторический труд о войне. И для этой цели ежедневно по утрам в Уиндлшем приезжал на машине какой-нибудь офицер и, уединившись с хозяином в кабинете до самого ланча, сообщал последние новости. Даже к концу 1916 года, после смены английского правительства, во главе которого стал Ллойд-Джордж, Германия, разгромившая только что Румынию, казалась еще более несокрушимой, чем прежде.

В Адмиралтействе мрачная кривая гибели торговых судов — красная линия на синей бумаге — ползла неуклонно вверх. Пресса извлекла из забвения "Опасность...", и это вызвало недоумение и возмущение публики. Нашлись такие, кто заявлял, что не иначе как Конан Дойл подал немцам эту опасную мысль, как будто без его помощи им было не додуматься.

В марте 1917 года пал могущественный союзник — Россия. Противник мог потирать руки: в тот момент, когда ее армия преодолела свои начальные слабости и стала мощнее, страна раскололась изнутри и была отдана на растерзание хищникам. В апреле, чтобы уравнять положение на фронте, — но не слишком ли поздно? — в войну вступили Соединенные Штаты.

В апреле же Конан Дойл был приглашен премьер-министром на Даунинг-стрит. За завтраком, состоявшим из яичницы с беконом, их было только двое: седовласый, приветливый, неутомимый валлиец и ирландец, с пеной у рта доказывающий необходимость применения нательной брони.

По правде сказать, у командования было в запасе одно всесокрушающее чудище под названием танк. К моменту битвы на Сомме Конан Дойл уже был допущен к тщательно охраняемому секрету этого нового оружия. Но танки использовались не так, как предполагалось. Первая партия — слишком малочисленная, чтобы произвести должное впечатление на немцев,— пророкотала в сентябре 1916 года.

Изобретательский гений Уинстона Черчилля — которому, между прочим, мы обязаны применением дымовой завесы на море и на суше — давно уже, независимо от группы военных, занятых той же проблемой, был поглощен разработкой идеи танковой атаки. По мысли Черчилля, танки следовало использовать во внезапном броске на прорыв вражеской линии обороны сразу большой численностью при поддержке бронированных пехотинцев.

"Не обнаруживайте готовящейся атаки артиллерийской подготовкой, — наставлял Черчилль еще 3 декабря 1915 года. — Танки могут смять проволочные заграждения. Используйте их большим числом и не упускайте фактор неожиданности; таким образом можно прорвать оборону и сдвинуться с мертвой точки".

То же самое, как мы можем видеть, говорил Черчилль в частном письме Конан Дойлу, датированном 2 октября 1916 года, добавляя, что есть две насущные задачи: обеспечение судам неуязвимости для торпед, а бойцам неуязвимости для пуль. А в то утро, 17 апреля, за завтраком на Даунинг-стрит премьер-министр Ллойд-Джордж был крайне обеспокоен событиями в России.

— Положение царицы, — сказал он, — очень сходно с положением Марии Антуанетты. Ее, видимо, ждет та же участь. Это вроде Французской революции.

— Тогда, — заметил Конан Дойл, — это продлится несколько лет и кончится Наполеоном.

Да, оба пророчества подтвердились. Мало что было настолько же не по душе Конан Дойлу, как те силы, что пришли к власти в России к концу года и спешили вывести страну из войны.

За весь 1917 год Конан Дойл написал для "Стрэнда" только две статьи и один рассказ. Эти статьи ("Прав ли сэр Оливер Лодж? — Да." и "Некоторые подробности жизни Шерлока Холмса") он впоследствии почти целиком включил в автобиографию. Но единственный написанный рассказ весьма знаменателен — это "Его прощальный поклон".

Нам не придется слишком напрягать память, чтобы вспомнить, как фон Борк, лучший германский агент, беседовал с фон Херлингом, стоя "на садовой дорожке у каменной ограды" и глядя на огни кораблей в заливе. Действие в рассказе начинается в девять часов вечера 2 августа 1914 года.

Затем, после ухода фон Херлинга, появляется долговязый ирландский американец, лучший агент фон Борка, питающий к Британии презрительную ненависть.

"Ему можно было дать лет шестьдесят — очень высокий, сухопарый, черты лица острые, четкие; небольшая козлиная бородка придавала ему сходство с дядей Сэмом, каким его изображают на карикатурах. Из уголка рта у него свисала наполовину выкуренная, потухшая сигара; едва усевшись, он тотчас ее разжег".

Мы с самого начала знаем или догадываемся, что это Шерлок Холмс, и оттого с еще большим напряжением следим за тем, как старый маэстро расправляется с выскочкой фон Борком. Но с точки зрения биографа, рассказ этот интересен по другой причине.

Даже не имея никакого представления об образе мыслей автора "Прощального поклона", из самой ткани рассказа можно понять, что это нечто большее, чем просто еще одна страница холмсовской саги. Рассказ должен был явиться настоящим "Эпилогом", как обозначил его автор в подзаголовке. В нем было и последнее напутствие, и истинные человеческие чувства, и даже несомненная любовь к Холмсу. Наконец Конан Дойл идентифицировал себя с Холмсом.

Нет никакой нужды доказывать, даже в шутку, что сам Конан Дойл не употреблял кокаина, не палил в комнате из револьвера, не держал сигары в угольном ведре. Да и, вообще говоря, мало кто так поступает. Не было у него и брата, который был бы самим "Британским правительством", и, если не считать жалких потуг осилить игру на банджо, музыкальных дарований он не проявлял.

Но есть иные характерные черты. Скажем, привычка работать в старом потертом халате, пристрастие к глиняным трубкам, вынесенное из тех далеких дней жизни в Саутси, когда такая трубочка из "дублинской глины" стоила всего лишь один пенс; любовное собирание газетных вырезок и документов, обыкновение держать на поверхности стола

увеличительное стекло, а в ящике — револьвер — все это дает прекрасное представление о нем в домашней обстановке. И сюда же надо отнести "холмсовскую" фразеологию, встречающуюся в его переписке, настойчиво проводимую идею об англо-американском сотрудничестве, философские взгляды Уинвуда Рида.

Конечно, большинство этих примет просочилось в творчество бессознательно. Ведь не он — а Уотсон и даже сам Холмс — утверждают, что знаменитый детектив — бесчувственная счетная машина. Но как раз этого-то о Холмсе сказать никак нельзя — вот в чем дело.

"Будь у этой молодой девушки брат или друг, — вскричал Холмс, — ему следовало бы хорошенько отстегать вас хлыстом... Это не входит в мои обязанности, но, клянусь богом, я не могу отказать себе в этом удовольствии..."

Негодяй Уиндибенк, персонаж "Установления личности", убегает от расплаты, и сам Конан Дойл, окажись он на месте Холмса, не мог бы поступить иначе. Нет почти ни одного рассказа, где бы Холмс не заявлял о своей бесстрастности, но секундой позже он ведет себя как настоящий рыцарь, особенно по отношению к женщинам, — даже Уотсону далеко до него.

Нарочитые опознавательные знаки — на гребне его успеха, в период бесконечных споров о личности Шерлока Холмса — расставлены в "Записках". Нельзя пройти мимо указаний на ранние тяжелые годы в Лондоне: Холмс снимал комнату на Монтагю-стрит, и его создатель тоже, "коротая слишком изобильный досуг", поселился на Монтагю-стрит. А семейные предания?

"Мои предки, — говорит Холмс в "Случае с переводчиком", — были мелкими помещиками". То же и у автора. У Холмса была бабушка француженка; Марианна Конан, бабушка Конан Дойла, также была француженкой. Холмс говорит, что его бабушка была сестрой Верне, французского художника, — большой пейзаж Верне, хранившийся в коллекции Конан Дойла среди других рисунков, был подарен ему в юности дядюшкой Генри Дойлом. Так переплелись корнями их родословные.

"Артистичность, когда она в крови, — сухо замечает Шерлок Холмс, — закономерно принимает самые удивительные формы". Джон Дойл и четверо его сыновей могли бы только кивнуть в знак согласия.

Есть еще семь других узнаваемых примет, но любители Шерлока Холмса легко найдут их сами. Если бы в свое время был опубликован полный отчет о деле Идалджи, не потребовалось бы ломать голову. Но сейчас вернемся к бурным перипетиям рассказа "Его прощальный поклон", написанного во времена тревог и опасностей.

"Фон Борк привстал, изумленный.

— Есть только один человек, который..."

И эти слова могли бы сказать миллионы читателей во всем мире. Это последняя напряженная схватка, финальная барабанная дробь, апофеоз Шерлока Холмса. Всю серию должен был венчать "Его прощальный поклон" — такой формальный финал задумал автор. И Шерлоку Холмсу в чужом обличье он дал имя Элтимонт — полное имя его отца, как мы знаем, было Чарльз Элтимонт Дойл.

Но когда "Его прощальный поклон" появился в "Стрэнде" под заголовком "Военная служба Шерлока Холмса" — не вопрос ли генерала Гумберта навел на эту мысль? — Конан Дойлу было уже не до того. "Свалку" в топкой грязи Пасхендаэле лишь отчасти могли загладить события в Камбре, где в действие вступили танковые соединения.

Около пятисот танков при поддержке пехоты устремились во внезапную атаку по не вспаханной снарядами земле. Они, сея смерть и смятение, сокрушили германскую линию обороны по фронту протяженностью в шесть миль и еще до наступления темноты взяли в плен 10 тысяч человек.

"Это поворотный момент в истории войны", — писал Конан Дойл Иннесу, теперь уже генерал-адъютанту. Он поздравил с успехом и майора Альберта Стерна (который первым познакомил его с секретом разработки танков), написав, что если у него и были раньше какие-то сомнения, то теперь от них не осталось и следа.

20 ноября, в день битвы при Камбре, Россия сделала мирные предложения Германии. Но еще до того Австрия при поддержке германских дивизий обратила итальянские войска в нескончаемое отступление вплоть до берегов реки Пиаве.

Пиаве! Конан Дойл, рассматривая в своем кабинете большую карту военных действий, припомнил, как когда-то, полтора года назад, прозвенело в ушах это странное слово. Странно, ясновидения он за собой никогда не замечал.

События шли своим чередом. К Рождеству Людендорф перебросил миллион германских войск для весеннего наступления на Западном фронте.

А в Уиндлшеме, где некогда лорд Нортклифф или сэр Флиндерс Питри сиживали за обедом из восьми блюд, наступили теперь скудные времена: сверх общего режима экономии Конан Дойл установил для своей семьи свой, сугубо строгий режим.

Мрачно сосредоточенный, он остро ощущал, что ему не хватает 24 часов в сутках. Рядом с картой военных действий появилась в его кабинете еще одна карта, на ней отмечал он места, где выступал с лекциями о спиритизме. Он по-прежнему рвался спорить и доказывать — когда над Лондоном завис гигантский Готас, он убеждал в необходимости воздушных рейдов — и по-прежнему вел переписку с генералами.

И однако же в эти тяжкие дни огонь в его глазах не померк. Он находил отдохновение, затевая с детьми игру в индейцев. Малышка Лина Джин называла себя "Билли" и, едва научившись грамоте, подписывалась "ваш любящий сын". Игра зашла, пожалуй, чересчур далеко: Адриан, утащив отцовский револьвер, стал палить настоящими пулями по осажденному вигваму.

Кингсли, казалось, был уже вне опасности, и хотя стремился на фронт, но в тот год медицинская комиссия признала его негодным к службе. Генерал-адъютант Иннес Дойл писал такие же бодрые письма, хотя это становилось все труднее. Ибо весной 1918 года Германия повела мощное наступление и была очень близка к победе.

"Прижатые спиной к стене и веря в справедливость нашего дела..."

Хейг сумел остановить этот мощный натиск на англичан, но тогда Людендорф обратил против них и французов всю свою мощь. Лето протекало мрачно, число убитых и раненых перешло границы вероятного, немцы опять приблизились к Парижу — но мерцали время от времени слабые проблески надежды. Выбившимся из сил французам не забыть, как потекли вдруг нескончаемым потоком по направлению к Шато-Тьерри грузовики, а в них — юные, полуобученные, но преисполненные того порыва, что был когда-то знаком самим французам, — ехали американцы.

Как шли они на смерть по Шмен-де-Дам, не стоит вспоминать. Даже высшее командование союзнических войск или Военное министерство не догадывались, что после 8 августа немцы почти полностью выдохлись. И в конце сентября, когда Конан Дойл посетил австралийский сектор фронта по приглашению сэра Джозефа Кука, военно-морского министра Австралии, об этом еще не решались помыслить.

Шла беглая перестрелка, траншеи осыпались, проволочные заграждения были смяты. Всего в пятистах ярдах от места сражения сидел он на вышедшем из строя танке и под орудийную канонаду, напоминающую хлопанье дверей, смотрел на склон, поросший, как в Хайндхеде, елями, среди которых развивалась атака американо-австралийских частей на их участок Гинденбургской линии обороны.

— Тебе не кажется, — спросил он Иннеса накануне вечером, когда они сидели в опустевшей, тесной офицерской столовой, — что я со своими легкомысленными разговорами несколько не к месту здесь в такое время?

— Ради Бога, продолжай в том же духе, — ответил брат, — это как раз то, что им нужно.

После прорыва Гинденбургской линии хлынули осенние дожди, неся с собой эпидемию гриппа. При всей симпатии Конан Дойла к австралийцам, в которых он находил что-то общее с американцами, он посчитал долгом заявить перед большой группой собравшихся его послушать, что 72% всей английской армии составляют солдаты с Британских островов и именно на их долю приходится 76% всех жертв, — об этом нельзя забывать! А в небе кружили аэропланы и моросил дождь.

Неужели конец близок? Возможно ли это?

Вечером, накануне отъезда на австралийский фронт, Джин приехала в Лондон проводить его. Они остановились в Гроувнор-отеле. Эти двое, любившие друг друга столько лет, никогда не испытывали таких сильных чувств, как в те черные дни. Она волновалась, как всегда, когда он уезжал, боялась, что он позабудет об осторожности, несмотря на все свои заверения, что он-де лицо штатское.

На следующее утро в отель пришел Кингсли. Зная, что Джин еще там — в слезах, расстроенная, — он из деликатности не захотел ее беспокоить, но решил ободрить. Он оставил для нее записку и букет цветов.

"Я рад за него, — писал Кингсли, — потому что знаю, что значит для него отправиться туда и увидеть наших людей в деле". С тех пор Джин всегда носила эту записку с собой в конверте, на котором написала: "Последнее письмо от милого Кингсли".

К концу октября, когда враги союзнических армий отступали, а итальянцы повели наступление от берегов Пиаве, Кингсли подхватил грипп. Ранения, полученные на Сомме, подорвали его здоровье. Конан Дойл, находившийся в то время в Ноттингеме с лекциями о спиритизме, получил телеграмму от Мэри как раз перед выходом на сцену. В телеграмме сообщалось, что Кингсли при смерти.

Конан Дойл никак не выдал своих чувств, разве что глаза его слегка увлажнились, — он вышел на сцену и прочел лекцию, убежденный, что именно этого ждал бы от него Кингсли.

"Я не обладаю красноречием и не делаю из этого профессии, — сказал как-то раз он, — но я говорю громко и только то, что могу доказать".

Кингсли скончался 28 октября. А через две недели, когда его отец снова остановился в Гроувнор-отеле, пришла весть о перемирии.

Он узнал об этом в одиннадцать часов утра вот при каких обстоятельствах: сидя в фойе отеля, он увидел, как прилично одетая женщина, на вид весьма спокойная и уравновешенная, пройдя сквозь вертящиеся двери, медленно провальсировала по фойе, держа в каждой руке по "Юнион-Джеку", и так же, кружась, вышла наружу. Секундой позже поднялся великий шум.

Конец бойне. Конец убийствам. Конец воздушным рейдам. Как сказал президент Вильсон, мир спасен для демократии.

В Уиндлшеме, вдали от этой суеты, заперся он в своем кабинете и огляделся: вот на камине фотографии и ордена — теперь среди них и фотография Кингсли. Вверху, на уровне слуховых окошек, висит начищенный колокол с военного тральщика "Конан Дойл", который в тот год, когда был подарен колокол, после многочасовой погони настиг и утопил подводную лодку нового типа, удлиненную и оснащенную пушками на носу и на корме.

Итак, все позади.

Альфред Вуд, вернее майор Вуд, скоро вернется к своим секретарским обязанностям. Его самого, Джин и детей, матушку, Иннеса и Клэр — всех пощадила война; о, если бы она не унесла мужа Лотти и сына Конни и стольких и стольких еще! На Рождество установилась промозглая гриппозная погода, заставив их с Джин держаться ближе к очагу. В феврале 1919 года пришла еще одна телеграмма.

Умер Иннес.

Бригадного генерала Дойла, вернувшегося во Францию после радостной домашней побывки, свалила пневмония.

За прошедшие четыре года он был так физически истощен, что жизненных сил почти не оставалось. "Вы совсем не жалуетесь", — сказал его ординарец. Иннес в ответ пробормотал только, что он человек военный и всегда был человеком военным; и он ушел к своим предкам, которые тоже были людьми военными.

Брат Иннеса, пусть у него и подкосились ноги от такого удара судьбы, вновь не показал виду. "Ну... То есть, как сказать! О Господи! Что же?" — памятная речь Иннеса по-прежнему вызывала у него улыбку. Ведь, хвала Всевышнему, врата не сомкнулись навеки и путь открыт.

К такому выводу он пришел уже три года назад, и все, что ему пришлось пережить с тех пор, только подтверждало его правоту.

"С того момента, как я понял всеобъемлющее значение этого вопроса, — писал он впоследствии, — и осознал, сколь полно, будучи воспринято всем сердцем, должно это изменить и очистить людские представления, я почувствовал... что все иные дела, которые я совершил или могу совершить в будущем, ничто в сравнении с этим".

На его плечи легла неотложная обязанность, долг перед человечеством, которое теперь, когда на землю сошел мир, оказалось у разрушенного, потухшего очага. И горечь утрат в наступившей тишине и покое, располагающем к воспоминаниям, стала ощущаться еще острее. И более, чем когда бы то ни было, нужно было донести до человечества свое благовествование: "Погибшие не мертвы".

Его книга "Новое откровение" была опубликована в июне 1918 года. За ней ровно через год последует вторая книга "Живая весть". Как только он завершил работу над своей шеститомной историей войны, с которой он не получал отчислений, чтобы, расходясь по самой низкой цене, она могла попасть в руки каждого участника событий, он намеревался посвятить всю свою энергию, все свои таланты спиритизму.

Навеки запало ему в душу впечатление от одной ночи в Уэлсе на вилле м-ра Саути. Они с Джин после спиритического сеанса вышли из дому на улицу. Небо позади них освещали металлургические заводы, впереди мерцали огни города. Голова шла кругом, все тело дрожало, инстинктивно он, как всегда, сжал руку Джин.

— Боже мой, если бы они только знали — о, если бы они только знали!

Это был крик души. И в нем, возможно, уже таилась идея, что он обязан донести свою весть до народов за пределами Британии, за пределами городов, отмеченных на карте в его кабинете, он должен взвалить эту обязанность на свои плечи, чтобы люди в самых отдаленных уголках мира услышали эту весть из его уст.

Но эти переживания пришли позже, а тогда, в тот самый момент, когда он решил, что ему открылась истина, он поведал все Джин, и оба они хорошо представляли, как будет воспринято его выступление в защиту спиритизма.

Едва он публично объявил о своей вере в журнале "Лайт" и его сочувственный отзыв на книгу сэра Оливера Лоджа появился в "Обзервере" от 26 ноября 1916 года, к нему стали относиться с удивлением и недоверием. Это, мол, временное и не может быть всерьез — чувства, в общем, те же, что были вызваны его весьма сдержанными выступлениями в 1901 году, только теперь они выражались гораздо энергичнее.

"Конан Дойл — апостол здравого смысла? Конан Дойл, наш Конан Дойл?"

Это "наш" и выражало всю горечь обиды публики. У нас, представляющих эту самую публику, сознание, как у карикатуристов: нам непременно нужно приклеить ярлык раз и навсегда, иначе мы не знаем, на каком мы свете. Ну а как быть с Круком, Лоджем или Расселом Уоллесом? О, они уважаемые ученые, но они вполне укладываются в тот

образ "рассеянного профессора" из комиксов, который, выходя из дому, сует своей жене чаевые и целует на прощанье швейцара. Наделенные такими чудачествами, они стояли вне жизни, в стороне. Но Конан Дойл? Тут совсем другое дело.

Он играл в шары, умел бить на три борта в бильярде, мог выстоять против любого любителя-тяжеловеса. Он создал, наконец, Шерлока Холмса. Четверть столетия его коренастая фигура олицетворяла независимого британца, свободного от всего этого вздора.

Что же случилось? Уж не заболел ли он в самом деле?

Все это он знал и понимал очень хорошо. Он будет самым знаменитым из всех, обратившихся в спиритизм, самой заметной мишенью, потому что именно его обращение казалось самым невероятным. И следующим, конечно, вставал вопрос денег.

О доходах следовало забыть. Доходы к черту. Он был сейчас самым высокооплачиваемым автором — до десяти шиллингов за слово. Он еще мог позволить себе время от времени рассказ-другой — в его кабинете стоял бюст Шерлока Холмса еще с норвудских времен, — но никаких повестей или романов, если они не посвящены спиритизму. Ничего, кроме спиритических книг, спиритических статей, спиритических доказательств. А выступая с лекциями, он мог брать плату только на покрытие расходов.

И тут из глубины прошлого всплывают строки:

"Вам, мздоимцы, не понять..."

А заслуженные почести?

В 1919 году ему исполнилось шестьдесят лет. Он еще мог рассчитывать, если Бог даст, лет на десять плодотворной писательской деятельности. И вот приходит на память одно его письмо: "Я могу представить себе человека, который под конец долгой и плодотворной жизни принимает рыцарский титул как знак признания проделанного им труда", — так писал он в 1902 году.

Одно время ходили смутные разговоры о пэрстве, так ни во что и не вылившиеся. Конечно, это должно было ему польстить, и, небо свидетель, понравилось бы матушке, которая сейчас так восставала против его спиритических увлечений.

Если бы эти разговоры не были просто слухами, принятие титула пэра могло означать для него забвение его миссии перед человечеством. В таком случае выбора нет — о пэрстве надо забыть. И он предпочел забыть.

Одно лишь тяготило его, с чем он никогда не мог смириться: он терял друзей.

"Это человек, — писал Дуглас Слейден несколько лет назад, — для которого призвание будет путеводителем в любую роковую минуту. В Лондоне найдется не много людей, кто не знал бы его крупную фигуру, круглую голову, сильно выдающиеся скулы и бесстрашный взгляд голубых глаз на добродушном лице. Он самый популярный оратор (можно ли теперь сказать это?), увлекающий и веселящий публику простым обращением, но резкий и убедительный в решающие минуты. Из всех авторов сегодня он наиболее заслуживает титула великого человека".

И еще совсем недавно американский писатель в детройтской "Фри-пресс" вспоминал о его приезде в 1894 году, как о появлении "мудрого советника в высших вопросах, всегда готового прийти на помощь друзьям, нуждающимся в его наставлениях".

Ну а теперь едва ли он может рассчитывать на такое отношение.

Он потеряет большинство друзей. И не они в этом повинны. Разве можно винить их в том, что им становится неловко за него, когда он начинает вещать о спиритизме? Ушли в прошлое вечера в Уиндлшеме, когда за бокалом портвейна сиживали ведущие юристы, знаменитые литераторы и путешественники. Каждый, как и он, придерживался своих взглядов. Но его взгляды — не предмет для спора или теоретизирования. Дело вообще не во взглядах, а в истине. Он знал истину.

— Познав истину, — говорил он Джин, — мы должны быть готовы принять то, что нас ожидает. Беспокоит ли это тебя?

— Ничто не имеет значения, когда веришь, что должен это свершить.

— Я не могу делать ничего иного. К этому меня ведет вся моя жизнь. Это величайшая в мире ценность.

И старый воин, столь многими любимый, но столь немногими поддержанный, опоясался мечом и выступил на великую битву.



ГЛАВА XXII
НАЧАЛО

Целых одиннадцать лет меч его не знал покоя. Целых одиннадцать лет в изверившемся послевоенном мире с неимоверной энергией стремился он не упустить ни одной возможности выступить, высказаться, вызвать на бой всякого противника, одиннадцать лет работал он почти без отдыха, будто неиссякаемая сила и свет наполняли его.

"Так не может продолжаться долго, — повторяли врачи. — Человеку в вашем возрасте..."

В его возрасте? Для него, удивительным образом сочетавшего умудренность шестидесятилетнего человека с пылкостью тридцатилетнего, возраст не имел значения. Значение имела его миссия, то, что предстояло совершить, и к чему, как он говорил, сводилась вся его жизнь; он был теперь снова в начале пути.

"Я хочу вам сегодня поведать о том, что касается судьбы каждого мужчины и каждой женщины, присутствующих здесь. Конечно, Всевыш-

нему ничего не стоило, послав ангела сюда, на Кинг-Уильям-стрит, обратить всех в спиритизм. Но по Его закону мы должны сами, своим умом найти путь к спасению, и путь этот усыпан терниями".

Так в сентябре 1920 года начал он свою первую лекцию в Аделаиде, на юге Австралии. Теперь во время выступления он пользовался очками для чтения, висящими на тонком шнурке.

"У сэра Артура были приготовлены какие-то записи, но, пролистав несколько страниц, он отложил их в сторону и вырвался на вольные просторы красноречия. То и дело выброшенный вперед палец отмечал наиболее пылкие обороты, или же он вертел в руках свои большие очки во время спокойных описательных пассажей, а то вдруг обе руки вытягивались вперед. Вообще же речь его была простой и убедительной, яркой и доходчивой".

В свой поход он выступил не один — с ним вместе путешествовало шесть человек: Джин с тремя детьми, майор Вуд и неутомимая служанка Джекмен, с первых же дней в Уиндлшеме не расстававшаяся с Джин, точно так же, как она не расставалась со своей вечной шляпой и незыблемыми английскими манерами. Во время выступлений, как он признавался в "Скитании спирита", забывал он о публике, забывал обо всем на свете, кроме своей высшей миссии.

В 1920 году он ездил с лекциями по Австралии. В 1922 и затем в 1923-м — по Соединенным Штатам. И повсюду было одно и то же: его встречали — порой к его великому удивлению — огромные толпы слушателей, переполнявшие залы и даже запруживавшие прилегающие улицы, так что ему самому, чтобы пробраться в зал, часто приходилось объяснять, кто он такой.

Что привлекало их? Его ли миссия? Или любопытство? Или просто дело в его личном обаянии? Обаянии, столь ярко проявившемся в деятельности, что редко кто из встречавшихся с ним не испытывал на себе его силы? Так или иначе — судить читателю, но, следя по отзывам прессы за его походом из страны в страну, читая интервью с ним, слыша поношения, обрушивавшиеся на его голову, нельзя отрицать, что было все же нечто — его личность, или суть его сообщения, — что привлекало к нему слушателей.

Мы сказали: поношения. Да, именно поношения — бесчисленные и истерические. Взять хотя бы письмо, адресованное "Архидьяволу спиритической церкви". Такие попреки столь же раздражали его, сколь и смешили. Что хорошо видно по манере, в какой он отвечал на них и о которой можно судить по отрывку из письма, написанного в Австралии:

"Мне бы хотелось сказать несколько слов в ответ на замечание преподобного Дж. Блакета о спиритизме. Во все времена в религиозных разногласиях каждая сторона стремилась доказать, что ее противники связаны с дьяволом.

Высшим примером тому может служить обвинение, выдвинутое фарисеями самому Христу, который ответил им, что видно будет по плодам. Мне не понятен ход рассуждения тех, кто связывает с дьяволом желание доказать существование жизни после смерти. Если деятельность

дьявола такова, то он определенно переменился к лучшему". 9 апреля пароход "Балтик", на котором плыл Конан Дойл, входил в гавань Нью-Йорка. В Америке была эра благоденствия. Заметив, как устремились ввысь белые дома на берегу Джерси, Конан Дойл подумал;

"Я предвижу, какие опасности меня здесь ожидают и сколь они велики. У них острое чувство юмора, у этих американцев, а нет такого предмета, над которым было бы легче посмеяться, чем этот. Они исключительно практичны, а это им покажется умозрительным. Они поглощены мирскими интересами, а это как раз становится им поперек дороги. И главное, они во власти Прессы, и если Пресса займет легкомысленную позицию, я не в силах буду до них докричаться".

Сейчас на фоне цветущего благоденствия, карманных фляжек и всего того, что было прозвано "эрой джаза", пора объяснить, во что, собственно, верил Конан Дойл, его же устами, хотя бы потому, что столь многие знают это только понаслышке.

В центре его вероучения стоял Новый Завет с Христом и Его учениками.

"Куда ни пойдешь, — заметил однажды Конан Дойл, — повсюду встречаются два типа критиков. Один — материалист, отстаивающий свои права на вечное небытие. Другой — джентльмен, так глубоко преклоняющийся перед Библией, что никогда в нее не заглядывает".

В его философии не было места тому, что мы зовем смертью. Когда человек умирает, в общепринятом смысле слова, не материальное тело его сохраняется и не материальное тело лежит в могиле в ожидании воскрешения и Страшного Суда.

Переживает смерть эфирное тело: то есть душа, одетая в телесную оболочку лучшего периода своей земной жизни. Эфирное тело — иногда сразу, иногда после краткого сна — переходит в иной мир, или, говоря точнее, в ряд иных миров.

Такая вера покоилась на семи конкретных принципах. Вот эти принципы: 1) отцовство Бога; 2) братство людей, 3) выживание личности; 4) сила общения, то есть общения с мертвыми, 5) личная ответственность, 6) воздаяние и возмездие, 7) вечное движение вверх. Последнее — вечное движение вверх — венчало все здание. В том ином, потустороннем, мире можно через душевное совершенствование вознестись, переходя от сферы к сфере или от цикла к циклу, к той высшей сфере, где обитает Христос.

"Откровение, — пояснил Конан Дойл в "Живой вести", — вытесняет представление о жуткой преисподней и фантастическом рае концепцией постепенного возвышения по лестнице бытия без чудовищных падений или взлетов, превращающих нас в один миг из человека либо в ангела, либо в дьявола".

Его вероучение, будучи христианским по принадлежности, ни в коей мере не означало борьбы с иными верованиями.

"Чудовищное убеждение, — писал он, стараясь сохранить беспристрастность, в работе "Если бы мне довелось читать проповедь", — будто Бог благоволит к одной группе человечества в ущерб другой, не имеет под собой никаких оснований. В учении говорится, что вера и верования

ничто в сравнении с нравственными качествами и поведением и что это последнее определяет место души в потустороннем мире.

Всякая вера — христианская или нехристианская — имеет своих праведников и своих грешников, и если человек добр и праведен, при переходе в загробный мир ему нечего опасаться, что он не был членом Церкви, признанной на земле".

В последних двух абзацах он достигает того, что можно назвать сплавом, слиянием воедино его религиозных принципов. И происходит оно из веры, что человек и человеческая душа суть одно целое как на том, так и на этом свете.

Вот еще некоторые выводы:

"Вся жизнь на земле есть тренировочное поле для жизни душевной. Это лоно, из которого выходит настоящий человек, когда он умирает для всего земного. Второе рождение, которое проповедовал и явил Христос, может случиться в любой момент, даже еще в течение земной жизни..."

"Спиритизм утверждает выживание личности, но не может взрастить вечного человека. Чтобы возрасти до вечности, следует жить согласно с духовными законами, так же как цветок в своем росте подчиняется законам природы. Эти духовные законы дает христианская Библия. А Церкви следует объяснять их как данность и наставлять людей для жизни благородной и вечной. Спиритический сеанс доказывает существование жизни после смерти, и жизнь эту может даровать один лишь Бог, когда человек сам вылепит в себе сосуд, способный принять и сохранить ее".

Вот его религиозная философия, но лишь в том, что касается пятого принципа его верований — то есть общения с мертвыми — принципа, вокруг которого велись основные споры, ибо он и был самым спорным из всех. Но эти баталии лучше обойти стороной. Отметим только, что в 1922 году в Нью-Йорке он побил все лекторские рекорды. Впрочем, и в 1923 году, пересекая Америку в направлении Тихого океана и закончив лекционное турне в Канаде, он превзошел самого себя.

"Я? — восклицал он. — Эти толпы людей не имеют ко мне никакого отношения. Ибо значение имеет предмет лекции, а не лектор. А им предоставлено если не опровергнуть факты, то лишь одно — признать их".

Вот чего он ждал от своих выступлений. Покрыв расходы на путешествие, он весь остальной доход с лекций вкладывал в проповедь спиритизма.

К концу 1923 года он проделал уже 50 тысяч миль и выступил перед четвертью миллиона слушателей. Как билось его сердце в этом безостановочном движении под шум толпы и свистки паровозов? Труднее ли стало ему собираться с силами? Если и так, то он никогда бы в этом не признался.

В середине двадцатых годов даже посторонний наблюдатель — не говоря уже о заботливой Джин, изо всех сил старавшейся облегчить его жизнь, — сказал бы, что его деятельность чересчур обширна. Одна лишь его переписка достигла в Америке трех сотен писем за день. И это не единственная забота.

Ведь и три свои книги путевых заметок, долженствующие в первую очередь донести до читателя его спиритическое послание, а вовсе не живописные подробности путешествия, он писал, как пишут дневники, в течение всего своего паломничества. В 1923 году стали выходить отдельными выпусками в "Стрэнде" его "Мемуары и приключения". И книги на спиритические темы, и статьи, часть которых помещалась в "Стрэнде", рождались под пером человека, не ведающего усталости, — он работал, не давая себе поблажки, в садовом домике в Уиндлшеме, которым стал так часто пользоваться в качестве кабинета еще с военных времен.

Где бы ни возникала в нем нужда: собрание ли, на котором без него не могли обойтись, медиум ли, которого надо наблюдать, спор ли, который надо вести, приватно или в печати, — он шел туда, знаменуя свое высочайшее присутствие неизменным зонтиком. И иногда с ним вместе шествовал Шерлок Холмс.

От "Камня Мазарини" в 1921 году до "Поместья Шоскомб" в 1927-м не расставался он со своим старым приятелем. Но никогда публично не ставил между собой и Холмсом знака равенства.

"Почему ты не скажешь им все как есть?" — упрашивала Джин, давно уже посвященная в тайны творчества. И тем не менее, хоть в его автобиографии немало весьма прозрачных намеков на то, кто истинный прототип Шерлока Холмса, он сохранял шутливый секрет личности сыщика, как и личности Уотсона. Он пошел даже дальше, заставив Холмса отрицать всякую мысль о сверхъестественном, ибо у Холмса — которого он сконструировал как вычислительную машину — все должно быть подчинено логике, все — до последней клеточки мозга.

Совсем иначе обстояло дело с повестью, написанной к концу 1924 года и первоначально носившей название "Странствования духа Эдварда Мелоуна". Повесть появилась в следующем году в "Стрэнде" под названием "Туманный край".

"Слава Богу, — сообщал он Гринхофу Смиту 22 февраля 1925 года, — книга закончена! Это мне было так важно, что я уже стал опасаться, что умру, ее не завершив".

Эти строки писались в квартире на Виктория-стрит, которую он содержал в городе более двадцати лет, накануне поездки в Париж, где послушать "доброго великана" собирались толпы поклонников. "Туманный край" был для него не столько повестью в обычном смысле, сколько поводом познакомить читателей с содержанием своих и чужих спиритических опытов.

Мы видим, что центральная фигура "Туманного края" вовсе не профессор Челленджер. Как указывают первоначальное название и подзаголовок журнальной публикации, центральный герой — Эдвард Мелоун, атлетического сложения ирландец. Но и Челленджер на своем месте, хотя уже не тот, не прежний Челленджер — постаревший, перенесший тяжелейшие утраты, громогласно отстаивает он позиции научного скептицизма.

Если в свое время именно Челленджер вел за собой все повествование, то теперь его самого проводят через все превратности, через туманные, неясные, порой грозящие даже опасностями происшествия

книги, которой автор придавал такое значение. И он, автор, вводит Челленджера не столько из симпатии к своему герою, сколько как представителя научного скептицизма, того скептицизма, выразителем которого был профессор Хэр, снискавший доверие и понимание Конан Дойла.

В конце концов Челленджер уверовал в общение с потусторонним миром. Многим не понравилась книга потому, что им не нравилась тема. А Челленджер утратил славу укротителя чудищ, недавно завоеванную им в одной из лучших экранизаций "Затерянного мира".

"Конан Дойл проповедует!" — так отзывались многие о книге, что было справедливо. Но давайте встанем на его место: что еще мог делать он — да и всякий человек, — для которого вера важнее всего на свете?

Впрочем, его талант рассказчика пробивается и в "Туманном крае", а если кому-нибудь захочется прочесть его лучший рассказ о привидениях, мы можем рекомендовать "Громилу из Брокас-Корта", написанного в 1921 году. В тот год умерла матушка, умерла тихо, благословив своего любимого сына, хотя и не смирившись с его верой в спиритизм. Но Конан Дойл не ощущал утраты, и чувства, что накопились за все эти годы, которые красочной вереницей проходили теперь перед его мысленным взором, заставляли его с еще большим рвением отдаваться работе.

Вновь и вновь Гринхоф Смит убеждал его написать что-нибудь, более отвечающее общему вкусу, чем его спиритические статьи. Вот типичный его ответ:

"Я бы хотел сделать так, как Вы просите, но, как Вы знаете, жизнь моя посвящена одной цели и в настоящий момент я не вижу на моем горизонте никакого подходящего для Вас литературного замысла. Я могу писать только то, что само приходит ко мне".

Словно стали сходиться линии жизни. В 1924 году воплотилась его старинная мечта, когда он собрал картины и рисунки отца для выставки в Вест-Энде. В 1925 году он купил дом в деревне — Бигнелл-вуд был продолговатым, с несколькими фронтонами, и стоял под тяжелой соломенной крышей среди дубов и берез Нью-Фореста — того самого фона, на котором ожили персонажи "Белого отряда". В 1926—27 годах в разгар напряженнейшей работы и полемики увидели свет его двухтомная "История спиритизма" и "Архив Шерлока Холмса".

Сколь бы малозначительными не представлялись ему теперь холмсовские рассказы, он не хотел, чтобы они казались натянутыми, высосанными из пальца. Рассказ "Человек, которого разыскивали" он по этой причине отверг, и тот так и не был опубликован. Те, кому довелось его читать, могут засвидетельствовать, что центральный сюжетный ход — исчезновение человека с борта корабля средь бела дня на виду у всех — стоит незавершенного рассказа о м-ре Джеймсе Филлиморе. А жена Уотсона в 1895 году все та же Мэри Морстен.

Но написан он как бы между прочим, с тем нетерпением, какое бывает у человека, мысли и чувства которого обращены на другое. Так же он отверг и другой замысел: в нем речь должна была идти об убий-

стве, совершенном человеком на ходулях; любопытно, что к той же идее пришел впоследствии Г. К. Честертон. "Еще Холмса!" — просят читатели. Что ж, ответ известен: "Я могу писать лишь то, что само ко мне приходит".

Характеризуя его финансовые дела, можно рассказать, что он пожертвовал 250 тысяч фунтов стерлингов на проповедь спиритизма. А что касается почестей, то мы уже говорили о титуле пэра, предложенном ему. Дело дошло до того, что его кузен, преподобный монсеньор Ричард Барри-Дойл, близкий участливый друг семьи с военных дней, посчитал необходимым приехать в Уиндлшем для переговоров. Пусть с Георгом Конан Дойл был в дружеских отношениях, но кроме короля есть и другие, с мнением которых приходится считаться. Его отговорили принимать титул. В Англии, стране религиозной свободы, пэр королевства не мог быть духовидцем. Как будто у него было мало заслуг перед королевством!

Но "доброго великана" (выражение французского журналиста) это, казалось, не трогало, а если и отзывалось болезненно в душе, об этом никто не узнал, ведь блеск его глаз не померк. Он проводил теперь много времени в книжной лавке с музеем при ней, устроенной им на Виктория-стрит для интересующихся спиритизмом. Делами там заправляла дочь Мэри.

— Почему ты беспрестанно твердишь о доказательствах, доказательствах, доказательствах? — спросила его однажды Мэри. — Мы знаем, что это правда, разве нужно еще что-то доказывать?

— Ты никогда не была рационалисткой, — ответил он.

Книги, посвященные спиритическим проблемам, ему, который мог получать по десять шиллингов за слово, если бы соизволил писать о Шерлоке Холмсе, приходилось издавать за собственный счет. В 1927 году вышел на свободу столько лет не видевший белого света Оскар Слейтер, больной, затаивший в груди непомерную обиду, вышел, как был, невиновный, но все еще официально не оправданный. Конан Дойл и словом и делом стал бороться за признание его невиновности и выплату компенсации, стремясь доказать, что в те далекие дни не Оскар Слейтер убил Марион Гилкрист.

Они одержали победу. В зале суда они протянули друг другу руки через пропасть в столько лет, куда канули в забвении и подтасовка фактов, и предвзятое ведение следствия. Это произошло в 1928 году, а осенью, когда на лужайках Бигнелл-вуда закружились под моросящими дождями опавшие листья, Конан Дойл собрался в дорогу, пролегшую через Южную Африку, Родезию и Кению.

Поехал он в Африку вместе с Джин и тремя детьми, которые сопровождали их повсюду во всех спиритических паломничествах. Дети, собственно, были уже вполне взрослыми. Денис и Адриан, засматривавшиеся на прекрасный пол и рисковавшие свернуть себе шею в автомобильных гонках, были шести футов роста, но отец все еще возвышался над ними и мог усмирить их одним взглядом. Они позволяли себе подтрунивать над его тактикой обращения с автомобилем — не находя в себе технической жилки, он, когда что-то случалось, попросту открывал капот и ты-

кал своим зонтиком в мотор, пока не достигал желаемого результата. Он более чем снисходительно относился к их проделкам. Но однажды в купе поезда, везшего их по Южной Африке, произошел такой случай.

— Та женщина? — сорвалось у Адриана. — Да она безобразна.

Звонкая оплеуха прервала его речь, у него потемнело в глазах, и когда он снова обрел способность видеть, то различил побагровевшее от гнева лицо отца.

— Запомни, — сказал Конан Дойл примирительно, — безобразных женщин нет.

Это было сказано раз и навсегда — в этих словах была вся его философия по отношению к прекрасному полу.

Впервые после бурской войны посетив Южную Африку, не мог он не испытать щемящего чувства. В окрестностях Блумфонтейна он оказался на закате, таком же багрово-красном закате, какой ему запомнился по последнему дню в госпитале Лангмена.

Прежние политические страсти здесь еще слегка теплились, но что ему теперь до них. Никогда он не был столь энергичен, столь убедителен в выступлениях и беседах, как в этом паломничестве под палящим солнцем Африки. Его родным казалось, что он покинул Англию, едва успев вернуться, — только недавно, весной 1929 года, возвратившись из Африки и проведя часть лета в Бигнелл-вуде, где праздновался его семидесятилетний юбилей, он уже осенью снова собрался в путь — теперь его целью была Скандинавия.

Скандинавия не предел! Он собирался донести свет истины до Рима, Афин, Константинополя.

"Мы возвращаемся, — писал он взволнованно на исходе африканского турне, — поздоровевшие, утвердившиеся в вере, жаждущие броситься в бой за величайшее дело — возрождение религии и того непосредственного, практического спиритизма, который есть единственное противоядие от научного материализма".

В таком воодушевлении, посетив по пути Гаагу и Копенгаген, он ехал в Норвегию и Швецию. В Стокгольме его ждал самый горячий прием, все улицы были запружены, и ему, как и в Кейптауне, предложили выступить по радио: словно колокол, гулко разнесся его голос.

Он обещал вернуться в Лондон в день годовщины заключения мира, чтобы выступить утром в Альберт-холле, а вечером в Куинз-холле. И тут внезапно "добрый великан" надорвался.

В Лондоне прямо с парома его отвезли на квартиру. В воздухе уже носились редкие снежинки. Напрасно доктора убеждали его, едва переводившего дух, что дальнейшие выступления самоубийственны. Как и всю жизнь, он не собирался сдаваться. Он не отступит даже перед грудной жабой. И не только данное обещание двигало им, но и то, что в этот день должна была служиться панихида в память тех, кто — как Кингсли и Иннес — ушел под звуки "Упрячь свои заботы в ранец" *.

В воскресенье утром он выступал в Альберт-холле, несколько нетвердо держась на ногах и с трудом произнося слова. Вечером он

---

* Начальные слова солдатской песни.

выступал в Куинз-холле, а затем, когда толпы тех, кто не смог пробиться в зал, захотели послушать его, он настоял на выступлении с балкона, прямо под снегом, без шапки.

И все же, казалось, он вновь посмеялся над физическими недугами. Тело можно заставить слушаться. В Сочельник в Уиндлшеме, сойдя к обеду, он ел мало — только виноград, но был в прекрасном расположении духа. Д-р Джон Ламонд, пресвитерианский священник, давний его сподвижник в спиритизме, не раз имевший удовольствие видеть, как Конан Дойл имитирует профессора Челленджера, теперь слушал прерывающийся приступами кашля его рассказ о посещении Барри в Стануэйкорте.

Окруженный заботой, оберегаемый от настырных посетителей, в ту весну 1930 года он как будто поправлялся. Вот еще одна памятная сцена из того времени.

В Уиндлшеме вошло у него в непреложный обычай в первые же ясные дни срывать в саду для Джин подснежники. И вот снова весна, и снова он, усталый великан, идет в сад и срывает первые подснежники.

Он чувствовал себя много лучше, или говорил, что чувствует себя лучше, и нарисовал себя в виде старой клячи, с удовлетворением отметив этапы пройденного пути.

"Старая кляча, — приписал он снизу, — долгую дорогу тянула тяжкий груз. Но ее холят и лелеют, и шесть месяцев в стойле да еще шесть месяцев в лугах поставят ее на ноги".

С наступлением лета он стал снова ежедневно работать в своем кабинете: он не бросал литературу, не забывал о переписке. Однажды, возвращаясь из кабинета в спальню, он тяжело упал в коридоре. Дворецкому, прибежавшему ему на помощь, он приглушенным голосом сказал:

— Ничего страшного! Отведи меня тихонько и никому ничего не говори!

Он не хотел волновать Джин.

Часто приходилось давать ему кислород. Один такой случай хорошо запомнился Денису. Он лежал наверху, в спальне за белыми дверями, и, повернув на подушке свою большую голову, стал искать глазами Дениса.

— Тебе, должно быть, очень скучно, мой мальчик, — сказал Конан Дойл, — пойди почитай.

Под занавес жизни он еще помчался в Лондон, вопреки заклинаниям Джин и докторов, чтобы переговорить с министром внутренних дел по поводу законов, преследующих медиумов. Но старая кляча слишком долго тянула свой груз, ее путь в этом мире подходил к концу.

7 июля 1930 года в два часа ночи Денис и Адриан с бешеной скоростью неслись в машине в Танбридж-Уэлс за кислородом. В ящике стола в кабинете Конан Дойла лежали гранки его последнего рассказа из времен регентства. Из своей спальни — окна, выходящие на север, были открыты — мог он еще увидеть восход солнца, предвещавшего ясный теплый день.

(Сама обстановка спальни весьма примечательна. По стенам были

развешаны фотографии боксеров — Том Криб и Молино — и рисунки Уильяма Блейка. Над туалетным столиком висела фотография военного тральщика "Конан Дойл". Была еще деревянная плакетка с изображением Гиллетта в роли Шерлока Холмса. По углам — гири и боксерские перчатки и там же, в спальне, бережно уложенный в специальный чехол, стоял его славный бильярдный кий.)

В половине восьмого утра, совершенно обессиленный, он все же пожелал встать с постели и сесть в кресло. Ему помогли натянуть халат, и он устроился в большом плетеном кресле лицом к окну. Он говорил мало. Ему было трудно говорить.

Но он нашел в себе силы сказать:

— Нужно отлить для тебя медаль, — сказал он Джин, — с надписью: "Лучшей из всех сиделок".

Была почти половина девятого. Джин сидела слева, держа его руку в своей. Адриан — справа, держа его за другую руку. Денис стоял за спиной Адриана, а Лина Джин по другую сторону от матери.

За окном уже встало солнце, хотя лужайка еще была в тени. Ровно в половине девятого они почувствовали, как рука его сжалась. Он чуть-чуть приподнялся и, не в силах говорить, посмотрел по очереди на каждого из них. Затем откинулся назад, и глаза его навеки сомкнулись для всего земного.

ЭПИЛОГ

Эта сцена напоминала скорее тихий прием гостей в саду, чем похоронную процессию. Его тело предали уиндлшемской земле недалеко от садового домика, которым он так часто пользовался для работы. На Джин Конан Дойл было летнее платье в цветочек. Поговаривали, что они не хотят, чтобы его оплакивали, и в толпе, что собралась в Уиндлшеме солнечным днем 11 июля 1930 года, и вправду почти не видно было слез.

Но им не хватало его. Всему миру не хватало его. Где бы ни заставала людей весть о его кончине — на родине или вдали от нее, — на них накатывалась огромная волна воспоминаний и образов. А когда стали приходить телеграммы и потребовался специальный состав, чтобы доставить цветы, — казалось, весь мир поминает его.

Итак, он был похоронен вблизи садового домика, и цветы, что прислали на его могилу, превратили все пространство вокруг в какой-то фантастический сад. На надгробной плите Джин просила вырезать лишь его имя, дату рождения и четыре слова: "STEEL TRUE, BLADE STRAIGHT" *. Надгробие было из английского дуба.

Что еще сказать?

Все остальное сберегается в памяти тех, кто помнит. Людей старшего поколения, не забывших, какое наслаждение доставляло им чтение его рассказов; людей старшего поколения, которые памятуют о том, как он вставал на защиту униженных и оскорбленных; или тех, кто еще постарше и кто уловил отголоски "Гусиных серых перьев" и хранит в памяти то, как всю свою жизнь служил он Англии.

Им и говорить о нем в полный голос — им, а не нам, кто только пробивается по проложенному им пути и силится его понять. Спиритизму отдал он свое сердце, свои мирские ценности и, наконец, жизнь. И, говоря ли в спиритическом смысле или только в смысле того земного его влияния, которое мы все испытываем, еще одно слово можно добавить: не нужно никаких эпитафий. Он не умер.

---

* "Верен как сталь, прям как клинок" (*англ.*).



ХЕСКЕТ ПИРСОН

КОНАН ДОЙЛ

ЕГО ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО



ГЛАВА 3.

ДОКТОР БАДД

Закончив университет, Бадд исчез из Эдинбурга, и, так как он никогда не писал писем, Дойл на несколько месяцев потерял с ним всякую связь. Но в один весенний день из Бристоля пришла телеграмма: "Приезжай немедленно. Ты мне срочно нужен. Бадд". Дойл вспомнил, что отец Бадда был ведущим врачом Бристоля, и предположил, что его друг продолжает дело отца. В то время он работал в Бирмингеме, но сейчас же выехал в Бристоль в полной уверенности, что Бадд сможет предложить ему что-то интересное. Первым человеком, которого он увидел на платформе, был Бадд — в сдвинутой, как всегда, на затылок шляпе, расстегнутом пальто и — что уже было чем-то новым — с аккуратно застегнутым воротничком. Он встретил Дойла радостным воплем, вытащил его из вагона, схватил его матерчатую сумку и повел по улице, говоря о чем угодно, кроме того, чем была вызвана телеграмма. С футбола он перескочил на свое последнее изобретение и так возбудился, что отдал сумку Дойлу, чтобы свободно жестикулировать.

— Мой дорогой Дойл, почему люди отказались от доспехов, а? Знаешь? Я тебе скажу, почему. Они отказались от доспехов, потому что вес металла, необходимого для защиты стоящего человека, стал больше, чем этот человек мог выдержать. Но сейчас люди же не сражаются стоя. Пехота вся лежит на животе, и для ее защиты нужно очень мало металла. Да и сталь теперь уже не та, Дойл! Закаленная сталь! Бессемер! Бессемер! Очень хорошо. Сколько потребуется стали, чтобы защитить одного человека? Лист четырнадцать на двенадцать дюймов, наклоненный под таким углом, чтобы пуля от него рикошетила в сторону. Сбоку прорезь для винтовки. И все, приятель. Запатентованный Баддом переносной пуленепробиваемый щит. Вес? Около шестнадцати фунтов. Я все рассчитал. Каждая рота несет свои щиты на носилках, и перед боем щиты раздаются солдатам. Дай мне двадцать тысяч хороших стрелков — и я высажусь в Кале и дойду до Пекина. Ты только подумай о мораль-

ном эффекте! Одна сторона каждый раз стреляет и попадает, а другая всаживает свои пули в стальные пластины. Никакая армия такого не потерпит. Страна, которая первой возьмет на вооружение эти щиты, всю остальную Европу просто выкинет за ворота. Они обязательно купят эту защиту — все. Давай прикинем. В состоянии боевой готовности находятся около восьми миллионов человек. Предположим, щиты есть только у половины. Я считаю только половину, потому что не хочу быть чрезмерным оптимистом. Это четыре миллиона. Я буду отчислять себе при оптовой продаже четыре шиллинга комиссионных за штуку. Сколько это получается, Дойл? Примерно три четверти миллиона фунтов стерлингов. Ну как, приятель? А, Дойл?

Эта речь, произнесенная с драматическими паузами, то шепотом, то криком, с жестикуляцией, похлопыванием спутника по плечу, взрывами хохота, подарила Дойлу идею, которую он позже развил в одном из своих сочинений.

Они подошли к большому дому, стоявшему на отдельном участке земли, и, когда дверь открыл лакей в красных плисовых бриджах, Дойл почувствовал, что его окружает богатство. У миссис Бадд был усталый вид, дом и мебель были впечатляюще древними, но обед был буйным и веселым, напомнив Дойлу прежние вечера над лавкой бакалейщика. За едой ни слова не было сказано о той "срочной необходимости", которая привела его в Бристоль. Пообедав, они перешли в маленькую гостиную, где мужчины закурили трубки, а миссис Бадд — сигарету, и некоторое время сидели молча. Вдруг Бадд вскочил на ноги, подбежал к двери и распахнул ее настежь. Убедившись, что никто не подслушивает, он закрыл дверь и снова сел в кресло. По природе своей он был ужасно подозрителен, его не покидала твердая убежденность, что все вокруг сговариваются против него и шпионят за ним. Но сейчас его страхи временно улеглись и он признался своему гостю: "Дойл, вот что я хотел сказать тебе. Я полностью, безнадежно и необратимо разорен".

Дойл, лениво откинувшийся со стулом назад, чуть не грохнулся на пол.

— Мне жаль разочаровывать тебя, дружище. Я вижу, ты ждал не этого.

— Ну, — пробормотал Дойл, — это действительно сюрприз, старина. Я подумал, что... учитывая...

— Учитывая дом, лакея и мебель? Так вот, они-то меня и сожрали заживо... обсосали косточки и даже соус вылизали. Мне конец, дружище, если только... если только какой-нибудь друг не подарит мне свою подпись на гербовой бумаге.

— Я не могу, Бадд. Это ужасно, когда приходится отказывать другу, но если бы у меня были деньги...

— Подожди, пока тебя попросят, — отрезал Бадд со злобным блеском в глазах. — К тому же, раз у тебя ничего нет и нет никакого будущего, какой прок от твоей подписи?

— Это-то я и хотел бы знать, — пробормотал Дойл, чувствуя себя все-таки несколько оскорбленным.

— Смотри сюда, приятель. Видишь эту кипу писем слева от стола?

— Да.

— Это предупреждения от кредиторов. А видишь эти документы справа? Это вызовы в суд графства. А это ты видишь? — он показал какой-то гроссбух, на первой странице которого было написано три-четыре фамилии. — Это пациенты. — Он захохотал так, что на лбу у него вздулись вены, сочувственно захихикала и его жена. Придя в себя, Бадд продолжал: — Вот так обстоят дела, Дойл. Ты, вероятно, слышал, да я сам тебе говорил, что у моего отца была лучшая практика в Бристоле. Насколько я могу судить, никаких способностей у него не было, но факт остается фактом — практика у него была. Он умер семь лет назад, и его клиентуру растащили все кому не лень. Тем не менее, когда я кончил университет, я подумал, что лучшее, что я могу сделать, — это приехать сюда и постараться его практику восстановить. Все-таки имя чего-то стоит, подумал я. Но за дело надо было браться по-настоящему. Иначе, Дойл, все это было бессмысленно. К нему приходили богатые люди, они должны были видеть приличный дом и лакея в ливрее. Разве можно было их затащить в дом с перекошенными окнами за сорок фунтов в год, с грязной служанкой у двери? Что же, по-твоему, я сделал? Я взял, дружище, старый дом отца, который не был никому сдан, — тот самый дом, что он содержал на пять тысяч в год. Начал я шикарно, вложив в мебель все до последнего цента. Но все оказалось бесполезно, приятель. Я больше не могу. У меня два несчастных случая и один эпилептик — двадцать два фунта, восемь шиллингов и шесть пенсов. Это все!

— И что ты будешь делать?

— Об этом я и хотел с тобой поговорить. Поэтому я и послал тебе телеграмму. Я всегда прислушивался к твоему мнению, приятель, и подумал, что сейчас как раз самое время выслушать твой совет.

Хотя эти слова Дойлу польстили, он подумал, что просить сейчас совета было вообще-то поздновато.

— Ты действительно считаешь, что здесь оставаться бесполезно?

— Пусть для тебя это будет уроком, Дойл. Тебе еще предстоит начинать свою практику. Послушай меня, уезжай туда, где тебя никто не знает. Незнакомому человеку люди поверят довольно быстро. Но если они помнят тебя мальчишкой в коротеньких штанишках, которого шлепали волосяной щеткой за то, что он воровал сливы, они не вверят свою жизнь в твои руки. Можно сколько угодно говорить про дружбу и семейные связи, но когда у человека болит живот, ему на все это глубоко наплевать. Я написал бы золотыми буквами в каждом медицинском классе, вырезал бы на воротах университета — если человеку нужны друзья, он должен идти к чужим людям. Здесь все кончено, Дойл, так что не надо советовать мне оставаться здесь.

Выяснив, что Бадд задолжал 700 фунтов стерлингов, что дом стоил ему 200 фунтов в год, что мебель он уже заложил и что все его сбережения составляли менее 10 фунтов, Дойл посоветовал ему собрать всех кредиторов и честно во всем признаться. "Они увидят сами, что ты молод и энергичен, что рано или поздно ты обязательно добьешься успеха. Если они сейчас загонят тебя в угол, они не получат ничего. Но

если ты начнешь все заново в каком-нибудь другом месте и преуспеешь, ты им полностью вернешь все, что должен. Другого выхода я не вижу".

Судя по всему, Бадд полностью разделял эту точку зрения: «Я знал, что ты это скажешь, я и сам так думаю. Ну что ж, значит, решено, я очень благодарен тебе за совет, и больше сегодня об этом говорить не будем. Я выстрелил и промахнулся. В следующий раз я попаду точно в цель, и будет это весьма скоро".

Через минуту-две он уже пил виски и болтал без умолку, как будто в мире не существовало кредиторов и вызовов в суд. Два стакана произвели на него обычное действие, и, когда его жена их покинула, он перевел разговор на бокс и предложил немного побоксировать. Дойлу бы следовало поостеречься, но он никогда не мог отказаться от вызова и надел перчатки. Они отодвинули стол, переставили лампу на полку повыше и встали друг напротив друга. Дойл тут же понял свою ошибку. Злобный блеск в глазах Бадда лучше всяких слов говорил о том, что отказ Дойла поддержать его начинание с газетой был все еще свеж у него в памяти. Дойл хотел немного по-дружески размяться, но Бадд набросился на него, нанося сильные удары обеими руками, заставил его отступить, прижал к двери и, не давая ему двинуться, начал отчаянно его молотить. Дойлу как-то удалось увернуться от чудовищного удара правой, который сразу решил бы исход поединка, и вырваться.

— Послушай, — сказал он, — в этой игре боксом и не пахнет.

— Да, я сильно бью, правда? — самодовольно ответил Бадд.

— Если ты снова на меня так набросишься, мне придется драться по-настоящему. А я хотел просто слегка поразмяться.

Он едва успел произнести эти слова, как Бадд опять на него накинулся. Дойл отступил в сторону, но его противник мгновенно повернулся и снова бросился в атаку. Дойл потерял равновесие и пропустил удары в голову и корпус. Он споткнулся о скамеечку для ног и, не успев выпрямиться, получил еще один удар по уху, от которого у него зазвенело в голове.

— Скажешь, когда тебе надоест, — высокомерно произнес Бадд.

Дойлу уже надоело, и он решил отплатить своему противнику. На этот раз он был готов к бешеной атаке Бадда и встретил его ударом слева по носу, а потом нанес короткий прямой в челюсть и сбил его с ног.

— Свинья! — завизжал Бадд, его лицо исказилось маниакальной яростью. — Сними перчатки, будем драться по-настоящему!

— Ладно тебе, дурень, — примирительно сказал Дойл. — Чего это ты вздумал драться?

— Клянусь Богом, Дойл, — завопил Бадд, отшвырнув свои перчатки, — снимешь ты их или нет, я все равно тебе это так не оставлю!

— Выпей воды, — предложил Дойл.

— Ты боишься меня, — зарычал Бадд, — вот в чем дело.

Дойл снял перчатки, и в этот момент вошла миссис Бадд.

— Джордж! — вскричала она в ужасе, увидев, что нижняя половина его лица залита кровью из разбитого носа. — Что это значит, мистер Дойл?

И хотя в ее глазах пылала ненависть, Дойлу хотелось обнять ее и расцеловать.

— Мы решили чуть-чуть побоксировать, — сказал он. — Ваш муж жаловался, что совсем забросил тренировки.

— Все в порядке, дорогая, — произнес Бадд, надевая пиджак. — Не глупи. Слуги уже легли? Тогда принеси из кухни воды в тазу. Садись, Дойл, закуривай свою трубку. Я хочу поговорить с тобой.

У Бадда был замечательный талант актера-трансформатора; он сидел, болтал, как будто не произошло ничего такого, что могло омрачить их дружбу. Вечер закончился мирно.

На следующее утро, хотя их лица и хранили следы прошлого вечера, Бадд был в прекрасной форме. У него были сотни идей, как им разбогатеть, некоторые из них знакомы читателям Дойла по его рассказам. Самое главное, утверждал Бадд, — попасть в газеты. Очень просто! Дойл упадет в обморок на дороге возле его дома; соберется толпа; Дойла внесут внутрь, а лакей побежит в редакции газет, чтобы сообщить о происшедшем. Если толпа окажется столь бесчувственной, что отнесет его к врачу-конкуренту в дом напротив, придется попробовать что-нибудь другое. У Дойла может случиться припадок прямо на пороге дома Бадда; более того, у него может быть несколько припадков, каждый раз в новом гриме, и всякий раз это будет попадать в газеты. Когда припадки будут уже неинтересны читателям, Дойл может упасть замертво в каком-нибудь удобном месте, Бадд вернет его к жизни, и слава Бадда прогремит на всю Англию.

Пока Бадд излагал эти проекты для поправки своих дел, а Дойл покатывался от хохота, к врачу напротив потоком шли пациенты, и время от времени Бадд прерывался, чтобы предать анафеме и конкурента, и больных. Когда он замечал нового пациента на пороге дома напротив, он вскакивал с кресла и принимался бегать по комнате, ругаясь, проклиная и скрежеща зубами.

— Смотри! — вдруг вопил он. — Видишь этого человека, хромого? Он приходит каждое утро. Смещение полулунного хряща! Работы на три месяца. Он стоит тридцать пять шиллингов в неделю!

Несколько минут спустя он прерывал себя криком: "Вон! Чтоб меня вздернули, если это не та женщина с ревматическим артритом в кресле-коляске! Котиковая шубка снаружи и сплошная молочная кислота внутри! Тошно смотреть, как они толпятся у его двери! К тому же, что он за человек, если бы ты знал! Ты его не видел, тем лучше для тебя. Какого дьявола ты смеешься, Дойл?"

Дойл не мог разогнуться от смеха, когда уезжал из Бристоля.

Несколько месяцев спустя он был уже на пути к Западному побережью Африки. Вернувшись, он узнал, что Бадд собрал своих кредиторов, довел некоторых из них до слез своим подробным рассказом о борьбе с силами обстоятельств, добился их добровольного согласия на отсрочку платежей sine die *, получил единогласный вотум доверия и чуть было не уговорил их пустить шляпу по кругу, дабы

* На неопределенное время (*лат.*).

собрать ему коллективное пожертвование для начала новой жизни.

По возвращении Дойл подумывал, не рискнуть ли ему начать собственную практику, и вдруг поздней весной 1882 года получил телеграмму от Бадда: "В июне прошлого года обосновался в Плимуте. Колоссальный успех. Мой пример должен революционизировать медицинскую практику. Быстро сколачиваю состояние. Сделал изобретение, которое стоит миллионы. Если наше адмиралтейство не купит, ведущей морской державой сделаю Бразилию. Приезжай первым поездом после получения этой телеграммы. Для тебя много работы". Дойл к тому времени вернулся в Бирмингем и не испытывал достаточного доверия к Бадду, чтобы согласиться на его предложение. Вместо этого он написал, что ему и в Бирмингеме очень хорошо и он не хочет бросать свою работу, если нет уверенности, что ему предлагают постоянное место. После десятидневного молчания Бадд снова телеграфировал: "Относительно твоего письма. Почему бы просто не назвать меня лгуном? Говорю тебе, в прошлом году я принял тридцать тысяч пациентов. Заработал более четырех тысяч фунтов. Все больные идут только ко мне. Не перейдут на другую сторону улицы, даже чтобы посмотреть на королеву Викторию. Отдаю тебе весь прием, всю хирургию и все акушерство. Зарабатывай, сколько хочешь. Гарантирую триста фунтов в первый же год". Дойл обсудил это предложение с врачом, у которого работал, и отправился в Плимут.

И снова Бадд ждал его на платформе и встретил его радостным воплем и хлопком по спине.

— Дружище, — немедленно начал он. — Мы обчистим этот город. Я тебе говорю, Дойл, здесь не останется ни одного врача, кроме нас. Они сейчас едва зарабатывают на масло, а когда мы начнем работать вместе, они будут грызть сухой хлеб. Слушай меня, старина! В этом городе сто двадцать тысяч жителей, которые криком кричат, просят совета, а здесь ни один врач не в состоянии отличить таблетку слабительного от почечного камня! Нам надо только успевать поворачиваться. Я стою и принимаю деньги до тех пор, пока не начинает болеть рука.

— Но каким образом? — изумленно спросил Дойл. — Что, в городе так мало врачей?

— Мало?! — завопил Бадд. — Черт побери, их здесь пруд пруди. В этом городе из окна нельзя выпасть, чтобы при этом не раздавить врача. Но все они... Впрочем, ты увидишь сам. В Бристоле ты к моему дому шел пешком. В Плимуте я не позволяю моим друзьям идти пешком к моему дому. А, каково?

В эту минуту разыгралась явно заранее отрепетированная комедия. Их ждал роскошный экипаж, в который были запряжены две прекрасные вороные лошади. Кучер подобострастно спросил Бадда, к какому дому их отвезти. Заметив с удовлетворением, что на Дойла все это произвело должное впечатление, Бадд сказал, что, так как обед должен уже быть почти готов, лучше поехать в "городскую резиденцию". В карете Дойл не мог скрыть изумления, и Бадд сообщил ему, что пока решил

довольствоваться домом в городе, домом за городом и домом для занятий медицинской практикой.

— Комната для консультаций и приемная? — предположил Дойл.

— Ты слишком мелко мыслишь, — сказал Бадд. — Я никогда не встречал человека с таким убогим воображением. Я тебе писал о моей практике, слал телеграммы, а ты сидишь и спрашиваешь, две ли у меня комнаты. Мне скоро придется снимать рыночную площадь, и то мне там негде будет повернуться. Твое воображение в состоянии представить себе большой дом, где в каждой комнате ждут люди, набившиеся до отказа, и еще штабелями лежат в погребе? Так выглядит дом, где я работаю, в обычные дни. Люди приезжают из деревень за пятьдесят миль, они всю ночь едят хлеб с патокой на пороге, лишь бы быть первыми в очереди. Представитель комиссии здравоохранения подал официальную жалобу в связи с тем, что мои комнаты для ожидания переполнены. Люди ждут в конюшнях, они сидят на кормушках и под животами у лошадей. Я передам кое-кого из них тебе, дружище, и ты сам увидишь, что к чему.

Экипаж остановился на углу улицы у дома, похожего на просторную гостиницу. Позже Дойл узнал, что в прошлом это был главный клуб города, аренда которого оказалась слишком высокой для его членов. Внушительная лестница вела к двери, над которой вздымались пять или шесть этажей с бельведерами и флагштоком. Тридцать с лишним спален были не обставлены, но комнаты первого этажа и холл производили большое впечатление. Скромно объяснив, что это его "домик", Бадд повел Дойла наверх. "Понимаешь, — сказал он, вбив несколько гвоздей в дверь спальни Дойла, где стояла еще маленькая железная кровать и умывальник на раскладном ящике, — нет смысла покупать гарнитур за сорок фунтов только для того, чтобы потом выбросить его в окно, потому что некуда ставить гарнитур за сто фунтов. Нет смысла, правда, Дойл? Я обставлю этот дом так, как никто никогда не обставлял свой дом. Клянусь всеми святыми, люди за сто миль будут приезжать, лишь бы только взглянуть на него. Но делать это надо постепенно, комната за комнатой".

Миссис Бадд сердечно встретила гостя, они сели за стол и приступили к обеду, который полностью оправдал ожидания, навеянные мебелью, коврами и занавесками столовой. Бадд в экстазе от огромных сумм, которые он за все это выложил, таскал Дойла по комнате, пока стыл суп, показывая стулья, драпировки и т.д. Он даже остановил служанку, схватив ее за руку, чтобы спросить у Дойла, видел ли тот когда-либо служанку аккуратнее. Посередине обеда он выбежал из комнаты и вернулся с мешком, полным денег, которые он высыпал прямо на скатерть. "Наша дневная выручка", — объяснил он. Там было 33 фунта и восемь шиллингов. Когда Дойл заметил, что бристольским кредиторам будет приятно узнать, как хорошо у него идут дела, веселость Бадда испарилась, на лице появилось выражение дьявольской злобы, и его жена отослала служанку.

— Какую чушь ты несешь! — закричал он. — Ты что, полагаешь, я буду годами вкалывать, лишь бы разобраться с теми долгами?

— Я понял так, что ты обещал, — сказал Дойл. — Хотя, конечно, это не мое дело.

— Надеюсь, что не твое! Торговец может выиграть, а может и проиграть. Он заранее готов к тому, что некоторые долги ему не отдадут. Я заплатил бы им, если бы мог. Я не мог и решил все начать сначала. Ни один здравомыслящий человек и не подумал бы тратить все, что я заработал в Плимуте, на бристольских торговцев.

— А если они приедут к тебе сюда?

— Тогда и будем об этом думать. А пока я плачу живыми деньгами за все, что попадает в мой дом. В одной этой комнате вещей на четыреста фунтов.

Раздался стук в дверь, и вошел мальчик-посыльный.

— Прошу прощения, сэр, к вам пришел мистер Данкан.

— Передай привет мистеру Данкану и скажи, чтобы он убирался к черту!

— О Боже, Джордж! — воскликнула миссис Бадд.

— Скажи ему, что я обедаю, и, даже если бы все короли Европы ждали в прихожей, я не вышел бы за порог этой комнаты, чтобы принять их.

После минутного отсутствия мальчик появился снова.

— Простите, сэр, но он не уходит.

— Не уходит? Что значит "не уходит", негодяй? Что ты болтаешь?

— Он пришел получить по счету, сэр, — дрожащим голосом произнес мальчик.

— По счету? — вены на лбу у Бадда начали набухать. — Слушай внимательно. — Он положил на стол часы. — Сейчас без двух минут восемь. В восемь я выйду, и, если он еще будет здесь, я размажу его по улице. Скажи ему, что я разорву его на кусочки и разбросаю их по всему приходу. У него есть две минуты, чтобы спасти свою жизнь, и одна из них уже почти истекла.

Несколько секунд спустя они услышали, как хлопнула входная дверь, и Бадд шумно расхохотался. "Я его с ума сведу, — сказал он наконец, утирая слезы. — Он нервный, трусливый человек, когда я смотрю на него, он становится бледнее мела. Когда я прохожу мимо его магазина, я обычно захожу внутрь, стою и смотрю на него. Я никогда не говорю ни слова, просто смотрю. Его это парализует". Дойл узнал, что этот человек продавал Бадду зерно и два раза его обманул — поэтому Бадд так с ним обращался. Но позже Бадд сказал жене, чтобы утром она отослала торговцу 20 фунтов.

Когда обед закончился, они пошли в заднюю комнату, где Бадд проводил свои эксперименты. Там лежали пистолеты, патроны, винтовки, аккумуляторная батарея и большой магнит. Дойл спросил, для чего все это, и Бадд, повернувшись к жене, повторил вопрос. "Превосходство на море и непобедимость в океане", — послушно ответила она.

— Совершенно верно, — радостно воскликнул он. — Превосходство на море и непобедимость в океане. Вот оно — у тебя под носом. Знаешь, Дойл, я могу завтра отправиться в Швейцарию и сказать там: "Послушайте, у вас нет выхода к морю, у вас нет ни одного морского порта,

но найдите мне один корабль, поднимите над ним ваш флаг, и я подарю вам все океаны мира". Я вычищу моря так, что на них и — спичечного коробка не останется. Или я могу организовать свою компанию и стать членом совета директоров после получения причитающихся мне денег за изобретение. У меня в руках — вся морская вода мира, вся до последней капли... Усмехайся, усмехайся! Когда пойдут дивиденды, будешь усмехаться по-другому. Сколько стоит этот магнит?

— Фунт.

— Миллион фунтов. И ни пенни меньше. Но для той страны, что его купит, это, можно считать, даром. Я его уступлю за такую цену, хотя, если поторговаться, можно получить в десять раз больше. Через неделю-две я отнесу его Первому Лорду Адмиралтейства, и если этот тип окажется достаточно вежливым и учтивым, я с ним начну деловые переговоры. Ведь не каждый день человек приходит к нему в кабинет с Атлантическим океаном в одной руке и с Тихим — в другой. А, Дойл?

Дойл крепился изо всех сил, но не выдержал, расхохотался и смеялся до слез. После яростной гримасы к нему присоединился и Бадд.

— Конечно, по-твоему, это все глупости, — кричал он, носясь по комнате и дико жестикулируя. — Могу честно сказать, мне это тоже казалось бы абсурдом, если бы это придумал кто-нибудь другой... Я покажу тебе. Какой же ты недоверчивый еврей, пытаешься делать заинтересованный вид, а сам втихую смеешься! Прежде всего, я открыл способ — о нем я тебе не скажу, — увеличить силу магнита в сто раз. Это понятно?

— Да.

— Очень хорошо. Я полагаю, ты знаешь, что современные снаряды делаются или целиком из стали, или у них стальная головка. Позволь продемонстрировать тебе маленький эксперимент.

Он нагнулся над аппаратом, и Дойл услышал, как он щелкнул рубильником.

— Это, — продолжал Бадд, подойдя к столу, на котором лежала коробка, — пистолет для стрельбы в тире. В будущем веке его будут показывать в музеях как оружие, с которого началась новая эра. Я заряжаю его патроном, в котором специально для нашего эксперимента — стальная пуля. Я стреляю в упор в кусочек красного сургуча на стене, который находится на четыре дюйма выше магнита. Я абсолютный снайпер. Я стреляю. Теперь ты подойдешь и удостоверишься, что пуля расплющилась о конец магнита, после чего ты извинишься передо мной за свою усмешку.

Дойл был вынужден признать, что это так.

— Знаешь, что я сделаю? — закричал Бадд. — Я готов положить этот магнит в шляпку моей жены, а ты выстрелишь шесть раз прямо ей в лицо. Такая проверка эксперимента тебя устроит? Ты не против, дорогая?

Хотя его жена, казалось, была не против, против был Дойл.

— Ты, конечно, понимаешь, что это лишь модель, — продолжал Бадд. — У моего корабля будущего на носу и на корме будет укреплено по магниту, который во столько же раз больше этого, во сколько

раз снаряд больше маленькой пульки. Или, может быть, для моего аппарата будет изготовлен специальный плот. Мой корабль переходит в наступление. И что получается, Дойл? Каждый выпущенный в него снаряд прилипает к магниту. Под магнитом — емкость, куда падают снаряды, когда размыкается электрическая цепь. После боя их продают на аукционе металлолома, а деньги делят между членами экипажа. Ты только подумай! Уверяю тебя, ни один снаряд не может попасть в корабль, оснащенный моим аппаратом. И посмотри, как дешево! Броня не нужна. Ничего не нужно. С таким аппаратом любой корабль становится неуязвимым. Ты опять усмехаешься, но дай мне магнит и траулер с семифунтовой пушкой, и я справлюсь с любым военным кораблем.
— Здесь, должно быть, что-то не то, — сказал Дойл. — Если у тебя будет такой мощный магнит, твои собственные снаряды будут возвращаться к тебе бумерангом.

— Ни в коем случае! Это же совсем другое дело. Когда снаряд летит от тебя со всей своей начальной скоростью — это одно, и другое — когда он летит к тебе и ему надо только слегка отклониться от траектории, чтобы попасть на магнит. К тому же, выключая электричество, я могу снимать притяжение магнита, когда стреляю сам. Потом снова включаю — и тотчас же становлюсь неуязвимым.

— А как же гвозди и шурупы в корабле?

— Военный корабль будущего будет скрепляться деревянными шипами.

Позже он рассказал Дойлу, что ему не удалось убедить власти в жизненно важной необходимости его изобретения. "Мне жаль мою страну, — сокрушался он, — но больше ей морями не править. Придется отдать изобретение немцам. Это не моя вина. Пусть не винят меня, когда произойдет катастрофа. Я представил изобретение адмиралтейству, школьники все поняли бы в два раза быстрее. Какие письма я получил, Дойл! Когда начнется война, я покажу эти письма, и кое-кого повесят. Это им непонятно, то им непонятно. В конце концов меня спросили, к чему я собираюсь крепить мой магнит. Я сказал, к любому твердому, ничем не пробиваемому предмету вроде головы чиновника адмиралтейства. Ну, все и решилось в ту же минуту. Они написали, что с уважением возвращают мне мой аппарат. Я написал, что с уважением пусть катятся к черту. И так завершилась эта историческая встреча. А, Дойл?"

Когда Дойл лег спать в тот первый вечер, он вспомнил, что Бадд не объяснил свой медицинский успех, не затронул вопрос об их партнерстве. Когда же на следующее утро его разбудил Бадд, ворвавшийся в его спальню в халате, перескочивший через спинку кровати в ногах и сделавший кувырок, в результате чего его каблуки оказались у Дойла на подушке, выяснилось, что хозяин дома пришел обсудить совершенно иную тему.

— Знаешь, что я больше всего хочу сделать? А, Дойл? Я хочу основать собственную газету. Мы начнем издавать здесь еженедельник, ты и я, мы заставим их внимать каждому нашему слову. У нас будет свой печатный орган, как у каждого французского политика. Если кто будет нам перечить, мы заставим его пожалеть, что он на свет Божий родился.

Ну что, приятель? Что скажешь? Еженедельник такой умный, что всем придется его читать, и такой едкий, что от каждого попадания в цель будет только дым идти. Как, по-твоему, справимся?

— А какая политическая направленность?

— К черту политику! Красный перец в глаза — вот как я представляю себе газету. Назовем ее "Скорпион". Будем подкалывать мэра и городской совет, пока они не созовут экстренное заседание и не повесятся. Я буду писать ядовитые статьи, ты — прозу и поэзию. Я ночью все обдумал, и жена уже написала Мердоку, чтобы прикинуть типографские расходы. Мы через неделю уже можем выпустить первый номер.

— Боже ты мой! — ахнул Дойл.

— Я хочу, чтобы ты сегодня же утром начал писать роман. Поначалу пациентов у тебя будет немного, а времени — полно.

— Но я никогда в жизни не писал романов.

— Нормальный, уравновешенный человек может добиться всего, чего пожелает. Все необходимые качества в нем уже есть, нужна только воля, чтобы развить их.

— А ты смог бы написать роман?

— Конечно, смог бы. Такой роман, Дойл, что когда они прочтут первую главу, они будут только сидеть и стонать, пока не появится вторая. Они будут толпиться у моей двери, надеясь услышать, хто будет дальше. Клянусь всеми святыми, я пойду и начну прямо сейчас!

Еще один кувырок через спинку кровати — и он исчез.

Помимо экстравагантности и причуд Бадда, Дойла поразили афоризмы, которыми тот густо пересыпал свою речь, например: "Величайший памятник, когда-либо воздвигнутый Наполеону Бонапарту, — британский национальный долг", или "Главный продукт экспорта Великобритании в Соединенные Штаты — это Соединенные Штаты". Дойлу хотелось записать их все в блокнот, но и память у него была достаточно цепкая.

После завтрака они втроем сели в карету и поехали к Бадду на работу. Это был квадратный, побеленный дом с огромными буквами "Д-Р БАДД" на медной табличке у двери и словами "Бесплатные консультации с десяти до четырех" чуть ниже. Холл был забит людьми.

— Сколько сегодня? — спросил Бадд.

— Сто сорок, сэр, — ответил мальчик-слуга.

— Внутренний двор полон?

— Да, сэр.

— Конюшни полны?

— Да, сэр.

— Каретный сарай полон?

— В каретном сарае еще есть место, сэр.

— А, прости, Дойл, что мы не можем показать тебе по-настоящему полный день. Такое по команде, конечно, не делается. Как есть, так есть. Ну-ка, ну-ка, дайте пройти, не видите, что ли? — заорал он на пациентов. — Пойди сюда, посмотри комнату для ожидания. Фу! Какой здесь воздух! Почему, черт побери, вы не можете сами открыть окно? Первый раз таких людей вижу! Сидят в комнате тридцать человек,

Дойл, и ни у кого не хватает соображения открыть окно, чтобы не умереть от удушья.

— Я пытался, сэр, но в раме шуруп, — сказал один из пациентов.

— Ах, мой мальчик, ты ничего не добьешься в жизни, если не можешь открыть окно, не поднимая рамы, — сказал Бадд, схватил зонтик пациента и пробил насквозь два стекла. — Вот как надо! Парень, проследи, чтобы вынули шуруп. Итак, Дойл, пошли, пора за работу.

Они поднялись на верхний этаж; все залы, через которые они проходили, были набиты пациентами. Бадд вошел в большую комнату, где не было ничего, кроме двух деревянных стульев и стола, на котором лежали две книги и стетоскоп.

— Это, — объявил он, — моя приемная. Не похоже, будто приносит четыре-пять тысяч в год, верно? Напротив, через коридор, — точно такая же комната, ты можешь забрать ее себе. Я буду посылать тебе всех, кому нужен хирург, если таковые появятся. Но сегодня, я думаю, тебе лучше остаться со мной и посмотреть, как я работаю.

— С удовольствием.

— Существует пара элементарных правил, которым нужно следовать в обращении с пациентами, — заметил Бадд, сидя на столе и болтая ногами. — Самое очевидное — никогда не показывай им, что они тебе нужны. Ты должен снисходить до того, чтобы вообще принять их, и чем больше трудностей ты в это привнесешь, тем более высокого мнения они будут о тебе. Надо сразу сломить волю пациента и держать его на коротком поводке. Никогда не совершай смертельной ошибки — не будь с ним вежлив. Многие молодые глупцы вменяют это себе в обязанность и в итоге разоряются. Вот как действую я. — Он подбежал к двери и заорал вниз: "Прекратите свою идиотскую болтовню! Это вам не курятник, в конце концов!" Наступила мертвая тишина. — Вот видишь. Они меня за это будут уважать еще больше.

— А они не обижаются?

— Боюсь, что нет. Я известен именно таким обращением с ними, этого они и ждут. Но обиженный пациент — по-настоящему оскорбленный — лучшая реклама в мире. Если это женщина, она будет трепать языком среди своих друзей, пока ты не станешь знаменитостью, и все ее друзья будут делать вид, что сочувствуют ей, а между собой говорить, какой ты замечательно проницательный человек. Я поссорился с одним человеком из-за состояния его желчных протоков, я даже спустил его с лестницы. Каков был результат? Он так много говорил об этом, что вся его деревня, больные и здоровые, толпой двинулась посмотреть на меня. И сельский лекарь, что умасливал их четверть столетия, понял, что ему пора закрывать лавочку. Такова природа человека, дружище, и не в твоих силах ее изменить. А, Дойл? Будешь ценить себя дешево — и станешь дешевым. Ценишь себя дорого — и к тебе относятся так же. Предположим, что я открою завтра практику на Харли-стрит, все будет чинно-благородно, прием с десяти до трех — ты думаешь, у меня будут пациенты? Да я с голода подохну. Как бы я поступил? Я дал бы знать, что я принимаю пациентов только с полуночи до двух и что с лысых беру в два раза больше. Люди начнут говорить об этом, пробудится их

любопытство, и через четыре месяца улица будет забита всю ночь. А, Дойл? Старик, да ты сам бы пошел посмотреть. Таков принцип моей работы и здесь. Я часто прихожу утром и выгоняю всех, говорю, что на целый день уезжаю за город. Я отказываюсь от сорока фунтов, но получаю бесплатную рекламу на четыреста!

— Но я понял из таблички, что консультации бесплатные?

— Да, но пациенты платят за лекарства. И если больной хочет попасть на прием вне очереди, он должен заплатить за такую честь полгинеи. Каждый день приходит человек двадцать, которые предпочитают заплатить, только бы не ждать несколько часов. Но смотри, Дойл, не забудь главное! Все это ничего бы не стоило, если бы не покоилось на твердой основе — я их вылечиваю. Это самое важное. Я принимаю тех, кому другие отчаялись помочь, и излечиваю их на месте. Все остальное нужно, лишь чтобы завлечь их сюда. Но если они уж попали ко мне, я показываю, на что я способен. Иначе все это было бы пустой трескотней. А теперь пошли, я покажу тебе, чем занимается моя жена.

Они прошли в конец коридора, где миссис Бадд радостно изготовляла пилюли.

— Лучший фармацевт в мире, — сказал Бадд, поощрительно похлопав ее по плечу. — Видишь, Дойл, как я это делаю. Я пишу на бумажке рецепт и ставлю условный знак, сколько надо взять с пациента. Больной идет по коридору и передает записку в это окошко. Жена делает лекарство по рецепту, вручает ему флакон и берет деньги. А теперь пошли, пора их выгонять из дома.

Затем Дойл стал свидетелем сцен, которые он никогда не смог бы себе представить или вообще поверить, что они возможны. Час за часом больные входили и выходили с рецептами. Поведение Бадда было невероятным. Он кричал, вопил, ругался, бил пациентов, колотил их, щупал, пихал их так, что они отлетали к стене, втаскивал в комнату за руку, выталкивал из комнаты, время от времени для разнообразия выскакивал в коридор и орал на всех ожидающих внизу. Иногда он не давал им ни слова сказать, а с громким "Ш-ш-ш!" подбегал к ним, прикладывал ухо к груди, выписывал рецепты и выставлял за дверь. Одну старую даму, как только она вошла в дверь, он парализовал громким воплем: "Вы пьете слишком много чая! У вас чайное отравление!" Она не успела произнести ни звука, как он схватил ее за край черной накидки, подтащил к столу и сунул ей под нос том "Медицинского права" Тейлора. "Положите руку на книгу, — громогласно возопил он, — и поклянитесь, что четырнадцать дней не будете пить ничего, кроме какао!" Дама закатила глаза, принесла клятву и была немедленно отправлена за пилюлями. С достоинством вошел тучный мужчина и хотел было начать рассказывать о своих болезнях, но Бадд схватил его за жилетку, вытолкнул в коридор, погнал вниз по лестнице на улицу и, к изумлению прохожих, заорал вслед: "Вы слишком много едите, слишком много пьете и слишком много спите! Пойдите ударьте полицейского и возвращайтесь, когда вас выпустят!" Женщина, которая жаловалась, что у нее такое "ощущение, будто она тонет", получила совет принять лекарство, "а если оно не поможет,

проглотить пробку, потому что, когда тонешь, ничто не помогает лучше пробки".

Дойл смеялся до слез, наблюдая за этим необыкновенным представлением, но в то же время понимал, что Бадд — великолепный диагност и неплохой психолог, однако его отношение к лекарствам внушало трепет и тревогу. Бадд считал, что врачи слишком робко прописывают лекарства, боясь отравить своих пациентов. Он же был уверен, что все искусство врачевания заключается в осторожном отравлении, его принцип был "пан или пропал". Во многих случаях он полагался на личный магнетизм, его уверенность придавала уверенности пациентам, его энергия зарождала энергию в них. "Дорогая, — сказал он одной девушке, схватив ее за плечи, раскачивая из стороны в сторону, наклонясь так, что его нос был в трех дюймах от ее носа, — вам станет лучше завтра без четверти десять, а в двадцать минут одиннадцатого вам будет так хорошо, как не было никогда в жизни. Следите за часами и убедитесь, что я прав". В большинстве случаев фокус срабатывал.

В конце дня Бадд смог положить 32 фунта 8 шиллингов и 6 пенсов в свою матерчатую сумку, которую он, к глубокому смущению Дойла, пронес по улицам на вытянутой руке, позвякивая монетами. Его жена и Дойл шли по бокам, как псаломщики при священнике.

— Я всегда специально прохожу через квартал, где живут врачи, — сказал Бадд. — Мы как раз сейчас по нему идем. Они все прильнули к окнам, будут скрежетать зубами и пританцовывать от ярости, пока я не скроюсь из виду.

Дойлу такое поведение показалось недостойным и недружелюбным, о чем он сразу сказал. Миссис Бадд его поддержала. Жена расстроена, пояснил Бадд, потому что жены других врачей не ходят к ней в гости. "Посмотри сюда, дорогая, — воскликнул он, потряхивая сумкой, — это лучше, чем толпа безмозглых женщин, которые будут распивать чай и кудахтать у тебя в гостиной. Я приказал напечатать большую карточку, Дойл, на которой написано, что мы не желаем расширять круг наших знакомств. Служанке приказано показывать ее всякому подозрительному человеку, который приходит в дом".

— А почему ты не можешь зарабатывать деньги своей практикой и оставаться в хороших отношениях с профессиональным братством? — спросил Дойл. — Ты говоришь так, как будто это несовместимые вещи.

— Конечно, несовместимые. Какой смысл ходить вокруг да около, приятель? Все мои методы непрофессиональны, и я постоянно нарушаю все законы медицинского этикета. Ты прекрасно знаешь, что Британская медицинская ассоциация в ужасе воздела бы руки к небу, если бы увидела то, что сегодня видел ты.

— Но почему не подчиниться требованиям профессионального этикета?

— Потому что не настолько я глуп. Дружище, я же сын врача, я всего этого насмотрелся. Я родился внутри этой системы, я знаю, как она устроена. Весь этот этикет — уловка для того, чтобы все оставалось в руках старшего поколения. Для того, чтобы не пускать молодых и затыкать дырки, через которые они могут пролезть вперед. Я сотни раз

слышал, как об этом говорил мой отец. У него была самая большая практика в Бристоле, хотя он был абсолютно лишен мозгов. Он заполучил ее благодаря старшинству и принятым приличиям. Не пихайтесь, встаньте в очередь. Это очень хорошо, приятель, когда ты уже наверху, а если ты только что встал в конец очереди? Когда я буду на верхней ступеньке лестницы, я посмотрю вниз и скажу: "Эй, вы, молодежь, у нас будут очень строгие правила, и я прошу вас подниматься очень тихо и осторожно, чтобы не потревожить меня и мой покой". В то же время, если они будут делать то, что я им говорю, я буду взирать на них, как на безнадежных тупиц. А, Дойл?

Дойл был с ним абсолютно не согласен.

— Ну, старик, ты можешь не соглашаться сколько угодно, но, если ты собираешься работать со мной, ты должен к черту выкинуть профессиональный этикет.

— Этого я сделать не могу.

— Ну, если ты у нас слишком честненький, можешь убираться. Насильно держать не будем.

Дойл промолчал, но как только они пришли домой, отправился наверх и начал складывать веши, намереваясь в тот же вечер вернуться в Бирмингем. Когда он собирался, вошел Бадд и пристыженно попросил прощения, тем самым умиротворив Дойла.

В тот же день после обеда произошел любопытный инцидент. Они стреляли железными стрелками из воздушного ружья в задней комнате, когда Бадд предложил Дойлу взять большим и указательным пальцами монету в полпенни, а он попадет в нее из ружья. Полпенни они не нашли, и Бадд достал бронзовую медаль. Дойл взял ее и вытянул руку. Раздался выстрел, и медаль упала.

— Точно в центр, — заявил Бадд.

— Наоборот, — возразил Дойл, — ты вообще в нее не попал.

— Не попал?! Я точно знаю, что попал.

— Да нет, я тебе говорю.

— Где же тогда стрелка?

— Вот она, — и Дойл поднял залитый кровью указательный палец, в который впилась стрелка.

Бадд рухнул на пол и выразил свое раскаяние столь экстравагантно, что Дойл только рассмеялся.

Когда стрелку удалили и Бадд пришел в себя, Дойл поднял медаль и прочел: "Вручена Джорджу Бадду за Мужество при Спасении Жизни Человека. Январь 1879 года".

— Эй, ты никогда мне про это не рассказывал, — воскликнул он.

— Что, медаль? — спросил Бадд. — А у тебя такой нет? Я думал, у всех есть. Но ты, наверное, хочешь быть не таким, как все. Это был маленький мальчик. Ты не представляешь себе, каких трудов мне стоило затащить его в воду.

— Вытащить из воды, ты хочешь сказать?

— Мой дорогой, ты не понимаешь! Вытащить ребенка из воды может каждый. Ты попробуй затащить его туда! За одно это надо давать медаль. Затем свидетели. Я вынужден был платить им четыре шиллинга

в день и выставлять по кварте пива каждый вечер. Понимаешь, нельзя просто взять ребенка, отнести его к краю пирса и бросить в воду. Возникнут всякие сложности с родителями. Нужно набраться терпения и ждать, пока не подвернется вполне законный случай. Я ангину подхватил, расхаживая взад-вперед по пирсу, пока мне не улыбнулась удача. На самом краю пирса сидел такой довольно толстый мальчишка и удил рыбу. Я врезал ему подошвой ботинка по спине, он отлетел невероятно далеко. Я с трудом вытащил его на берег, потому что его леска два раза обмотала мне ноги, но все кончилось хорошо, и свидетели держались стойко. На следующий день мальчишка пришел меня благодарить и сказал, что он совсем не пострадал, не считая синяка на спине. Его родители каждое Рождество присылают мне пару индюшек.

Бадд вышел и побежал наверх за табаком, был слышен его смех. Дойл мрачно рассматривал медаль, которую явно использовали в качестве мишени довольно часто, когда миссис Бадд предупредила его, что не стоит относиться к словам мужа слишком серьезно, так как он иногда чересчур увлекается в своих выдумках. В качестве доказательства она показала Дойлу вырезку из газеты, где рассказывалось, как он спас ребенка во время ледохода, чуть сам при этом не погибнув.

Дойл начал работать, хотя больших денег его работа ему не приносила. У входной двери появилась табличка с его именем, написанным крупными буквами, он получил комнату напротив Бадда, но его методы были недостаточно интересными, чтобы привлечь пациентов. Первые три дня он сидел, ничего не делая, в то время как его напарник прыгал и скандалил с пациентами по ту сторону лестничной площадки или орал на тех, кто ждал внизу. На четвертый день в комнату вошел старый солдат со злокачественной опухолью на носу, появившейся из-за того, что он курил горячий табак в короткой глиняной трубке. Дойл отправил его домой и через два дня в двухколесном экипаже Бадда поехал к нему оперировать. Это была его первая операция в жизни, хотя пациент, к счастью, этого не знал, и из них двоих Дойл нервничал намного больше. Но операция прошла успешно, и старый солдат был горд аристократической формой, которую Дойл придал его носу. После этого к нему потихоньку потекли больные, и, хотя его пациенты были очень бедны, его заработок медленно увеличивался: 1 фунт 17 шиллингов 6 пенсов в первую неделю; 2 фунта во вторую; 2 фунта и 5 шиллингов в третью; 2 фунта 18 шиллингов в четвертую.

Тем временем Бадд не оставлял свою идею газеты. Он уже писал для нее статьи, пародии, клеветнические заметки, скверные стишки и роман. Его девизом было: "Что угодно ради рекламы", и Дойлу попался на глаза местный альманах, расходившийся большим тиражом, в котором были такие записи:

15 сентября. Принят Билль о Реформе. 1867 год.

16 сентября. Родился Юлий Цезарь.

17 сентября. Необыкновенное излечение д-ром Баддом случая водянки в Плимуте. 1881 год.

18 сентября. Битва при Грейвлотте. 1870 год.

Несколько месяцев спустя Дойл вырезал рекламное объявление

из "Британского медицинского журнала", перепечатанное из "Уэстерн Морнинг Ньюс", и вклеил его в свою записную книжку:

"Тоник для крови по рецепту д-ра Бадда. Это лекарство изготовляется по рецепту д-ра Бадда из Плимута. Оказывает необыкновенное воздействие по омоложению крови и очищению ее. Лекарство идентично тому, которое он прописал во время замечательного излечения им случая водянки в сентябре 1881 года, названного в "Альманахе трех городов" одним из главных местных событий года. Флакон с двадцатью порциями направляется на любой адрес (пересылка оплачена) по получении почтового перевода на три шиллинга шесть пенсов на имя д-ра Джорджа Бадда, дом номер 1, Данфорд-стриг, Плимут".

Презрение Бадда к профессии врача раздражало Дойла, считавшего, что медики должны прежде всего руководствоваться человеколюбием.

— На кой дьявол нам делать добро? — возражал Бадд. — Мясник делал бы добро человечеству, если бы раздавал отбивные даром, не так ли? Он был бы настоящим благодетелем. А он продает их по шиллингу за фунт. Возьмем врача, посвятившего себя санитарии. Он чистит канализацию, борется с инфекциями. Ты называешь его филантропом! А я называю его предателем! Да, Дойл, предателем и ренегатом! Ты когда-нибудь слышал про конгресс адвокатов, выступающих за упрощение закона и отмену судебных процессов? Для чего существуют Медицинская ассоциация, Генеральный совет и все эти организации? А, приятель? Для того, чтобы всячески содействовать интересам нашей профессии. Ты полагаешь, что это можно сделать, полностью вылечив население? Пора уже поднять бунт врачей общей практики. Если бы у меня была хотя бы половина тех фондов, которыми располагает Ассоциация, я потратил бы часть на то, чтобы засорить канализацию, а остальное — на разведение болезнетворных микробов и заражение питьевой воды.

Не довольствуясь подготовкой к изданию газеты и практикой, которая любого другого врача загнала бы в сумасшедший дом, Бадд уговорил своего напарника помочь ему построить конюшню у дома для приема больных — не столько для пациентов, подумал Дойл, сколько для лошадей. Потом он занялся новым изобретением, которое назвал "Защитный Экран на Пружинах д-ра Бадда". Это хитрое приспособление должно было удержать на плаву корабль, получивший пробоину в результате попадания снаряда или удара о камни. Каждое образовавшееся в днище отверстие должен был закрывать специальный опускающийся защитный экран. И все равно его энергия не была исчерпана, и он решил поупражняться в верховой езде. Ему стало известно про одну лошадь, принадлежащую армейскому офицеру, который заплатил за нее 150 фунтов, но продать хотел за 70, потому что она была слишком буйной. Бадду это как раз было по душе, и продавец привел ее. Последовавшая сцена оказалась очень полезной для Дойла, потому что помогла ему потом нащупать описание подобного происшествия в романе "Сэр Найджел". Пусть он сам расскажет о том, что произошло в тот день.

"Это было прекрасное животное, черное как уголь, с потрясающими плечами и шеей, но со злобно прижатыми назад ушами и очень беспокойным взглядом. Продавец сказал, что наш двор слишком мал,

чтобы опробовать лошадь, но Бадд взгромоздился на нее и официально стал ее владельцем, ударив ее между ушами костяной рукояткой своего хлыста. Затем последовали самые оживленные десять минут, которые я могу вспомнить в своей жизни. Зверюга полностью оправдала свою репутацию, но Бадд, хотя он и не был настоящим наездником, держался, как чиновник, которого пытаются выгнать с работы. Что только ни выделывало это создание — скакало назад, вперед, вбок, вставало на задние ноги, на передние, выгибало спину, опускало спину, лягалось, било копытами. Бадд сидел то на гриве, то на основании хвоста — только ни в коем случае не в седле, — он потерял стремена, поджал колени, всадил пятки в ребра лошади, руками цеплялся за гриву, седло или уши — за все, что возникало перед ним. Но хлыст он сохранил и, как только зверь затихал, снова колошматил его костяной рукояткой по голове. Он, очевидно, намеревался сломить дух лошади, но он явно взялся за дело, которое ему оказалось не по зубам. Животное собрало все четыре ноги вместе, опустило голову, выгнуло спину, как зевающая кошка, и трижды подпрыгнуло в воздух. При первом прыжке над седлом оказались колени Бадда, при втором — он уже судорожно держался одними лодыжками, при третьем — он вылетел вперед, как камень из пращи, еле миновал парапет на стене, разбил головой железную балку, на которой держалась какая-то проволочная сеть, опрокинулся назад и с грохотом упал на землю. Тут же вскочил с залитым кровью лицом, бросился в нашу недостроенную конюшню, схватил топор и с яростным ревом кинулся на лошадь. Я ухватил его за пиджак и повис на нем всеми моими четырнадцатью стоунами *, а продавец (побелев, как сыр) выбежал со своей лошадью на улицу. Бадд вырвался у меня из рук и, изрыгая нечленораздельные проклятия, с лицом, залитым кровью, выскочил со двора, размахивая над головой топором, — бандита более дьявольского вида вы и представить себе не можете. Однако, к счастью для продавца, он уже был далеко, и Бадда удалось уговорить вернуться и вымыть лицо. — Мы перевязали ему рану и увидели, что с ним ничего не случилось, не считая испорченного настроения. Если бы не я, ему точно пришлось бы заплатить семьдесят фунтов за его безумный взрыв ярости, направленной против этого животного".

Почти каждый день у Бадда рождался новый план неслыханного обогащения. Иногда он жаловался на чудовищные условия Плимута, где из беднейших слоев населения можно выжать лишь три—четыре тысячи в год. Ему нужен был континент, и однажды он заявил, что собирается обобрать и выдоить Южную Америку, занимаясь "глазами". В глазах, говорил он, целое состояние. Человек скрепя сердце отдаст полкроны, чтобы вылечить горло или грудь, но потратит последний доллар на глаза. Деньги есть и в ушах, пояснял он, но глаза — это просто золотая жила.

— Слушай, приятель, — сказал он. — Есть целый континент от экватора до айсбергов, где нет ни одного человека, который мог бы помочь больному астигматизмом. Что они знают о современной хирур-

*1 стоун = 6,35 кг.

гии глаза и рефракции? Да даже в английской провинции об этом почти не слыхивали, а уж тем более в Бразилии. Дружище, ты только представь себе, вокруг всего континента в десять рядов сидит толпа косоглазых миллионеров с деньгами в руках и ждет окулиста. А, Дойл? Клянусь всеми святыми, когда я вернусь оттуда, я куплю Плимут целиком и отдам его официанту на чай.

— Так ты хочешь обосноваться в каком-нибудь большом городе?

— Городе? На что мне город? Я собираюсь выжать деньги из всего континента. Я буду переезжать из города в город. Я посылаю вперед своего агента, чтобы сообщить о моем прибытии. "Такой шанс бывает раз в жизни, — говорит он. — Не нужно ехать в Европу, Европа сама едет к вам. Косоглазие, катаракты, воспаление радужной оболочки, рефракции — все что хотите. Едет великий сеньор Бадд, готовый вылечить все по последнему слову техники!" Они приходят, конечно, толпами, а потом приезжаю я и собираю деньги. Я работаю в Бахии, а мой агент готовит Пернамбуку. Когда из Бахии выжато все, я переезжаю в Пернамбуку, а агент отправляется в Монтевидео. Так мы и работаем, оставляя за собой след из очков. Все пойдет как по маслу. Потом я сажусь на пароход и еду домой, если не решу купить одну из малых стран и править ею.

— Тебе придется выучить испанский.

— Ха! Для того, чтобы поковырять у человека ножом в глазу, испанский не нужен. Я выучу только "Деньги на бочку — никакого кредита". Это весь испанский, который мне понадобится.

После пяти недель в Плимуте Дойл заметил, что его заработок решительно увеличивается. Он начал зарабатывать от трех до четырех фунтов в неделю. С другой стороны, отношения с Баддом становились, казалось, не очень дружескими. Иногда он ловил враждебные взгляды жены, порой замечал, что муж злобно на него смотрит, а когда он спрашивал, в чем дело, в ответ слышал: "Да нет, ни в чем!" Обычно они вели себя очень приветливо, но Дойл чувствовал, что что-то не так. Он решил эту загадку, только когда уехал, но мы можем узнать правду сразу.

С самого начала его мать была против его дружбы с Баддом. Она всегда помнила о своем происхождении. "Не раз, не два, а три раза Плантагенеты сочетались браком с нашим родом, — писал ее сын. — Герцоги Бретани искали союза с нами, и история рода Перси из Нортумберленда тесно переплетена с нашей славной историей. И я помню с детства, как она излагала все это, держа каминную щетку в одной руке и перчатку, полную золы, — в другой, а я сидел, болтал ногами в коротких штанишках, пыхтя от гордости, пока мой жилет не раздувался, как шкурка сосиски, думая о пропасти, которая отделяет меня от всех остальных мальчиков, болтающих ногами под столом". Поэтому мать Дойла страдала от того, что ее сын связал свою судьбу с человеком, чье поведение и взгляды, судя по письмам Артура, безошибочно позволяли заключить о полном отсутствии крови Плантагенетов в жилах. В своих письмах она подчеркивала это, не стесняясь в выражениях. Артур защищал своего друга, как только мог, но чем больше он за него засту-

пался, тем яростнее матушка нападала на него, и в конце концов мать с сыном чуть не рассорились. К сожалению, Дойл, человек честный и доверчивый по Натуре, не сжигал ее писем. Бадды вытащили их у него из кармана и прочли. Из писем матери должно было стать ясно, что сын — на их стороне, но у Бадда был крайне подозрительный характер, и ему тут же почудилось предательство. Отсюда — враждебные и свирепые взгляды, озадачивавшие ничего не понимающего гостя.

Однажды вечером растущая неприязнь Бадда проявилась очень любопытным образом. Они играли в отеле в бильярд, и в конце игры Дойл, которому нужно было для победы два очка, забил в лузу белый шар. Бадд тут же завопил, что так нельзя. Дойл позвал маркера, который подтвердил его правоту. Тут Бадд начал яростно его оскорблять, а когда Дойл сказал, что "это хамство — так разговаривать при маркере", Бадд поднял кий, будто собирался ударить своего соперника, но передумал и демонстративно вышел, швырнув кий на землю и бросив полкроны маркеру. На улице поток оскорблении продолжался, пока Дойл его не предупредил: "Хватит. Я уже терпел больше, чем обычно". Какое-то мгновение казалось, что сейчас начнется драка, что, может быть, было бы и неплохо, но вряд ли укрепило бы их партнерство. Но Бадд, со столь характерной для него сменой настроений, рассмеялся, взял Дойла под руку и повел его по улице со словами: "Ну и характер, черт возьми, у тебя, Дойл! Клянусь всеми святыми, с тобой опасно куда-нибудь ходить. Никогда не знаешь, что от тебя ждать. А, Дойл? Не злись на меня, я тебе желаю добра, как ты сам скоро сможешь убедиться".

Наконец наступило решительное объяснение. Однажды утром Бадд был необычно угрюм и, закончив прием своих пациентов, ворвался в комнату Дойла со зверским выражением лица.

— Эта практика катится в тартарары, — сказал он.

— Как так?

— Все рушится, Дойл. Я посчитал, так что я знаю, о чем говорю. Месяц назад у меня было шестьсот пациентов в неделю. Потом стало пятьсот восемьдесят, потом пятьсот семьдесят пять, а сейчас — пятьсот шестьдесят. Что ты об этом думаешь?

— Честно говоря, ничего не думаю. Скоро лето. Ты теряешь кашли, простуды, насморки. У любого врача в это время года сокращается прием.

— Это все очень хорошо. Можно все свести к этому, но у меня другая точка зрения.

— Чем же ты все это объясняешь?

— Тобой.

— Как так?

— Ну согласись, все-таки это странное совпадение — если это совпадение, — что с того дня, как у двери появилась табличка с твоим именем, число моих пациентов стало сокращаться.

— Мне было бы очень жаль, если бы это было как-то связано. Как, по-твоему, мое присутствие тебе мешает?

— Скажу откровенно, старина, — произнес Бадд то ли с улыбкой,

то ли с гримасой. — Понимаешь, многие мои пациенты — простые деревенские люди, в большинстве своем наполовину идиоты, но, с другой стороны, полкроны идиота ничем не отличаются от полукроны любого другого человека. Они подходят к моей двери, видят две фамилии, их глупые челюсти отваливаются, и они говорят друг другу: "Их здесь двое. Нам нужен доктор Бадд, но если мы пойдем туда, нас могут запросто отправить и к доктору Дойлу". И в некоторых случаях они не заходят вообще. Затем женщины. Женщинам вообще наплевать, кто ты — царь Соломон или только что сбежал из сумасшедшего дома. Ты зацепил их — или ты не зацепил их. Я знаю, как их обрабатывать, но они не придут, если будут думать, что их направят к другому врачу. Вот чем я объясняю сокращение числа пациентов.

— Что ж, — сказал Дойл. — Это легко исправить.

Он пошел вниз, за ним спустились Бадд и его жена. Дойл взял молоток и сбил с двери табличку со своим именем.

— Теперь тебе это мешать не будет, — заметил он.

— Что ты намереваешься делать? — спросил Бадд.

— О, дел я себе найду много. Не волнуйся.

— Это все чушь, — сказал Бадд и поднял табличку. — Пошли наверх, посмотрим, что к чему.

Все вернулись в комнату, чувствуя себя очень неловко.

— Вот так, — сказал Дойл. — Я очень признателен тебе и вам, миссис Бадд, за вашу заботу и добрые пожелания, но я не для того сюда приехал, чтобы портить вам вашу практику. И после того, что ты мне сказал, для меня совершенно невозможно больше с тобой работать.

— Что ж, дружище, я сам склонен думать, что лучше нам работать порознь. Моя жена тоже так думает, только она слишком воспитанна, чтобы сказать это вслух.

— Пришло время говорить откровенно, — продолжал Дойл. — Мы должны разобраться раз и навсегда. Если я нанес какой-то ущерб твоей практике, уверяю тебя, мне глубоко жаль, и я сделаю все, что могу, чтобы как-то тебе это возместить. Больше мне сказать нечего.

— Что же ты будешь делать?

— Или уйду в море, в плавание, или начну свою собственную практику.

— Но у тебя нет денег.

— У тебя тоже не было, когда ты начинал.

— , но это же другое дело. Но, может, ты и прав. Поначалу тебе будет нелегко.

— Ну, к этому я готов.

— Знаешь, Дойл, я чувствую себя в определенной степени виноватым, поскольку я уговорил тебя бросить работу.

— Да, жаль, но здесь уже ничего не поделаешь.

— Мы должны как-то тебе это компенсировать. Вот что я предлагаю. Мы с женой обсудили это сегодня утром и решили, что если мы будем платить тебе фунт в неделю, пока ты не встанешь на ноги, это поможет тебе открыть собственную практику, а ты вернешь деньги, когда сможешь.

— Вы очень добры, сказал Дойл. — Если ты можешь подождать с ответом, я бы сейчас хотел немного пройтись и подумать.

Дойл отправился в парк, закурил сигару и предался горестным размышлениям. У него было подавленное настроение, но цветы и весенний воздух скоро вернули ему расположение духа, и он неожиданно даже обрадовался, подумав, как довольна будет мать, и что снимется напряжение последних двух недель, и что наконец-то он будет зависеть только от самого себя. "Стая грачей с криком пролетела у меня над головой, и я сам чуть было радостно не закричал от переполнивших меня чувств". Придя домой, он сказал Бадду, что решил согласиться на его предложение, и за бутылкой шампанского дружба была восстановлена. Они изучили карту и решили, что Дойл должен попытать счастья в Тавистоке.

Но на следующее утро все его планы были перечеркнуты. Он собирал вещи перед завтраком, когда в дверь постучала миссис Бадд: "Вы не можете спуститься посмотреть Джорджа? Он был какой-то странный всю ночь, я боюсь, что он заболел".

Дойл спустился и увидел, что Бадд лежит в постели с карандашом, листом бумаги и градусником.

— Черт, смотри, как интересно, — произнес больной. — Взгляни на температурную кривую. Я все равно не мог заснуть и мерил температуру каждые пятнадцать минут. Она скачет вверх-вниз, и график похож на то, как рисуют горы в учебнике географии. Мы примем какое-нибудь лекарство, а, Дойл? — и, клянусь всеми святыми, мы революционизируем все их представления о лихорадке. Я напишу брошюру, основанную на личном опыте, после которой все их книги безнадежно устареют, их надо будет разорвать и заворачивать в них бутерброды.

Дойл заметил, что у Бадда было за 102° * и учащенный пульс.

— Какие симптомы? — спросил он.

— Язык как терка для мускатного ореха, — сказал Бадд, высунув язык. — Головные боли в лобных долях, почечные боли, отсутствие аппетита и в левом локте будто мышь грызет. Пока все.

— Я знаю, что это, Бадд. У тебя приступ ревматической лихорадки, тебе придется немного полежать.

— Полежать? Да пусть меня лучше повесят! Мне сегодня надо принять сто человек. Дружище, я должен быть там сегодня, даже если у меня будет круп с предсмертными хрипами. Не для того я создавал практику, чтобы ее испортили несколько унций молочной кислоты.

— Джордж, дорогой, у тебя будет новая практика, — заворковала его жена. — Ты должен делать то, что тебе говорит доктор Дойл.

— За тобой надо присматривать, — сказал Дойл, — и за практикой твоей надо Присматривать. Я готов делать и то и другое. Но я не буду брать на себя никакой ответственности, если ты не дашь слово, что будешь во всем меня слушаться.

— Если уж мне придется лечиться, то лечить меня должен ты, дружище, потому что, если я хлопнусь в обморок на городской площади, здешние врачи максимум что смогут — подписать свидетельство о смерти.

---

* По Фаренгейту — более 38,8°С.

Клянусь всеми святыми, с них станется смешать соли и щавелевую кислоту, если они вздумают меня лечить, потому что нельзя сказать, чтобы мы друг друга очень любили. Но я все равно хочу идти принимать больных.

— И речи быть не может. Ты знаешь, какие могут быть осложнения, у тебя будут эндокардит, эмболия, тромбоз, метастатические абсцессы. Да ты сам хорошо знаешь, насколько это опасно.

— Спасибо, давай уж все эти осложнения по очереди, — рассмеялся Бадд. — Не такой уж я жадный, чтобы требовать все сразу — а, Дойл? — когда у многих несчастных даже спина не болит. — Кровать заколыхалась от его хохота. — Делай что хочешь, дружище, но предупреждаю — если что случится, никаких глупостей над моей могилой. Если ты, Дойл, хоть камень мне на могилу положишь, клянусь всеми святыми, я приду к тебе ночью и водружу его тебе на живот.

Три недели Дойл лечил Бадда и пытался лечить его пациентов. Он не мог помешать Бадду проводить опыты над самим собой, исписывать горы бумаг, строить модели защитного экрана на пружинах и стрелять из пистолета в магнитную мишень. Не мог он и вопить на пациентов, или лупить их, или плясать вокруг них, или пророчески провозглашать чудесные исцеления, или громко оскорблять с лестничной площадки. Но каким-то образом Бадд поправился, поправились и его дела.

В конце третьей недели Дойл получил еще одно язвительное письмо от матери. Он сообщил ей раньше, что покидает Бадда, следующей почтой писал, что ухаживает за заболевшим приятелем и принимает его пациентов. Для доброй женщины это было уже чересчур, и, подождав немного, она ответила, что он затаптывает в грязь честь фамилии, продолжая иметь дело с мошенником-банкротом. Дойл не знал, что Бадды прочли и это письмо, и, естественно, был удивлен, когда их отношение к нему стало ледяным, и весьма расстроился, когда Бадд, который уже поправился, спросил, сколько он должен за то, что Дойл принимал его больных.

— Да ладно, это была просто дружеская услуга, — сказал Дойл.

— Спасибо, я предпочитаю чисто деловые отношения, — ответил Бадд. — Тогда все ясно, а услуга тянется без конца. Так сколько, по-твоему?

— Я не считал.

— Так посчитай. Временный заместитель стоил бы мне четыре гинеи в неделю. Будем считать, что я должен тебе двадцать. Я обещал платить тебе по фунту в неделю, а ты должен был потом мне их вернуть. Я внесу на твой счет двадцать фунтов, и ты будешь каждую неделю получать свои деньги, и не будет никаких накладок.

— Спасибо, — сказал Дойл. — Если ты так хочешь перейти на деловые отношения, сделай, как находишь нужным.

По их поведению было понятно, что они хотят, чтобы он уехал, и в тот день, когда Бадд смог снова оперировать, Дойл уехал в Тависток. Но там, казалось, врачей было больше, чем пациентов, и он вернулся в Плимут, где его ждал такой холодный прием, что он спросил Бадда, в чем дело. Бадд уклонился от ответа, неестественно рассмеявшись и

сославшись на свою мнительность. На этот раз Дойл был полон решимости сжечь мосты, и так как условия в Портсмуте были схожи с условиями Плимута, он на следующий день сел на пароход с медной табличкой, картонкой для шляпы и сундучком, в котором был стетоскоп, вторая пара ботинок, два костюма и белье, с бумажником, где был весь его капитал — шесть фунтов — и с прощальным советом от Бадда, который его провожал: "Слушай меня, дружище. Найди хороший дом в центре, повесь свою табличку и вгрызайся изо всех сил. С пациентов бери мало или вообще ничего, пока не установишь связи. И забудь про эту глупость с профессиональным этикетом, иначе тебе конец. А я прослежу, чтобы твоя топка не погасла из-за отсутствия угля".

И он покинул Плимут, совершенно не зная истинной причины, что гнала его вперед, и абсолютно не подозревая, что Бадд, пытаясь уничтожить в нем врача, помог становлению в нем писателя.



ГЛАВА 6.
ШЕРЛОК ХОЛМС

Писатель, чьи вымышленные герои были лучше известны среднему англичанину, чем любые другие, кроме шекспировских, жил какое-то время в Девоншир-Террас, и именно там появились первые рассказы, в которых Шерлок Холмс завоевал мировую славу, ибо Холмс по популярности оставил позади даже самых известных героев Диккенса. Г. К. Честертон однажды сказал, что, если бы рассказы о Холмсе писал Диккенс, у него каждый персонаж получился бы таким же живым, как Холмс. Мы можем ответить, что, если бы Диккенс это сделал, он испортил бы рассказы, эффект которых зависит от яркого сияния центрального персонажа и относительно тусклого мерцания остальных. Правда, мерцание Уотсона доходит до гениальности, но оно лишь добавляет блеска Холмсу, а Диккенс чудовищно напортачил бы с Уотсоном.

В настоящее время есть еще только три героя в английской литературе, которые занимают такое же место, как Холмс, в умах и речи простых людей с улицы. Любой разносчик угля, докер, корчмарь, любая уборщица поймут, что имеется в виду, когда про кого-то скажут, что он "настоящий Ромео", "вылитый Шейлок", "чертов Робинзон Крузо" или "проклятый Шерлок Холмс". Другие герои, такие, как Дон Кихот, Билл Сайкс, миссис Гранди, Микобер, Гамлет, Миссис Гемп, Скрудж и Ловкий Плут и так далее, известны образованным и полуобразованным людям, но эту четверку знает более девяноста процентов населения, миллионы, никогда не читавшие ни строчки из произведений, в которых они появляются. Причина этого — в том, что каждый из них — символическая фигура, олицетворяющая вечную страсть человеческого характера. Ромео означает любовь, Шейлок — скупость, Крузо — любовь к приключениям, Холмс — спорт. Мало кто из читателей видит в Холмсе спортсмена, но именно это место он занимает в народном воображении; он следопыт, охотник, сочетание ищейки, пойнтера и бульдога, который так же гоняется за людьми, как гончая — за лисой; короче, он сыщик.

Он современный Галахад, не разыскивающий более священный Грааль, а идущий по кровавому следу, фигура из фольклора, но с характерными чертами реальной жизни. Самое любопытное заключается в том, что, хотя он и не создан так полно и безупречно, как все величайшие литературные персонажи, не поверить в его существование невозможно. Хотя он полностью лишен таинственности и многозначительности, присущих великим портретам, он живой и достоверный, как моментальная фотография. Мы знаем, как он должен смотреться и что он должен говорить в некоторых определенных ситуациях; более того, в определенных обстоятельствах мы подражаем его облику и говорим его словами. Как никакой другой герой художественной литературы, он пробуждает ассоциации. Для тех из нас, кто не жил в Лондоне восьмидесятых и девяностых годов прошлого века, этот город — просто Лондон Холмса, и мы не можем пройти по Бейкер-стрит, не думая о нем и не пытаясь найти его дом. Есть ли другой литературный персонаж, кроме Холмса, целая литература о котором посвящена вопросу: где же он жил? Один топограф, мистер Эрнест Шорт, взялся за дело с усердием, вряд ли достойным лучшего применения, и показал с помощью диаграмм и описаний, что, вероятно, резиденцией Шерлока Холмса был дом, носящий сейчас номер 109, хотя именем "Шерлок" названы конюшни, расположенные за домами напротив *.

Сам Дойл был на редкость ненаблюдательным — он написал, что в доме был эркер, а отличительная черта Бейкер-стрит — в том, что на ней нигде эркеров нет. У Дойла десятки таких неточностей. Недавно, перечитывая его рассказы, я отметил некоторые из них: "1) в "Желтом лице" нам говорят, что, даже когда Холмс ошибался, правда все равно становилась известна, как в истории со вторым пятном. Но в рассказе "Второе пятно" именно Холмс узнает истину; 2) Полковник Себастьян Морен вроде бы казнен за убийство в 1894 году, но Холмс говорит, что он еще жив в 1902 году; 3) Холмс исчезает 4 мая 1891 года и возвращается 31 марта 1894 года; однако события, описанные в "Сиреневой сторожке", происходят в марте 1892 года, когда Холмс, которого доктор Уотсон и весь остальной мир считали мертвым, должен был путешествовать инкогнито по Тибету. Дело в том, что Дойлу никогда не приходило в голову, что он создает бессмертного героя; он был намного внимательнее, когда рассказывал историю сэра Найджела Лоринга, по сравнению с подвигами которого приключения Холмса он считал "низшим слоем литературы". Много лет спустя он записал в дневнике, что, перечитывая пьесы Шекспира, он был поражен многочисленными неточностями. Мы воздаем такую же дань Дойлу, когда перечитываем приключения Холмса. Никого не волнуют неправдоподобие и противоречия в герое, который доставляет столько наслаждения, сколько доставляет его Холмс. Как Гамлет, Шерлок Холмс — это тот,

---

* Кроме того, Шерлок Холмс — единственный вымышленный персонаж, которого почтили биографией, его Жизнеописание написано г-ном Винсентом Старреттом. Во славу Шерлока Холмса в Америке было создано несколько обществ, таких, как "Нерегулярные войска Бейкер-стрит", "Клуб пестрой ленты". (*Примеч. авт.*)

кем хочет быть каждый человек, как Дон Кихот, он — странствующий рыцарь, который спасает обездоленных и в одиночку сражается против сил тьмы, и, как у Дон Кихота, у него есть Санчо Панса в лице доктора Уотсона.

Существовали живые прообразы как Холмса, так и Уотсона. Дойл всегда говорил, что моделью для образа Шерлока Холмса был доктор Джозеф Белл, хирург из Эдинбургской больницы, но Белл однажды признался, что Дойл "мне обязан намного меньше, чем он думает". Судя по всему, Белл пробудил воображение Дойла, которое потом намного превзошло оригинал. У Белла, худого, жилистого, смуглого человека, были острый, пронизывающий взгляд, орлиный нос и высокий, резкий голос. Сидя, откинувшись в кресле, сложив руки, он быстро отмечал характерные особенности пациентов, которых Дойл, назначенный им амбулаторным клерком, вводил в его комнату, и сообщал студентам и ассистентам что-нибудь вроде: "Господа, я не могу сказать точно, кто этот человек — резчик пробки или кровельщик. Я вижу легкое callus, или затвердение, на одной стороне его указательного пальца и легкое утолщение на внешней стороне большого пальца. А это точный признак обеих профессий". Другой случай был проще: "Я вижу, вы злоупотребляете спиртным. Вы даже носите фляжку во внутреннем кармане вашего пальто". Третий пациент с открытым ртом слушал, как Белл, заметив: "Вы, я вижу, сапожник", повернулся к студентам и обратил их внимание на то, что брюки пациента были порваны с задней стороны штанины под коленом, где он зажимал выколотку, что характерно только для сапожников. Один диагноз Белла произвел на Дойла такое впечатление, что он помнил его всю жизнь.

— Итак, вы служили в армии.

— Да, сэр.

— Демобилизовались недавно?

— Да, сэр.

— Шотландский полк?

— Да, сэр.

— Унтер-офицер?

— Да, сэр.

— Служили на Барбадосе?

— Да, сэр.

— Видите, господа, — объяснил Белл студентам. — Это вежливый человек, но он не снял шляпу. В армии головной убор не снимают, но он бы привык к гражданской жизни, если бы демобилизовался давно. В нем чувствуется властность, и он явно шотландец. Что же касается Барбадоса, то он пришел по поводу элефантиаза, а это — заболевание, свойственное Вест-Индии, а не Англии.

Белл описывает свои методы по-холмсовски: "Самым важным фактором любого удачного медицинского диагноза являются точное и внимательное наблюдение и оценка малейших деталей... Глаза и уши, которые видят и слышат, память, которая мгновенно запоминает, чтобы по первому требованию воссоздавать замеченное органами чувств, и воображение, способное соткать теорию, или воссоединить разорван-

ную цепь, или распутать хитросплетение сведений, — таковы требования, которые предъявляет хорошему диагносту его профессия".

Но отцами Холмса также можно назвать нескольких литературных героев, а его метод расследования впервые возник, вероятно, в вольтеровском "Задиге". Человек, потерявший верблюда, спрашивает Задига, не видел ли он его. "Ты говоришь про одноглазого верблюда с выпавшими зубами, наверно? — уточняет Задиг. — Нет, я его не видел, но он пошел на запад". Но если он не видел верблюда, откуда же он знает про его физические недостатки, не говоря уже о том, в какую сторону верблюд пошел? Элементарно, мой дорогой Уотсон. "Я понял, что у него один глаз, потому что он ел траву только с одной стороны дороги. Я знал, что у него выпала часть зубов, потому что травинки не обкусаны. Я понял, что он пошел на запад, по его следам". Д'Артаньян восстанавливает обстоятельства дуэли в "Луизе де ла Вальер" также по-холмсовски. Некоторые находят предков величайшего из всех сыщиков у Диккенса и Уилки Коллинза. "Поскольку я был воспитан на инспекторе Бакете Диккенса, сержанте Карре Уилки Коллинза и Дюпене Эдгара По, я был невысокого мнения о Шерлоке Холмсе, — сказал мне Бернард Шоу, — но рассказы о бригадире Жераре первоклассны". Дойл сам неоднократно признавал, что он многим обязан По, но кое-кто проводил сравнения с Дюпеном не в пользу Холмса и делал ничем не подкрепляемые заявления. Например, мисс Дороти Сайерс, которая утверждает, что в рассказах Дойла нет "чистоты аналитического метода" По. Она пишет о "строгом правиле По показывать читателю все ключи" к разгадке тайны. Однако сыщик Эдгара По, Дюпен, показывает своему другу важнейшую улику после раскрытия преступления, когда все факты уже стали известны. "Я едва вытащил этот маленький пучок волос из судорожно сжатых пальцев мадам Л'Эспане", — говорит он. А потом, когда его друг поражается дедукции, благодаря которой Дюпен узнал, что владелец орангутанга — моряк, сыщик показывает маленький кусочек ленты, "который с виду напоминает те, какими матросы завязывают волосы". Ленту он подобрал на месте преступления. Но его друг и читатели должны были видеть, как он ее подбирает. Это к вопросу о "строгих правилах" По, и если, как нас уверяет мисс Сайерс, в рассказах Дойла нет "чистоты аналитического метода" Эдгара По, то нет ее и у Эдгара По.

Дойл, однако, первый был готов признать, что кое-какие мелочи он взял у По. Дюпен, как Холмс, обожает курить трубку; у него бывают приступы "грустной задумчивости"; иногда он отказывается обсуждать дело, о котором думает; продолжает вслух мысли другого человека; заманивает в ловушку человека, который может пролить свет на преступление, помещая объявление в газете; организует переполох на улице и, пока внимание спутника отвлечено, успевает подменить одно письмо другим; и, как Холмс, довольно низкого мнения о своем профессиональном коллеге, который "слишком хитер, чтобы быть умным".

Но все это не имеет значения и отношения к сути дела, которая заключается в том, что Дойл был первым писателем, наделившим сыщика живым человеческим характером, и, наверное, окажется послед-

ним писателем, который подарил читателям рассказы, столь же интересные и захватывающие, сколь достоверны и правдоподобны его главные герои. Дюпен — мертворожденный, просто говорящая машина, самый длинный рассказ, в котором он появляется, "Тайна Мари Роже", просто скучен, и ни один из героев По так и не ожил. На самом деле последователи Дойла испытали влияние По намного больше, чем сам Дойл. Научный подход к проблеме, масса подробностей, тщательная реконструкция событий, многословие и профессиональные приемы, современных детективов — всего этого, к счастью, нет в саге о Холмсе, потому что в этом случае Дойл не путал развлекательность с познавательностью. И хотя он испортил свои исторические романы, сделав в них историю более важной, чем романтику, он не допустил такой ошибки с детективными рассказами, где рассказ всегда важнее детективного расследования. Кажется даже, что он писал историю пером Холмса, который предпочитал научный трактат интересному рассказу; но о Холмсе он писал пером Уотсона, который предпочитал интересный рассказ научному трактату.

Очень несхожи, пойми наконец,
Герои рассказа и их творец, —

писал Дойл критику, который предположил, что взгляды Холмса на Дюпена были схожи с точкой зрения писателя. Мы должны быть внимательны, чтобы не совершить такую же ошибку и не решить, что доктор Уотсон — это доктор Дойл. Тем не менее в Уотсоне достаточно много от Дойла, чтобы мы могли не искать дальше прообраз. Он часто и бессознательно изображал в нем себя. "Ваша фатальная привычка смотреть на все с точки зрения рассказа, а не научной работы испортила то, что могло стать познавательной и даже классической серией доказательств", — говорит Холмс Уотсону, и это подчеркивает то, о чем мы только что говорили. Дойл был прирожденным рассказчиком, и всегда, когда он жертвует действием ради точности, его власть над читателем слабеет. Дойл снова думает о себе, когда заставляет Холмса сказать Уотсону: "Вы должны понять, что среди ваших многочисленных талантов притворству места нет". И снова: "Мой дорогой Уотсон, вы по натуре своей человек действия. Умение притворяться не входит в число ваших многочисленных талантов". И когда в рассказе "Убийство в Эбби-Грейндж" Шерлок Холмс решает отпустить убийцу, он решительно объединяет Уотсона и Дойла: "Вы, Уотсон, — английский суд присяжных, — я не знаю человека, который был бы более достоин этой роли", — одним предложением нам обрисовывают характер Дойла.

Идея написания цикла коротких рассказов, объединенных общим героем — Холмсом, пришла Дойлу в голову, когда он читал ежемесячники, которые тогда стали предлагать пассажирам в поездах. "Я просматривал эти разные журналы с обрывками прозы и подумал, что серия рассказов с одним главным персонажем не просто заинтересует читателя, а привлечет к конкретному журналу. С другой стороны, мне всегда казалось, что обычные публикации с продолжением скорее мешают, чем помогают журналу, поскольку рано или поздно читатель пропускает номер и теряет всякий дальнейший интерес. Совер-

шенно очевидно, что идеальным компромиссом был бы постоянный герой, но в каждом номере должен быть законченный рассказ, чтобы читатель точно знал, что сможет читать весь журнал. По-моему, я первый это понял, а журнал "Стрэнд мэгэзин" первый это осуществил". Его агент А. П. Уотт отослал "Скандал в Богемии" издателю "Стрэнда" Гринхофу Смиту, которому рассказ понравился, и он посоветовал Дойлу писать целый цикл. Дойл тогда работал окулистом, но, так как ни один пациент ни разу его не потревожил, он писал с десяти утра до четырех дня. "В Девоншир-Террас, — говорил он, — у меня была комната для ожидания и комната для приема, причем я ждал в комнате для приема, а в комнате для ожидания не ждал никто".

Можно увидеть, как быстро он работал, взглянув на его дневник. В пятницу 10 апреля, через неделю после того, как в "Стрэнд" был отправлен "Скандал в Богемии", он записал: «Закончил „Установление личности"». В понедельник 20-го он отправил "Союз рыжих". 27-го: «Отправил „Тайну Боскомской долины"».

После этого он написал "Пять зернышек апельсина", но отправил лишь в понедельник, 18 мая, потому что 4 мая слег с гриппом. Во время утренней прогулки на него вдруг напала "ледяная дрожь". Вернувшись домой, он свалился. Неделю Дойл был в очень тяжелом состоянии и еще неделю оставался слаб, как ребенок, но к концу болезни в голове у него прояснилось, и он понял, что глупо финансировать практику окулиста, лечиться к которому не приходит никто, за счет заработка писателя, которого хотят читать все. "С дикой радостью я решил сжечь мосты и навсегда довериться своему таланту писателя. Я помню, что от радости я взял ослабевшей рукой носовой платок, лежавший на покрывале, и в восторге бросил его к потолку. Наконец-то я буду сам себе хозяин. Мне не придется больше одеваться согласно требованиям профессии или пытаться кому-то понравиться. Я буду свободен жить, как я хочу и где я хочу. Редко когда в жизни я испытывал такое ликование. Это было в августе 1891 года". Он утверждает, что это было в августе, но в дневнике записано "май", и прав дневник. Его память увеличивала срок, что во многом объясняет облегчение, которое он испытал, когда наконец решился бросить медицину и стать профессиональным писателем. Это был не очень рискованный шаг, потому что из апрельских записей в его дневнике мы узнаем, что он получил 57 фунтов 8 шиллингов 9 пенсов за рассказ "Номер 249", сорок фунтов за американскую публикацию "Открытия Рафлза Хоу" и что ему заплатили 30 фунтов 12 шиллингов за право публикации в Англии и пятьдесят — в Америке "Скандала в Богемии". Через несколько лет он будет получать за любой рассказ о Холмсе в десять раз больше, чем получил за первый; но средний гонорар за каждое из первых шести "Приключений", напечатанных в "Стрэнде", составлял чуть больше 30 фунтов и по 45 фунтов — за последние шесть.

Поправившись от гриппа, он начал передвигаться, опираясь на трость, и опрашивать торговцев недвижимостью. Потратив две-три недели на поиски загородного дома, он выбрал наконец номер двенадцатый по Теннисон-роуд, в Южном Норвуде, куда и переехал с семьей 25 июня.

Почти тут же в июльском номере "Стрэнда" был опубликован "Скандал в Богемии", и Дойл быстро стал заметной фигурой в литературном мире. Две повести — "Этюд в багровых тонах" и "Знак четырех" — не особенно способствовали популярности Холмса, но рассказы из "Стрэнда" сделали его имя нарицательным. Имя, которое кажется нам сейчас столь естественным, было не озарением, а результатом терпеливых размышлений. Дойл взял листок бумаги и полностью отдался нелегкой задаче соединения имени и фамилии. Сначала ему понравилось сочетание "Шеррингфорд Холмс", затем он попробовал "Шеррингтон Хоуп", наконец в самом низу появилось "Шерлок Холмс". Над каждым «Приключением» он работал с такой же сосредоточенностью, с какой подбирал имя главного героя, сначала продумывал загадку и ее решение, затем набрасывал в общих словах план, а уж затем писал рассказ. Среди его бумаг я обнаружил сценарий незавершенного рассказа, который дает нам какое-то представление о начальных этапах его работы перед собственно написанием рассказа, хотя вполне возможно, что он купил сюжет у кого-нибудь.

СЮЖЕТ РАССКАЗА О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ

"К Шерлоку Холмсу приходит очень расстроенная девушка. В ее деревне совершено убийство — ее дядю убили выстрелом из пистолета в его спальне, очевидно, через открытое окно. Арестован ее возлюбленный. Его подозревают по ряду причин:

1) Он сильно поругался со стариком, который пригрозил изменить завещание, составленное сейчас в пользу девушки, если она еще раз когда-нибудь заговорит со своим возлюбленным.

2) В его доме найден револьвер с его инициалами, выцарапанными на рукоятке. Одного патрона в барабане не хватает. Пуля, обнаруженная в теле убитого, соответствует типу этого револьвера.

3) У него есть легкая лестница, единственная в деревне, а на земле под окном спальни обнаружены следы приставленной лестницы, и такая же земля (свежая) обнаружена на основании лестницы.

На все это он может ответить только, что у него никогда не было револьвера, который нашли в ящике в прихожей, куда его положить мог кто угодно. Что же касается земли на основании лестницы (которой он не пользовался месяц), у него нет никаких объяснений.

Несмотря на эти серьезнейшие улики, девушка продолжает верить в полную невиновность ее возлюбленного. Она подозревает другого человека, который тоже за ней ухаживал, хотя у нее нет никаких доказательств его вины, кроме инстинкта, подсказывающего ей, что он злодей, который не остановится ни перед чем.

Шерлок и Уотсон отправляются в деревню, где вместе с полицейским, который ведет расследование, осматривают место происшествия. Отметины от лестницы особенно привлекают внимание Холмса. Он какое-то время размышляет, осматривается, спрашивает, есть ли поблизости место, где можно спрятать что-либо громоздкое. Такое

место есть — это заброшенный колодец, который никто не осматривал, потому что ничего не пропало. Шерлок, однако, настаивает на том, чтобы колодец обыскали. Деревенский мальчишка соглашается туда спуститься со свечкой. Холмс успевает что-то шепнуть ему на ухо — у мальчишки удивленный вид. Парня опускают и — по его сигналу — поднимают, он вытаскивает *пару ходуль.*

— Господи Боже! — кричит полицейский, — кто бы мог подумать?

— Я, — отвечает Холмс.

— Но почему?

— Потому что следы на земле в саду были сделаны двумя перпендикулярно стоящими шестами, а основание приставленной и, следовательно, наклоненной лестницы оставило бы вмятины, скошенные к стене. (Земля, о которой идет речь, — это полоска возле дорожки, посыпанной гравием, где ходули никаких следов не оставили.)

Это открытие несколько сняло тяжесть улики, связанной с лестницей, но другие улики остались не опровергнутыми.

Следующий шаг — надо, если возможно, найти владельца ходуль. Но он был осторожен, и двухдневные поиски ни к чему не привели. Во время судебного разбирательства молодого человека признают виновным в убийстве. Но Холмс убежден в его невиновности. В таких условиях он решается на крайнее средство, сенсационную тактику.

Он едет в Лондон и возвращается вечером, после похорон старика. Он, Уотсон и полицейский идут к дому человека, которого подозревает девушка. С ними — человек, привезенный Холмсом из Лондона, в гриме, делающем его точной копией убитого: фигура, серое сморщенное лицо, накладная лысина и так далее. Они несут с собой пару ходуль. Когда они подошли к дому, человек в гриме встает на ходули и идет по дорожке к открытому окну спальни подозреваемого, выкрикивая его имя страшным, замогильным голосом. Тот, уже ополоумев от ужаса вины, бросается к окну и при свете луны видит жуткую картину — к нему движется его жертва. Он отшатывается с криком, а видение приближается к окну, продолжая кричать все тем же неземным голосом: "Как ты убил меня, так и я убью тебя". Холмс, Уотсон и полицейский бегут наверх в его комнату, и он кидается к ним, цепляется за них, дрожит от ужаса и, показывая на окно, за которым белеет лицо убитого человека, кричит: "Спасите меня! О Боже! Он пришел убить меня, как я убил его!"

После этой драматической сцены от полностью сломлен, он признается во всем. Это он выцарапал инициалы возлюбленного девушки на револьвере, он спрятал его в том ящике, где потом оружие и нашли, он вымазал основание лестницы землей из сада убитого. Он хотел ликвидировать соперника в надежде заполучить потом девушку и ее деньги".

Судя по всему, Дойл отказался от этого сюжета, потому что почувствовал, что эпизод с ходулями весьма натянут.

Как мы видели, ему редко требовалось больше недели, чтобы написать рассказ. Когда он жил в Южном Норвуде, где были написаны последние семь из "Приключений Шерлока Холмса" и все "Записки о Шерлоке Холмсе", он работал с завтрака до ленча и с пяти до восьми вечера, его

средняя дневная норма составляла три тысячи слов. Многие идеи рассказов появлялись у него тогда, когда он гулял, или катался на трехколесном велосипеде, или играл в крикет или теннис. В августе 1892 года он сказал в интервью, что боится испортить героя, который ему особенно симпатичен, но у него достаточно материала, чтобы продержаться еще цикл рассказов ("Записки"), первый из которых, по его мнению, столь неразрешим, что он поспорил с женой на шиллинг, что она не найдет разгадку. Это было беспроигрышное пари: "Серебряный" — один из самых блистательных его рассказов. Его любовь к Холмсу не вышла за пределы "Записок". Убив своего сыщика в декабрьском (1893 г.) номере "Стрэнда" — способ убийства был подсказан поездкой с женой к Раушенбахскому водопаду в Швейцарии, — он написал другу: "Я не мог бы оживить его, даже если бы хотел, потому что я так объелся им, что у меня к нему такое же отношение, как к pâté de foie gras *, которого я однажды съел слишком много и от одного названия которого меня и сегодня мутит". Но ему суждено было не знать покоя, пока он не воскресил Шерлока. Читатели умоляли его, редакторы упрашивали, литературные агенты тормошили, издатели пытались подкупить, некоторые люди даже угрожали. Долгое время он был глух и к проклятиям, и к мольбам, но, наконец, его расходы решили этот вопрос за него, и, когда один друг рассказал ему легенду о страшной девонширской собаке, он, полностью переделав ее, написал повесть об одном из ранних приключений Шерлока Холмса; под названием "Собака Баскервилей" она печаталась в "Стрэнде" с августа 1901 года по апрель 1902 года. Это лишь разожгло аппетит публики, и Дойл воскресил Холмса в октябре 1903 года, когда в "Стрэнде" рассказом "Пустой дом" открылся новый цикл.

Но читателям все было мало, они просили еще и еще, и в результате Дойл возненавидел Холмса, чья известность мешала должной оценке того, что он считал своими лучшими произведениями, доставляя ему к тому же кучу неприятностей. Его неприязнь к Холмсу приняла забавную форму восхваления Уотсона. Монсеньор Р. А. Покс пишет мне: "Давным-давно, когда мы с братьями еще были мальчишками, мы написали ему, указав на несоответствие в одном из рассказов о Холмсе. Он ответил весьма добродушно, что это была его ошибка. Позже, году в 1912 или 1913-м, когда я опубликовал "Мышление и искусство Шерлока Холмса" — статейку, положившую начало ныне ставшей уже весьма утомительной «холмсологии», — сэр Артур написал мне и признал, что несоответствий у него было полно. Он утверждал, однако, что в характере Уотсона, по крайней мере, таких несоответствий нет". Он получал сотни писем из всех уголков мира; некоторые адресовались Холмсу с просьбой решить какую-нибудь загадку, некоторые — Уотсону с предложениями значительных сумм, если он сможет уговорить своего друга взяться за то или иное дело, некоторые — самому Дойлу с просьбой о помощи в разгадке тайны. Иногда предложенная ему история его привлекала, и он помогал в ней разобраться, для чего ему приходилось

* Паштет из гусиной печенки (*фр.*).

запираться в комнате и воображать себя Холмсом. Время от времени он добивался успеха, хотя трудно представить себе человека, более не похожего на Холмса.

Дойл не смог отделаться от Холмса до конца своих дней, и три добавления были сделаны к циклам после "Возвращения Шерлока Холмса": еще одна повесть — "Долина ужаса", первая и лучшая гангстерская история, которые вошли в моду во времена Эдгара Уоллеса, и два сборника рассказов: "Его прощальный поклон" и "Архив Шерлока Холмса". Дойл знал, что идеальный детективный рассказ — всегда короткий, и свои четыре повести он старается не перенасытить Холмсом — рассказывает историю внутри истории. Хотя постоянный спрос на Холмса так раздражал его, что он начал недооценивать «Приключения», принесшие ему мировую славу, он всегда очень тщательно работал над добавлениями к саге о Шерлоке Холмсе, и некоторые из лучших рассказов были написаны после воскрешения в 1903 году. "Я решил, — писал он, — раз у меня больше не было такой отговорки, как острая финансовая нужда, никогда не писать больше ничего такого, что было бы хуже, чем я мог бы написать. И поэтому я не писал больше рассказов о Шерлоке Холмсе, если у меня не было достойного сюжета и проблемы, интересной мне самому, ибо это первое условие для того, чтобы заинтересовать кого-нибудь еще. Если я смог так долго использовать этого героя и если читателям последний рассказ понравится — а он понравится — так же, как первый, то это именно потому, что я никогда или почти никогда не выдавливал из себя рассказы силой".

Когда читатели жаловались, что поздним рассказам далеко до ранних, Дойл обычно не соглашался. Джону Гору, обвинившему его в снижении уровня, когда заключительный цикл публиковался в "Стрэнде", он писал:

"Я прочел с интересом и без обиды ваше замечание о рассказах про Холмса. Я не мог обидеться, потому что я сам к ним никогда серьезно не относился. Но даже в самых безыскусных вещах есть свои градации, и я подумал, не потому ли они произвели на вас меньшее впечатление, что мы, чем старше, тем становимся просвещеннее и все больше теряем вкус к новизне. Мне самому уже не по душе то, чем я восторгался в юности.

Я проверяю рассказы о Холмсе их воздействием на юные умы и вижу, что они очень хорошо проходят такую проверку. Я верю в свои критические способности, потому что сужу очень непредвзято, и, если бы я должен был выбрать шесть лучших рассказов о Холмсе, я бы, конечно, назвал "Знаменитого клиента" из последнего цикла, а также "Львиную гриву", которая будет опубликована следующей. "Знатный холостяк", о котором пишете вы, у меня в списке был бы где-нибудь в конце.

Я всегда говорил, что полностью откажусь от него, как только он опустится ниже своего уровня, но пока, кроме вашего письма (которое, может быть, окажется симптоматичным), ничто не давало мне оснований подумать, что он уже не возбуждает прежнего интереса".

Шестидесятое, и последнее, приключение Шерлока Холмса "Старый дом Шостокомба" появилось в "Стрэнде" в апреле 1927 года. Это был прощальный поклон Дойла в роли автора лучших сказок для взрослых и создателя двух персонажей, которые доставили, наверное, больше удовольствия миллионам людей во всем мире, чем любые другие литературные герои. "Итак, читатель, мы прощаемся с Шерлоком Холмсом, — писал он. — Я благодарю тебя за твое постоянство и могу лишь надеяться, что и я дал тебе кое-что, отвлекая тебя от жизненных забот и пробуждая новые мысли, что возможно только в королевстве романтической литературы".



ГЛАВА 8.

БРИГАДИР

В Давосе жизнь Дойла и его семьи была "ограничена снегом и хвоей, нас окружавшими", время свое он делил между работой и спортом. В 1892 году вышел английский перевод "Мемуаров Барона де Марбо", и это побудило его перечитать французский оригинал, который он назвал "лучшей книгой о солдатах в мире". Решив описать приключения императорского солдата, взяв за прообраз Марбо, он проглотил все книги о наполеоновских войнах, которые смог одолжить или купить, чтобы избежать ошибок в исторических подробностях. Первый рассказ, который он читал своим американским слушателям, появился в "Стрэнде" в декабре 1894 года, и с апреля по сентябрь 1895 года "Подвиги бригадира Жерара" приводили в трепет читателей журнала. Последний рассказ был напечатан в декабрьском номере.

Давайте посмотрим, насколько создатель бригадира Жерара был в долгу у Марбо и его "Мемуаров".

Прежде всего мы заметим, что Марбо не очень высокого мнения об уме своих командиров, чью доблесть он снисходительно похваливает — иногда. Свой собственный ум он подчеркивает постоянно, а свою храбрость описывает еще более четкими выражениями: "Я думаю, я могу сказать без особой похвальбы, что природа отпустила мне немалую долю мужества; я даже добавлю, что бывало время, когда мне нравилось быть в опасности, о чем достаточно, по-моему, свидетельствуют мои 13 ранений и некоторые непростые поручения, которые я выполнял". Он объясняет, почему так запаздывает официальное признание его храбрости: "В наше время, когда повышение в чине и награды раздаются столь щедро, какая-нибудь медаль, конечно же, досталась бы офицеру, так презревшему опасность, как я, когда ехал к 14-му полку; но при императоре подобный героический поступок считался столь естественным, что я не получил Крест за отвагу, да мне никогда и не приходило в голову просить его". Однако наступает момент, когда

Наполеон не может больше не замечать его подвигов: «Ожро рассказал о той преданности, с которой я отвез приказ в полк через цепи казаков, и начал подробно перечислять все опасности, выпавшие на мою долю во время выполнения этого задания, и описывать то, как я поистине чудесным образом избежал смерти после того, как меня раздели и оставили голым на снегу. Император ответил: "Марбо вел себя великолепно, и я за это вручил ему Крест"».

Он никогда не упускает возможности описать собственную храбрость, которая, конечно, того заслуживает. В одном бою, когда он был ранен и слушалась его только одна рука, он настаивает на том, чтобы участвовать в кавалерийской атаке, «чтобы вселить еще больше отваги в свой полк и показать, что, пока я могу держаться в седле, я считаю для себя честью командовать им в минуту опасности». После битвы у Йены он слышит крики из дома, бросается внутрь и видит "двух очаровательных юных дам, лет 18—20, в ночных рубашках, которые пытались оказать сопротивление четырем или пяти германским солдатам... Солдаты были явно под влиянием спиртного, но, хотя они не понимали ни слова по-французски, а я почти совсем не говорил по-немецки, мой вид и мои угрозы подействовали на них, а поскольку они привыкли к тому, что их бьют их офицеры, они молча сносили мои удары и пинки, которыми я в гневе щедро их осыпал, сгоняя с лестницы. Возможно, я был неосторожен, ибо глубокой ночью в городе, где царил полный беспорядок, я — один против них — мог быть убит на месте. Но они сбежали, и я поставил часового из маршальского сопровождения в одной из нижних комнат. Затем я вернулся к юным дамам, они торопливо оделись и тепло поблагодарили меня". В России после боя Наполеон направил в 23-й стрелковый полк под командованием Марбо приказ о присвоении новых чинов и наград. «Я собрал всех капитанов и по их совету взял в руки список награжденных и отнес его маршалу Удино с просьбой разрешить мне тут же огласить приказ полку. „Что? Сейчас, под пушечными ядрами?" — „Да, маршал, под пушечными ядрами, это будет по-рыцарски"».

Марбо уверяет нас, что полк его "и любил, и ценил". "Когда офицеры и рядовые увидели, что я, несмотря на ранение, занимаю свое место во главе полка, они встретили меня радостными криками, которые, будучи свидетельством уважения и любви этих добрых вояк ко мне, глубоко меня тронули".

У него очень возвышенные понятия о чести. Во время испанской кампании, когда на дорогах и в горах было полно бандитов, он несгибаем в выполнении долга: "Я заметил этому прекрасному человеку, что моя честь требует, чтобы я презрел все опасности и добрался до генерала". Он в одиночку спасает француза, которого пруссаки хотели высечь за попытку побега, в результате чего Наполеон предупреждает и пруссаков, и русских, что, если хоть один его солдат будет высечен, он будет расстреливать всех их офицеров, которые попадут к нему в руки. После битвы за Лейпциг группа прусских солдат начинает убивать спасающихся бегством безоружных французов. Марбо видит это и

приказывает своему полку уничтожить неприятеля. "Я боялся, что могу испытать удовольствие, убивая этих мерзавцев своими руками. Поэтому я убрал саблю в ножны и предоставил моим солдатам уничтожить убийц".

Некоторые из его испанских похождений, особенно его драка в одиночку с пятью испанцами и побег от них, не менее интересны, чем все, что мог бы придумать Дойл, а от рассказа о том, как он пересекал ночью бурный Дунай, чтобы привести Наполеону пленника, который мог бы дать ценную информацию, брови поползли бы вверх у самого Дюма. Иногда Дойл использовал случай, описанный Марбо, и менял его так, как ему было нужно для повествования. У Йены, например, Марбо, угрожая саблей саксонскому гусару, заставляет его сдаться. Гусар протягивает ему свое оружие, но Марбо "достаточно великодушен, чтобы вернуть пленному оружие", и, хотя по законам войны лошадь гусара принадлежала Марбо, он не стал забирать ее. Пленник тепло благодарит Марбо и едет за ним. "Но когда до французских стрелков оставалось 500 шагов, проклятый саксонский офицер, который ехал слева от меня, выхватил саблю, ударил мою лошадь и уже собирался ударить меня, но я бросился на него, хотя у меня сабли в руке не было. Но тем самым я лишил его возможности проткнуть меня острием. Увидев это, он схватил меня за эполет — я был в тот день в полной форме — и резко рванул на себя так, что я потерял равновесие. Мое седло перевернулось, и я повис вниз головой. Одна нога у меня болталась в воздухе, а саксонец, припустивший в полный галоп, вернулся к остаткам вражеской армии. Я был в ярости и от того положения, в котором оказался, и от неблагодарности, которой он заплатил мне за мое доброе к нему отношение. И как только саксонская армия была взята нами в плен, я отправился разыскивать этого гусарского офицера, чтобы проучить его как следует, но он исчез". Читатели, знакомые с приключениями Жерара, узнают этот эпизод, хотя обстоятельства изменены, а герои поменялись местами в рассказе "Как бригадиру достался король".

Итак, ясно, что Дойл был немного в долгу у Марбо, как Шекспир был в долгу у Плутарха. Однако Дойл настолько же превосходит Марбо в фантазии, насколько Шекспир превосходит Плутарха в воображении. Почти на каждой странице рассказов о Жераре есть штрих, благодаря которому бригадир встает перед нами во всей своей комичной живости, до которой далеко его прообразу — Марбо, не считавшему себя, правда, комической фигурой. Встретив офицера, чьи кавалеристы не очень его слушались, Жерар говорит: "Я бросил на них такой взгляд, что они застыли в седлах". Офицер просит его в качестве личного одолжения отправиться с ним, но Жерар отвечает, что долг повелевает ему отказаться. Тогда офицер признается, что в этом деле есть немалый элемент опасности. "Это был ловкий ход, — замечает Жерар. — Конечно, я тотчас же соскочил со спины Барабана и велел слуге отвести его в конюшню". Попав в переделку, когда ему приходится смотреть в лицо смерти, он признается: "Я всплакнул при мысли о всеобщем горе, которое

вызовет моя преждевременная гибель". Дама просит его рассказать о своих подвигах. "Никогда еще не вел я столь приятной беседы", — говорит он. Он едет через Реймс со спутником, поведение которого вызывает у него следующее замечание: "Он с идиотским самомнением подмигивал девушкам, которые махали мне платочками из окон". У Жерара любовный роман, и он говорит: "Вас удивляет, что у кавалера такой красивой девушки не было соперников? На то была веская причина, друзья мои, ибо я сделал так, что все мои соперники быстро очутились в госпитале". В особо тяжелую минуту он начинает молиться, прося Господа о помощи, "но я как-то отвык от таких вещей и вспомнил только молитву о хорошей погоде, которую мы читали в школе по вечерам перед каникулами". Маршал Бертье уговаривает его предать Императора, и Жерар бесстрастно замечает: "Я был так растроган моими собственными словами и собственным благородством, что голос мой пресекся и я едва сдержал слезы". Его могут растрогать и чувства других: "Когда он увидел меня, его маленькие красные глазки наполнились слезами, и, честное слово, я сам прослезился, тронутый его радостью". Массена хочет отправить его на опасное задание, и разговор между ними начинается так:

"Он нервничал, хмурился, но мой бравый вид, видимо, его ободрил. Всегда полезно побыть в обществе храбреца.

— Полковник Этьен Жерар, — сказал он, — я не раз слышал, что вы храбрый и находчивый офицер.

Не мне было подтверждать это, но и отрицать такие вещи тоже глупо, так что я звякнул шпорами и отдал честь.

— Кроме того, говорят, вы отлично ездите верхом.

Я не возражал.

— И лучший рубака на все шесть бригад легкой кавалерии.

Массена славился своей осведомленностью".

Каждая сцена написана превосходно, каждый характер блистательно очерчен, и каждый эпизод расцвечен юмором — от сатиры до бурлеска. Большую долю комизма вносит контраст между хвастовством главного героя и унизительными ситуациями, в которые он иногда попадает. Бригадир бывает то проницательным, то глуповатым; его тупость сродни его неустрашимости; он одновременно и Дон Кихот, и Санчо Панса, этакий уотсонообразный Холмс. Вместе с д'Артаньяном он самый живой герой в романтической литературе. Странно то, что абсурдность главного героя никогда не снижает напряженности повествования: юмор придает реальность романтическим приключениям. У Дойла нет рассказов, которые были бы столь же хороши, как истории о Жераре, выплеснувшиеся из него так спонтанно, что их веселость и энтузиазм заражают читателя. В них есть изюминка и естественность, которые возвышают их над его собственными, более трезвыми, историческими романами. Как и в случае с сагой о Шерлоке Холмсе, нашего хроникера не сдерживало сознание серьезности его миссии.

Английский читатель готов принять француза в качестве главного героя, если персонаж смешон, и Жерар тут же стал популярен. Невоз-

можно противиться человеку, который одновременно внушает симпатию и вызывает смех, и Дойл проявил хитрое мастерство, создав фигуру, вызывавшую восхищение читателя, завоевывавшую его расположение и льстившую его самолюбию. Публика требовала продолжения "Подвигов", и в августе 1902 года в "Стрэнде" появилось первое из "Приключений бригадира Жерара". Остальные рассказы цикла публиковались ежемесячно, с ноября того года по май 1903-го.

Дойл не считал эти рассказы одним из высших своих литературных достижений, несомненно, потому, что, как и рассказы о Холмсе, они были естественным порождением его фантазии. Он писал их с относительной легкостью, а его девизом была упорная работа.



ГЛАВА 10.
ТИТАНИК

Как и очень многие до и после него, Дойл считал, что он должен как-то помочь роду людскому. Или, говоря его же словами, "хочется думать, что ты можешь оказать небольшое практическое влияние на события твоего времени", — и ему никогда не приходило в голову после очередного оказания помощи человечеству, что, может быть, было бы лучше не вмешиваться. Первую попытку улучшить положение людей в этом мире он предпринял еще в родном городе, когда в Центральном Эдинбурге выдвинул свою кандидатуру в парламент от либерально-юнионистской партии во время "военных" выборов 1900 года. Ему предложили несколько "надежных" округов, но он — боец по натуре — их отверг. Он предпочел бороться за один из главных оплотов радикалов в стране. Основной целью Дойла было укрепить положение правительства в его войне против буров, и, когда члены его комитета написали ему черновик его предвыборной речи, он спросил их, кто будет отвечать за выполнение обещаний, в этой речи содержащихся. "Как кто, конечно, вы", — ответили ему. "Тогда, я думаю, будет лучше, если я сам буду их давать", — сказал Дойл, выкинул черновик в корзину и написал собственную речь. Он с жаром бросился в предвыборную кампанию, но для политика оказался слишком честным и настроил против себя большое количество избирателей-ирландцев, выступив за создание католического университета в Дублине, что пришлось не по вкусу протестантам Севера, и воздержавшись от поддержки гомруля, что вызвало гнев католиков Юга. "Это впервые в истории объединило Ирландию — Северную и Южную", — заявил он позже. И все-таки дела у него шли довольно неплохо, пока один священник-евангелист не расклеил по всему округу плакаты, в которых утверждалось, что Дойл — римский католик, поскольку обучался у иезуитов, и что он настроен враждебно по отношению к Пресвитерианской церкви Шотландии, потому что "один раз иезуит — всегда иезуит", и так далее, и тому подобное. Это

решило исход дела. На ответ времени не было, так как до выборов оставался один день, и Дойл проиграл, набрав на несколько сотен голосов меньше, чем его соперник.

Он предпринял еще одну попытку пройти в парламент от Приграничных Городов в 1905 году как сторонник тарифной реформы. На победу у него не было никаких шансов, потому что, хотя и было очевидно, что производство шерсти в Хоуике, Галашиле и Селкирке серьезно пострадало от немецкой конкуренции, доктрина свободной торговли была в Шотландии почти религией. Дойл подвергся такому шквалу вопросов и издевательств, что с трудом сдерживался. Он, однако, терпел до последнего мгновения, когда, по иронии судьбы, досталось не его противникам, а, наоборот, одному из его сторонников. Дойл стоял на платформе, ожидая лондонский поезд, когда молодой энтузиаст, полный самых добрых намерений и горящий рвением, схватил его за руку и сжал ее, как в тисках, в сердечном рукопожатии. "И как будто открылся шлюз, — признавался Дойл, — на него обрушился поток выражений из обихода китобоев, которые, как я надеялся, я давно забыл. Эти проклятия, от которых его как ветром сдуло с платформы, стали странным прощанием с моими сторонниками".

Позже ему несколько раз предлагали выставить свою кандидатуру в парламент, но он отказался и до конца жизни пытался оказать влияние на современные ему события более непосредственным образом. Например: он основал стрелковый клуб в Андершо, первый образец миниатюрных клубов-тиров для стрельбы из винтовок, значение которых стало ясно в войне 1914—1918 годов; он выступал за строительство туннеля (или туннелей) под Ла-Маншем, отсутствие которого самым жестоким образом дало себя знать в той же войне; он стал президентом ассоциации бой-скаутов в Кроуборо; на протяжении десяти лет он был председателем Союза за реформу закона о разводах; два года вместе с И. Д. Морелем он работал над созданием Ассоциации в защиту Конго, выступая где только можно с речами о жестокостях в этой стране; он написал книгу "Преступление в Конго", которая произвела такое впечатление на общественное мнение, что бельгийское правительство было вынуждено облегчить жизнь туземного населения; он всегда был готов бороться на стороне обездоленных и много позже выступил в защиту горничных брайтонской гостиницы "Метрополь", которым уменьшили жалованье. "Наш долг по отношению к слабым превышает любой другой долг и стоит превыше любых обстоятельств", — писал Дойл в романе "Мика Кларк". Он явно осознавал этот долг намного острее, чем любой другой человек его времени. Многие готовы бороться за человечество и стать мучениками во имя абстрактных принципов, но Дойлу было присуще гораздо более редкое качество — готовность бороться за каждого отдельного человека, порой, благодаря своей эксцентричности, балансируя на грани смешного. Особенно выделяются два случая в его жизни, которые необходимо отметить.

В начале нашего века викарием деревни Грейт-Уирли в графстве Стрэффордшир был парс по имени Идалджи, женатый на англичанке. У них было двое детей — сын и дочь. В деревне семья популярностью

не пользовалась, возможно, потому, что местные жители считали, что у парса они ничего нового о христианстве не узнают. В адрес викария постоянно поступали анонимные письма с угрозами и непристойной бранью. В то же самое время в районе было зарегистрировано несколько случаев жестокого калечения лошадей, и власти подверглись острой критике за то, что они не принимают необходимых мер для поимки преступника. В конце концов полиции удалось установить связь между автором анонимных писем и садистом, калечившим лошадей, так как в письмах появлялись упоминания о преступлениях. И в той странной манере, свойственной полиции, когда она хочет заглушить критику, полицейские умудрились опознать в авторе анонимок и в преступнике сына викария, Джорджа Идалджи, которого арестовали, судили и в 1903 году приговорили к семи годам тюремного заключения. Все это дело было ему "пришито" полицией, и приговор был настолько вопиюще несправедлив, что начались протесты, и волнение общественности нашло отражение на страницах газет. Но молодой Идалджи отсидел бы свой срок и вышел бы из тюрьмы сломленным человеком, если бы в 1906 году Конан Дойлу не попалась бы случайно газета "Ампайр", где он прочел заявление осужденного, каждое слово которого дышало правдой.

Немедленно все отложив, Дойл полностью погрузился в это дело. Он изучил протоколы суда, опросил членов семьи Идалджи и осмотрел места преступлений. Среди прочего он установил, что у Джорджа Идалджи, изучавшего юриспруденцию и написавшего книгу по железнодорожному праву, была еще со школьных дней незапятнанная репутация, что бирмингемский адвокат, у которого он работал, не мог сказать о нем ничего, кроме хорошего, что во время учебы он получал по юридическим наукам самые высокие баллы, никогда не проявлял ни малейших признаков жестокости, был тихим, скромным, усердным, здравомыслящим человеком и настолько близоруким, что не мог узнать никого с расстояния в шесть ярдов. Последнее обстоятельство было решающим, потому что молодому человеку, чтобы совершить те преступления, в которых его обвиняли, надо было пересечь многочисленные железнодорожные пути, перелезть через несколько изгородей, пробраться сквозь провода и преодолеть немало других препятствий — и все это в темноте, не говоря уж о том, чтобы выбраться из общей спальни с отцом, который спал очень чутко, всегда запирал дверь и поклялся, что его сын никуда по ночам не отлучался.

Дойл написал об этом деле серию статей, которые были опубликованы в газете "Дейли телеграф" (январь 1907 года) и произвели такую сенсацию, что правительство назначило специальный комитет для проверки улик. Комитеты обычно чрезвычайно глупы, и этот ни в коем случае не был исключением. Он оправдал Идалджи от обвинений в калечении лошадей, но, поскольку члены комитета поддерживали теорию, что молодой человек писал анонимные письма, Идалджи было отказано в какой-либо компенсации на основании того, что он якобы способствовал ошибке правосудия. Идалджи был немедленно освобожден, и Общество юристов восстановило его в коллегии адвокатов, но он не

получил ни фартинга, хотя отсидел больше трех лет за преступление, которого не совершал. 300 фунтов, собранные по инициативе "Дейли телеграф", он отдал своей тетке, которая оплачивала его защиту на суде.

В результате своего расследования Дойл смог убедительно доказать, что письма были написаны, а лошади искалечены одним местным жителем с преступным прошлым, и он передал улики в распоряжение властей. В ответ на это министр внутренних дел лорд Гладстоун так же убедительно доказал, что он по праву возглавляет правительственное министерство, отказавшись признать факты, говорившие сами за себя, например, что преступник показывал одному человеку лошадиный ланцет, заявив, что именно этим были искалечены лошади, что он в свое время работал на бойне и был опытным мясником, что он часто писал анонимные письма, что почерк его и его брата соответствовал почерку, которым были написаны фигурировавшие в деле письма, что у него периодически бывали приступы помешательства, что, когда он уезжал куда-нибудь, письма и преступления прекращались и возобновлялись после его приезда, что преступления продолжались и тогда, когда Идалджи сидел в тюрьме, и так далее. Дойл решил, что бюрократы министерства внутренних дел сошли с ума, раз они проигнорировали доказательства, которые он передал в их распоряжение, но скорее можно усомниться в здравом уме того, кто рассчитывает на справедливость и здравомыслие бюрократов.

Два года спустя он участвовал в решении другой загадки, но на этот раз он столкнулся не столько с тупостью, сколько с несправедливостью властей. После того как он успешно вступился за Идалджи, Дойла осаждали с таким количеством просьб оправдать осужденных, что за дело Оскара Слейтера он взялся с большой неохотой. Но когда он, наконец, по рекомендации нескольких людей изучил материалы дела, то пришел к выводу, что это еще более чудовищное извращение правосудия, чем в случае с Идалджи.

21 декабря 1908 года в квартиру жительницы Глазго мисс Гилкрист проник мужчина, размозжил ей голову тупым предметом, перерыл документы, которые остались разбросанными по полу, не украл ничего, кроме (возможно) бриллиантовой броши, и, выходя из квартиры, был замечен служанкой убитой, Элен Ламби, которая вышла купить газету, и жившим этажом ниже мистером Адамсом, который выбежал из своей квартиры, услышав три стука — сигнал, что мисс Гилкрист нуждается в его помощи.

Глазго, естественно, был в ужасе, и детективы принялись отыскивать убийцу. Немецкий еврей Оскар Слейтер, "известный полиции", отправился из Глазго в Нью-Йорк через несколько дней после преступления. "Подозрительно", — подумали полицейские. Он сел на корабль под вымышленной фамилией. "Очень подозрительно", — подумали полицейские. Перед отплытием он заложил бриллиантовую брошь. "Все ясно", — подумали полицейские. И хотя они вскоре выяснили, что заложенная брошь всегда принадлежала Слейтеру, они потребовали его выдачи и, тщательно обработав ряд свидетелей, послали их в Нью-Йорк для опознания Слейтера. Здесь необходимо отметить несколько

любопытных моментов. Полиции стало известно, что заложенная брошь — собственность Слейтера, 26 декабря, однако телеграмма с просьбой арестовать его была отправлена лишь 29 декабря, и, когда Слейтер прибыл в Нью-Йорк, его подвергли обыску, чтобы найти квитанцию на брошь. Таким образом, с самого начала полиции удалось умышленно создать атмосферу вины вокруг Слейтера. Из трех свидетелей, которые могли бы признать в нем убийцу, Адамс был близорук и отказался опознавать кого бы то ни было под присягой, Элен Ламби после некоторого колебания и различных уверток сказала, что Слейтер — тот, кого она видела, а четырнадцатилетняя девочка Барроумен, находившаяся в момент убийства на улице и заметившая, как кто-то выбежал из подъезда, заявила сначала, что тот человек похож на Слейтера, а потом — что это и был Слейтер, хотя она видела в свете фонаря только его силуэт. На суде Ламби и Барроумен, прибывшие в Америку в одной каюте, заявили под присягой, что за все время плавания ни разу не обсуждали цель поездки. Одно это должно было заставить усомниться в их надежности в качестве свидетелей.

До завершения формальностей, связанных с выдачей Слейтера британским властям, он выразил готовность вернуться в Англию, и суд над ним состоялся в Эдинбурге в мае 1909 года. Раз брошь не могла быть уликой, полиции надо было срочно придумать что-то новое. Нет ничего проще. У Слейтера был короткий молоток. На нем, правда, не было следов крови, как не было их и ни на одном из костюмов обвиняемого, но отсутствие следов доказывало лишь коварство и предусмотрительность преступника. У Слейтера было алиби, но одна из свидетельниц оказалась его любовницей, и она, как было решено, не внушала доверия, более того, сам факт ее существования лишь подчеркивал его вину в глазах высокоморального сообщества. Свидетель Макбрейн мог дать показания в пользу Слейтера, но полиция не сообщила о нем адвокатам. Весь суд был безнадежно пристрастным. Не было предпринято никаких попыток доказать, что Слейтер был как-то связан с мисс Гилкрист или ее служанкой; но защита не воспользовалась этим и, несмотря на совет Слейтера, не вызвала его самого в качестве свидетеля. Обвинитель в припадке судебного красноречия делал многочисленные заявления, в которых не было ни слова правды, но судья ни разу не призвал его к порядку, и присяжные вынесли вердикт не в пользу Слейтера — девять проголосовали за то, что он виновен, один — за то, что не виновен, и пять — за то, что вина не доказана. Он был приговорен к смертной казни, но стали раздаваться голоса с просьбой о смягчении приговора, и за два дня до приведения приговора в исполнение смертную казнь ему заменили пожизненным заключением.

Дойл был убежден в невиновности Слейтера, он начал кампанию в прессе и выпустил книгу, что вынудило правительство поручить в 1914 году специально назначенному комиссару (шерифу Миллеру) заново рассмотреть этот вопрос. Поскольку вероятность того, что полиция фальсифицировала улики, сразу была отвергнута и поскольку показания давались не под присягой, Миллер смог заявить, что нет никаких оснований опротестовывать приговор. Это было для всех крайне удобно. Но,

не желая отставать от полиции в служебном рвении, Миллер отыскал еще одного козла отпущения. Лейтенант Тренч, молодой, подающий надежды сыщик из Глазго, считавший Слейтера невиновным, сказал, что в ночь убийства Элен Ламби назвала преступником совсем другого человека. Миллер поднял его на смех, отказался ему верить, и вскоре Тренч был уволен из полиции без выходного пособия. Позже он был арестован по подозрению в совершении уголовного преступления, но, к счастью, судья (Скотт Диксон) с презрением отмел это абсолютно надуманное обвинение. Испытания, которым подвергся Тренч, укоротили его жизнь. Но в ходе расследования, проведенного Миллером, выявилось одно важное обстоятельство. На суде было заявлено, что Слейтер остановился в ливерпульской гостинице под чужим именем, ибо заметал следы. Теперь же было доказано, что остановился он под своей фамилией, хотя на пароходе взял другую, чтобы, как он признался, начать в Америке новую жизнь.

После доклада Миллера дело, казалось, было закрыто навсегда. Но на каждого нового Секретаря по делам Шотландии Дойл обрушивал лавину требований пересмотреть дело Слейтера заново. Ничего не менялось до 1927 года, до освобождения Слейтера из питерхедской тюрьмы, где он просидел восемнадцать лет. Под влиянием сборника доказательств, составленного журналистом из Глазго Уильямом Парком, решительно отказывавшимся верить в виновность Слейтера, Дойл снова поднял кампанию в прессе с требованием повторного суда. Секретарь по делам Шотландии сэр Джон Гилмур уступил давлению, и дело было рассмотрено апелляционным судом, состоявшим из пяти судей. К этому времени стали известны некоторые новые факты. Элен Ламби созналась одному репортеру, что она узнала в ту ночь убийцу, и это был не Слейтер, но полиция уговорила ее дать ложные показания, за что она получила 40 фунтов стерлингов. Барроумен призналась, что она никогда не была уверена, что именно Слейтера она видела на улице, но ей ее показания подсказали власти, и прокурор репетировал их с ней пятнадцать раз. Ее вознаграждение составило 100 фунтов. 20 июня 1928 года приговор в отношении Слейтера был отменен, ему присудили 6000 фунтов компенсации. Дойл увидел его впервые в зале суда во время нового слушания дела, он перегнулся через скамьи, протянул руку и сказал: "Привет, Слейтер!"

К сожалению, их общение на этом не закончилось. Правительство отказалось покрывать судебные издержки, часть которых оплатила еврейская община; но поскольку апелляцию подал Дойл, он по закону должен был внести недостающие несколько сотен фунтов. Дойл думал, что Слейтер должен вернуть ему эти деньги из полученной им компенсации. Слейтер же считал, что это забота правительства, раз оно во всем виновато. И так как правительство с этим согласиться не могло, в отношениях Дойла и Слейтера возникли серьезные трения по вопросу о том, кто же должен платить. "Это было болезненное и грязное послесловие к такой истории", — писал Дойл. Он был очень обижен неблагодарностью Слейтера, и, когда кто-то в оправдание Слейтера сказал, что ему выпала тяжелая доля, Дойл ответил: "Да, но он сваливает ее на других". В конце концов Дойл настоял на своем.

Следует остановиться еще на одной истории, которая показывает его под другим углом и сама по себе представляет определенный исторический интерес. Точно так же, как он олицетворял настроения среднего человека, который инстинктивно бросается на помощь беззащитным, так же он разделял и выражал чувства обычного гражданина, которого трогает за живое романтическая и сентиментальная сторона трагических событий. В дуэли между ним и Бернардом Шоу по поводу гибели "Титаника" проявились два типа ирландского характера: один импульсивный, серьезный, романтический католик, другой — логик, сатирик, реалист-протестант.

Лайнер "Титаник" (46328 тонн) компании "Белая звезда" с 2201 человеком на борту вышел из Саутгемптона в среду 10 апреля 1912 года, зашел в Шербур и днем 11 апреля отправился из Куинстауна в свое первое плавание через Атлантический океан. На борту находился управляющий директор компании мистер Исмей; корабль шел на большой скорости: около двадцати двух с половиной узлов. В воскресенье, четырнадцатого, на "Титанике" были получены по радио сообщения с других судов о том, что в районе следования лайнера замечены айсберги. Ни одно из этих сообщений не оказало ни малейшего влияния ни на курс, ни на скорость корабля. Его капитан — Смит — делал то, что делали до него многие другие. Вблизи скоплений льда было принято сохранять прежний курс и скорость и надеяться на остроту зрения впередсмотрящего. Пассажиры рассчитывали быстро пересечь океан; между различными трансатлантическими компаниями шла конкуренция; и никаких неприятностей пока не было. С шести часов вечера в воскресенье погода была хорошая и ясная, ночь была безоблачная, безлунная, небо было усыпано звездами. Незадолго до 23.40 один из дозорных на мачте трижды ударил в колокол и сообщил по телефону на мостик: "Прямо по курсу айсберг!" Почти одновременно вахтенный офицер дал приказ: "Право руля!" — и отдал команду в машинное отделение: "Полный назад!" Но айсберг был замечен на расстоянии только пятисот ярдов, и, хотя штурвал резко вывернули вправо, скорость была слишком большой, и именно правым бортом "Титаник" и врезался в айсберг.

Около полуночи стало ясно, что корабль тонет, и был отдан приказ расчехлить все четырнадцать шлюпок. К сожалению, не было ответственного за шлюпки и не проводилась ни разу учебная тревога, и, хотя члены экипажа заранее получили инструкции, в которых было указано, к каким шлюпкам они приписаны, многие не потрудились даже их прочесть и не знали свои шлюпки. Соответственно, в таком сумбуре шлюпки были приготовлены с опозданием, смятение усиливал оглушительный вой вырывающегося пара. Тем временем стюарды будили пассажиров, помогали им надеть спасательные жилеты и выводили их на шлюпочную палубу. Примерно в полпервого был отдан приказ посадить в шлюпки женщин и детей. Многие женщины отказались покинуть судно, некоторые — потому что не хотели покидать своих мужей; они не понимали всей серьезности происходящего, и, вообще, они слышали, что к "Титанику" спешит "Карпатия". Плохая организация и паника привели к тому,

что многие шлюпки были спущены на воду, заполненные едва наполовину, и, хотя море было спокойное, экипажи почти не предпринимали попыток спасти оказавшихся в воде после того, как корабль ушел под воду. Капитан и четыре его помощника погибли вместе с кораблем в 2 часа 20 минут, и спаслись лишь 711 человек.

Английские газеты раздули эту историю, и 14 мая под заголовком "Некоторые неупомянутые моральные соображения" Бернард Шоу ответил английским газетам в "Дейли Ньюс энд Лидер".

"Почему какая-либо сенсационная катастрофа повергает современную нацию не в слезы, не в молитву, не в волну сочувствия к тем, кто потерял близких, или поздравлений спасенным, не в поэтическое выражение души, очищенной ужасом и жалостью, а в безумие вызова неотвратимой Судьбе и неоспоримому Факту взрывом чудовищной романтической лжи?

Каково первое требование романтики во время кораблекрушения? Это возглас: "Сначала Женщины и Дети!" Ни одно существо мужского пола не может сесть в шлюпку, пока на обреченном корабле есть хоть одна женщина или ребенок. Как будут грести и управлять лодкой младенцы и женщины с этими младенцами на руках, не обсуждается. Вероятность того, что ни одна разумная женщина не сядет в шлюпку или не пустит туда своего ребенка, пока там не будет достаточного количества мужчин, в расчет не принимается. "Сначала Женщины и Дети!" — такова романтическая формула. И никогда хор торжественного восторга в связи со строгим соблюдением этой формулы британскими героями на борту "Титаника" не звучал столь надрывно, как в газетах с рассказом о кораблекрушении спасенного очевидца, леди Дафф Гордон. Она спаслась в капитанской шлюпке. Там была еще одна женщина и десять мужчин, всего двенадцать человек. Одна женщина на пять мужчин. Хор: "Не раз и не два в трудной истории нашего острова...". И т. д., и т. п.

Второе романтическое требование. Хотя все мужчины (кроме иностранцев, которые, пытаясь по телам женщин и детей захватить шлюпки, должны быть застрелены суровыми британскими офицерами), конечно же, герои, капитан должен быть сверхгероем, великолепным моряком, хладнокровным, храбрым, презирающим смерть и опасность и живой гарантией того, что в кораблекрушении никто не виноват, что, наоборот, оно — триумф британского мореплавания.

Именно таким человеком был провозглашен капитан Смит в тот день, когда поступили сообщения (и им, судя по всему, действительно поверили), что он застрелился на мостике, или застрелил старшего помощника, или был застрелен старшим помощником, ну, в общем, стрелял, дабы эффектно опустить занавес. Журналисты, и не слышавшие никогда ранее про капитана Смита, писали о нем так, как не писали бы и о Нельсоне. Точно известно было одно: капитан Смит потерял свой корабль, сознательно и преднамеренно направив его в поле айсбергов на самой высокой скорости, какую был способен развить "Титаник". Он заплатил за это, как и большинство людей, за жизнь которых он отвечал. Если бы корабль и пассажиры в целости и сохранности достигли берега, никто бы о нем и не вспомнил.

Третье романтическое требование. Офицеры должны быть спокойными, гордыми, хладнокровными в те короткие мгновения, когда они стреляют в обезумевших от ужаса иностранцев. Было решено единогласно, что они превзошли все ожидания. Стало известно, что мистера Исмея офицер его шлюпки послал к черту и что сидевшие в незаполненных шлюпках отказывались помочь тем, кто барахтался в воде в пробковых жилетах. Причину этого называют весьма откровенно — они боялись. Этот страх был так же естествен, как и выражения, которыми офицер ответил мистеру Исмею. Кто из нас, сидя дома, посмеет обвинить их или с уверенностью заявить, что мы были бы хладнокровнее или отважнее? Но неужели необходимо заверять весь мир, что лишь англичане могли вести себя столь героически, и сравнивать их поведение с гипотетической трусостью, которую матросы-индийцы, или итальянцы, или, вообще, иностранцы — скажем, Нансен, или Амундсен, или герцог Абруцци, — проявили бы в подобных обстоятельствах?

Четвертое романтическое требование. Все должны встречать смерть, не дрогнув; и оркестр, как в случае с "Биркенхедом", должен играть "Все ближе, Господь, к Тебе", аккомпанируя офицеру, предложившему мистеру Исмею отправиться к черту. Естественно, было объявлено, что все так и было. Реальные события: капитан и офицеры так боялись паники, что, хотя они и знали, что корабль тонет, они не осмелились сказать об этом пассажирам — особенно пассажирам третьего класса, — и оркестр играл регтаймы, чтобы успокоить пассажиров, которые, разумеется, не сели в шлюпки и не понимали всей опасности положения до тех пор, пока шлюпок уже не было, и корабль не перевернулся перед тем, как пойти ко дну. Что было потом, поведала леди Дафф Гордон и с трудом смогли заставить себя рассказать свидетели, опрошенные Американской комиссией по расследованию.

Я спрашиваю, зачем все это отвратительное, святотатственное, бесчеловечное, мерзкое вранье? Произошло несчастье, которое любого гордеца сделает смиренным, самого необузданного шутника — серьезным. Нас оно делает тщеславными, нахальными и лживыми. По крайней мере, так решили журналисты. Правы они или нет? Действительно ли пресса в данном случае представляет читающую публику? Боюсь, что да. Церковники и политики приняли такой же тон. Все это вызвало во мне глубокое отвращение, чувство почти национального позора. Может быть, я сошел с ума? Возможно. В любом случае, так я ко всему этому отношусь. Мне кажется, что, когда людей что-то глубоко трогает, они должны говорить правду. Судя по всему, английская нация встала на совершенно противоположную точку зрения. Я снова в меньшинстве. Когда же это кончится — для Англии, я имею в виду. Предположим, что мы вступим в конфликт с нацией, которая имеет смелость смотреть фактам в лицо и мудрость реально себя оценивать. К счастью для нас, такой нации не видно. Наше жалкое утешение должно заключаться в том, что любая другая нация вела бы себя так же абсурдно".

15 мая Гарольд Спендер выступил в защиту человеческой расы, он назвал Шоу Мефистофелем, "духом отрицания", и породил журналистский перл: "Уберите все рассказы о ложном пафосе и низких

деяниях — и все равно останется звезда! Выбросьте весь шлак в отходы — и и все равно появится самородок чистейшей руды!" Протест Конан Дойла появился 20 мая.

"Сэр, я только что прочел статью г-на Бернарда Шоу о гибели "Титаника", опубликованную в вашей газете 14 мая. Написана она якобы в интересах истины и обвиняет всех вокруг во лжи. Никогда, однако, не встречал я сочинения, в котором в то же время было бы столько лжи. Как может человек с такой легкостью и небрежностью писать о таком событии в такое время, превосходит всякое понимание. Давайте рассмотрим некоторые из его положений. Г-н Шоу желает — дабы подкрепить свой извращенный тезис о том, что проявлений героизма не было, — обратиться к цифрам, чтобы показать, что женщины не пользовались приоритетом при спасении. Поэтому он выбирает одну-единственную шлюпку, самую маленькую из всех, спущенную на воду и укомплектованную при весьма необычных обстоятельствах, которые сейчас расследуются. Раз в шлюпке было десять мужчин и две женщины, значит, не было героизма и рыцарства, и все разговоры об этом — вымысел. Хотя г-ну Шоу известно так же хорошо, как и мне, что, если бы он взял следующую шлюпку, он был бы вынужден признать, что из 79 находившихся в ней человек было 65 женщин и что почти во всех шлюпках грести было практически некому, настолько мало там было мужчин. Поэтому, дабы создать ложное впечатление, он специально выделил одну шлюпку, хотя он не мог не знать, что таким образом он извращает общую ситуацию. Так ли ведутся порядочные дискуссии, и имеет ли писатель хоть какое-нибудь право обвинять своих современников во лжи?

Следующий его абзац посвящен попытке очернить поведение капитана Смита. Он делает это с помощью своего излюбленного метода "Suggestio falsi" — ложной посылки о том, что сочувствие, выраженное общественным мнением по отношению к капитану Смиту, приняло форму оправдания того, как капитан Смит командовал кораблем. Но все — включая г-на Бернарда Шоу — прекрасно знают, что никто не пытался оправдать тот риск, на который пошел капитан, и что сочувствие было адресовано старому, почтенному моряку, который совершил одну ужасную ошибку и который сознательно отдал жизнь во искупление, отказался от спасательного жилета, до последнего пытался помочь тем, кому он невольно причинил горе, и, наконец, подплыл с ребенком к шлюпке, в которую он сам отказался сесть. Таковы факты, и утверждения г-на Шоу о том, что кораблекрушение было провозглашено "триумфом британского мореплавания", лишь показывают — хотя показывать это не было необходимости, — что для г-на Шоу фраза важнее истины. То же относится и к его словам "писали о нем так, как не писали бы и о Нельсоне". Если г-н Шоу покажет мне статью хоть одного серьезного журналиста, в которой капитана Смита описывают теми же словами, что и Нельсона, я с удовольствием пошлю 100 фунтов в Фабианское общество.

Следующее предположение г-на Шоу — тем более ядовитое, что выражено оно лишь несколькими словами, — что офицеры не выполнили

свой долг. Если его туманные заявления что-то и значат, они могут означать только это. Он приводит, как преступление, слова Лоу мистеру Исмею, когда тот стал мешать ему со спуском шлюпки. Я не могу представить себе лучший пример того, как офицер выполняет свой долг, чем то, что он осмелился так разговаривать с управляющим директором компании, в которой он работает, когда подумал, что директор мешает ему делать все необходимое для спасения людей. Один из младших офицеров погиб вместе с капитаном, и я полагаю, даже г-н Шоу не смог бы требовать от него большего. Что касается остальных офицеров, я не слышал и не читал ничего такого, что давало бы хоть какие-то основания критиковать их действия. Г-на Шоу обижает тот факт, что один из них разрядил свой револьвер, чтобы усмирить некоторых иностранных эмигрантов, грозивших прорваться к шлюпкам. То, что эти пассажиры были эмигрантами, нам известно от нескольких очевидцев. Может быть, г-н Шоу считает, что этот факт следовало замолчать? И наконец, г-н Шоу пытается извратить прекрасный эпизод с оркестром, утверждая, что музыканты играли по приказу, чтобы предотвратить панику. Но даже если это так, как это опровергает разумность приказа или героизм музыкантов? Решение предотвратить панику было правильным, и замечательно, что есть люди, которые смогли сделать это именно таким образом.

Что же до общего обвинения, что катастрофой воспользовались с целью прославить британский характер, мы, действительно, были бы пропащим народом, если бы не чтили мужество и дисциплину в самых чистых их проявлениях. То, что наши симпатии отданы не только нашим соотечественникам, видно из того, как превозносится поведение американских пассажиров-мужчин, и особенно столь часто ругаемых миллионеров, — так же тепло, как и любое другое событие всей этой замечательной эпопеи. Но, конечно же, жалкое зрелище являет собой человек несомненной гениальности, который использует свой дар для того, чтобы выставить в ложном свете и оклеветать свой собственный народ, не говоря уж о том, что его слова, должно быть, лишь усугубили горе тех, на долю кого и так выпало больше, чем достаточно".

Шоу опубликовал свой ответ 22 мая.

"Сэр, я надеюсь убедить моего друга, сэра Артура Конан Дойла, перечитать сейчас, когда он выплеснул накопившийся у него в душе романтический и сердечный протест, мою статью еще три-четыре раза и поделиться с вами новыми мыслями по этому поводу; ибо просто невозможно, чтобы любой разумный человек не согласился с каждым написанным мною словом.

Я еще раз утверждаю, что, когда приходит сообщение о кораблекрушении и никакие подробности пока неизвестны, а журналисты начинают немедленно эти подробности изобретать, они лгут. Не имеет значения, если точные сведения о происшедшем приходят позднее и, может быть, подтверждают одну или две мелочи из их наиболее очевидных догадок. Первые ставшие нам известными рассказы мы получили от человека, который как раз и спасся в шлюпке, где было десять муж-

чин, две женщины и много свободного места, и от человека из другой шлюпки, которая, как и первая, отказалась вернуться на место катастрофы, чтобы спасти тонущих, потому что людям, в ней находившимся, по их собственному признанию, было страшно. Именно получив эту информацию, и только эту, газеты опубликовали восторженные репортажи о женщинах и детях. Сэр Артур говорит, что я "выбрал" эти две шлюпки, чтобы подкрепить мою мысль. Конечно. Я хотел доказать правильность моих мыслей. И доказал с их помощью. И могу доказать и в дальнейшем. Моя мысль заключается в том, что наши журналисты писали, совершенно не учитывая реальные факты; что они намного горячее восхваляли героев "Титаника" в тот день, когда единственные имевшиеся факты свидетельствовали о поведении, за которое солдата бы расстреляли, а военного моряка повесили бы, чем тогда, когда поступили сообщения об офицерах и матросах, действительно выполнивших свой долг. Моя мысль заключается в том, что любому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что если бы во всей этой истории не было ни одной искупающей ее черты, то все равно точно такие же "помои" (как в своем праведном гневе их называет г-н Каннигем Грэм) были бы излиты на самых последних негодяев, как и на экипаж наших дорогих героев. Популярность капитана явно упала после того, как была опровергнута сознательная и клеветническая ложь, что он застрелился. Могу ли я спросить, какова настоящая ценность героизма в стране, в которой находит отклик подобная жалкая романтика, придуманная людьми, которые в конце концов ничего не могут написать, кроме репортажей о сенсационной трусости? Согласился бы сэр Артур принять медаль из рук тупых лжецов, которых он защищает?

Сэр Артур обвиняет меня во лжи, и я должен сказать, что после него я не чувствую особого воодушевления говорить правду. Сам он против своей воли пишет самую, на мой взгляд, громоподобную ложь, которую человек, автор, когда-либо передавал в типографию. Сначала он говорит, что я "привожу, как преступление" слова офицера, который послал г-на Исмея к черту. Это не так. Я сказал, что такой поступок очень естествен, хотя, с моей точки зрения, в нем нет ничего героического или вызывающего восхищения. Если я ошибаюсь, то в таком случае я заявляю, что я тоже герой, потому что и мне случалось в трудных обстоятельствах терять контроль над собой и произносить те же слова, которые приписывает (сам себе) этот офицер. Но сэр Артур дальше пишет: "Я не могу представить себе лучший пример того, как офицер выполняет свой долг, чем то, что он осмелился так разговаривать с управляющим директором компании, в которой он работает, когда подумал, что директор мешает ему делать все необходимое для спасения людей". Можете, сэр Артур, и многие написанные вашей рукой страницы героической романтики подтверждают, что вы часто представляли себе лучшие примеры. Понятие героизма не пало еще так низко, ваше воображение вас не покинуло, у вас нет размягчения мозга — вы не можете не увидеть ложный пафос, лживую возвышенность ситуации, когда офицер посылает к черту самого управляющего директора

(богоподобное существо!). Я не позволил бы так клеветать на вас и вашим врагам. Но раз вы так великодушно сами себя оклеветали, нечего читать мне лекции о безответственной лжи, ибо тем поразительным предложением, которое я только что процитировал, вы сами побили все рекорды.

Я не приму предложение сэра Артура пересылать в Фабианское общество по сотне фунтов за каждое гипернельсоновское восхваление покойного капитана Смита, появившееся в газетах в те первые дни и отвечающее моему весьма мягкому их определению. Я хочу, чтобы Фабианское общество было кредитоспособным, но не ценой полного разорения друга. Я не стал бы добавлять ни слова к фактам, которые и так слишком говорят сами за себя, и рисковать углубить горе семьи капитана Смита, если и другие были бы столь же тактичны. Но если горластые журналисты будут и дальше восхвалять адвоката, клиентов которого отправляют на виселицу, врача, пациенты которого умирают, генерала, который проигрывает сражения, и капитана, корабль которого идет ко дну, такую фальшивую монету надо любой ценой приколачивать к прилавку. Были английские капитаны, которые в целости и сохранности проводили свои корабли через поля айсбергов просто потому, что они выполняли свой долг и строго соблюдали инструкцию. Были английские капитаны, которые следили за тем, чтобы члены их экипажа знали свои шлюпки и свои места в шлюпках, и которые, когда возникала необходимость прибегнуть к этим шлюпкам, сохраняли дисциплину перед лицом смерти и не потеряли ни одной жизни из тех, что можно было спасти. И чаще всего никто им даже не говорил "спасибо", потому что они не совершали столько оплошностей, чтобы возбудить эмоции наших романтических журналистов. Вот такими людьми я восхищаюсь, и с ними я предпочитаю пускаться в плавание.

Я не хочу сказать, что я хоть на минуту поверил, будто погибшие действительно произносили всю эту слезливую чушь, которую им приписывают глупцы и лгуны. Точно так же я не забываю, что капитана могло быть просто не слышно и не видно в этих огромных плавучих (тонущих) гостиницах — в отличие от крейсера, или что организовать толпу официантов и обслуживающего персонала куда труднее, чем экипаж опытных моряков. Но никакой предлог, сколь хорош он бы ни был, не может превратить неудачу в успех. Сэр Артур не может не знать, как бы разворачивались события, будь "Титаник" Королевским кораблем, или что сказал и сделал бы военный трибунал на основании свидетельств, ставших известными в последние дни. Благодаря тому, что член моей семьи работал в трансатлантической компании, и, может быть, потому, что я знаю по личному опыту, что значит для лайнера опасность встретить лед, я знаю также, что нет никакого героизма в том, чтобы утонуть, если этого невозможно избежать. Капитан "Титаника" не совершил, как думает сэр Артур, "ужасной ошибки". Он ни в чем не ошибся. Он прекрасно знал, что в его профессии лед — единственное, что считается по-настоящему смертельной опасностью, и, зная это, он рискнул и проиграл. Сентиментальные идиоты с дрожью в голосе говорят мне, что "его поглотила пучина". Я отвечаю им с тем нетерпели-

вым презрением, которого они заслуживают, что пучина может поглотить и кошку. Героизм — это необыкновенно благородное поведение, порожденное необыкновенно благородным характером. Он может быть вызван необыкновенными обстоятельствами, его драматическое воздействие может быть усилено жалостью и ужасом, смертью и разрушением, темнотой и глубинами вод, но ничто из этого не является само по себе героизмом; и делать вид, что это не так, — значит обесценивать моральные ценности, заменяя понятие возвышенного успеха фактом сенсационного несчастья.

Я так же принимаю близко к сердцу трагедию катастрофы, как и любой другой человек; но из-за невыносимой провокации, из-за отвратительной и бесчестной чепухи я был вынужден призвать наших журналистов прийти в себя и сказал открыто, что все происшедшее было опозорено бесчувственным всплеском романтического вранья. Я хочу только добавить, что, если бы, когда я это говорил, мне были известны факты, полученные комиссией лорда Мерси относительно "Калифорнийца" и шлюпки с "Титаника", я, вероятно, выразился бы еще сильнее. Сейчас я воздерживаюсь от этого только потому, что факты побеждают истерику и без моей помощи".

Из рассказов спасшихся уже нельзя было выудить ничего сентиментального или героического, и Дойл закрыл дискуссию со спокойным достоинством 25 мая.

"Сэр, не желая продолжать спор, который не может не оказаться бесплодным, я хочу остановиться лишь на одной фразе из ответа г-на Шоу на мое письмо. Он говорит, что я обвинил его во лжи. В таком нарушении правил дружеской дискуссии я не повинен. Самое худшее, что я могу подумать или сказать о г-не Шоу, это то, что среди многих его блистательных талантов нет умения взвешивать факты и свидетельства; также у него нет черты характера — назовите это хорошим вкусом, гуманностью или как вам будет угодно, — которая не дает человеку бессмысленно обижать чувства других людей".

Дойл, очевидно, не счел нужным соотнести свое утверждение, что он не обвинял Шоу во лжи, с более ранним заявлением, что он никогда не встречал "сочинения, в котором в то же время было бы столько лжи", как в письме, вызвавшем его негодование. Читатели газеты не настаивали на точности, так как девяносто девять процентов из них предпочли бы ошибаться с Конан Дойлом, чем быть правыми с Бернардом Шоу.

Адриан Конан Дойл.

Истинный Конан Дойл *

<…> Прежде чем приступить к изложению некоторых фактов, я хотел бы обратиться к тем читателям, которые, возможно, разделяют неверное представление, будто взгляд сына на своих родителей подвержен естественным искажениям. Опыт моей жизни подтверждает, что справедливее обратное. Ведь сыну приходится сталкиваться не только с отцовскими добродетелями, но и с самыми худшими его слабостями, и если только сын не лишен здравого рассудка, он имеет возможность основывать свои оценки на личном опыте, а не на наблюдениях за парадной витриной. Конан Дойл по происхождению был южным ирландцем, с присущим ирландцам бурным темпераментом, и я любил его за то, что он был хорошим отцом и замечательным товарищем. В то же время — и здесь мне придется разочаровать нынешних идеалистов — он нередко внушал мне смертельный страх. Речь не о физическом страхе, а о сознании, что в этом "великом и сердцем, и телом, и духом" человеке (я привожу высказывание Джерома о Конан Дойле) угадывалась железная воля того, кто не способен ни понять, ни простить малейшего отклонения от единственного кодекса чести, которого он сам придерживался. <…>

Хотя мой отец был еще мальчиком, когда скончался его дедушка, влияние Джона Дойла было определяющим. Призрачная рука традиции коснулась процесса становления личности. И оттого нам следует обратить особое внимание на Джона Дойла. Уже более столетия минуло с тех пор, как личность художника, скрывшегося за загадочным псевдонимом "НВ", была предметом жарких споров в обществе, но документы, имеющиеся в моем распоряжении, помогут освежить потускневшую картину. В двадцатых годах прошлого века объявился гений, чьи анонимные карикатуры настолько захватили внимание публики, что их появление в книжных лавках или витринах издателей сопровождалось длиннющими очередями — это повторилось семьдесят лет спустя, когда стали появляться произведения его внука. В. дело были замешаны крупные политические деятели. Как на автора этих карикатур молва,

---

* Мы уже говорили в предисловии о той роли, какую сыграла книга Адриана Конан Дойла "Истинный Конан Дойл" в истории написания биографии писателя. Сейчас, представляя читателям книгу в почти полном виде (за исключением уже цитированных мест и пассажей, посвященных подробному описанию генеалогического древа), мы хотели бы, в силу избранного нами принципа "параллельных жизнеописаний", дать пример еще одного взгляда на жизнь великого человека, пример оценки его жизни близкими людьми, пример страстной — даже пристрастной — апологии. (*Примеч. переводчика.*)

в частности, указывала на Хейдона, который благородно отклонил это предположение словами: "Но ведь он гений". И в то время как "инкогнито" оставалось неразгаданным, ирландский художник Джон Дойл невозмутимо продолжал выставлять свои картины в Королевской академии. Тридцать лет спустя, когда он позволил приподнять завесу тайны, более 900 его рисунков, собранных и переданных князем Меттернихом, находились уже в Британском музее, а еще за три или четыре листа правительство уплатило 1000 гиней. Скульптурный портрет, созданный Кристофером Муром в 1849 году, дает представление не только о его величественном облике, но и о той таинственности, что окружала загадку "НВ". Вращаясь в кругу Байрона, Скотта и Шеридана, он покинул общество, когда решил, что "великая эра" уходит в прошлое. Очень немногие, среди которых выделяются Милле, Теккерей, Росетти и Ландсир, были вхожи, как друзья его сыновей, в дом № 17 по Кембридж-террас, но, как вспоминает Льюис Ласк, "эти замкнутые Дойлы не жаловали вторжений из внешнего мира".

Под его покровительством (а о нем отзывались, как о натуре весьма властной) четверо его сыновей встали на путь, приведший их к славе, и появление Артура Дойла воспринималось просто как появление пригодного материала для третьего поколения художников. Однако своенравная Судьба приладила к его кисти перо, и его "живопись" выразилась в ярких картинах "Белого отряда", живости "Родни Стоуна" и в бессмертном образе детектива. Получая по десять шиллингов за слово, "непослушный" сын стал самым высокооплачиваемым автором в мире.

Тех, чье знание о моем отце сводится к Холмсу, к спортивным победам или служению спиритизму, может удивить, что детство сэра Найджела и обстановка, его окружавшая, почти в точности списана с детства самого Конан Дойла. Единственное различие состоит во времени и месте действия, каковое из древней обители его предков превратилось в скромное жилище на Либертон-бэнк. Воспитание Конан Дойла было столь основополагающим и значительным, что заслуживает более подробного описания.

Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Конан Дойл научился разбираться в гербах много раньше, чем познакомился с латинским спряжением. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за шесть предшествовавших столетий, и, что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши. Волшебными сказками ему служили страницы Фруассара и Де Монстреле: воображаемые приключения обрастали подробностями из семейной хроники. Короче говоря, мы видим мальчика, с нежнейшего возраста погруженного в рыцарскую науку пятнадцатого века, растущего в лоне семьи, для которой родовая гордость имела бесконечно большее значение, чем неудобства, вызван-

ные сравнительной бедностью окружающей обстановки. Все это я услыхал из уст моего отца. Более того, еще ребенком я тоже испытал на себе точно такое же влияние моей бабушки, которая бесконечные занятия геральдикой оживляла рассказами о детстве моего отца, о благородном существовании древнего обнищавшего, но не увядающего рода. Сколь глубоко в сознании моего отца укоренилось рыцарское воспитание, видно из того, что первые уроки французского, преподанные мне моим отцом, велись не по книжке "Французский без слез", а по "Мемуарам сестры Жуанвилль"; или из того, что, когда в детстве выздоровление после тяжелой болезни зависело от моего желания побороть недуг, он подбадривал меня не обещаниями роскошных игрушек или золотой монеты, а призывами к моему мужеству; крошечная цветная картинка, изображавшая французских рыцарей и лучников при Аженкуре, — талисман, с которым я не расстаюсь и по сей день. А у камина рассказывались древние легенды, неизменно завораживая воображение сперва мальчика, потом юноши и наконец мужчины; оживали история и исторические персонажи, а период смены кольчатых доспехов чешуйчатыми, волшебное искусство Антона Пеффенхаузера и старые германские оружейники ознаменовали конец детства, прошедшего под влиянием того же воспитания, которое сформировало характер моего отца. Позднее, когда я повзрослел, напор грубой современности все чаще сталкивался с суровым кодексом джентльмена, который — внимательно и чутко относясь к переходному периоду возмужания, многими родителями просто незамечаемому, — придерживался средневековых мерок во всех основных сторонах жизни: женщины, деньги, обращение с нижестоящими, родовая гордость, нетерпимая к снобизму, готовность к самопожертвованию в отношениях с соратниками — таковы статьи кодекса, настолько неотторжимого от его натуры, что, любя отца, я просто не могу позволить себе слишком явных его нарушений. Это — основа. Это — сущность. И осознание этого наполняет смыслом, скажем, такой эпизод: мой отец в одних носках стоит на гравийной дорожке и, благодушно наблюдая, как весьма грязный бродяга удаляется в его великолепных башмаках для гольфа, приговаривает: "Ему они нужней".

Тот же рыцарский кодекс, когда Конан Дойл, как и его предки, пожертвовавшие всем ради католичества, пожертвовал всем ради спиритизма — веры, которую многие противопоставляют католичеству, — лишь усугублял унаследованную непреклонность. Дважды в четырех поколениях складывалась ситуация, "столь излюбленная романистами, но столь редко встречающаяся в жизни", когда целая семья жертвует всем, кроме чести, во имя веры и — что делает необыкновенную ситуацию еще необыкновенней — ради учений, столь далеко друг от друга отстоящих.

Как и всякий истинный аристократ, Конан Дойл крайне пренебрежительно относился к своему возвышению. Он, пока матушка не уговорила его, отказывался принять рыцарский титул, пренебрег званием пэра во имя проповеди спиритизма, и лишь после его смерти мы узнали, что он был кавалером Короны Италии. Многие недоумевали, почему

в своих книгах он не именовал себя сэром. Объясняется это тем, что титулы сами по себе значили для него едва ли больше, чем спортивные достижения, но ответственность и рыцарственность — качества, которые, по его мнению, должны были естественным образом наследоваться в древнем или благородном роде. Ребенком, сидя у него на коленях, я узнал, что есть три черты, характеризующие джентльмена: во-первых, покровительственное и рыцарственное отношение к женщинам, во-вторых, вежливое обращение с теми, кто стоит ниже на социальной лестнице, и в-третьих, повышенная щепетильность в финансовых делах.

Юноша необузданный, я со всей присущей молодости дьявольской изобретательностью не раз имел случай познакомиться с кодексом Конан Дойла. В таких проделках, как неумышленный выстрел по садовнику (что, по счастью, закончилось дружбой с ним на всю жизнь), или когда я размозжил о дуб автомобиль, обошедшийся отцу в 700 гиней, или когда замечательное изобретение, состоящее из спичек и пружины, вызвало пожар в биллиардной, я испытывал на себе гнев достаточно бурный, чтобы отбить охоту к повторению подобных опытов, однако в нем сквозил какой-то едва уловимый оттенок, придающий моим воспоминаниям об этих случаях некоторую теплоту. Однажды и лишь однажды видел я такую вспышку великой — как все реакции отца — ярости, что она оставила глубокий рубец на моей памяти. На сей раз речь шла не о пустяке вроде 700 гиней. Я, к моему вечному стыду, был крайне непочтителен со служанкой. Под угрозой оказался сам кодекс чести. Впоследствии, когда я вошел в возраст, в котором женщины начинают волновать воображение юного ирландца, отца это ничуть не беспокоило. В положении холостяка свобода действий вовсе не обязательно должна враждовать с рыцарственностью. Но грубость по отношению к прислуге — дело иного рода. <…>

Конечно, в человеке, который мог убедить своего сына, что, случись ему заболеть венерической болезнью, он может рассчитывать на родительское понимание и помощь, была определенная широта взглядов. Напротив, была и некоторая ограниченность в этом же человеке, немедленно закипающем яростью при самом невинном из пикантных замечаний. То же можно сказать о его реакции на самые безобидные вольности, которые позволяли себе благодушные незнакомцы. Едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как панибратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение полутора часов выступал перед аудиторией, собравшейся в Танбридж-уэлс, за пять минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц Империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойл, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма.

Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в тридцать миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке; тот же самый человек, который расчувствовался на месте легендарного Камелота; тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойл отправился на бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним, как верный оруженосец. Все это, конечно, мелочи, но если мои юношеские воспоминания в большом и малом сотканы из подобных анахронизмов, то можно сказать, что серьезного биографа ждет лучший материал, о котором приходится только мечтать, — яркая индивидуальность. И опять Холмс во плоти — Холмс за работой. Моя память сохранила воспоминания о непривычных, тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на два или три дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений и поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно, на пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами, при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь затем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры; или с искателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле; или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов, или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминание об этом действует освежающе, подобно морскому бризу.

Его индивидуальность видна даже в особенностях умственного склада. Холмсовские рассказы изобилуют провалами памяти: от обстоятельств ранения Уотсона до цвета глаз персонажа, которые к концу рассказа чудесным образом превращаются из голубых в карие. Да, это провалы памяти. Но в то же время Конан Дойл мог продемонстрировать силу памяти, граничащую с трюком. Например, если бы кому-нибудь вздумалось проэкзаменовать его по какой-либо книге, которую он не держал в руках по крайней мере лет 20, он мог с ходу пересказать сюжет и перечислить всех основных персонажей. Мне не раз приходилось убеждаться в этом. Точно так же, встретив какого-нибудь отставного военного и поинтересовавшись, какого он полка, Конан Дойл мог немедленно назвать пораженному собеседнику не только бригаду и дивизию, в состав которых этот полк входил, но и основные военные операции,

в которых он принимал участие! И из тех случаев, которым свидетелем был я, не было ни одного, сколько я могу припомнить, чтобы отец ошибся. Невосприимчивый к обстоятельствам ранения бедного Уотсона, его мозг представлял собой гигантское хранилище неподверженных времени и аккуратно разложенных по полочкам благоприобретенных знаний. Наблюдательность его была столь острой, что, как я уже не раз говорил, он мог, лишь взглянув на человека, определить его привычки и род занятий, теми же приемами, которыми он вооружил свое творение — Шерлока Холмса.

Недавно в печати появилось любопытное свидетельство американского журналиста м-ра Хейдона Коффина: он рассказал, что в 1918 году Конан Дойл в частной беседе заявил: "Если Холмс и существует, то, должен признаться, — это я сам и есть". Более полувека многочисленные плохо осведомленные писатели и критики вводили публику в заблуждение, отдавая лавры Холмса исключительно д-ру Джозефу Беллу, что так же нелепо и смехотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойл был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же в его фразе "нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного я, если самому не обладать его дарованиями" можно увидеть явный намек.

Удивительные способности д-ра Белла послужили к расцвету тех дарований, которые таились в Конан Дойле. В этом, и только в этом, заслуга д-ра Белла. Если бы почтенный доктор умел взращивать не врожденные таланты, то Эдинбургский университет в период с 1876 по 1881 год из многих сотен студентов произвел бы целую плеяду Шерлоков Холмсов во плоти! Тогда в чем же дело? А дело в том, что мой отец сам обладал всеми теми способностями — возможно, даже в большей степени, — что и д-р Белл. Этот вывод подкрепляется еще и тем, что пресловутые качества не только нашли выражение в рассказах, но и не раз применялись моим отцом на практике. По силе дедукции я не встречал ему равных. И свое необычное умение он использовал и в обыденной жизни. Путешествуя с отцом по европейским столицам, более всего мне нравилось ходить с ним по знаменитым ресторанам и выслушивать его бесстрастные замечания о характерах, занятиях, увлечениях и других подробностях жизни посетителей, подробностях, совершенно скрытых от моего взора. Иногда нам не удавалось проверить тотчас же справедливость его догадок потому, что обсуждаемое лицо не было знакомо метрдотелю; но когда объект наших наблюдений оказывался человеком известным, точность отцовских выводов блестяще подтверждалась. В качестве примечания сообщу некоторую подробность, небезынтересную поклонникам Холмса. В воображении мы всегда рисуем себе великого сыщика в неизменном тускло-красном халате с загнутой трубкой в зубах. Но это были как раз предметы обихода Конан Дойла, и оригиналы до сих пор хранятся в нашей семье!

Как это ни парадоксально, отцовская наблюдательность была весьма избирательной, поэтому подчас можно было увидеть на ступенях клуба

Атенеум величественную с головы до пят фигуру Конан Дойла, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку. Детская ли шапочка или старый плащ, впопыхах подхваченный в прихожей, — такие неполадки в одежде были верными признаками того, что он столкнулся с детективной задачей, или легендой, требующей проверки, или какой-либо интригой. Однажды (дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено) я встретил отца, обутого в один черный и один коричневый башмак — симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в два дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам, которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле.

Работая над этими заметками, я сделал одно открытие, с которым будет интересно ознакомиться холмсоведам всего мира. Просматривая один из старых отцовских сундуков, я откопал связку юношеских медицинских записей с заткнутыми в них пятью листами, исписанными его рукой. Из этой рукописи видно, что Уотсон не только появился на свет прежде Холмса, но что в первоначальном варианте "Этюда в багровых тонах". Холмса вообще не было! Только Уотсон да Джефферсон Хоуп, а заглавие "Этюд..." в этом варианте рукописи, представлявшей собой более пространный и драматичный рассказ, было густо зачеркнуто и уступило место "Ангелам тьмы". Не умаляя значения Холмса, это наблюдение придает дополнительный вес образу Уотсона.

Влияние Конан Дойла на европейскую и азиатскую криминологию заслуживает специальной главы в его биографии, которую еще предстоит написать перу более талантливому, чем мое. Обучение египетских полицейских методам работы Холмса, весьма знаменательный жест французской "Сюртэ", назвавшей именем Конан Дойла Лионские криминологические лаборатории, почет, который ему оказало полицейское училище в Китае, сверхъестественные истории и анекдоты о Холмсе как о реальном человеке, бытующие во всем мире, — вот то обширное поле, которое предстоит возделать биографу.

Я не собираюсь здесь обсуждать веру отца в спиритизм. Но одно я должен отметить, принимая во внимание некоторые необоснованные, а подчас и злонамеренные утверждения о его "легком обращении" и "доверчивости". Мой отец приступил к своим исследованиям, будучи еще ярым противником всякой веры в загробную жизнь, и — что исключительно важно уяснить — он решительно отказывался от какого бы то ни было окончательного приговора на протяжении тридцати трех лет, пока продолжались его исследования. <...>

Если неживое может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули "дум-дум" немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, Железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в же-

лудке кита, древнеримские черепки и осколки из стекла, монеты, извлеченные из лавы, которая погребла под собой Помпею. Словом, на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности.

В качестве примечания могу заметить, что своим лучшим произведением отец считал "Человека из Архангельска" из сборника "Приключенческих рассказов".

Что касается самого интимного и, быть может, самого важного аспекта жизни мужчины — его нравственного отношения к женщине, то эпилог к книге д-ра Ламонда "Артур Конан Дойл", который моя матушка оставила потомкам, есть сияние чистейшего света, и ни одна женщина, прочитавшая эти строки, написанные на тридцатом году брака, не нуждается в моих пояснениях.

Работу над каждым новым произведением отец начинал с тщательной подготовки. К примеру, прежде чем начать "Белый отряд", он уединился на целый год в небольшом коттедже в Нью-Форесте, где единственными собеседниками ему служили шестьдесят пять работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. У меня хранится несколько дюжин его записных книжек и тетрадок, от корки до корки исписанных его мелким ювелирным почерком и испещренных набросками и схемами, и каждая книжка — остов того или иного произведения. Обширные исследования во всех случаях были тем фундаментом, на котором зиждилось здание его литературного мастерства и писательского воображения. Все факты были досконально проверены. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6.30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до одиннадцати часов вечера, а затем отправлялся в постель с Библией (каждая страница которой носила его пометки) или статьей о новейших раскопках в Египте, или, бывало, со сшитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте семидесяти лет он увлекся масляной живописью.

Могучий дух Конан Дойла довлел надо мной все те двадцать с небольшим лет, что я провел с ним под одной крышей. С того момента, как пучеглазая служанка подняла меня, еще совсем маленького, к окну, чтобы я посмотрел, как мой отец и премьер-министр Англии, увлеченные беседой, прогуливаются взад-вперед по лужайке перед домом, и до той минуты, когда, вложив свою большую ладонь в мою, отпрыск древнего рыцарства ушел к своим предкам, я ощущал, что мне дорого обойдутся широта и величие моего отца. Я хочу сказать, что, будучи человеком обыкновенным, я, обращаясь в компании других обыкновенных людей, ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле.

Я закончу следующими четырьмя лаконичными оценками этого человека, которые я отобрал из множества имеющихся в моем распоряжении.

Из России :

"Конан Дойл был личностью сильной и обаятельной".

Проф. Ковалев, бывший царский сановник.

Из Германии :

"Воздадим ему почести, какие только человеческий ум и человеческий язык могут воздать великому человеку с его славой".

Адмирал германского флота Тюрк.

"Не было и нет человека более достойного, чем Конан Дойл".

Сэр Джеймс Барри.

Его завет потомкам — в словах подполковника Грэхема Сетона Хатчинсона, солдата и писателя:

"Конан Дойл был совершеннейшим воплощением джентльмена".

СОДЕРЖАНИЕ

Джон Диксон Карр
ХескетПирсон

СЭР АРТУР КОНАН ДОЙЛ

Заведующая редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Е. Л. Новицкая*
Художественный редактор *Н. Р. Синева*
Технические редакторы *А. З. Коган, Е. И. Полякова,*
Корректор *Э. В. Ежова*
Операторы *Н. Е. Монахова, Т. Г. Никонович*

ИБ 1763
Сдано в набор 16.11.88. Подписано в печать 24.04.89.
Формат 60x90 1/16. Бум. офс. № 1-70г.
Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 20,0. Усл. кр.-отт. 40,50. Уч.-изд. л. 23,29.
Тираж (2-ой завод 100 001-150 000) экз. Изд. № 4754. Заказ № 13.
Цена в бумвиниле 2 р. 80 к., в коленкоре 2 р. 90 к.

Набрано на композере в издательстве "Книга".
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Отпечатано Ярославским полиграфкомбинатом
Госкомпечати СССР.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Карр Дж. Д., Пирсон Х.
К 26 **Артур Конан Дойл.** — М.: Книга, 1989. — 320 с: ил. — Писатели о писателях)
ISBN 5-212-00116-1

Эта книга знакомит читателя с жизнью автора популярнейших рассказов о Шерлоке Холмсе и других известнейших в свое время произведений. О нем рассказывают литераторы различных направлений: мастер детектива Джон Диксон Карр и мемуарист и биограф Хескет Пирсон.

К $\frac{4703010100-048}{002 (01)-89}$ 26-89

ББК 84.4 Англ.